Борис
МОЖАЕВ

ТОНКОМЕР





Борис
МОЖАЕВ



Повести

«Современник»
Москва
1984

Р2
М74

Рецензент А. Кондратович

Иллюстрации В. Лапина

Оформление В. Роганова

М $\frac{4702010200 - 226}{М106(03) - 84}$ 54 — 84

ББК84Р7
Р2

ОТ АВТОРА

В эту книгу собраны повести, написанные в разные времена. При всем разнообразии характеров, тематики и места действия в этих повестях есть и нечто общее — заметное стремление многих персонажей бороться против нарушения наших законов и против отклонения от социально-нравственных норм поведения. Только в бескомпромиссной борьбе с этими нарушениями может проявить себя положительный герой как личность, созданная определенным периодом времени, и как тип национального уклада.

Удалось ли создать в этих повестях живые образы — судить не мне. Зато я могу поручиться за достоверность событий.

Большинство этих повестей уже экранизировано, остальные готовились к экранизации, и по этой именно причине многие из них не были напечатаны в свое время.

Лишь одна повесть — «Власть тайги» перепечатана здесь в первозданном и хорошо известном виде. Автор поместил ее для того, чтобы не разрывать известной по киноэкрану трилогии о милиционере Сережкине, которого играл артист В. Золотухин.

И вот какой парадокс! В повестях есть два героя: старшина милиции Сережкин и лейтенант, а впоследствии капитан, Коньков. Они совершенно непохожи друг на друга. Но при экранизации трилогии В. Золотухину было

поручено играть и того, и другого. Автор не возражал против такого неожиданного решения студии по той простой причине, что Золотухин был достаточно убедительным во всей трилогии.

Полагаю, что грех этот невелик и читатель простит его автору.

Тонкомер

1



незапно начавшиеся осенние холода застали меня в отдаленном поселке лесорубов. Весь речной транспорт оказался внизу, километров за сто по Бурлиту, на главной базе. Ехать было не на чем. А тут еще по утрам пошла шуга — грозный признак! Река может покрыться льдом за одну ночь, — и я всерьез забеспокоился. Дело в том, что этот поселок, как и многие другие в здешних местах, после замерзания реки и до прокладки через перевал зимней дороги месяца два никакой связи с внешним миром не имеет. Даже почту завозят сюда раз в неделю и ту бросают с самолета в мешках. Разумеется, оказаться в таком вынужденном заточении — удовольствие не из приятных.

И вдруг ночью, на рассвете, с реки раздалось утробное тарахтенье дизеля. Одеться и выбежать на реку было для меня делом одной минуты. Там я увидел с десяток таких

же страждущих пассажиров. Мы обступили то место, где причалила темная одноглазая посудина, и ждали решения своей судьбы. Наконец, заглушив мотор, старшина этого спасительного ковчега, поблескивая в темноте кожаной курткой, спрыгнул на берег и сказал, что пришла самоходная баржа в последний рейс и что пойдет обратно после завтрака.

Напуганные скорым отплытием, будущие пассажиры расположились здесь же, одни на берегу, под высокими штабелями бревен, другие, более осторожные, перебрались на палубу баржи.

Между тем рассветало. В небе над поселком стали проступать подсвеченные невидимым солнцем розоватые поверху, а ниже — сизые растрепанные дымки; баржа, притулившаяся в потемках бесформенной глыбой к берегу, теперь выглядела совсем маленькой, с игрушечным якорем на носу и рулевой будкой, похожей на кабину грузовика. А на голове у старшины баржи оказалась самая настоящая морская фуражка с позеленевшим медным крабом.

Среди пассажиров возле бревенчатого штабеля заметно выделялся один человек странной наружности: высокий, немного сутулый, в замызганной фуфайке и в старых кирзовых сапогах. Шапки на нем не было, густые каштановые волосы срослись в единый круг с рыжей всклокоченной бородой. По древесным оскреткам, приставшим к его бороде и волосам, было видно, что он давно уже не мыт и не чесан. Несмотря на густую окладистую бороду, ему можно было дать не более тридцати пяти лет.

Рядом с ним стояла маленькая пожилая женщина с морщинистым плаксивым лицом. Она то и дело теребила его за рукав и жалобно причитала:

— Женя, пошли на палубу! Не пустит ведь старшина... не пустит нас.

Рыжебородый не обращал на нее никакого внимания. Он разговаривал с обступившими его лесорубами — их человек пять. Видимо, это были провожающие. Из рук в руки ходил стакан, который наполнял водкой рыжебородый. Под рукой у него стояли бутылки, одни с водкой, другие пустые.

А утро было тихое и ласковое. Появилось солнце над темной хребтиной дальней горы. Ядреный колючий морозец словно прочистил тайгу; сквозь бурую прозелень елок, сквозь моховую кудель пихтача вдруг забелел заиндевевший валежник, и даже темные, непробиваемые светом, ма-

кушки кедра засквозили на фоне нежно-зеленого, как первый ледок, неба. Река на середине румянилась, как красавица на морозе, и дышала белым тающим парком, а по краям уже неслась подкрашенная солнцем искристая шуга; цепляясь у заберегов за острые зубцы ломких ледышек, она мелодично позванивала.

Но вдруг эту тишину расколол утробный голос нашей баржи. Рулевой встал в кабину за штурвал, а старшина начал развязывать причальную веревку.

— Отчаливаем! — крикнул он. — Пассажиры — все на палубу!

Несколько человек бросилось по трапу на палубу. Последними шли рыжебородый со своей спутницей. За плечом рыжебородого на палке болтался небольшой драный узел.

— Вороти назад! — сказал старшина, преграждая им дорогу.

— Ты чего, старшина? — спросил рыжебородый.

— Ничего. Деньги кто за тебя платить будет?

— Вот невидаль! А контора на что? У меня вычтут там за проезд.

— Там у тебя не то что за проезд, за переход нечем платить. Знаю я тебя! Меньше пить надо, — отрезал старшина и поднял трапик перед носом рыжебородого и его спутницы.

— Правильно, служба, — пить надо меньше. Теперь я тоже так думаю, — сказал спокойно рыжебородый, словно они уселись со старшиной на скамеечку для мирной беседы.

— Эх ты, черт лохматый! — распекал его старшина с палубы. — Ведь ты сколько сейчас пропил? На десять билетов хватило бы.

— Да, хватило бы, — согласно мотнул тот кудлатой головой.

— Вот я и говорю, — довольно отметил старшина, искоса глядя на рыжебородого сверху вниз, словно прицеливаясь. — Ты бы еще целый поселок напоил.

Старшина все стоял на палубе, держал в руках трап и, кажется, раздумывал. Рыжебородый почтительно и кротко ждал, но мне показалось, что он прячет в бороду лукавую улыбку.

— На свои личные, может, и я бы напоил целый экипаж, — все еще раздумывая, сказал старшина. — А тут билет, государственные деньги. Понял?

— Ясное дело, — скромно согласился рыжебородый.

Старшина, кряхтя, сердито стал опускать трап.

— Возьми их, возьми, старшина! — загомонили одобрительно в толпе с берега. — Что они тебе, баржу загромоздят, что ли? У них, видишь, пожитков — один узел драный.

Но это возымело обратное действие. Старшина опять поднял трап.

— Возьми, возьми! — отбивался он. — Я его и так по всем участкам вожу, и все бесплатно. Не первый раз...

Я подошел к старшине, взял его за локоть и сказал, что если в конторе не заплатят, то пассажиры сообща внесут деньги за них или я это сделаю один.

Старшина молча осмотрел меня, презрительно сдвинул на затылок свою морскую фуражку и сказал саркастически в толпу:

— Видали, какой гвоздь нашелся! — И, обернувшись ко мне, добавил сердито: — Без вас обойдутся. Чего я тут баржу держу? Понимать надо! — и с грохотом бросил трап. Рыжебородый со спутницей поднялись на баржу, и мы тронулись вниз по течению стремительного Бурлита.

2

Все приспособление для перевозки пассажиров на этой маленькой плоскодонной посудине состояло из брезентового тента, натянутого на палубе, и нескольких скамеек, расставленных вдоль бортов. Под тентом пахло ржавым железом и плохо провяленной рыбой, которую везли в мешках пассажиры.

Я уселся под открытым небом на носу. Вскоре подошел ко мне и рыжебородый.

— Впервые, должно быть, в здешних местах? — спросил он глухим баском, присаживаясь.

— Да.

— Он мужик хороший, — заметил рыжебородый, кивнув на рубку старшины. — Это он для виду куражится. Любит воспитывать. Откуда у вас эта флотская штука? — вдруг спросил он, разглядывая мою альпаковую куртку.

— От службы осталась, — ответил я. — Недавно демобилизовался.

— Уж не на Тихом ли служили? — спросил он, оживляясь.

— На Тихом. А вы что, тоже на Тихом служили?

— Бывал, — ответил он и стал задумчиво щипать курчавую бороду.

Я достал портсигар и предложил своему собеседнику:
— Курите!
Он взял папироску молча. Я обратил внимание на его крупные руки, все в застарелых черных отметинах металла. Мы закурили.
— Куда едете? — спросил я его.
— А никуда. Так просто еду, и все.
— Может, на новое место работы? — снова спросил я, несколько озадаченный.
— На новое место? — Рыжебородый грустно усмехнулся. — Для меня нет здесь новых мест — все старое.
— А где живете? Где постоянно работаете?
— Нет у меня ничего постоянного: ни работы, ни угла.
Он надолго умолк, глядя на проплывающий мимо крутой лесистый берег. Глаза у него замечательные, открытые, голубые и грустные такие, словно дымкой затянуты. Выражение его грубого, но красивого лица было печальным, очень усталым и в то же время тревожно-сосредоточенным, как будто бы он все пытался вспомнить нечто важное, но никак не мог.
Нашу посудину несет по течению, словно бревно. Рулевой, опершись на поручни, беспечно курит, сплевывая через разбитое окно рубки прямо в воду. Но как только река разбивается на протоки, он становится за штурвал и сердито кричит на нас, стоящих на носу:
— Не болтайтесь по курсу! Садись, говорят!
Мы садимся на невысокий железный бортик, а рулевой направляет баржу по горловине протоки, или, как здесь говорят — «по трубе».
Я тоже, как и рыжебородый, смотрю на берег, в надежде отыскать что-либо интересное, за что можно было бы зацепиться в разговоре. Но мне ничего особенного не попадается. Там, где сопки вплотную подходят к реке, по серым каменистым уступам карабкаются в небо реденькие островерхие елочки, да где-нибудь на самой вершине подпирает облака тупой, будто спиленной, макушкой могучий кедр. В низинах пологие размытые берега сплошь покрыты бурой щетиной оголенного тальника, из-за которого выглядывает порубленный, словно выщербленный, чахлый лес.
Вдруг рулевой из будки крикнул:
— Разобрать шесты! Подходим к перекату.
Из трюма вылез старшина с четырьмя длинными шестами. Рыжебородый взял первым шест, я — вторым.

— Оставайтесь на носу, — сказал нам старшина, а сам с двумя шестами пошел на корму.

Сразу за отвесной скалой река делала резкий поворот, спокойная до этого стремнина реки зарябила мелкими волнами, которые захлюпали о борта.

Выплывая на быстрину, мы увидели впереди белые буруны пенистого переката, а там, дальше — огромный зало́м, из которого торчали во все стороны обломанные, черные стволы деревьев. Оттуда доносился глухой угрожающий гул.

На палубе все притихли, даже бабы на корме, тараторившие всю дорогу, теперь смолкли и сбились в стайку, как испуганные овцы. По знаку старшины мы подняли кверху шесты.

— Отбивай к правому берегу! — крикнул рулевой.

Мы налегли на шесты, баржа чуть застопорилась и тихо стала приближаться к опасному залому.

— Евгений, держать строго по фарватеру! — крикнул старшина.

— Есть держать по фарватеру! — ответил рыжебородый, шестом направляя нос нашей посудины в нужную сторону.

Вода теперь бурлила и клокотала под нами; крупные шапки пены всплывали из-под камней, из-под коряг и ошалело крутились в водоворотах. Баржа, стремительно лавируя между темными корягами и каменными выступами, вырвалась наконец на спокойно разлившееся стремя реки.

— Отбо-ой! — протяжно крикнул рулевой.

— Спасибо за службу, — сказал старшина, проходя мимо нас и забирая шесты.

Мы, довольные собой, уселись на прежнее место и закурили. С кормы снова донесся женский гомон.

— Какая бешеная река, — сказал я. — Чуть зазеваешься — и амба.

— Река что жизнь, — отозвался рыжебородый. — Живешь вот так и лавируешь от берега к берегу, стремнину ищешь — фарватер. Не то — не успеешь оглянуться — в залом затянет. Видал — черные коряги торчат из залома. А когда-то они живыми деревьями были, да стояли возле берега, на опасном месте.

— Да, да! — охотно откликнулся я. — Нечто подобное и с людьми случается. Вы давно здесь живете?

— Порядочно.

— А не бывало при вас какой-нибудь... — я чуть не спросил «забавной истории», но вовремя спохватился,

имея в виду его затрапезный вид, а следственно, и нечто неприятное, возможно, пережитое им совсем недавно, и, чтобы не задеть его самолюбия, сказал: — Поучительной истории или, может, случая из производственной практики?

— Всякое бывало, — сухо ответил он, отбросил щелчком папироску за борт и, глядя на темную бегущую воду, погрузился в свои думы, вовсе не обращая на меня никакого внимания.

А я, заинтересованный необычной наружностью своего спутника, так не соответствующей его значительному лицу и трезвым рассуждениям, ломал голову над тем, как бы вызвать его на откровенность.

3

Баржа подходила к поселку, покинутому лесорубами. Внешне он был похож на тот, от которого мы отчалили: те же деревянные домики с тесовыми крышами, дощатая кузница, длинные приземистые бараки... Только нет здесь кудрявого дымка над кузницей, развалены сараи возле домиков, и грустно смотрят бараки черными глазницами выбитых окон. Здесь все тихо, безлюдно; и тоскливо становится на душе, как посмотришь на этот оставленный поселок. И даже редкие столбики дыма над отдельными домами не ослабляют этого чувства, а наоборот, подчеркивают картину запустения.

— Грустно, но поэтично, — сказал я своему попутчику, указывая на поселок.

— Это возмутительно! — зло отчеканил он.

— Скорее это неизбежно, — мягко возразил я. — Лес вокруг него вырублен, лесорубы ушли дальше... и поселок этот больше не нужен.

— А разве нельзя было построить поселок где-то выше и протянуть сюда узкоколейку? И не только сюда, а во все концы. И построить поселок не временный, на три, на пять лет, а постоянный? Не только можно, а нужно! — выкрикнул он с силой. — Чтоб жить там по-человечески, а не кочуя из барака в барак. Поэзия!.. Какая, к черту, поэзия? Бардель — вот что это! Цыганские злыдни. Два года назад бросили этот поселок, через два бросят тот, и так без конца. Миллионы бросаем! Знаете, на что это похоже? На то, если бы мужик повез на базар продавать крупу в дырявом мешке. Вот она, ваша поэзия! Вы что, стишки пишете? — с ухмылкой спросил он.

Признаться, я не ожидал от своего собеседника такого

пыла. Видимо, я нечаянно задел больную струну и пытался оправдаться:

— Я — газетчик. С ходу не могу определить — где тут убытки. Чего ж на меня сердиться? Я здесь не работал и не считал эти убытки.

— Да только ли убытки, — поморщился он. — А сколько мучаются люди от этого! А лес? Что делают с лесом? — Он показал рукой на бурое выщербленное редколесье, покрывшее бесконечные синеющие холмы: — Посмотрите! Рубили на выбор, а все остальное ломали... Захламили и бросили! Теперь тут ничего не вырастет. Чахнуть ему сто лет! Не лес и не поросль... И выходит, вроде как до чужого дорвались: мы пройдем, а после нас хоть потоп.

— Это другой разговор! Ваше возмущение мне по душе.

Он поймал мою руку и слегка тиснул ее в знак одобрения. Потом расстегнул фуфайку, достал из-за пазухи поллитровку водки и предложил мне, чуть заикаясь:

— Не откажитесь со мной выпить. Может быть, я эту последнюю пью.

— Как так последнюю?

— Да вот так! Хотите я вам расскажу кое-что? Но наперед давайте выпьем понемножку.

Я согласился.

— Ну, вот это хорошо! — повеселел рыжебородый. — Понравились вы мне почему-то. Эх, служба! С Тихого — значит, свой. Варька, юколы! — крикнул он своей спутнице.

— А теперь давайте знакомиться. — Он протянул мне руку и назвался: — Евгений Силаев.

Я назвался в свою очередь.

Варя принесла нам вяленой кеты и два стакана из розовой пластмассы.

Евгений сначала налил Варе. Она выпила просто, без ужимок; ее угодливое лицо с крошечным носиком и светлыми, словно перламутровые пуговицы, глазками, сделалось строгим и хмурым. Взяв кусок юколы, она ушла под тент.

Юкола оказалась крепкой, как сыромятные ремни. С трудом раздирая зубами бурые вязкие волокна, Силаев начал свой рассказ.

4

— Так слушай, друг. Началось это года четыре назад. Прослужил я к тому времени на флоте порядком: и с японцами успел повоевать, и годиков пять сверхсрочной прих-

ватил. И вот возвратился в родной город, в Подмосковье. До службы я слесарничал на механическом заводе. Ну и потянуло опять, значит, к старому ремеслу. Да... — он машинально похлопал по карманам фуфайки, ища папиросы. — Я и позабыл — нет у меня ни хрена, — потом вынул папироску из моей пачки, закурил.

— Эх, служба! Ты не представляешь себе, как я радовался, когда снова шел по родной улице. Тут тебе не только людям — деревьям и телеграфным столбам готов был руку протянуть. А улица наша тихая, с палисадниками, вся в тополях да в акациях. Прожил я на ней девятнадцать лет и не забыл там ни одной канавы, помнил, где лужи разливаются в дожди, и мог бы с закрытыми глазами дойти до своего дома. Только моего дома там уже не было, то есть дом-то стоял, но жили в нем другие. Отец мой погиб на фронте, мать умерла во время войны... Я уж и номер в гостинице заказал, но все-таки потянуло меня к своему старому дому. Я и не предполагал тогда, что эта прогулка всю мою жизнь изменит.

Он умолк на минуту, у него погасла папироска. Все время, пока он разминал папироску и раскуривал, его крупные дымчатые глаза оставались совершенно неподвижными. Странное впечатление было от этого: не то он позабыл, про что рассказывал, не то думал совсем о другом.

— Помню как сейчас, — сказал он наконец, — подхожу я к знакомой калитке и думаю — открывать или нет? И чего мне в самом деле нужно здесь? Дом заводской, живут в нем незнакомые люди... Вещи наши тетка забрала. Одна гармонь моя осталась... Будто хозяин гармонистом был и попросил попользоваться, на время. Тетка писала. Думаю, может, и гармони-то уж нету. Да и неудобно с чемоданом заходить. Еще подумают: парень, мол, намекает... Ведь по правилу часть жилплощади в этом доме принадлежала мне. Я же на службу ушел отсюда. Но, думаю, заводское начальство разберется. Я уж хотел повернуться и уйти прочь, как со двора, через сад, бросился ко мне черный лохматый кобель. Да такой свирепый, того и гляди, разорвет и калитку, и меня. Вдруг из дома закричали: «Шарик, нельзя!»

А через минуту возле меня уже стояла высокая блондинистая девушка и отгоняла Шарика. А я тем временем во все глаза смотрел на нее. Понравилась она мне сразу. Сильная такая — схватит собаку за ошейник и метров за пять отбрасывает.

— Да пошел, дурень! Голос надорвешь, — говорит. — Побереги на ночь — ухажеров отгонять...

Пес — скотина умная — сразу умолк и виновато поплелся в собачью конуру.

А мне смешно стало.

— И много у вас ухажеров? — спрашиваю.

— Сколько ни есть — все мои, — отвечает. — А вы к сестре, к Оле? Ой, да у вас чемодан! Вы приезжий, да? Уж не родственник ли? — И вопрос за вопросом. Тогда я приложил руку к фуражке и представился:

— Главный старшина Силаев в отставке.

Ну что ей Силаев? Поди, и фамилию нашу не запомнила. Приставила она к своим кудряшкам кулак на манер пионерского салюта и говорит:

— Косолапова — бывший пионервожатый. — А потом сморщила нос и показала мне язык.

Красивая она, и всякое кривляние ей шло. Посмотришь на нее, ну словно на токарном станке выточена. Стройная, ладная не по возрасту; бывало, наденет сарафан — от плеч-то глаз не отведешь: такие гладкие да упругие. А ей всего восемнадцать лет было в то время. Да...

Так вот, стою я возле калитки — положение дурацкое, будто в гости напрашиваюсь, и думаю, как бы мне поделикатнее объяснить свой приход.

А она мне:

— Ну, чего смотришь? Зачем пришел-то?

— Гармонь свою забрать...

— Какую гармонь?

— Жили мы раньше в этом доме. Мать у меня здесь умерла.

Тут до нее дошло:

— Ах, вон оно что! Значит, вы со службы возвратились?

— Да, со службы, — говорю.

— Куда же теперь?

— Дак, на завод. Пока в гостинице поживу, потом на квартиру попрошусь...

— А-а! Знаете что, проходите к нам, — пригласила она меня.

И не успел я опомниться, как она отворила калитку, подхватила мой чемодан и потащила меня за собой.

Вдруг она так же внезапно остановилась, поставила чемодан и с улыбкой протянула мне руку:

— Ната! Меня все так дома зовут. И вы зовите так, — потребовала она.

Вот так мы и познакомились, служба. Я замечал, как она рада была нашему знакомству, и ведь не скрывала этого. Ей, видно, хотелось сделать мне что-то приятное; она показала на садик и спросила:

— Узнаете?

— Да не совсем, — ответил я.

— Ах да, я и забыла! — она снова рассмеялась. — Ведь у вас здесь были бесполезные деревья — клены да акации. Мы их вырубили, и вот, смотрите, — груши да яблони, а под ними — грядки. Двойная выгода!

Осмотревшись, я заметил, что все там не то, что было у нас. Вместо нашей густой сирени, кленов да акаций — приземистые яблоньки, вместо высокой травы и цветов — грядки с помидорами и огурцами. И наш белый дом с высокой красной черепичной крышей сиротливо оголился, будто облысел. Зато с торца, за верандой, к нему приткнулся большой сарай, откуда раздавалось мычание коровы.

Жаль мне чего-то стало, шут его знает! Может, белых акаций, которые сам сажал, а может, того, что не мы уже хозяева здесь. Я сказал об этом Нате.

— Не жалейте, — ответила она. — Стрючки акаций не съешь и не продашь. Один хлам от них.

Этот ответ я крепко запомнил. Меня прямо как ножом по сердцу. Тогда бы и надо было бежать. А я поплелся, как телок на веревочке.

Он снова умолк и уставился своими неподвижными глазами на бесконечные таежные холмы.

Чувствовалось, что мысли его забегали вперед событий и он, теряя нить рассказа, отдавался им, забывая о моем присутствии.

— Может, закурите? — предложил я.

— Нет, — ответил он, повернувшись ко мне. — Давайте лучше выпьем понемногу!

И, не дожидаясь моего согласия, он стал наливать в стаканчик водку. Я заметил, что руки его дрожали.

— Отчего же вам так не понравились эти грядки? — спросил я Силаева.

— Да черт с ними, с грядками! Мне не понравилось, как она радовалась оттого, что сирень вырубили, а это самое завели.

— Вспомните, какое время было! В магазинах пусто —

все брали с рынка. А там цены ого какие! Это ведь только москвичи да ленинградцы упивались магазинным изобилием, — сказал я.

— Да разве я об этом думал? Я же после войны все время просидел как у Христа за пазухой. Вы-то где служили?

— Во Владивостоке, военным инженером. Между прочим, в Гнилом Углу построил завод железобетонных изделий, пирсы в Улисее, ну и все такое прочее.

— Так вы при деле были, жили в городе, по магазинам ходили, на рынок... А я сужил в минерах. Был на всем готовом. Питался в офицерской кают-компании. И деньги приличные имел. Во Владивосток приедешь — маруху под крендель и в ресторан. А куда еще? Мы же были, служба, во всех гражданских заботах как дети несмышленые. Видели мы эти заботы в гробу да в белых тапочках. Зато умели держать линию. А наше дело — держать равнение в строю и слушать команду. А команда была — не хапай! Служи великому делу. И мы служили и верили — будь здоров. А когда возвращались на гражданку, тыкались везде, как собака, потерявшая след. Чуть что не так, не по-нашему, не по уставу, так рычали и зубы пускали в ход. И обламывали нас без церемоний... — Он опять похлопал по карманам, ища папиросы, но, увидев разлитую водку, взял розовый стакашек: — Ну, давай! По маленькой. — Он чокнулся, опрокинул его в рот и округло, коротко выдохнул.

5

— Ну, вот мы и познакомились с ней, — продолжал он через минуту, проглотив кусок юколы, похожий на канифоль. — Мать ее встретила нас в сенях. Понравилась она мне тогда: женщина степенная, полная, вся такая домашняя и обхождением ласковая. Марфой Николаевной зовут ее.

— А я гостя веду! — сказала весело Наташа. — Это Женя Силаев.

— Батюшки! — всплеснула Марфа Николаевна руками. — Ивана Силаева сынок?! Со службы пришли?

И вдруг она закрыла лицо фартуком и заплакала.

— Проходите, проходите в избу, — приглашала она сквозь слезы.

В доме из разговора с Марфой Николаевной я узнал, что их «хозяин», как она называла своего покойного мужа, был предзавкома на том же заводе, где и я слесарничал. (Я даже вспомнил его: такой был важнецкий усач.) Что переехали они в наш дом по решению завкома уже после смерти моей матери. Что их «хозяин» тоже умер, что старые старятся, молодые растут, и в том же духе.

Она рассказывала, расспрашивала меня и все печально качала головой. Мне уж стали надоедать эти жалобы и расспросы. Наташа, видимо, поняла это и пришла мне на помощь.

— Мама, что ты напала на него? Надо же человеку прийти в себя после дороги!

Потом она схватила меня за руку и потащила к себе в комнату.

— Женя, вот вам моя комната — располагайтесь, и ни звука.

Я было попытался возразить. Куда там! Она затопала ногами, как коза.

— Не нравится, — кричит, — комната моя не нравится!

Я ей сказал, что это — моя бывшая комната. Она вдруг затихла, сделалась серьезной и так посмотрела на меня своими быстрыми серыми глазами, что мне стало ясно — между нами что-то произойдет. Может, она почувствовала это раньше меня, потому и притихла. Говорят, что дерево, перед тем как в него попадает молния, даже на ветру затихает — не колышется. Впрочем, все это — фантазия! Просто Наташе было жалко меня: сирота. Она впервые это увидела, а может, отца вспомнила? Одним словом, ушла она совсем другой — по-взрослому серьезной.

Я осмотрелся. Комната девичья была обставлена как обычно: кровать с кружевными чехольчиками, с расшитой подушечкой-думкой. В углу туалетный столик треугольничком, на нем всякие безделушки и альбом с известными киноартистами, больше все заграничными.

Вдруг открылась дверь, и Марфа Николаевна внесла на вытянутых руках гармонь, внесла осторожно, как кастрюлю с горячими щами. «Вот, — говорит, — сохранилась».

Гармонь была у меня хорошая: хромка, и голосистая — баян перебивала. Я еще сыграл на ней что-то вроде «Ноченьки». Уж не помню точно. А Марфа Николаевна опять всплакнула.

Когда я умывался в сенях, из кухни донесся голос Марфы Николаевны:

— Молодой такой ушел на службу, а уже слесарем был. Видать, толковый.

— А ты еще сомневаешься? — спросила Наташа таким тоном, каким говорят: «А ты не спишь?»

И я еще раз подумал, что неспроста мы встретились.

На следующий день я пошел наниматься на завод. Начальник отдела кадров встретил меня тепло. «Я, — говорит, — проверенные кадры с хлеб-солью встречаю, — и в шутку протягивает мне ломтик хлеба, посыпанный солью. — Только вот с квартирами у нас туговато».

Он помялся с минуту и говорит: «Не знаю, как вам и предложить. Ко мне приходила Косолапова Марфа. Я с ней поговорил... Так вот она не против отдать вам одну комнату, вернее, возвратить. Как вы на это смотрите?»

Я согласился поселиться у Косолаповых. Начальник отдела кадров обрадовался. Мы ударили по рукам, и через день я вышел на работу.

Не буду вам расписывать свои производственные дела: там у меня все шло благополучно. Каждый вечер я спешил домой, и мы с Наташей либо пололи и поливали грядки, либо шли в кино. Но все это делалось засветло. Стоило только чуть засидеться нам, как раскрывалось окно и Марфа Николаевна кричала:

— Наташа, домой!

Дома они вязали по вечерам пуховые платки, а осенью и зимой продавали их. Хорошо зарабатывали! Вообще они умели зарабатывать на всем: на рукоделье, на огороде, на молоке... Любили жить в достатке, да и привыкли. Закваска уж такая — деревенская, что ли, кто ее знает! Тогда мне, потомственному пролетарию, ух как все это не нравилось!

— Да что же вам не нравилось? — спросил я Силаева.

— Все! Ведь у нас как было заведено, еще до войны? Отработали свое на заводе — и мотай на все четыре стороны. Кто в пивнушку, кто на улицу «козла» забивать, кто в парк. А там футбол, волейбол и всякая самодеятельность. И, конечно, танцульки на площадках деревянных. Я танцевал до глубокой ночи. А радиола испортилась — под гармошку дуем до зари. Сам играл...

— Ну, чего иное, а танцевать да «козла» забивать и теперь не разучились, — сказал я.

— Оно вроде бы и не разучились, да все теперь по-другому. Пива нет — водку дуют, и не столько в домино играют, сколько лаются друг с другом. Раньше было три танц-

площадки, а еще — где гармонь заиграет, там и танцуют. А теперь одна на весь город. Там теснотища — яблоку негде упасть. На бывших футбольных да волейбольных полях полынь и лопухи, а подростки в карты под забором режутся. Девки да бабы платки по вечерам вяжут да на грядках сгибаются. Мужики, которые поумнее, дома себе строят и сено косят. Люди вразброд стали жить, понимаешь? На работе план гонят до остервенения, а по вечерам одни шабашничают, на обновки зашибают, другие же остатние деньги пропивают. Бывало, по вечерам-то и мужики и бабы на улице табунились, все обсудят и взвесят, что на твоем совете. Заботы свои обсуждали, душой отходили. На миру жили, понимаете? А теперь где он, мир-то? Все по углам жмутся, не то встретятся, чтобы раздавить одну на троих да посопеть в кулак или полаяться.

— Это вы чересчур хватили.

— Вы думаете — я пьян?

— Да нет. Сгущаете краски, как пишут в газетах. Очерняете.

— Побывали бы в моей шкуре, так запели бы другим голосом. — Силаев налил в стопки водки и выпил, не дожидаясь меня.

6

— Да, служба... Так вот, мало-помалу мы с Наташей и сближались. Надо вам сказать, что у Наташи была старшая сестра Оля, вся в мать — степенная, важная, обходительная. Она уже заметно полнела и была, как говорится, девкой на выданье. Работала она в лесной конторе не то плановиком, не то учетчиком каким-то. И вот мне сказали, что за Олей ухаживает Игорь Чесноков, чуть ли не начснаб завода. Он был моим ровесником. Когда-то мы с ним вместе учились в вечерней школе. А теперь ему пророчили чуть ли не пост замдиректора, и звали его в управлении не иначе как «наш Чеснок» или «Чесночок». А Марфа Николаевна души в нем не чаяла, даже за глаза называла его «они», а иногда с ласковой усмешечкой добавляла — «мой зятек». После возвращения на завод я с ним не виделся, да, откровенно говоря, и не старался увидеться.

И вот вдруг в нашем доме объявляется полный аврал. Игорь придет! Марфа Николаевна и Ольга протирали полы, окна, сменили занавески; а в большой комнате, где

стояла Олина кровать, надели новые чехлы на подушки, достали какое-то замысловатое покрывало, такое огромное, что его хватило бы три кровати накрыть. Заграничное, что ли? Скатерти накрахмаленные, с хрустом... Раму трюмо смазали деревянным маслом — блестит...

А Наташа все ходит, подсмеивается над матерью и сестрой и всякие уморительные рожи строит. «Женя, у нас, — говорит, — праздник — вознесение Чеснокова. Мама, а христосоваться будем?»

Наконец настал вечер. Сестры ушли в большую комнату наводить свои наряды. Дверь в мою комнату была приоткрыта, и я слышал их разговор. Наташа все подсмеивалась и задиралась. Оля отмалчивалась. Вдруг Наташа закричала:

— Ой, Оля, твой снабженец идет!.. Костюм новый, а на лице такая важность, ну — кот-обормот.

— Завидуешь? — равнодушно спросила Оля.

— Ха! — ответила Наташа. — Было бы чему! Не только позавидовала — отбила бы. Да он того не стоит: ему только подмигни — он и хвостом завиляет.

— Тебе, конечно, подай тигра с полосками на груди, — лениво отвечала Оля. На меня, должно быть, намекала.

Тут вошел Чесноков. Наташа стукнула мне в стенку, и я вышел. Мы поздоровались с Чесноковым как старые приятели. Я заметил, что он сильно изменился. Раньше он был худой, но жилистый; на заводе и в школе мы его прозвали «Репей». Цепкий он был. Бывало, станешь с ним бороться, вцепится в тебя — убей, не отпустит... Теперь он раздобрел, и даже его скуластое лицо стало круглым, как брюква.

Наташа подошла к нам, сделала удивленную мину и спрашивает меня:

— Вы знакомы с моим бывшим женихом?

Чесноков хоть и покраснел, но ответил с достоинством:

— Я в бывших еще не ходил.

— Ну так будешь! — задорно сказала Наташа.

— Хорошо, запиши на очередь, — отбрыкался тот. Ольга засмеялась, а мне, признаться, неловко стало. А Наташа уже схватила нас под руку и потащила на улицу: «Марш в парк!» А потом посмотрела на Чеснокова и говорит:

— Почему ты пыльник не надел?

— А зачем?

— Чтобы костюм не испачкать... — И снова хохочет.

В парке мы взяли по лодке и устроили гонки. Я не ожидал в Чеснокове встретить такого ловкого гребца. Мы долго носились по озеру почти наравне. Но я заметил протоку, свернул в нее и оторвался от Чеснокова.

Наташа была довольна больше меня. Она встала на носу лодки и начала кричать и размахивать руками. Но лодка наша уткнулась в берег, и Наташа упала прямо на меня. Тут я ее впервые поцеловал. Она снова притихла, посерьезнела, как тогда в комнате, и сказала шепотом:

— Я знала, что так будет.

И в тот момент, когда мы целовались да обнимались, Чесноков разогнал свою лодку и с ходу врезался в нашу. От сильного толчка мы чуть не вывалились в воду. Я обернулся и увидел Чеснокова; он был до того зол, лицо такое красное, что казалось, вот-вот волосы на его голове вспыхнут.

— Мы, кажется, вам помешали, — прошипел он. А Наташа смеется и говорит:

— Нисколько! Целуйтесь и вы за компанию.

— В советах не нуждаемся, — процедил сквозь зубы Чесноков, развернулся и яростно налег на весла. Я видел, что Ольга готова заплакать, и сам не понимал, в чем дело.

— Отчего такой злой Чесноков? — спросил я Наташу.

Она в ответ:

— Наверное, цепочку от часов потерял.

Вскоре мы позабыли и про Чеснокова, и про все на свете. Мы бродили по самым безлюдным местам парка до тех пор, пока сторожа не начали свистеть, выгонять загулявшихся. Мы уходили последними. Помню, подходим к мостику через протоку, Наташа вдруг сворачивает с дороги и мчится под откос. «Не хочу по мосту! — кричит. — Вброд, вплавь хочу!»

И прямо в босоножках по воде, а я за ней в ботинках... Вот так, служба.

Он налил в стаканчик водки и, не глядя на меня, выпил жадно, как пьют воду истомленные жаждой люди. Затем утерся рукавом фуфайки и продолжал:

— Домой возвратились мы за полночь. На веранде нам встретилась Ольга. Не помню, что-то я спросил у нее, но она только посмотрела на меня исподлобья и тотчас ушла в дом. Мы расстались с Наташей. В комнате мне показалось душно и тоскливо, я раскрыл окно. Спать я не мог, хотелось уйти и бродить, бродить всю ночь. Очевидно, и

Наташа испытывала то же самое, потому что я слышал, как хлопнула дверь ее комнаты, а потом раздались и ее шаги, как всегда быстрые, твердые. Она прошла на веранду и спрыгнула в сад. Я уж собрался выпрыгнуть к ней в окно, как вдруг услышал разговор и остолбенел. Это она говорила — и с кем же, с Чесноковым! Я отчетливо запомнил каждое слово.

Сначала Наташа испугалась:

— Ой, кто это?!

— Это я, Игорь, — ответил Чесноков.

— Что тебе нужно? Ты к сестре?

— Нет, я к тебе... Выслушай меня! — И он заговорил быстро, запинаясь: — Я не к Ольге ходил, а к тебе... то есть к ней для тебя... Понимаешь?

— Ничего не понимаю.

И он ей признался, что любит ее давно, но не решался открыться.

Тут, надо сказать, мне стоило больших трудов, чтобы не выпрыгнуть в окно и не дать ему в морду. Я аж задрожал весь, оперся на подоконник и ждал, что она ответит.

Вероятно, он ее схватил за руку и хотел поцеловать, потому что она резко крикнула: «Остынь!» — и засмеялась. Остудить она могла, уж это я знаю. И веришь, служба, у меня такое творилось на душе, будто я только что мину обезвредил. Я сел на подоконник и чуть не заревел от радости.

Чесноков вдруг перешел на «вы» и заговорил глухо:

— Я вас прошу только об одном: не торопитесь. Замужество не уйдет от вас...

— В подобных наставлениях не нуждаюсь, — ответила насмешливо Наташа.

Но Чесноков не сдавался:

— Я понимаю — ты сейчас увлечена и ослеплена. Но пройдет время — и ты поймешь... Кто он? Простой работяга, и только. А ты — видная, красивая.

— И мне больше подходишь ты? — насмешливо перебила она его.

А он все свое:

— Тебе жизнь другая предназначена... Широкая! Ты имеешь право...

— Я уж как-нибудь сама соображу, — опять перебила его Наташа, но уже не так насмешливо, а вроде бы как размышляя.

— Твое дело, — сказал Чесноков. — Но помни, что бы

ты ни решила, я все равно буду любить тебя и ждать.

— Ну что ж, ждите! — Наташа снова засмеялась и, немного помедля, добавила: — Ветра в поле.

Потом ее каблуки застучали по ступенькам крыльца.

— Спокойной ночи, — сказал тоскливо Чесноков.

— Спите спокойно, если можете, — ответила с крыльца Наташа.

Затем хлопнула дверь, и все смолкло.

7

Я всю ночь не спал. Да неужто, думаю, в самом деле есть какое-то различие в положении? Значит, я — работяга? А ты — фон-барон! Шалишь, дружок, уж тут я тебя с носом оставлю.

Я вспомнил, как мы, заводские подростки, занимались в вечерней школе. Время было предвоенное, веселое — то на футбол, то в кино, на учете каждая минута. А тут — собрание; ребят оповестить, взносы собрать... Кому поручить? Чеснокову. Маленький, верткий, он, как бесенок, так и шнырял по всем. Учился не блестяще, зато все разузнавал, со всеми был приятелем. За свое любопытство он часто получал по носу, но на него никто не злился: Репей свой в доску парень, его и побить не грех. А бывало где какое собрание — он уже начеку; головку закинет — кадык выщелкнется, как зоб у цыпленка, — и понесет: в ответ на происки империалистов и фашистов мы должны сплотить ряды, утроить энергию... Ну и всякое такое, что на собраниях талдычат. Тоже — способность! И вот его как активиста от молодежи в завком ввели. Когда же подошла наша очередь идти в армию, его оставили по брони. Пока я воевал да служил, он успел окончить какие-то снабженческие курсы, продвинулся по службе... И теперь вот дал понять Наташе, что он мне неровня.

Но в душе я над ним смеялся тогда. Я представлял себе, как он взбесится, когда узнает, что Наташа выходит за меня замуж. И я решил жениться как можно скорее.

Наташа мое предложение встретила с радостью, как ребенок, которому подарили новую игрушку. Она тотчас же рассказала всем об этом. Теща для приличия поохала, всплакнула даже, но свадьбу решили сыграть поскорее. И только Ольга не поздравила нас.

На свадьбу Чесноков был приглашен, но не пришел.

Ольга села за стол рядом с Наташей и ни с кем не разговаривала. Но когда закричали «горько» и мы стали с Наташей целоваться, Ольга вдруг встала из-за стола и вышла из дому. Немного погодя я вышел вслед за ней. Нашел я ее в саду; она стояла, опершись на яблоню, и плакала. Я подошел к ней, погладил ее по волосам и спросил:

— Что случилось, Оля?

Она с такой яростью на меня набросилась, что я растерялся.

— Пожалеть пришел? Непонятливым прикидывается! — зло выкрикивала она. — Вы, вы разбили мое счастье! И ты, и Наташа... оба вы хороши.

Я с минуту стоял, не двигаясь, пока она не вышла на улицу.

Дома за столом я сказал Наташе:

— Ольга плачет. Ты бы пошла, утешила ее.

— Пусть поплачет. Что ей сделается! — ответила беззаботно Наташа. — Она мне завидует... и злится, что Игорь бросил ее из-за меня...

Мой рассказчик снова налил машинально водки и выпил. Варя принесла нам красной икры. «Кушайте — своя», — потчевала она меня.

Икра была пересоленной — передержана в тузлуке, — икринки отскакивали одна от другой как дробь, и имели упругую, точно вулканизированную кожицу.

Закусив, Евгений продолжил свой рассказ, не обращая внимания на присутствие Вари.

— Любопытная это семья! Они друг друга не жалеют, не ласкают, при случае подсмеиваются и даже злорадствуют. Но зато как держатся вместе — не то что водой не разлить, не оторвешь их друг от друга. Не сразу я их раскусил.

Он закурил и помолчал с минуту.

— После смерти отца у них заготовкой сена для коровы занималась Ольга. Она и ордер на луга доставала, и там же в конторе договаривалась о покосе. А на этот раз она принесла ордер матери и сказала: «Косите как знаете, а на меня больше не рассчитывайте». Я-то не знал об этом до времени. Прихожу я однажды вечером с работы — на кухне обед меня ждет, ну просто праздничный: беляши, драчёны и даже водка. Наташа вокруг стола хлопочет, а Марфа Николаевна уселась возле окна и вяжет платок. «Эх, — ду-

маю, — теща у меня — дай бог каждому!» Выпил я, а теща этак исподволь начала разговор:

— Денечки-то жаркие стоят, цвегень с трав опадает. Теперь ее в самый раз косить: петров день на носу.

— Как я люблю сенокос! — сказала Наташа, присаживаясь к столу. — Бывало, папка брал отпуск на это время, и мы всей семьей сено косили. Просохнет — сгребаешь его, а оно горячее, душистое, как чай малиновый. А вечером вокруг костра песни петь. Или в копну заберешься спать... Хорошо!

— Вот чего не испытывал, — ответил я.

— А ты испытай, может, и не пожалеешь, — говорит теща.

— На заводском дворе не испытаешь.

— А если отпуск взять? — спрашивает Наташа.

Я рассмеялся:

— Кто же мне его сейчас даст? Я всего без году неделю работаю.

— А ты не по закону положенный отпуск проси, — подсказывает мне Наташа, — а так просто, двухнедельный отгул, без зарплаты.

— А чем питаться, божьей травкой?

— Ну, уж это, соколик, не твоя печаль, — говорит теща, — а мы-то на что?

— Действительно, Женя, бери! — стала упрашивать меня Наташа. — И мы поедем сено косить. У нас есть и ордер на луга.

Она сбегала в соседнюю комнату и положила передо мной розовую бумажку.

— Вот! Оля принесла. Сейчас самое время корм для коровы запасти.

Я все еще не мог понять толком, что к чему, и спросил:

— Да вы это серьезно?

— А что нам шутить! — весело сказала теща. — И дело нужное сделаем, и приятно на лугах-то молодым порезвиться.

— Вот чудаки! Да кто же меня отпустит с завода на сенокос. И как отпрашиваться? Совестно ведь!

— Ах, какой ты непонятливый! — с раздражением сказала Наташа. — Ты и не просись на сенокос. Ты проси отгул по семейным трудностям. Ну, там жена, что ли, заболела или мать. Мы можем достать справку. Или еще какое несчастье выдумай. Мало ли что!

Тут только до меня все дошло: и водка, и беляши, и

драчёны. Это я-то, главстаршина минзага, пойду канючить и вилять? Я посмотрел на Наташу как можно серьезнее и сказал внушительно:

— Нет, Наташа, так не пойдет. Ну, сама подумай: такой лоб и просит отгул — теща заболела. Смешно! Врать я не буду. И оставьте эту затею.

— А чем корову кормить? — спросила она.

— Ну, как-то выходили из положения.

— Нанимали косарей в лесхозе, — сказала теща.

— Ладно, я по вечерам буду ездить. Выкошу!

— На чем ты станешь ездить за сорок верст? Будет уж болтать-то.

— Ну, наймите косарей — я оплачу.

— Они просят тысячу рублей. Где ты ее возьмешь? — не сдавалась теща.

— Что вы от меня хотите?

— Подскажи, где выход? Может, корову продать? — спросила теща.

— Ну и продавайте!

— Так, так, умно рассудил, — заговорила теща, растягивая слова и качая головой. — Ну а на что же мы жить будем? Может, на твою зарплату? И оденемся, обуемся на твои гроши?

Надо сказать, что зарабатывал я в первые месяцы что-то около восьмисот рублей. Такой ехидный вопрос тещи застал меня врасплох, и я сказал первое, что пришло в голову:

— Наташа тоже будет работать. Все-таки она десятилетку окончила.

Теща даже вязанье отложила, услыхав такое.

— Хорош муженек, — сказала она с презрением. — Не успел еще и пожить с молодой женой, как на работу ее гонишь. А что она заработает? Каких-нибудь четыре сотни. Да я на молоке да на картошке больше возьму вдвое! Нет уж, пусть лучше дома сидит да мне помогает.

— Ну, а я врать да выкручиваться из-за этой торговли молоком не буду! — сказал я в сердцах, вставая из-за стола.

— Спасибо, зятек, на добром слове! — Теща тоже встала.

— Женя, ты думаешь, что говоришь? — набросилась на меня Наташа. — Зима подходит, а у меня даже шубы нет. Или ты хочешь, чтобы твоя жена в драном пальто ходила?

Я тоже распалился, водка заиграла во мне.

— А ты что хочешь?! — крикнул я, озлясь. — Чтоб я за шубу совесть свою продал!

Наташа вдруг расплакалась, упала мне на грудь и стала просить прощения. Зато теща разгневалась еще пуще.

— Ах, вот оно что! — сказала она, прищуриваясь. — Ну, голубки, милуйтесь как вам вздумается. Но с нынешнего дня садитесь на свой харч и живите как хотите. Вы честные, а мы нет. Гусь свинье не товарищ.

Она не вышла, а выплыла из кухни, даже не обернувшись.

— Пусть, пусть, — всхлипывала Наташа. — Я все равно тебя люблю... Правильно делаешь, так надо.

Потом она вытерла, как маленькая, кулаком слезы и сказала, улыбаясь:

— Похожу и без шубы. Наплевать!

Это была моя первая победа над тещей и над самой Наташей. Да какое там победа! Теща объявила мне открытую войну. Она со мной не здоровалась, не разговаривала; если я заставал ее в кухне, она тотчас уходила. Каждый месяц она высчитывала с меня за молоко и за картошку. А заработки у меня в это время, как назло, были низкие. Заказы шли разнокалиберные, мелочь всякая, восемьсот рублей было моим пределом. Жить можно, конечно, но не жирно. А Наташе и горюшка мало. Она ничего не просила, но зато как у нее разгорались глаза, когда мы заходили в универмаг в отдел платья или обуви. В такие минуты я про себя клял свою слесарную профессию и завидовал хорошо зарабатывающим токарям. Впору хоть переучиваться.

— Неужели из-за этой вспышки, из-за одного только скандала у вас так надолго разладилось с тещей? — спросил я Силаева.

— Дело не в скандале... Теща поняла, что они сделали ставку не на ту лошадь. Чесноков-то под боком был, повышение получил и все холостым оставался. Соблазн ходил за тещей по пятам и душу ей бередил. Да и не ей одной. А я был самоуверенный и глупый.

Он закурил и задумался, глядя за борт.

— Как это у нас все вразнотык получается? — встряхнулся он и требовательно посмотрел на меня. — Вот в ваших газетах и в книгах пишут, что главное — это успех на производстве. Значит, вкалывай без оглядки — и тебе обеспечен почет. — Он усмехнулся и головой покачал: — За-

бывают при этом сказать, что к полному счастью еще и приварок нужен. Так что у нас есть почет голый и почет с приварком.

— Что это за приварок?

— Сам, поди, знаешь. У начальства кроме оклада всякие привилегии, а у работяг — выгодные заказы, а там ордерок на квартиру, или путевочка на курорт, или товары какие... по твердой цене со скидкой за счет профкома. Ага! Другие не ждут милости божьей и сами себе приварок добывают, вроде моей тещи. А я на голом энтузиазме жил: ну как же! Я — почетный минер и слесарь-наладчик с довоенным стажем.

— И теще надо помогать... Ей же не легко доставались эти молочные рубли, — сказал я.

— Я помогал... И сено копнить ездил. И привез его, переметал на поветь. Дрова доставал, пилил, колол. Помогал... Да хрен ли толку в моей помощи? Я потерял в ее глазах уважение. Плевала она на мой рабочий почет без приварка. А главное — я перебежал дорогу более выгодному зятю — Чеснокову. Ей-то все равно было — на ком он хотел жениться, на Ольге или на Наташе, но из-за меня не женился ни на той, ни на другой. Вот досада...

8

Мы решили, что Наташа поступит на работу. И вот тут снова выплыл Чесноков. Впрочем, как я потом догадался, он ухаживал за Наташей и после свадьбы. Он стал начальником отдела и теперь часто проезжал на «Победе» мимо нашего дома, заговаривал с тещей, но к нам не заходил.

Однажды иду на работу и вижу, как теща вылезает из его машины возле рынка. О чем-то, думаю, все договариваются. И я узнал об этом вечером.

Принес я в тот вечер аванс, рублей триста пятьдесят, кажется. Наташа быстро пересчитала деньги и сказала, вздохнув:

— Маме надо за молоко заплатить.

Она отошла к окну и задумалась, глядя в сад. Вид у нее был очень грустный. Я подошел к ней, стал гладить ее по волосам и утешать.

— А ты не грусти, — говорю. — Вот в будущем году цех перейдет на новый поточный метод. Буду лучше зарабатывать.

— Глупый, я не об этом, — сказала она ласково. — У нас будет ребенок, я это давно чувствую.

И знаете, служба, во мне аж все зазвенело, как на палубе торпедного катера на полном ходу. Я поднял ее на руки, закружился, но в дверь постучали, и вошла Марфа Николаевна со свертком. Она села возле столика, мы на койке, напротив.

— Кажется, зарплату получили? — спросила теща, глядя на деньги.

— Да, мама, мы тебе должны, — сказала Наташа и, отсчитав, подала матери деньги.

Теща спрятала деньги в карман юбки и сказала:

— А я давеча иду на рынок. Вдруг нагоняет меня на улице в машине... И кто бы вы думали? Да Игорь Чесноков! Уж такой любезный молодой человек. Подвез меня.

— А я сегодня купаться ходила, — невпопад сказала Наташа и покраснела.

Но теща словно не замечала этого.

— А еще он просил меня передать тебе, что место машинистки у него свободное.

Я насторожился, а Наташа отвернулась.

— Меня это не касается, — сказала она.

— Как это не касается! — оживилась теща. — Ведь он же говорил с тобой в саду, ты обещала, а теперь...

Наташа крепится изо всех сил, вот-вот заплачет. Тут я и сорвался. Я понимал, что Наташа виделась с Чесноковым, и все во мне закипело. Но ведь вот дело-то какое: злился я не на Наташу, а на тещу.

— Вы зачем пришли, за деньгами?! — крикнул я теще.

— А ты, соколик, не кричи. Тебя здесь никто не боится, — ответила она с вызовом. — Ишь ты какой прыткий! А вот я зачем пришла! — она разворачивает сверток и подает Наташе красивое шелковое платье. — Получай, доча, от меня!

— Ой, мамочка, какая прелесть! — сказала Наташа сквозь слезы, схватила платье, поцеловала мать и уже в дверях крикнула мне: — Я сейчас! Переоденусь только...

Теща встала из-за стола, посмотрела на меня победоносно и изрекла:

— Если сам не можешь покупать жене, так хоть другим не мешай это делать, — и ушла, сильно хлопнув дверью.

Я ударом раскрыл створки окна, стиснул зубы и заметался по комнате как ужаленный. И вот представьте се-

бе: раскрывается дверь и передо мной сияющая счастливая Наташа в красивом новом платье.

— Ну, как, хорошо? Смотри! — И она закружилась передо мною, как волчок. А я ни с места, словно меня кувалдой по голове стукнули.

— Что с тобой? — спросила она вдруг, остановившись. — На тебе лица нет!

Я взял ее за руки, притянул к себе и сказал, глядя в упор в лицо:

— Давай уйдем отсюда, уйдем поскорее...

Видно, у меня был нелепый вид, потому что она испугалась и растерянно спрашивала:

— Что с тобой? Куда уйти? Я тебя не понимаю.

— Уйдем на квартиру, в другое место куда-нибудь, хоть к дьяволу!

Она жалко улыбнулась.

— Что ты, Женя, уйти от матери?! Ведь это же — позор. Нас все знают здесь.

— Пойми ты, я не могу больше здесь жить, не могу.

Она обняла меня и заговорила быстро, таким испуганным тоном, почти шепотом:

— Зачем ты так? Не надо, не надо... Ведь мама для нас старается... Она добрая. Видишь, платье купила! А деньги с нас берет? — так это для нас же...

— Мы ей не нужны, — говорю. — Мы, то есть я и ты вместе, семья наша, не по душе ей. Пойми ты!

А она в слезы:

— Нельзя так о матери говорить. Нельзя злиться друг на друга. Вы меня мучаете. Помирись с матерью! Я тебя умоляю: помирись!

— Ну как я могу помириться с ней, если она и говорить-то со мной не желает? Все с издевкой, с подковыркой, все побольнее задеть меня старается. Я для нее просто бедный родственник, которого терпят из милости.

— А тебе-то что, как на тебя смотрят да как о тебе думают? Лишь бы в лицо не говорили гадостей. Мама всегда вежливо говорит, а ты задираешься.

О бог ты мой! Я и виноватым оказался. Шумели мы, шумели, так и не договорились. Ей все казалось, что я из гордости не хочу уступить матери, а я пытался доказать ей, что не могу лгать и притворяться. Но она не понимала этого, просто не могла понять — отчего это нельзя из-за уважения к близкому человеку говорить не то, что думаешь. Так и заснула, всхлипывая, как обиженный ребенок.

9

В эту ночь я не спал. Я понял, что жить мне больше так нельзя. Куда же податься? На квартиру? — Наташа не пойдет. Уйти одному — тоже нельзя. Люблю я ее! А там еще и ребенок появится. Разве я их оставлю? Вот тогда я и надумал уехать куда-нибудь подальше.

Но легко сказать: уехать куда подальше. Как уехать? Чего делать? Где пристроиться? На судно податься? Уйти в плаванье матросом? Ну и что? Заработаешь немного денег, но вернешься сюда же. Какой толк?

Помнится, как раз в то время у нас в городе вербовали в лесную промышленность на Дальний Восток. Афишу расклеили. На ней был нарисован маленький домик в лесу, такой терем-теремок... Между прочим, там говорилось, что рабочим выдается ссуда в пятнадцать тысяч на строительство собственного дома или представляется готовая квартира. Выбирай, что лучше.

А я, служба, еще с детства полюбил лес. Дед мой лесником был. Каждое лето я проводил у него на кордоне, возле Оки. И все эдак складывалось одно к одному: днем лесную афишу увидел, вечером с тещей поругался, а ночью деда вспомнил и жизнь на его кордоне. Ну и размечтался...

В летнюю пору мы с ним, бывало, то на волчьи мари ходили, то порубщиков гоняли. В лесу, Енька, и волк, и порубщик — одной веревочкой связаны, говаривал он, одно слово — хищники. Не дать им окорота — без леса и без зверья останемся. А наше дело, говорит, охранять живые твари. У него и дерево вроде живую душу имело. Все, мол, дадено на радость. И лес пилить с умом надо, выбирать то, что созрело, отжило свое да то, что других теснит, росту не дает. Дед у меня был грамотный, книжки любил читать. Лес, говорит, беречь надо, он человеку душу врачует. Не будь леса — озверели бы все да перегрызлись. Ты гляди, что в степи творилось? То печенеги, то половцы, то нагайцы, то татаре. Поедом друг друга ели. Отчего, говорит, ордынцы так лютовали? Оттого, что по голой земле рыскали. И государство ихнее развалилось от этого. А Русь в лесах сохранилась, от лесу и сила у нее. Вот и потянуло меня в лес, в далекую тайгу.

Утром начал я Наташу уговаривать. Чего, мол, дома сидеть! Стал ей описывать красоту таежной жизни: про всякие там утесы говорил ей, про изюбрей, про соболиные шапочки, ну, словом, про все такое заманчивое. И надо

сказать, к моему удивлению, она быстро согласилась. Больше всего ей понравился домик в тайге. «Я буду настоящей лесной хозяйкой, — говорила она, — как в сказке!» Да и мне, по правде сказать, немножко посказочному представлялось. Я думал, что в таежном крае не ценят человека по шелковым платьям и котиковым шубам.

Вот так я и подался, служба. Да разве один я такой? Сколько их едет сюда, в таежную глухомань, за счастьем! — закончил он, нахмурившись.

Он разлил оставшуюся водку по стаканам, выбросил бутылку за борт и своими дрожащими руками стал отдирать кусочки юколы и складывал их, словно щепки, в кучку.

— Ну, покончим с этим, — сказал он, поднимая стакан.

Мы выпили. Варя собрала хлеб, рыбу, завернула стаканы в тряпки и ушла под тент. Мы снова остались одни.

Ни рассказ, ни выпитая водка не меняли печальной сосредоточенности на его лице, и только по тому, как все суше и резче блестели его глаза, я догадывался о том, что он волнуется. Он пересел с низкого борта прямо на железную палубу и начал рассказывать, уставившись мне в лицо. Признаюсь, что мне было несколько неловко под его тяжелым неподвижным взглядом.

— Вот так я и уехал в Хабаровск. Уехал сначала один.

— Почему же один? — перебил я его с досадой.

Он улыбнулся.

— Я понимаю, что вы имеете в виду, — отвечал он. — Нельзя оставлять Наташу в одном городе вместе с Чесноковым, так? Но, во-первых, она была в положении, вовторых, я ей верил, а в-третьих, я ведь не простым рабочим в лес решил поехать, а предварительно поучиться на мастера. Мне хотелось доказать и ей, и теще, и себе, что я умею добиваться кое-чего. Да и что греха таить, я надеялся на хорошие заработки. Почти год проучился я и курсы мастеров окончил на «отлично». Да, вот мой аттестат. — Он полез за пазуху, достал аккуратно завернутый в тряпицу аттестат в форме книжицы и протянул его мне: — Посмотрите!

Я раскрыл аттестат и пробежал глазами по довольно длинному столбику отличных оценок. Он снова тщательно обернул аттестат тряпкой и положил его в боковой карман.

— Ну и представьте себе мою радость, — продолжал Силаев, — когда я наконец встречаю на вокзале жену и ребенка. Подошел поезд, и вдруг я вижу ее в окне вагона. Окно открыто, она стоит в нем — ну, как в рамке на портрете. Да такая белая, пополневшая, красивая, что и сказать нельзя. Вместо того чтобы бежать в вагон, я стою и любуюсь ею... Так, в раскрытое окно, она мне и ребенка подала, потом чемодан, который подхватил шофер. Но когда она вышла из вагона, поцеловала меня, взяла под руку и мы пошли через вокзальную площадь, я будто и вовсе с ума сошел от счастья. Иду и улыбаюсь во всю физиономию, как Иван-дурак.

Из леспромхоза мне дали грузовик. Я посадил жену в кабину, сам сел в кузов, и поехали прямо в тайгу на участок, километров за двести пятьдесят.

Стоял август месяц. Вы же знаете нашу тайгу. Кому она не понравится! Все в ней так заманчиво, необычно, непонятно... То стелется понизу виноградная завеса, сквозь которую и солнце не пробивается; то вымахнет кедр, которому все деревья кажутся по плечо; то вдруг блеснет сквозь листья, засинеет укромная протока, да так и потянет к себе... И все это шепчется, шумит, пересвистывается. И во всем этом плавает, сквозит синий дремотный воздух. Хорошо!

Мы несколько часов ехали по таежной дороге, часто останавливались, пили родниковую воду с привкусом хвои. Сначала сам попью, на лицо побрызгаю, на голову. Потом Наташу заставляю: «Теперь ты испей. Причастись. Не то лес не примет». И я замечал, что Наташа была очень довольна. Но радовалась она тихо, задумчиво и все улыбалась так мягко, совсем по-новому. «Изменилась она к лучшему», — думал я и тоже радовался.

Сперва мы заехали в леспромхоз. Контора была в длинном приземистом здании, похожем на барак. Странное дело! Сколько я потом ни ездил по здешним местам — все леспромхозовские поселки на одно лицо: то конторы, похожие на бараки, то бараки, похожие на конторы, щелястые стены, грязные полы, окна без наличников, и двери не притворяются. И всюду валяются бочки железные, ломаные стальные рамы, обрывки тросов, старые автомобильные скаты, и лужи, и непролазная грязь посреди улицы.

И бревна везде... И на бревнах возле конторы всегда сидят оборванцы, вроде меня теперешнего, и судачат.

Так и в тот раз. Идем мы с Наташей в контору сквозь

строй зевак, а шофер наш поотстал. «Кого это ты привез?» — спрашивают его. «Новенького». И потом ехидный голосок: «Олень идет на солонцы семейством, по глупости. А медведь прет в одиночку. Хе-хе!»

Принял нас сам директор. Директор нам показался очень любезным и заботливым. Усадил нас в своем кабинете в кресла, все рассказывал, как он лет двадцать назад работал в этом леспромхозе простым сплавщиком, и все шутил, что, мол, вы через столько лет, пожалуй, трестом будете управлять. Надо сказать, что на бывшего рабочего он мало походил: полный, благообразный, с мягкими, как подушечки, руками, он скорее смахивал на бухгалтера.

— Значит, семьей приехали? — спрашивал он, потирая руки. — Это — хорошо. Вам повезло, товарищ Силаев. Я вас направлю на лесопункт Редькина. Это довольно далеко. Но зато там — природа! Загляденье.

— Как с жильем там? — спросил я.

— Все в порядке... Все как полагается. Теперь что? Теперь благодать! Вот мы труднее начинали: палатки — и все. Бараки некогда рубить было — план выполняли. Так что жмите на всю железку! — говорил директор, а сам смотрел куда-то в окно.

— И домик зеленый будет? — весело спросила Наташа.

— Какой хочешь. В любую краску выкрасим. — Директор пожал нам на прощание руки и проводил до крыльца.

Потом между собой мы всю дорогу обсуждали, какой он хороший, обходительный человек.

10

Дальше мы ехали дня два на тракторе, потом по узкоколейке, потом по реке до озера и по озеру и еще по другой реке километров двадцать на моторной лодке. Словом, как на край света на перекладных ездили раньше. Но чем дальше, тем места шли все красивее, и Наташа была даже довольна, что мы едем на самый дальний лесопункт.

Наконец лодка наша приткнулась к берегу под штабелем бревен, вроде того, от которого мы сегодня отчалили.

— Слезай, приехали, — говорит моторист.

Мы вышли на берег. Под бревенчатым штабелем сидел парень в гимнастерке. Он подошел к нам и спросил:

— Вы мастер Силаев?

— Да, я — Силаев, — отвечаю.

— Пойдемте, я вам покажу жилье.

— А начальника лесопункта разве нет? — спросил я.
— Уехал куда-то, — ответил лениво парень. — Вот мне приказал отвести вас в барак.
— То есть как в барак? — удивился я. — Нам квартира положена, домик.
— Сам директор нас заверил, — вмешалась Наташа.
— Может, вас-то и заверили, да мне приказано вас в барак отвести.
— Здесь какое-то недоразумение, — сказал я Наташе. — Ведь вербованным министерство дает ссуду...
— Ну правильно, — усмехнулся парень. — Бери эту ссуду и живи в ней. Ну, пошли, пошли, мне некогда стоять с вами тут!
Он пошел вразвалочку к серому облупленному бараку, а мы двинулись за ним по дощатым хлюпающим мосткам; а по сторонам грязища, бревна валяются и старые какие-то, оголенные и ободранные пни с обрубленными корнями, словно лесные чудища с растопыренными руками, и дырявые заборчики вдоль огородов. Картина что надо. Во сне приснится — и то испугаешься, подумаешь, что в царство Бабы Яги попал. Это я теперь ко всему привык, а тогда меня покоробило.
И все у меня в памяти встало: и как Наташа в дороге радовалась, и как директор нас обласкал, и я никак не мог уяснить себе, что все это значит? Наташа шла молча и только часто смотрела на меня так тревожно и растерянно.
Вошли в барак, осмотрелись: комнатка маленькая, грязная, шершавый пол из неструганых досок, выбитые стекла, ну и все в таком духе... Сквозь щели дощатой перегородки из соседней комнаты смотрела на нас с любопытством девочка лет шести, дочка кузнеца, вдового. Говорит: «Здравствуйте, тетенька!»
В другой соседней комнате кто-то стучал ведрами, а из третьего или четвертого отсека кто-то кричал: «Да не крути ты головой, сатана, макушку порежу!» Видать, кого-то стригли. Словом, все звуки слышны, как на улице.
Наташа эдак робко спрашивает рабочего:
— И надолго нас сюда?
— А уж этого я не знаю, — отвечает тот. — Мое дело маленькое — привести и показать. — И ушел.
Мне стало так стыдно, будто я ее обманул в чем, и и не мог, понимаете, в глаза ей смотреть. Я начал с фальшивой бодростью насвистывать и разбирать вещи.

— Ну, это ничего для временного жилья, — говорю, — все же лучше, чем в палатке. А щели занавесим.

— Да, конечно, — отвечает Наташа, потом посмотрела на девочку, стоящую за перегородкой, и отошла к окну. А у самой слезы — кап, кап...

— Да ты что? Эх ты, глупая! — утешаю я ее. — Это же — временная трудность. Хочешь — я сегодня все устрою!

— Нет, не надо, — говорит она. — Я же все понимаю. Ты — хороший... — А сама еще сильнее плачет.

И эти слова — «ты хороший», и слезы — меня как ножом по сердцу.

Вышел я, помню, из барака злой и решительный. «Ну, — думаю, — держись, начальник!»

Разыскал контору, вваливаюсь и спрашиваю сердито:

— Кто здесь Редькин?

И встает мне навстречу из-за стола такой маленький, худенький мужичонка и говорит, ухмыляясь:

— Ого, какой сердитый! Новый мастер, если не ошибаюсь? — И так с усмешечкой осмотрел меня. — Ничего, — говорит, — подходящий.

И только потом сказал, что начальник-то и есть он самый.

— Ну, расположились?

— Я приехал не располагаться, как цыган, а жить по-человечески!

А Редькин все так же тихо и насмешливо:

— Живите на здоровье!

Лесорубы, сидевшие в конторе, засмеялись.

Я же долдонил, точно глухарь, про свое:

— А что квартира, достраивается?

Он опять хитровато усмехнулся и сказал:

— Скоро начнем сруб рубить.

Тут я уж совсем вышел из терпения и заорал:

— Где же мне зимовать?

А он и ухом не повел, будто не расслышал меня.

— Там, — говорит, — в бараке вас десять семей, за компанию весело будет. Зимой дров не жалейте, лес рядом.

— Меня же директор заверил, что здесь все готово, — не сдавался я.

— У него, мил человек, такая обязанность.

— Но ведь для нас же средства отпущены. Министерство платит! Почему же вы не строите дома?

Но он осадил меня своим тихим насмешливым голоском, да так, что мне стыдно стало:

— А кем строить-то, милый? Ведь у меня каждый рабочий — это плановая единица. Он должен план лесозаготовок выполнять, а не дома для мастеров строить. Ведь если я не выполню плана, с меня штаны снимут, и с тебя за компанию. Понял?

Но я продолжал спорить, скорее из упрямства:

— По-моему, рабочий — не плановая единица, а человек.

Он отмахнулся от меня, как от комара:

— Не надо мне политграмоту читать. — Сморщил свое маленькое лицо и взял меня за пуговицу рубахи. —Я тебе вот что лучше скажу: первую зиму я жил здесь в палатке. И ничего, как видишь. Но я, между прочим, не начинал со строительства дома для себя, а с выполнения плана. Однако я вас не виню: подход к делу бывает разный. Так что сегодня даю вам день на домашнее устройство, а завтра прошу приступить к работе.

11

Крепко он меня осадил. И что мы за народ? Вроде бы и неробкого десятка: случись какое несчастье — или там подраться, или дело какое опасное взять на себя, или воевать, или авария где произойдет — в огонь и в воду ледяную лезем. А за себя же заступиться, права свои отстоять, взять свое, что тебе наркомом положено, как на флоте говорят, вроде бы и стесняемся. Вроде бы нам и неловко чего-то. И стыдно даже. Подсунут тебе голую фразу: твое личное, мол, дороже общественного. Шкурные интересы! И ты сразу скис. Это еще ладно. А то яриться начинаешь на самого же себя. Так и со мной было.

Шел я из конторы и думал: как же это я не заметил, что омещанился! Мне, потомственному рабочему — и начинать разговор не с работы, а с квартиры, с ругани! Уперся я рылом в бытовое корыто, вот в чем суть. А я думал, что тещу победил. Нет, она меня одолела: прилипла ко мне ее расчетливость, как репей, и по миру за мной пошла. И я стал противен самому себе, и мне трудно было заходить домой: что я скажу Наташе? Утешать ее, врать, что все будет хорошо, то есть получим дом, я не мог. Убеждать ее в том, что главное жизнь не в удобстве, а в труде, и все такое прочее?.. Но зачем? Разве она сделала

мне хоть один упрек за этот барак? Я вспомнил, как она испуганно и растерянно умолкла, когда рабочий вел нас к бараку. Я видел, как она глотала слезы в комнате и шептала мне: «Ты — хороший», точно извинялась передо мной за свою слабость. Ну что я ей скажу?

Прихожу, а та комната вроде бы уж и не та; теперь она прибрана, и словно все повеселело: на окнах занавесочки, кровать под голубым покрывалом, над кроватью висит картина «Неизвестной» Крамского, из «Огонька» вырезала, и то место в дощатой перегородке, где были большие щели, завешено ковриком.

Наташа возле порога сидит на скамеечке и расчесывает и прихорашивает ту самую девочку, которая смотрела в щель сквозь перегородку. А рядом тазик с водой, где вымыта была эта девочка. И ребеночек наш спит посреди кровати.

— Молодец, — говорю, — Наталья. Сейчас я кроватку для Люськи сматерью. — А про то, что Редькин сказал, и не заикаюсь. И она молчит. Каждый свое делаем и молчим.

Под вечер уже с улицы донеслось хриплое пение: «Кэ-эк умру я, умру ды пыхаронят меня...» Потом кто-то загрохал сапогами по коридору, и в дверях наших появилась волосатая личность в расстегнутом пиджаке и в замызганной рубахе. Это был наш сосед кузнец Сергованцев. Ухватился руками за косяк и любезно эдак осклабился:

— А, соседушек бог послал! Добро пожаловать к нашему шалашу.

А дочка подбежала к нему и дернула его за полу. Он ажно удивился:

— Дочка! Кто же тебя так убрал-то? — И вроде бы протрезвел в минуту. Присел у порога на пол, стал гладить ее по голове и приговаривать: — Пожалели тебя, значит. Эх ты, моя сирота-сиротинушка! Вы уж извините за беспокойство. Мать схоронили, вот она и прибивается, как ярочка к чужому табуну.

— А что с ней? — спросила Наташа.

— Аппендицит! Хватились поздно. Везти на операцию, а дороги нет. Пока на этой чертовой волокуше везли — она и скончалась.

Кузнец ушел, а я снова за свои раздумья. Все мои мысли как бы разбились на две группы. Первая кричала: «Ты омещанился! Ты поддался бытовой трудности!» А вторая

спрашивала:«А в чем виновата жена? Разве она в этот барак ехала?»

— Но ведь бывают же временные трудности? — перебил я Силаева.

— Вот, вот! — с живостью подхватил он. — Я тогда точно так и думал. Мол, какого черта в самом деле — это же временная трудность! Очень удобный сучок, за который мы часто хватаемся. Но подо мной он тогда сразу обломился. Для директора леспромхоза и для вас — это все временные трудности. А для кузнеца Серговanцева какие ж это временные, когда из-за них он жену свою похоронил? Дочь его на всю жизнь сиротой осталась!

Он машинально протянул руку к тому месту, где стояла водка и, не найдя ничего, смущенно кашлянул, затем взял папиросу и долго, молча курил, опершись подбородком на колени.

— Может, вам не интересно все, что я рассказываю? — спросил он раздумчиво, не глядя на меня.

— Нет, почему же? Рассказывайте, пожалуйста, — попросил я его.

— Ну, хорошо, я постараюсь покороче, — сказал он, поднимая голову. — С этого же дня захандрила моя Наташа. Правда, вечером нас позвали в гости. Пришел тот самый парень, который в барак нас провожал, Елкин по фамилии. Я из-за этого парня потом в скверную историю попал. А в тот вечер приходит он, зовет в гости. Говорит, начальник за вами послал. Нынче получка, план перевыполнили. Прогрессивка! У Ефименко собрались. Без вас, мол, не начнем. И чтоб с женой приходил.

Я смотрю на Наташу, она же только плечами пожимает, и на лице такая обида: сунули, мол, в этот барак, да еще веселись с ними за компанию. Но ответила чинно-благородно: «Спасибо! Но у меня ребенок. Куда я от него?»

А тут опять появился кузнец Серговanцев, видно, слыхал наш разговор: «Познакомиться надо, — говорит. — Да и выпить не грех с дороги-то. Ефименко у нас передовой. А насчет ребеночка не беспокойтесь: Манька возле него посидит. А заплачет — я ему соску дам».

Ну и пошли мы к Ефименко. Дом у него большой, пятистенный, с подворьем, сараем, с тесовыми воротами. У порога встретил нас сам хозяин, такой плотный подвижный мужик, лицо еще свежее, крепкое, а волосы седые. И

хозяйка ему под стать: широкоплечая, сильная, а на лице такая тишь да благодать и полная покорность.

— В горенку пожалуйте, в горенку, — приглашали они нас в два голоса.

За нами сунулся было и Елкин. Но хозяин поймал его за шиворот у порога и сказал ему:

— А ты ступай в избу!

И потом жене:

— Настасья, налей ему водки!

А сам с нами вошел в горницу. Там за накрытым столом уже сидели Редькин и хмурый чернявый мужчина лет под сорок. Это был бригадир грузчиков Анисимов.

— Новый мастер! — представил меня Редькин.

Анисимов подал мне руку и усмехнулся:

— А я старый бригадир. — И, эдак хитровато щурясь, спросил Наташу: — Ну как, нравится вам дом-то? — и руками развел.

Наталья впервой за день улыбнулась. Нравится, говорит.

А Редькин уже в рюмки водки налил — и первый тост за хозяина, за его золотые руки. А Ефименко тотчас ответил:

— И за нашу голову. За вас, Николай Митрофаныч! Эх, голова да руки — не помрешь со скуки.

Ну, выпиваем, разговоры ведем, а Редькин все мне Ефименко нахваливает:

— Бригадир у нас что надо: и работает как черт, и жить умеет.

И как бы между прочим Наташу спросил:

— Как наши места, понравились?

— Красиво! — ответила она. — И река волшебная, и лес.

А Редькин засмеялся, подмигивая мне:

— Если смотреть не из окна барака!

А Наталья смутилась и покраснела.

— Ничего, это все временно, — ласково сказал ей Редькин. — Чего-нибудь сообразим. Не то я боюсь вашего супруга. Ух, как он налетел на меня нынче! И вам не бывает с ним страшно?

Она рассмеялась и сказала, что я у нее ручной медведь.

— Да из-за чего беспокоиться? Из-за дома? — спрашивал все, наваливаясь грудью на стол, Ефименко. — Экая невидаль! Вот они — хоромы! — и разводил руками. —

Сам срубил. И вам срубим. Уж постараемся для мастера. С нами, брат, не пропадешь.

Ну и все в таком духе разговоры шли. Потом кто-то гармонь принес, я сыграл «Глухой неведомой тайгою». Все дружно пели и меня хвалили: мастер, мол, он и за столом мастер. Что петь, что играть...

Словом, друзьями расстались. И Наташа вроде повеселела. Да недолго была благодать, — как поется в старой песне.

На другой день в конторе лесопункта Редькин по карте показал мне границы моего участка, где лесосеки, где лесной склад и все такое прочее. И опять напомнил:

— Имей в виду, бригада Ефименко — передовая, вымпел по леспромхозу держит.

— А где живут рабочие? — спросил я.

— У Ефименко в домах, у Анисимова в бараках.

— Почему такая разница?

— Кто как умеет... Вкусы у людей разные, — усмехнулся Редькин и эдак прищуркой, как в первый день, поглядел на меня.

Ладно, думаю про себя, разберемся.

А бригада у Ефименко и в самом деле была передовая, и народ в ней подобрался крепкий, все из «старичков». «Старичками» у нас называли старожилов поселка. И занималась эта бригада валкой леса. Эти вальщики держались годами. Зато грузчики и раскряжевщики сплошь состояли из вербованных, которые работали не больше одного сезона или от силы двух. Помню, мне бросилась в глаза разница между теми и другими. Вальщики имели огороды почти по гектару, луга, скотину. А грузчики жили скопом в бараке. И вот я с горячей головы решил уравнять, так сказать, условия.

12

Пришел я, помню, на лесосеку Ефименко, посмотрел — и ахнул. Повалены деревья как бог на душу положит. Да на выборку, помощнее! Упадет кедр — и десяти ясеням да ильмам макушки посшибает. А потянет его трактор, и словно утюгом весь молодняк под корень сносит. И захламлено все — ноги не протащишь. Здесь, думаю, и за полвека ничего не вырастет. Да что ж это мы, в чужом лесу, что ли, орудуем? Смотрю — нет ни одного вальщика. Только трактора ползают, вытягивают хлысты к лежневке. Подошел я

к одному трактористу и кричу: «Где Ефименко?» Тот сплюнул в мою сторону. «Да пропади он пропадом, — отвечает. — Ему лишь бы план выполнить, а после него хоть надорвись тут».

Куда они могли уйти, думаю, может, на лесном складе?

Зашел я сначала в бригадный барак. Ну, брат, обстановочка! Стены дымом прокопчены, в два ряда койки стоят, на которых где постель, а где голый матрац с пиджаком. В конце барака стоял длинный дощатый стол. В одном углу печь с вмазанными в нее двумя котлами для варки пищи, в другом углу чуланчик, в котором, как я потом выяснил, жила Варя. За столом сидел в черной расстегнутой рубахе Анисимов и пил очень крепкий чай, с похмелья. Варя возилась возле котлов.

Поздоровались. Анисимов эдак руками обвел и сказал:

— Это все наше. Жилье.

А я ему со смехом:

— Гостиница «Приют комара».

Он пробурчал:

— Для нас тоже. — Потом подозвал Варю. — Знакомься, — говорит, — это наш завхоз, общий товарищ, так сказать.

Варя поздоровалась со мной за руку, но перед этим так усердно терла о фартук свою ладонь, что Анисимов рассмеялся:

— Кожу не сдери, Варька!

А я спросил:

— Что значит «общий товарищ»?

Варя вдруг покраснела и отвернулась к котлам. Анисимов удивленно пожевал губами и сказал:

— Нас тут мужиков много, а она одна у нас... Ну и, понятное дело, зовем, значит. — Он покосился на Варю, загремевшую ведрами, и добавил: — В общем — это все наше языкоблудство. Так что вы не думайте насчет чего иного.

От Анисимова я узнал, что бригада Ефименко выполнила еще вчера недельную норму, сэкономила два дня, и что теперь все вальщики разъехались за сеном по берегам озера.

«Что ж это получается? — думал я. — Одни пятистенные дома отгрохали, коров да свиней разводят, а другие в бараках вповалку спят. Ну нет, так не пойдет...» И такая решительность у меня появилась, такая злость. «Ну, — думаю, — пусть я в бараке зимовать буду, но рабочим выстрою жилье перед носом твоим, товарищ Редькин».

— Женатые есть среди вас? — спрашиваю.

— Есть, — отвечает Анисимов. — Да семьи некуда вызывать — сам видишь.

— А почему не строите свои дома, как у Ефименко? Ссуды всем дают одинаковые.

— А зачем мне этот дом? Ведь поселок-то наш временный.

— Но так тоже нельзя жить, в бараках-то, — сказал я.

Он эдак поморщился:

— Да ты не волнуйся, тебе-то найдется дом.

— Не обо мне речь, — говорю. — Хоть бы общежитие построили. Живете как свиньи.

Тут он совсем ощетинился:

— Ты полегче, — говорит. — Строителей нам не дают, а самим некогда — план выполняем.

А я ему:

— Надо уметь и план выполнять, и жилье строить.

— Экой ты умный парень! — усмехнулся он. — Ну что ж, давай, покажи нам.

Мы пошли на лесной склад. Возле одного штабеля сидели кружком грузчики и раскряжевщики. Рядом стоял кран, возле которого лежал, задрав ноги, крановщик и посвистывал.

Я поздоровался с рабочими. Ответили мне разноголосо, нехотя.

— Что, загораем? — спросил я.

— Да вот собрались купаться, — сострил Елкин, — да не знаем, кого первого в озеро опустить. Может, его, ребята? — Он показал на меня.

Все захохотали.

— Весело у вас, — говорю. — Тоже, видать, как у Ефименко, недельную норму выполнили? Они не работают, и вы тоже.

— Мы-то? — переспросил крановщик, вставая. — Да мы от совести этого Ефименко горим как от керосина. Ты был на лесосеке?

— Был, — говорю.

— Видел, как он там наработал? Мало того что одни кедры валит, да еще внахлест. Оттуда бревна не вытащишь.

— Я-то вижу, — говорю. — Но куда вы смотрите?

— А что нам делать?

— Шуметь! Говорить кому надо. Требовать, чтоб валка велась по правилам.

— Вот мы и говорим, — сказал Анисимов.

— Кому?

— Тебе. Ты же наш мастер.

— И я вам скажу вот что: отныне конец будет этой выборочной рубке, — и пошел.

А за спиной у меня: «Поет он хорошо». «Видать, из театра?» «Тенор!» — и опять гогот. Смеяться будем потом, думаю.

Сел я в лесовоз и поехал на озеро, Ефименко искать.

Уже под вечер мне показали его лодку, груженную сеном, по озеру шла. Я лег возле стожка на берегу. Тут у него и огородик был, и сарай, нечто вроде заимки, и все обнесено забором — без шеста не перелезешь. Вот он подогнал лодку, выпрыгнул на берег и крикнул бабе, стоявшей в корме: «Настасья, выгружай!» Я узнал хозяйку. Та стала бросать сено на берег, а он перебрасывал его в копну. Я подошел к нему и опять подивился его крепости: хоть и сед, но здоров, черт! Загорбина-то что у хорошего быка. «Здорово, дорогой!» — это он ко мне и руки развел — прямо обниматься лезет. Артист! Только что ворчал сердито на жену, а тут и улыбка во все лицо, и глазки блестят.

И знаете, кого я вдруг вспомнил? — Тещу! Только у нее так лицо менялось на глазах из аспидного в ангельское. «Ну, — думаю, — такой лаской меня не возьмешь. Я уж знаю, какова она на вкус». А он все суетится.

— Да вы садитесь, — говорит, — вот в копешку, что ли... Ай, может, в сарайчик пройдем, потолкуем? Я уж думал, где вам тут домик сладить...

А я ему в ответ так строго, официально:

— С завтрашнего дня самочинные отгулы отменяются...

— Понятно, — закивал он и губы поджал. — Значит, перевыполнение нормы не в счет?

— Да, не в счет! Вы нарушаете технологию, выборочная рубка запрещена, — говорю. — И потом, придется вам выделить из бригады несколько человек — общежитие строить.

— У моих рабочих есть квартиры, — ответил он угрюмо.

— Зато у грузчиков нет.

— На этых лодырей я работать не буду, — зло сказал он. — И какое мне дело до чужой бригады!

Меня взорвало, и тут я выпалил такую мысль, которая только еще зарождалась в моей голове.

— Запомните, — говорю, — товарищ Ефименко! Через месяц не будет вашей бригады, а будет одна — общая...

Я повернулся и пошел от него прочь.

— Ну, это мы еще посмотрим, — пробурчал он вслед мне.

А мысль у меня была вот какая: создать из трех бригад одну — значит, поставить их под контроль друг другу. Чтобы, к примеру, вальщик знал, что, если он навалит деревья как попало — трелевщики и грузчики норму не выполнят, значит, вся бригада прогрессивки не получит... На курсах нас этому учили.

Ну, вы сами понимаете, взбунтовался Ефименко, а грузчики, трелевщики, раскряжевщики — все за меня. Теперь это обычное дело на лесных участках, оно циклом называется. А тогда это еще в диковинку было. И главное — я хотел запретить выборочную рубку леса.

— Да в чем смысл этой рубки? Почему она вредная? — перебил я Силаева.

— Выборочная-то? — переспросил он и глянул на меня с удивлением. — Вот тебе и раз! Что у нас в тайге растет? Кедр, лиственница, ясень, ну и всякое разнолесье: ильм там, пихта... При выборочной рубке кедр и пихту начисто вырезают, ясень и лиственницу оставляют, иное ломают. Подрост губят. Лес не восстанавливается: не растет, а гниет — шурум-бурум получается.

— А почему же не берут ясень и лиственницу?

— Да потому, что они тяжелые, в воде тонут. А вывозить — дороги нет. Не удосужились построить. — Он приостановился и, махнув рукой, словно возражая самому себе, досадливо произнес: — Да не в дороге дело! Лет тридцать назад сплавляли по этим рекам и ясень, и лиственницу — вязали в плоты вперемежку с кедром, и получалось. Лоцмана были по таким делам. И теперь бы наладить можно, да уж пообвыклись. Вот и выходит — в книжке, на курсах одно, а здесь другое. То говорят, — правило, а это — жизнь. Здесь план выполняй. Выполнил — герой! И никто с тебя не спросит, во что иной раз обходится этот план? А надо бы спрашивать.

13

Он закурил и с минуту смотрел на меня пристально и сердито. Потом покривился, как от зубной боли, и рукой махнул.

— Все это известные штучки; говорят — работать не хочешь или не умеешь, а потому, мол, прикидываешься законником. Ефименко после того разговора точно озверел,

такое начал творить на лесосеке... Ну не валка, а разбой. Я его остановил, не соблюдаешь, говорю, технологию. Потолще выбираешь? А он мне: «Кубометры!» — «А сколько вокруг деревьев поломаешь? Сколько погубишь кубометров? Это ты считаешь?» А он дурачком прикинулся: «Кого?» — «Ты мне брось это дурацкое «кого»! Хватит за кедрами гоняться! Такую выборочную рубку запрещаю». А он мне: «За простой платить будешь ты». Бензопилу на плечо и пошел в контору...

Ну, а за ним и я подался. Прихожу — они, как два сыча, в углу на табуретках сидят и бубнят потихоньку. Редькин встал и спросил меня:

— В чем дело?

— Мы, — говорю, — не рубим лес, а губим.

— Ты что, с луны свалился? Здесь уже лет двадцать так рубят.

— Я за прошлые годы не отвечаю, а на своем участке лес губить не позволю. Во всех постановлениях выборочная рубка запрещена. Это браконьерство!

— Да ты не шуми, как постовой в мегафон, — он даже ухо, которое ко мне было, прикрыл ладошкой. — Во всех постановлениях положено дороги строить. А у нас они есть?

— Если нет, значит, строить надо.

— Фу-ты, ну-ты, лапти гнуты! Да ты кто такой? Управляющий трестом? Министр?! Ты за кого распоряжаешься?

— Только за себя. Есть порядок рубки. Это — закон. Его выполнять надо.

— Закон, говоришь? Ну, хорошо. Садись, потолкуем, — Редькин указал мне на табуретку, сам сел за стол. — Давай о законе. Значит, подрост ломать нельзя, рубить все подряд, потом зачищать деляны и насаждать новый лес. Правильно?

— Правильно.

— Ну, ладно. Начнем рубить все подряд... Лиственницу, ясень, ильмы, бархат молем сплавлять нельзя — тонут. Вывозить — дороги нет. Что делать? Начнем завтра дорогу строить? А кто за нас будет план выполнять?

— Давайте плоты вязать, — говорю.

— А где людей возьмешь? Мало связать плоты, нужны еще плотогоны, лоцмана! Чего молчишь? Лес государству нужен? Нужен. Так, может, скажем государству: подождите, мол, годик-другой. Вот мы дорогу построим, тогда и лес будет. Так, что ли?

— Нет, не так.

— А-а! Дошло? — Он встал из-за стола, подошел ко мне, глазами так и сверлит и лупит безо всяких стеснений: — Да, мы выбираем только кедры, потому что их можно сплавлять молем. Да, мы заламываем молодняк, оставляем гиблые места. Даже зверь уходит из тайги, потому что кедр уничтожен, этот кормилец тайги. Нерестилища сплавом захламляем. Рыба исчезает. Ты думаешь, об этом никто не догадывается? Думаешь, у меня душа не болит? Я что, деревянный? Или мне сладко кочевать по временным лесопунктам? Или не хочется жить оседлой жизнью, по-человечески? Я не враг ни тебе, ни себе. Но и сообщником в таких делах, о которых хлопочешь ты, сделаться не могу. Мне совесть не позволит. Я знаю — государству нужен лес, нужен не завтра, а сегодня. И мы должны его поставлять любой ценой. У нас нет иного выхода.

— За двадцать лет иного выхода не нашли?

— Не нами заведен был этот порядок. Наше дело — выполнять задание! Нам некогда рассуждать да мечтать о лучших вариациях. Мы исполнители. Есть которые повыше нас. Они понимают лучше нас, они и решают, и отвечают. За все! В том числе и за нас с вами, и за этот лес.

— Интересно, — говорю, — и наш директор такого же мнения?

— А ты сунься к нему со своим разговором.

— Попробуем, — я встал и вышел.

А в прихожей заторкался, ребята стояли... И вот слышу из кабинета голос Ефименко — дверь-то щелястая, филенки тонкие: «Не то чокнутый, не то вредитель». А ему Редькин: «Это фрукт особый. За ним глаз нужен... Не то он все дело погубит».

Тут уж, возле конторы, и народу много собралось: одни посмеиваются, другие вроде бы с советом ко мне: да брось ты с ними канителиться. Плетью обуха не перешибешь. А я уж, как говорится, удила закусил.

— Милый мой, это же называется у нас донкихотством, — сказал я Силаеву с сочувствием. — Неужели вы не понимали, что Америку пытались открыть этим людям?

— Да разве ж в таких случаях спрашивают себя? Тут прешь очертя голову! Когда у тебя цель впереди и ты знаешь, что это стоящее дело, справедливое, так душа из тебя вон, а добивайся своего. Иначе ты не человек, а скотина рабочая, слюнтяй! Или хуже того — мошенник и лжец. Думаешь одно, а делаешь другое.

Силаев насупился и опять сердито, с вызовом поглядел на меня.

— И вы пошли к директору? — спросил я участливо.

— Ходил. По звериным тропам, через перевал. Ноги в кровь избил за трое суток. Я еще верил, надеялся втолковать ему, что нельзя лес губить, что не одним днем живут люди, что земля-то не чужая — своя! А он смотрел на меня как на тронутого и жалел: «Ну зачем вы так волнуетесь, голубчик? Ведь никто не хвалит выборочную рубку. Но что поделаешь? Временная трудность. Вот станем открывать новые лесопункты, и все сделаем по науке. Поезжайте, голубчик, трудитесь. А мысли ваши ценные учтем. Правильные мысли». Но, правда, разрешил работать в едином комплексе. И на том спасибо...

14

Ввалился домой — Наталья хмурая. На тебя, говорит, смотреть страшно: худой и грязный. Одни глаза блестят. Дак я ж две ночи у костра ночевал в пути, комаров кормил. И тут, в бараке, комары. Аж гудят. Над кроватью полог висит, Наталья укуталась в платок. Вместо того чтобы по тайге шляться, говорит, ты бы лучше стены проконопатил. Комары-то сквозь щели лезут. Ладно, говорю, проконопачу.

Надрал я старого мха и вечером конопачу стены долотом. Вот тебе приходит Анисимов. Сели на бревно, закурили. Сергованцев вышел к нам. Сидим, калякаем то да се. Рассказываю им, как директор утешал меня.

— Ему ветер в спину, — говорит Анисимов. — Ж... рядом с райцентром. Едет к нам — командировочные получает. А дорогу построят — еще и леспромхоз сюда переведут. Торчи здесь.

— Опять же процент хороший даем, — заметил Сергованцев. — Премии идут. Дело не пустое.

— А как насчет комплексной бригады? — спросил Анисимов.

— Это разрешил, — говорю, — только просил поосторожнее, не жать сверху на лесорубов.

— А мы собрание проведем, — сказал Анисимов. — Все чин чинарем. Проголосуем. Попробуем перетянуть.

— Чего тут тянуть? — отозвался Сергованцев. — И грузчики, и трелевщики, и те, которые на раскряжевке, — все за. Смотреть будут, следить друг за другом в работе. Копейка всех воедино свяжет. Небось и вальщики не станут баловать.

— Еще бы наладить сплошную рубку — и жить можно, — сказал я.

Тут Анисимов мне подмигнул хитровато.

— Я, — говорит, — посылал одного паренька в Тамбовку. Это село на реке, в сотне километров от нас. Там кержаки живут. Так они согласны плоты вязать. И лоцмана у них есть.

Я аж подпрыгнул на бревне и по коленке его хлопнул:

— Да ты чего ж, — говорю, — молчишь, медведь снулый? Все! Завтра же собираем собрание. Объединим вас в одну бригаду, комплексную. И заработки будут едины. И дело пойдет по-другому.

Наутро уже весь поселок гудел. И вот вызывает меня Редькин и говорит спокойным, насмешливым голоском:

— Слушай, новатор, а ты знаешь, что в четвертом квартале не опытами занимаются, а план выполняют?

А я ему:

— Не знал, что в году есть специальные месяцы для опытов.

Но Редькин пропустил мою шпильку мимо ушей и все так же спокойно изрек:

— Мы должны дать двенадцать тысяч кубов. А третью часть — твоя мáстерская точка. Понял?

— Ну?

— Вот тебе и ну. На этой сплошной рубке ты дашь четыре тысячи кубов?

— Дам!

— Смелый, — Редькин усмехнулся. — Вы все-таки подумайте, что вас ожидает, если завалите план.

— А я уж подумал.

— Ну, вы человек взрослый, — он снова чуть заметно усмехнулся. — Ваше дело — ваш ответ.

Я понимал, что несдобровать мне, если план не выполню, но и отступить я не мог.

В это время Ефименко подставил мне первую подножку. И ведь как ловко, подлец, использовал Варю!

Помню, решили мы вечером собрание провести, чтобы выбрать бригадира, одного вместо двух, и чтоб плотников выделить на строительство общежитий. Пойду-ка я, думаю, пораньше, с ребятами потолкую. Стемнелось уже, когда я подходил к бараку грузчиков. Вдруг слышу в стороне, в кустах приглушенный говор. Один голос был Варин, второй тоже вроде бы знакомый, мужской. Варя, видимо, старалась уйти и упрашивала все; мужчина не пускал и приговаривал:

«Подумаешь, какая недотрога!» Я уж было пошел своей дорогой, как вдруг Варя зло сказала: «Пусти, хам, кричать буду!» — «А я рот зажму — не крикнешь», — ответил мужчина. Послышалась возня, Варя коротко крикнула. И я бросился на помощь. В потемках я схватил кого-то за шиворот и рванул так, что пиджак затрещал на нем. Он отлетел от Вари и упал на спину навзничь. И тут я узнал его — это был крановщик Елкин.

Он встал, заложил, как говорится, руки в брюки и уставился на меня нагло.

— Ах, это ма-астер! — прикинулся он удивленным. — Что ж, завидуешь? Видать, своя жена надоела... Решил к нашей общей приспособиться?

— Да это, кажется, новый мастер! — удивленно ахнул сзади меня Ефименко, словно из-под земли вырос. — Что же ты, Елкин, мешаешь людям? — И он многозначительно закашлял и засмеялся.

— Да не разглядел в потемках-то, думал, кто из наших с Варькой возится, — начал выкручиваться Елкин. — А это начальник, оказывается.

И тут вдруг наша тихая Варя подходит к Елкину и — раз его по морде. И так молчком. Тот оторопел, а Варя пошла в барак. Но Ефименко и тут не растерялся.

— Не надо сердиться, бабочка, на правду не сердятся, — сказал он наставительно вслед Варе.

— Вы сначала разберитесь, — сказал я Ефименко.

— Да я что ж? Я молчу. Мое дело маленькое. — Он снова многозначительно покашлял и подмигнул Елкину.

Мне эта комедия надоела, и я пошел в барак. А на собрании я и вовсе забыл про нее. Я не обратил внимания ни на то, как Ефименко перешептывался с вальщиками, ни на то, как стали ухмыляться, поглядывая исподтишка на меня, грузчики. Это все я потом припомнил, день-два спустя. Припомнил и то, как я приглашал Варю. Она спряталась перед собранием в своем чуланчике. А я постучал ей и сказал, чтоб она выходила и тоже присутствовала.

— В президиум ее избрать нужно, — смеясь, предложил Елкин.

— Ага, она будет у нас протокол писать... поварешкой, — сказал Ефименко, и все засмеялись.

Я одернул Ефименко, а Варе указал место за столом, говорю:

— Садитесь сюда. — И тетрадь перед ней положил: — Писать умеете?

Она покраснела и сказала:
— Постараюсь.
— Вот и хорошо. Пишите протокол.
И опять ужимки Ефименко и шепоток по собранию. Кто-то крикнул: «Где начальник лесопункта?» Я сказал, что он занят отчетом и доверил мне провести собрание. Ну и лады! Говорил я немного: что, мол, в комплексе работать сподручнее: и вальщики, и трелевщики, и грузчики — все будут связаны единой прибылью. И на те же работы людей понадобится меньше, а заработки вырастут. Контролировать будем друг друга. Я тут подсчитал, говорю, шесть человек можно выделить на строительство жилья. А с выборочной рубкой кончать надо, не то скачем по тайге, как зайцы, и сами мучаемся, и тайгу портим. «А кто плоты вязать будет?» «А где лоцмана́?» — стали спрашивать меня. Тут встал Анисимов и говорит, что он связался с кержаками. Они помогут и плоты вязать, и лоцманов дадут с весны.
Ну, предложения мои одобрили; грузчики, трактористы, раскряжевщики ликовали: «Даешь комплексную! Прогрессивку — всем!» И даже Ефименко проголосовал за.
— Если, — говорит, — мастер подсчитал, что так выгодней и людей меньше надо, давайте выделим на строительство общежитий. Я трех вальщиков даю.
И снова кричали: «Молодец, Ефименко!»
Мы выбрали бригадиром комплексной бригады Анисимова, назначили шесть плотников и разошлись. «Ну, — думаю, — теперь конец междоусобице».

15

А на следующий день в поселке только и разговору: «Варьку с новым мастером застукали!» Тут я и понял, что попался глупо, как заяц, в петлю Ефименко. Теперь все подробности истории с Варей встали в моих мыслях совсем в ином свете. И я понял, что сам же на собрании помог Ефименко затягивать на себе петлю и что теперь я ничего не смогу сделать в свое оправдание. Я догадался, что все это было подстроено Ефименко, и он, чтобы снять подозрения с себя, вчера при всех поддержал меня. Мне даже и оправдываться нельзя, ведь каждое слово оправдания — это капля масла в огонь сплетни. Мне оставался единственный выход — терпеть и не обращать внимания. Не подумайте, что это легко, особенно когда у вас есть жена, которую

вы любите. Я понимал, конечно, что до нее дойдет сплетня, и готовился заранее вынести любой скандал. Но и здесь меня поджидал подвох. Да, служба...

Встречается мне в тот день на лесосеке Редькин, прицепился, как всегда, к моей рубахе, и так это снизу вверх поглядывает на меня своими насмешливыми глазками и с притворным прискорбием спрашивает:

— Как же это вы поступаете так неосторожно? Нехорошо, брат, весь участок ославил.

— Вы это, — говорю, — о выдумке насчет Вари? Пустая болтовня!

Он весь сморщился, как мяч, из которого выпустили воздух.

— Я не утверждаю, но тем не менее вам неприлично оставаться на этой площадке... Ни в пользу лично вам, ни для дела. Я на всякий случай держу для вас место на другой точке, в Озерном.

Ах ты, зараза, думаю! И здесь объегорить хочет. Но молчу... А только эдак сдержанно говорю ему:

— Благодарю за заботу. Отсюда никуда не уеду.

Ты ж понимаешь, служба, что значило для меня уехать на новую ма́стерскую точку? Во-первых, принять на себя позор сплетни, а во-вторых, и это — главное, бросить начатое, обмануть рабочих, поверивших мне; уступить перед той же мерзкой расчетливостью, которая вышибла меня из родного города. Нет, только не это.

Силаев быстро закурил и несколько раз глубоко и жадно затянулся.

— И знаете, что сделал Редькин в тот день? Он встретил мою жену, пригласил ее в моторку и свозил-таки на ту ма́стерскую точку в Озерное. Там и домик незанятый оказался. Вот, мол, уговаривайте мужа и переселяйтесь себе на здоровье. Для вас специально постарался.

Прихожу я вечером домой — Наташа будто меня не замечает. Я сразу догадался: ей все известно про Варю. Но виду не подаю.

— Ну и денек был! — говорю. — Осень, а жара — спасу нет.

Она сидит у детской кроватки, качает ее и не оборачивается.

Я подхожу к кроватке, говорю будто о дочке:

— Сердитая она у нас... Вылитая мать. Вон, во сне и губы надула.

Наташа молчит.

Прохожу к умывальнику, ковшом гремлю, говорю погромче:

— Анисимов у нас прямо академик. Плоты вязать будет, лоцманов нашел.

Она молчит.

— Ты чего такая пасмурная? — спрашиваю.

— Я все жду, когда же ты наконец обратишь и на нас внимание. Или тебе бревна дороже семьи?

— Постой! Вроде бы я все, что могу, делаю для тебя.

— Что ты можешь? Вон Анисимов плоты хочет вязать, и ты уж от радости готов спать на хворосте. Ты уже всем доволен.

— А чего ж мне не быть довольным?

— Конечно! А меня с дочерью тоже, может быть, на хворосте уложишь?

— Ну что ты хочешь от меня? Что я — министр? Ну, нет... Нет здесь дома! Я не вижу возможности.

— Ты не видишь, это верно. Зато чужие люди видят, как я здесь мучаюсь. Лицо вон задубело, смотреть на себя стало страшно. Господи! Так и состаришься в этой конуре.

— Ну, потерпи. Перемаемся как-нибудь. Зато потом будет хорошо. Люди станут жить по-человечески.

— У тебя все потом! Потом я, между прочим, старухой буду. И мне все равно тогда — где и как жить. А сейчас мне надоело мучиться. И если ты этого не замечаешь, так чужие хоть заботятся.

— Кто же это о тебе позаботился?

— И о тебе тоже. Редькин возил меня в Озерное. Место для тебя там готово, и дом очень хороший. Собираемся! И завтра же уедем отсюда.

— Ох, сукин сын! Езуит! Душить за такое надо!

А она с эдакой улыбочкой:

— Спасибо! Так ты людей благодаришь за внимание.

— Какое внимание? Ты просто дура! Он же от меня отделаться хочет. И я поддамся? Да кто я такой?

— Послушай, что о тебе говорят...

— А что говорят?

— Успехом пользуешься среди красавиц барака.

— Да ты что, в самом деле сдурела? Неужто поверила этой сплетне? Пойми, меня ж хотят выжить отсюда. Но я не поддамся! Никакой поклеп меня не выживет отсюда. Мне люди поверили... Так неужели ты хочешь, чтобы я обманул их и бросил?

И она закричала:

— А я жизни хочу нормальной! Это ты понимаешь? — Потом стала упрашивать: — Послушайся меня, Женя. Сейчас же давай соберем вещи и завтра уедем. Слышишь? Я прошу тебя!

— Да ты с ума сошла.

Тут она и взорвалась:

— Не-эт, это ты сумасшедший! Носишься везде со своими обвинениями... Все люди как люди — живут спокойно. А для тебя все не так. Все тебе мешают. Дома мать мешала, здесь Редькин. Везде свои порядки заводить хочешь! Умнее всех хочешь быть? Ты просто эгоист. Ты не любишь меня. А я, как дура, на край света за тобой потащилась. И здесь меня мучаешь... Ну что ж, иди к своей потаскухе! Но запомни, я губить свою молодость не стану. Хватит уж, сыта по горло...

И все в таком духе.

Я хлопнул в сердцах дверью и ушел из дому. Тошно мне стало и обидно. «Неужели, — думаю, — она права — не забочусь я о своей семье? Выходит, что мне Анисимов с Варей дороже Наташи? Но это же чепуха! Чепуха? А почему же я стараюсь для них общежитие построить, а для нее от готового дома отказываюсь? По совести это или не по совести? Но что такое совесть? Для Редькина совесть — выполнить план; для тещи — обеспечить дочь. А для меня что такое совесть?» И я не находил ответа.

Вышел я на берег озера. Ночь была темная. Смотрю — какой-то пень торчит. Вдруг этот пень заговорил голосом Анисимова:

— А, Аника-воин! Садись.

Я сел и заметил, что он выпимши.

— Совестливый, значит? Пожалел нас и получил первую затрещину за это. — Анисимов засмеялся, вынул флягу, отвинтил колпак, налил его и протянул мне. — Пей, я тоже тебя жалею.

Я отказался. Он выпил и подмигнул мне.

— Еще получишь по загривку, не горюй раньше времени.

— Не смеяться надо, а порядок наводить, — ответил я в сердцах.

— Ишь ты! — отозвался он насмешливо. — А чем здесь плохо? Зарабатываем тыщи по две на нос. План выполняем... Почет, брат, и уважение... Пей, гуляй... Чего тебе не хватает?

— У вас же, — говорю, — семья, поди, есть...

Анисимов долго молчал и вдруг заговорил совсем иным тоном, серьезно:

— Некому порядок-то наводить: хозяина нет... До министерства отсюда как до луны, не долетишь. — Он откинулся на траву и потянулся. — Эхма, я вот отбарабаню этот год — и прощай, золотая тайга. И ты удерешь года через два, если не раньше. А Ефименко будет жить.

— Да почему же так получается? — с досадой спросил я его.

— Да потому, что мы — рабочие с тобой, — ответил он. — Не можем мы скакать по тайге, как зайцы. Уж лес разрабатывать, так по всем правилам да на одном месте. А мы что? Тут попилим, там нашвыряем и бежать дальше. Мусорим только, лес портим... И поселок нам нужен, а не такая вот временная дыра... Ведь я бы тоже мог себе такую же избу построить, как Ефименко. А на кой черт она мне? Если участок года через два-три перенесут отсюда. Кто здесь останется? Ефименко да его друзья. Они станут либо охотниками, либо кородерами. И что им лесная промышленность! Они въехали на ее спине в лесное царство. Землицы отхватили, скот поразвели. Приспособились. А мы, брат, не умеем приспосабливаться. Бежим отсюда, или, как говорят в канцелярии, течем. А ведь им, чертям, деньги ежегодно отпускают, чтобы строить для нас и дома, и все такое прочее. Но им некогда, х-хе! — план выполняют. А мы течем...

— Что же делать? — спрашиваю.

— Переводись-ка, — говорит, — милок, в другой леспромхоз, поближе к железной дороге. Там по-человечески все устроено. Там и с женой можно жить. А тут, в бездорожье, чего ты хочешь? Почта и та раз в неделю ходит...

«Ну, нет, — думаю, — это не выход».

16

После этого вечера мы близко сошлись с Анисимовым, но встречались либо на складской площадке, либо возле озера. В барак я перестал ходить, чтобы не давать повод к сплетням. Мне жалко было Варю. Очень она переживала. Однажды, помню, иду я по берегу и вижу такую картину: Варя взяла на плечо коромысло с ведрами и никак не может подняться по крутой тропинке, — дождь прошел, и земля была влажной, скользкой. Я быстро подошел к

ней, снял ведра и вынес их на откос. Варя поблагодарила меня, а у самой слезы на глазах.

— Что вы, — говорю, — Варя, разве так можно? Ведь вы не виноваты!

Она только губу прикусила и пошла быстро-быстро к бараку.

Прошел еще месяц. И представляете, что сделал со мной Редькин? — спросил мой рассказчик.

— В калошу посадил! — с досадой воскликнул я.

— Конечно, — подтвердил Силаев. — И ведь на чем провалил меня, на тонкомере! Тонкомером в лесном деле называются тонкие деревья. Трелевать и раскряжевывать их очень невыгодно: хлыстов получается много, а объем маленький и отходы большие. Редькин с Ефименко и подобрали такую деляну, где было очень много тонкомеру, и пошли валить его сплошняком. Я-то не сообразил по неопытности, чем это грозит для меня, и спохватился лишь в конце месяца. Что ж получилось? По количеству поваленного леса план выполнили, но по товарной продукции крепко завалили. Понимаете, какая хитрая штука этот тонкомер? Вроде бы и настоящий лес, и кубатуру замеряешь на деляне — подходящая. А в дело пустишь — и половины нет. Отходы! Пшик...

Ну и получился, конечно, скандал. Поднялись и Редькин и Ефименко, и даже директора вызвали. Как же — план завалил Силаев! И приехал директор. Вызвали меня в контору. И руки не подал сам-то. «Садись», — говорит. Я сел, а он вокруг меня по конторе забегал. Невысокий, кругленький, так катышем и катается. И куда все его благодушие делось? Руки за спину заложил, молчит... И я молчу. Бегал он, бегал и наконец разразился.

— Что ж ты, — говорит, — со мною наделал? План завалил, лучшую бригаду лесорубов розогнал. Манипулятор ты, а не новатор! И на чем, на чем сыграть решил? Лес не так рубим!.. Не по правилам! Портим! Думаешь — ты один такой заботливый? Заметил... А мы все тут слепые? Демагог ты!

Здесь я не выдержал и говорю:

— Сами вы демагог.

Ух, он аж подпрыгнул как ошпаренный.

— Хорошо, — говорит, — подобные художества тебе даром не пройдут. Запомни, у тебя договор на два года с леспромхозом. А я тебя не отпущу никуда. Мастером не захотел работать — грузчиком будешь!

Я встал и ушел. Иду и думаю: говорить Наташе или нет? Поймет ли она меня? И как она встретит этот новый удар? Но ведь это не скроешь. Да и душу отвести надо. Скажу!

И вот прихожу домой. Наташа показалась мне какой-то натянутой и рассеянной. Стала собирать мне ужин и вместо скатерти платок на стол накрыла. Платок лежал в детской кровати, подняла она его — а под ним письмо. Смотрю я и глазам не верю: письмо адресовано ей от Чеснокова. Я подошел к Наташе, тронул ее за плечо и говорю:

— Сними платок со стола и положи на старое место.

— Ох ты боже мой, совсем из ума выживаю! — сказала она и так суетливо свернула платок и понесла к кроватке.

А я смотрю на нее — что будет? Вот она подошла, заглянула в кроватку, увидела письмо и застыла. А потом тихонько стала раскладывать платок, не оборачиваясь; я только видел, как загорелись у нее щека и ухо. И я ей, понимаете, ничего не сказал. Я ушел в барак к Анисимову и в первый раз в жизни напился до беспамятства.

В бараке тогда никого не было, все ушли в кино. Директор на своем катере привез картину.

Захмелел я так, что за столом и уснул. А потом скверно, так скверно все получилось, что и вспоминать не хочется...

Он поморщился и покачал головой.

— Анисимов ушел, по обыкновению, на озеро. В бараке я один остался. Варя и позаботилась обо мне, взяла да уложила меня в своем чулане. Мол, проспится за вечер... Боялась, как бы директор не наскочил на меня пьяного. Да кто-то из ребят заметил. А потом в кино пустили слух, что мастер в Варькиной постели спит. Варя почуяла недоброе и бежать в барак. А Ефименко того и надо, он с дружками за ней. Варя-то уберечь меня хотела от скандала. Только все получилось еще хуже. Закрыла она свой чулан на замок и говорит этой братии, мол, нет у меня никого, не пущу, да и только... Но куда там! Полон барак нашло народу. Даже жену мою не постеснялись пригласить. Ну и открыли, конечно, чулан-то.

Он сурово свел брови и с минуту молчал, уставившись в палубу.

— Вот и вся история, — сказал он, встряхнувшись. — Проснулся я на следующий день поздно. Мне все рассказал Анисимов. Жену я дома не застал. Она уехала утром

на директорском катере. Все в комнате было взбудоражено: валялись на полу газеты, грязное белье, одеяло с койки сорвано. На все я смотрел как-то тупо, равнодушно, еще сердцем не понимал, что она уехала. И только по-настоящему почувствовал всю жуть, когда над неубранной кроватью сквозь появившуюся снова щель в стене увидел дочку кузнеца. Так же, как в день нашего приезда, она смотрела своими черными глазенками и сосала пальчик. У меня будто оборвалось что внутри и стало так пусто и жутко, что захотелось бежать.

Помню, на столе лежала записка, оставленная Наташей. Всего несколько слов, вроде этого: «Прости, я больше не могу. Ты знаешь, к кому я уехала. Не пытайся видеть меня». Ну, и все такое прочее...

И я ушел в тот же день из этого поселка. В конторе был вывешен приказ, уже подписанный директором. Мастера такого-то за моральное разложение, за дезорганизацию производства и далее в таком же духе, за многие грехи, снять и зачислить рабочим того же леспромхоза.

С тех пор и брожу по всем участкам. Сначала пил от обиды и злости, а потом по привычке. Спохватился вот...

Ушла со мной вместе и Варя. Одинокая она, мужа-то на войне убили. Тоже горемыка — приехала сюда счастье искать. Вот теперь везет меня лечиться. Настойчивая, — произнес он тихо и ласково улыбаясь. — Год уговаривала и добилась своего.

Он придвинулся ближе и заговорил, понизив голос:

— Вы не подумайте, что я оставлю ее в беде. Ни за что! Но ведь вы же видите — она старше меня лет на десять, и понимаете, что это значит для здорового мужика. Другая бы на ее месте жила бы с таким, каков я есть. А эта нет — тянет меня, на ноги поставить хочет. И знаете, что мне говорит? — он перешел почти на шепот. — «Не сердись, дорогой, если выйдешь из больницы здоровым и не найдешь меня: я тебе нужна больному». Вот они, люди-то, какими бывают, служба, — закончил он свой рассказ, встал и пошел к борту, но остановился и с какой-то растерянной улыбкой сказал: — Дочка у меня славная: глаза серые, вострые такие, материнские, а волосенки рыжеватые и кудрявятся... Уже смеялась вовсю. — Он вдруг засмущался и умолк.

Весь остальной путь до самой базы Евгений простоял у борта лицом к тайге, вглядываясь в дальние синие сопки, в бесконечные бурые щетинистые холмы.

17

К базе подходили мы на исходе дня. Огромное медно-красное солнце садилось быстро, словно проваливалось сквозь частую решетку оголенных прибрежных талов. Тонкие черные тени деревьев ложились на холодно блестевшую поверхность реки; на перекатах и бурунах они дрожали, извивались в медной толчее волн и казались живыми, ползущими к тому берегу. Наконец они достали тот берег, сплошь покрыли реку, и от воды резче потянуло свежестью и острым запахом мороза.

На крутом и высоком берегу, к которому мы подходили, виднелись дома, заборы и даже деревянный шатер электростанции с длинной железной трубой. Старшина баржи сам встал у штурвала, и через минуту раздались его сердитые властные окрики: «Эй, на баке, голову убери!», «Кто там на курсе встал?», «Приготовить швартовы!»

Рулевой, невысокий паренек в расстегнутой фуфайке, встал на носу баржи. И когда наша посудина, скрежеща железным брюхом, поползла на прибрежный песок, он выпрыгнул на берег и привязал баржу на пеньковую веревку за обыкновенный, вбитый в землю кол, как привязывают корову на выгоне. Затем он прислонил маленький трапик к борту, и пассажиры начали расходиться.

Мы распрощались с Силаевым.

— Значит, в город? — спросил я его.

— Да, буду двигаться туда потихоньку.

— Ну, а потом куда, после лечения?

— Туда же, в лес, — ответил он неожиданно твердо.— Слишком дорого он мне обошелся, чтобы так просто расстаться с ним.

Он рывком тиснул мою руку жесткой, как терка, ладонью.

Взбирались они на бугор долго и медленно. Чуть впереди шла маленькая Варя, за ней, сутулясь, Силаев. Походка его была нетвердой, но он упорно взбирался на откос, опираясь на Варино плечо. За спиной его, на палке, болтался серый тряпичный узел.

1956



Власть тайги

1



оздно ночью сильно постучали в окно избы участкового милиционера.

Сережкины спали прямо на полу; широкую деревянную кровать вынесли во двор и пересыпали дустом — от клопов спасенья не было. Татьяна, приподнявшись на локте, будила мужа:

— Вася! Слышь, Вась! Да очнись ты, не маку же напился!

— А! — тревожно вскрикнул Сережкин и, сбросив теплое одеяло с лоскутным верхом, быстро вскочил на ноги. — Что случилось, Таня?

— Да ничего, — спокойно ответила жена. — Вон стучит кто-то. Опять, видно, по твою душу.

В окно снова настойчиво постучали.

— А-а, — равнодушно отозвался Сережкин, почесывая широкую волосатую грудь, и потянулся так, что захрустели суставы. — А я уж думал, не пожар ли?

В одних кальсонах и ночной рубахе он пошел в сени, шлепая по полу босыми ногами. В сенях Сережкин наскочил на ведро, чертыхнулся в темноту, обозвав Татьяну раскидухой, и на ощупь отыскал дверную задвижку.

— Кто там? — хрипло спросил он, выглядывая наружу из-за приотворенной двери.

— Василий Фокич! — метнулась от окна к Сережкину темная фигура. — Беда, Василий Фокич. Сплавщики у нас бузят. Из ружьев так и палят, так и палят...

— Постой, говори толком, — оборвал его Сережкин.— Где это — у вас?

— Да ты что, ай не признал меня? Я ж Усков из Переваловского сельпо.

— Николай! — удивленно воскликнул Сережкин. — Фу-ты, дьявол! Спросонья-то никак не очухаюсь. Здорово! — Сережкин вышел на крыльцо и подал Ускову руку. — Откуда ты? Неужто в такую пору из Переваловского?

— А я на моторке... Еле утек. Так из ружьев и палят, варнаки.

— А что, задели кого-нибудь?

— Да нет, этого не было...

— Кто же сплавщиками верховодит, Рябой, что ли?

— Вроде его не видал. Больше этот, Варлашкин, шумит. Этот, что в картинках весь. — Усков показал рукой на грудь и живот.

— А, татуированный! — протянул Сережкин. — Известно. Ну, пошли в избу. Я в момент соберусь, и поедем.

На кухне, или, как Сережкины говорили, в чулане, отгороженном невысокой дощатой перегородкой от остальной избы, Василий зажег лампу. Круглолицый толстогубый Николай с непривычки к свету сильно сощурился.

— Садись, — пригласил его к столу Сережкин и сунул табуретку.

— Вася, едешь? — спросила Татьяна.

— Да. — Сережкин ушел в темную комнату собираться.

— Поесть чего-нибудь собрать?

— Не надо.

— Куда ж ты теперь?

— В Переваловское. Опять сплавщики поднялись, — ответил Сережкин и закряхтел, с трудом натягивая волглые сапоги.

— Из ружьев так и палят, так и палят, — донеслось из чулана.

На пол, на постель, на стол падал от двери длинный прямоугольник света. Татьяна лежала, все так же опираясь на локоть. Ладонью второй руки она прикрывала лицо от света. Одеяло сползло на грудь, обнажая острые худые плечи и выпуклую ключицу.

— Ты бы погодил до свету, Вася, — упрашивала она тихим глухим голосом. — А то ведь, не ровен час, того и гляди... — она не сказала, что убьют, но он понял.

— Чудная ты, Татьяна, — нехотя ответил он. — А если бы, к примеру, в бою меня командир послал ночью в разведку, я бы ему что сказал? А? Молчишь? То-то и оно. А здесь я сам командир и солдат. Сам себе приказываю и выполняю, понятно? Если я не пойду, кто пойдет? В одну сторону на полсотни километров нет милиционера, а в другую, может, на пятьсот, а может, на тыщу... Аж до самого океана. Я один тут. А порядок все равно должен быть. Власть и в тайге власть, — заканчивал Сережкин всегда этой внушительной фразой, за что получил в округе прозвище «Власть тайги».

И Татьяна смирялась, затихала.

— Подай-ка мой портупей, — попросил он жену. — А то куда мне в грязных сапогах через постель?

— Папань, я подам! — неожиданно раздался из темного угла детский голос, и парнишка лет десяти, опережая мать, бросился к столу, где лежала отцовская портупея.

— Ах ты, кочедык! — ласково обругал отец сына. — Не спишь, мерзавец!

— Может, молочка попьешь, — предложила Татьяна.

— Это можно.

Сережкин уже в чулане, на свету, проверил пистолет — заряжен ли? Затем надел снаряжение. Приземистый, туго затянутый ремнями, он производил внушительное впечатление. У него все подалось вширь: скуластое, с широкой переносицей лицо, угловатые тугие плечи, и даже ступня была широкой, почти квадратной. Крупные черты его лица выражали степенное миролюбие, и только маленькие светлые глаза задорно поблескивали и хитровато щурились. Ему шел сороковой год, но выглядел он лет на десять моложе. Впрочем, молодила его короткая стрижка жестких рыжеватых волос.

Он выпил литровый горшок молока, предварительно предложив Ускову, который отказался, и, повернувшись к Татьяне, сказал на прощание:

— Ну, я поехал.

— Поезжай, поезжай, — ответила она, и это прозвучало и как прощание, и как доброе напутствие.

Сережкин с Усковым вышли на улицу. Небо затянуло плотными облаками, они куда-то спешили, наваливались друг на друга и клубились темно-бурыми клочьями. Иногда сквозь их рыхлую толчею проваливалась луна, и тогда видны были далеко разбросанные друг от друга деревянные дома Хохловки, за ними похожие на кочки стога сена, а еще дальше матово поблескивал плес Бурлита... Сережкин и Усков быстро шли по луговой тропинке к реке.

— Как думаешь, доберемся к утру до Переваловского? — спрашивал Ускова Сережкин.

— Сейчас два часа, светает в пятом... Думаю, доедем.

— Ну, давай, рассказывай по порядку.

— Пришли они, значится, с вечера, засветло еще, вроде как бы на танцы... — начал торопливо Усков, катя свое полное круглое тело по тропинке за размашисто шагающим Сережкиным. — Ну и, как водится, зашли ко мне в магазин, взяли водки. Человек пять их было. Я еще предупредил их: «Не много ли, ребята, будет три литра-то?» Не твое, говорят, дело. Ты знай продавай да посапывай. Меня, конечно, задела такая непочтительность, но я смолчал. Ладно, думаю, что будет дальше? Ушли они. Да, Варлашкин-то вернулся, скорчил рожу и говорит мне: приготовь, мол, нам местечко, дружок, мы погулять решили. Я думаю: тебе тот дружок, который на цепи сидит. Но смолчал. Ушли. А через час, в сумерках, закрываю я это магазин, слышу, возле клуба кричат. Я туда. Смотрю, дерутся на танцах. Девки с криком врассыпную, как горох. А потом и ребята наши разбежались. А что они сделают? Их меньше. К сплавщикам еще со станов подошли да двое с ружьями. Ну, они как пальнут, пальнут! Куда тут деваться? У председателя Волгина собаку убили, а сам он в сопки чесанул, а за ним и мужики. Изобьют ведь! И пошли они по селу охальничать, заборы ломают, собак бьют. В избу ко мне вломились. Так я успел во дворе на сушилах спрятаться. В сено зарылся. Часа два пролежал там. А потом задами пробрался к реке, завел моторку и вот к вам приехал.

— А когда уезжал ты, они еще в деревне были? — спросил Сережкин.

— Да все там колобродили. А вот и лодочка моя, прошу!

Они подошли к реке. Усков вытащил кол, за который лодка была привязана на цепь. Вдвоем они столкнули лодку с мели, сели в нее и стали выгребать на быстрину. Течение подхватило лодку и медленно понесло ее вдоль темных лесных берегов. Вскоре заработал мотор, стало веселее. По реке Бурлиту от Хохловки до Переваловского было километров двадцать, и они надеялись добраться на место происшествия к рассвету. Мотор выбивал ровную пистолетную дробь, лодку, покачивая, легко несло по течению. На перекатах волны заливали выхлопную трубу, тогда от кормы веером разлетались брызги, а трескотня мотора становилась глуше. Усков сидел в корме, навалившись боком на изогнутый руль, и без конца говорил о том, как «палят из ружьев» сплавщики. Вдруг мотор несколько раз сильно выстрелил и заглох.

— Свечи замочило, — сказал авторитетно Усков. — Это мы сейчас.

Он засветил фонарик и начал копаться в моторе.

Лодка еще несколько минут с тихим плеском летела по инерции и наконец застыла. Река в этом месте была широкая, течения не ощущалось. После грохота мотора стало неестественно тихо, и лишь через некоторое время Сережкин услышал стрекот кузнечиков, доносившийся с берега, и даже шелест крыльев и попискивание летучих мышей, которые ловили над рекой невидимую мошкару. Медленно шли минуты ожидания. Звенел и кусался гнус. Сережкин хлопал себя широкой ладонью по шее, по лицу, отфыркивался, словно умывался, и говорил сердито:

— Ну, скоро ли ты? Что, в самом деле, вывез на съедение, что ли?

— Обождите минуточку... Я скоренько... отсырели, проклятые, — отвечал виновато Усков и что-то брал на зуб, на язык, на что-то плевал и кряхтел.

А минуты, долгие, тягучие, все шли и шли. Сережкин уже стал проявлять заметное недовольство.

— Да ты что, смеешься надо мной? Может, за это время преступление случилось, а у тебя — свечи... Смотри, головой отвечать будешь!

— Ну что же мне теперь делать? — в отчаянии восклицал Усков. — Кажись, все на месте: искра, свечи, магнето... а не ревет, проклятый!..

Уже полнеба зарделось, заиграло зарей, уже верхушки деревьев стали ловить красноватые отблески восхода, когда наконец Усков понял причину отказа мотора: он по-

вернул к Сережкину свое мокрое от пота одутловатое лицо и сказал жалобно и тихо:

— Бензин весь кончился.

— А, чтоб тебя рыбы съели! Тюфяк с мякиной, — обругал его в сердцах Сережкин. — К берегу давай. Пешком пойдем!

2

К Переваловскому подходили часам к одиннадцати пополудни. Вдоль по берегу Бурлита упорно месил глинистые отмели массивными сапогами Сережкин; шел погибисто, наклонив лобастую голову, и тянул на длинной веревке моторную лодку. По его следам устало и тупо переставлял коротенькие ноги Усков. Возле сельского водопоя на Бурлите их встретил конюх Лубников. Этого человека не обходила стороной ни одна новость. У него был удивительный нюх на всякого рода происшествия; он страсть как любил все пересказывать, причем каждый случай в его устах получал необычную окраску и уходил от него по миру на самых фантастических ходулях. Вот и теперь, придерживая одной рукой вороного жеребца, он второй приветливо махал Сережкину. На нем, словно на колу, трепалась синяя рубаха и выпущенные поверх сапог серые штаны.

— Поймал его, голубчика! Ну, молодец ты, старшина! — восторженно изливался Лубников, подходя к Сережкину и с любопытством поглядывая на Ускова. — А ведь я так и сказал следователю: насчет побега Ускова не беспокойтесь... Его Сережкин из-под земли достанет. У него, говорю, у вас то есть, не сорвется. Поймал, поймал. Ну-к, подержи-ка жеребца-то, я на него полюбуюсь, на красавчика! — Лубников ткнул повод в руки Сережкину.

— Пошел ты к черту со своим жеребцом! — сердито оборвал конюха Сережкин. — Чего мелешь! Кто поймал Ускова? Я? С какой стати?

Лубников в крайнем удивлении отступил на шаг от Сережкина.

— Да ты что, старшина? — всплеснул он руками. — Дак он же магазин собственный обокрал... Его четыре часа ищут везде. А ты, можно сказать, с государственным преступником прогулки гуляешь...

— Какой магазин? — испуганно спросил Усков. — Мой?

— Да, твой, — передразнил его Лубников. — Держи карман шире. Был твой...

— Ты это правду говоришь? — снова спросил Усков, бледнея.

— Да брось ломаться! Старшина, арестуй его, а то убежит.

У завмага затряслась челюсть.

— Василь Фокич, ты привяжи лодку-то, а я уж побегу, — взмолился он и, не дожидаясь ответа, катышем покатился по лугу к селу.

— Держи его! — гаркнул было Лубников и, закинув поводья на холку жеребца, хотел броситься вдогонку.

— Легче! — придержал его за локоть Сережкин. — Что у вас тут стряслось?

— Нет, уйдет, ей-богу, уйдет!.. — сокрушался готовый сорваться в погоню Лубников, глядя, как бежит Усков.

— Успокойся, никуда он не денется. Рассказывай, что обокрали?

— Сельповский магазин и обокрали. Когда драку устроили сплавщики, наши-то все убежали в сопки. Я-то, конечно, остался на своем посту, в конюшне, значит. Думаю, нагрянут, живым не дамся. А к утру стихло все. Иду домой из тайги, то есть из конюшни, вижу: сквозь щели в ставнях магазина будто огонь светит. Кто такой, думаю, там? Одному-то мне нельзя: ну-ка, что не в порядке! Протокол надо составить при свидетелях. Я к председателю. Пошли мы с ним к магазину, а там дверь-то не заперта. Смотрим — все три замка открыты честь по чести — ключами, а закрыть-то, видно, не успел вор. Наверно, я его и спугнул. Мы, конечно, тоже не вошли в магазин, а по телефону в район сообщили. И оттуда оперуполномоченный со следователем в момент прикатили к переправе, а с переправы мы их на машине сюда доставили. Как следователь-то посмотрел, так и сказал: мол, известное дело, кража сделана лицом причастным. И ключи у вора оказались: открыли-то ключами, а замки для видимости чуть помяли. Но это уж опосля.

А оперуполномоченный говорит: использование ворами отвлекающих обстоятельств, то есть драки. Это я уж точно запомнил. Ну-ка, позвать сюда Ускова, говорит! Хвать-похвать, а Ускова и след простыл. Но вещей-то много украдено. Следователь говорит, тут не один работал. А я так полагаю: Усков, должно быть, навел воров, а потом глаза отводил.

— Кому? — спросил Сережкин.

— Известное дело, вам, — ответил Лубников.

— Чепуху говоришь, — пробасил старшина, но рассказ Лубникова заставил его задуматься. Загадочно теперь выглядела история Ускова с мотором и с бензином. «Странно, — твердил про себя Сережкин, — и подозрительно. Но не будем торопиться».

Возле магазина сельпо в огороженном неошкуренными жердями травянистом палисадничке толпился народ. В центре палисадника за непокрытым столом сидел мрачный седовласый районный следователь Перебейнос и писал протокол. Возле него стоял, переминаясь с ноги на ногу, Усков. На нем висел тот же брезентовый плащ. Он вытирал тыльной стороной ладони пот с лица, но только размазывал грязь и часто шмыгал носом. Худенький светловолосый лейтенант милиции Коньков, поблескивая очками, говорил, осаждая толпу:

— Граждане, прошу податься! Назад, назад, еще немного...

Народ, увидев Сережкина, загомонил:

— А вот и Власть тайги!

— Эк, бедняга, уморился. Смотри, какой грязный!

— Говорят, его в болото Усков затянул ночью-то.

— Хитер... А прикинулся божьей коровкой.

— От закона не уйдет.

Сережкин медленно прошел мимо толпы, поздоровался с оперуполномоченным и следователем, посмотрел в упор на Ускова. Усков кашлянул в кулак и, разведя руками, сказал упавшим голосом:

— Вот оно как все обернулось-то.

— Что украдено? — спросил Сережкин следователя.

— Вот список, смотри. Пока предварительный, уточняем еще.

Перебейнос сунул в руки Сережкину лист с длинным перечнем украденных вещей. Старшина отметил несколько кусков крепдешина и драпа, беличью шубу, костюмы...

— В магазине не убрано еще? — спросил он Конькова.

— Нет еще, все так оставлено, — ответил лейтенант.

Сережкин вошел в магазин.

Там был относительный порядок. На прилавке стояла керосиновая лампа, чуть поодаль распитая бутылка коньяку, а рядом банка недоеденных рыбных консервов. Видно было, что воры действовали наверняка и не торопились,

даже за успех выпили и нагло выставили напоказ пустую бутылку и консервы. Сережкин осмотрел бутылку и банку: нет ли следов пальцев? Нет, все было тщательно обтерто. «Опытные», — отметил про себя старшина. Затем он осмотрел замки. Было ясно, что они открыты ключами, а потом для виду помяты. Теперь эти ключи лежали на столе перед следователем как вещественное доказательство. Усков вынул их из кармана. Это были единственные ключи, других таких не было, по крайней мере в селе.

Усков отрицал всякую причастность к воровству. На вопрос: откуда же у воров ключи взялись? — ответил:

— Не могу знать.

«Кто же мог обокрасть магазин? — ломал голову Сережкин. — Неужели Усков? Неужели он меня так ловко обманул?.. Да нет, не может быть, — возражал он сам себе. Чутье человека, привыкшего разгадывать повадки преступника, отрицало эту возможность. — Ну кто же? Если Рябой с Варлашкиным, то откуда у них ключи? А может, кто еще в сговоре с Усковым? — снова сомневался он. — Вот и разберись тут...»

Но разбираться надо. С особой силой почуял это Сережкин, когда следователь Перебейнос, закончив составлять протокол, сказал Ускову:

— Ну-с, а вас, дорогой-хороший, придется взять с собой... Расскажите нам, что и как, и поподробнее.

— Чтоб сговору не было с сообщниками, — шепнул Сережкину Коньков.

Усков робко посмотрел в смоляные выпуклые глаза Перебейноса и, ссутулившись, покорно сказал:

— Ну что ж, раз надо — я пойду. Ты уж, Василь Фокич, извини, но я тебя попрошу, окромя некого... Не дай пропасть задаром!.. — растерянно и жалобно глядя на Сережкина, попросил Усков.

— Да ты что, чудак? Ты не того... тебя держать не станут. Допрос только снимут. Сам понимаешь, без этого нельзя, — утешал старшина Ускова.

— Да, да, как же, понимаю, — тупо глядя в землю, отвечал Усков.

Пока поджидали колхозный грузовик, чтобы доехать до переправы, оперуполномоченный Коньков говорил Сережкину с плохо скрываемой иронией о том, как они с Перебейносом определили возможного вора. Рассказывая, Коньков поминутно поднимался на носки и покачивался, словно от дуновения ветра: тоненький, аккуратно затяну-

тый в темно-синий китель, с мягкими белокурыми волосами, выбившимися из-под фуражки, он рядом с массивным и прочно стоящим на земле Сережкиным казался хрупкой фарфоровой статуэткой.

— Неспокойно у тебя, Василь Фокич, неспокойно, — говорил, покачиваясь на носках, Коньков. — Сплавщики хулиганят на селе, по собакам стреляют. Этим шумом пользуются ловкачи и лезут в магазин, а ты, мой друг, в это время по тайге разгуливаешь с вероятным сообщником вора!

— Кто украл — это еще вопрос, — угрюмо сказал Сережкин.

— «Вопрос, которого не разрешите вы!» — продекламировал Коньков, любивший щеголять цитатами.

— А у сплавщиков были?

— Да, милый Вася. Ну и что же?

— Как что же? Они же скандал здесь учинили!

— А последствия? Одна убитая собака? За это, мой дорогой законник, не привлечешь. Так-то!

— Ну, присматривались хоть к ним? — настойчиво басил Сережкин.

— Мы ко всем должны присматриваться, — наставительно заметил Коньков. — Если и есть кто-либо из них заодно с этим, — он кивнул в сторону Ускова, — то вряд ли расколется. Нет, смотреть надо за Усковым. Здесь верное дело. Вернется он из района — ты с него глаз не спускай.

Наконец, разбрасывая подсыхающую дорожную грязь, подъехал грузовик. Следователь сел в кабину, Коньков с Усковым в кузов.

— Ну, действуй тут, — сказал Коньков на прощание Сережкину. — Адью!

Сережкин долго провожал глазами грузовик, пока он не скрылся за мелкой придорожной порослью. «Приехали, нашумели, взяли, что ближе лежит, и прощай, — думал старшина. — А ты возись тут».

Толпа после проводов Ускова быстро угомонилась, стала угрюмее, серьезнее — расходились молча.

— Что ж ты стоишь, Власть тайги? — сказал Сережкин сам себе. — Надо действовать, брат.

3

Сережкин давно знал Ускова. Лет пять назад он, возвращаясь из районного отделения милиции, был захвачен

в Переваловском вечерней грозой. Тащиться двадцать километров по таежной дороге в темень да в грозу — не большое удовольствие. Он зашел в магазин переждать дождь. Разговорились с Усковым, тот и предложил заночевать у себя. Сережкин согласился. С тех пор они познакомились. Усков был холост, недавно возвратился из армии, где прослужил года три на сверхсрочной. Здесь поселился он на квартире, в незнакомом селе.

— А чего мне одному-то не жить, — говорил он, оглаживая себя по начинающему полнеть животу. — Девок много, а баб и того больше.

— Я это холостяцкое баловство не одобряю, — степенно возражал ему Сережкин. — Через это дело, может, и в историю какую попадешь.

— Да брось ты, чудак человек! — весело возражал Усков. — Она, баба-то, в воде не тонет и в огне не горит, а я как-нибудь за подол ухвачусь, и меня, глядишь, вытянет...

Вспомнив эту фразу, Сережкин грустно улыбнулся:

— Вот теперь и ухватись за подол-то... Он те вытянет из реки в болото.

Старшина знал, что последнее время Усков путался с Нюркой, поварихой сплавщиков. «А может, у нее рыльце в пуху? — думал Сережкин. — Уж больно баба-то разбитная. Чего она ластилась к этому увальню?» Он решил зайти на квартиру к Ускову.

Домик бабки Семенихи стоял на отшибе, возле ручья, под развесистым серебристым бархатом. Впрочем, здесь про каждый дом можно сказать, что он стоит на отшибе, потому что улиц в привычном понятии в Переваловском не было. Бабка Семениха, или, как ее звали в селе за гнусавый говор, Гундосая, встретила Сережкина у калитки палисадника.

— Заходи, родимый, заходи, — гнусаво приглашала она Сережкина. — Чай, забрали его, кормильца? А уж смирен-то он, смирен, батюшка! Ну чистое дите. Теленка не обидит... А поди ты, вот как вышло, — приговаривала она, идя в избу за Сережкиным.

В избе, усадив гостя на скамью, она тараторила без устали:

— Поверишь ли, как прибежал он, грешный, когда сплавщики-то буянили, так с перепугу-то на сушила в сено зарылся! Там и пролежал до полуночи. А потом ска-

зал, мол, к милиционеру поеду... Вот те крест, никуда и не ходил он.

— Верю, верю, — остановил ее Сережкин. — Ты лучше вот что скажи мне: давно Нюрка не была у него?

— Да уж давненько, дён десять почитай, как не было. И чтой-то она на него осерчала? Все с ним покончила, как отрезала. Он-то места не находил себе: за что, говорит, она на меня осердилась? Раза два к ней на стан норовил сходить, да будто и там не подпустила.

— Интересно, мать! — воскликнул Сережкин.

— Не говори! — взмахнула Семениха своими сухими желтыми руками. — Уж так интересно, что впору хоть самой сходить разузнать. А ты сходи, сходи, родимый.

— Ладно уж, схожу.

— Так-то, так-то. А его-то, сердешного, помоги ослобонить. Уж смирен — теленка не тронет.

— Ладно, ладно, ты уж сиди, — осадил он жестом Семениху, готовую проводить гостя. — Я сам тут похожу да на твои сушила загляну.

Тщательный осмотр двора ничего не дал Сережкину, и он возвращался от Семенихи в раздумье. Рассказ бабки о разрыве Ускова с Нюркой был загадочен. «Почему она порвала с ним так неожиданно? — спрашивал Сережкин. — Кабы любовь была, уж тут ясно было бы. А что, если она от него добивалась чего-то. Допустим, ей нужны были ключи. А?»

Для Сережкина ясно одно, что кража магазина не дело рук Ускова. Конечно, он мог быть сообщником, но...

«Но ведь надо доказать, кто украл. Надо найти воров. А если не найду я, Сережкин, кто же их найдет? Кто же тогда поверит Ускову, что он честен? — думал Сережкин. — И, ясное дело, воры будут посмеиваться надо мной. Да и не успокоятся. Еще чего-нибудь украдут».

«А может, Нюрка с Усковым маскировку разыгрывали на людях? Мол, мы не знаем друг друга, а сами договаривались потихоньку насчет кражи... Как бы там ни было, а следы надо искать на стане сплавщиков».

Сережкин давно знал бригаду сплавщиков, кочевавшую в этих местах по Бурлиту. Ребята в ней были хоть и чудаковатые, — половина из них бороды поотпустила, — но смирные, баловства раньше за ними никакого не замечалось. Однако в прошлом году пришел к ним на работу Чувалов Иван. Сильный, сухопарый, широкий в кости, он быстро выдвинулся среди них и стал бригадиром.

У него густо усеянное рябинами лицо, за что ему дали кличку Рябой, и он получил известность в округе больше по кличке, чем по имени.

Сережкина предупредили, что за Рябым водились раньше грешки по части воровства. Старшина присматривался к нему, но Рябой вел себя безупречно. Однако бригаду сплавщиков словно подменили в последний сезон. Появились драки, набеги на село и даже одна крупная кража: двое сплавщиков обокрали рабочую кассу в леспромхозе. Сережкин нашел преступников, но у самих воров в стане выкрали четыре тысячи рублей — и никаких следов. Сережкин тогда сразу обыскал вещи Рябого, стал допрашивать его и... провалился.

Вот и теперь, чтобы неоконфузиться, прежде чем пойти на стан, на сближение с Рябым, нужно самому точно убедиться, что воры скрылись в стане сплавщиков. Нужно было найти хоть маленькую, но явную улику, чтобы действовать наверняка. И Сережкин искал ее полдня. Он исходил тропинку, ведущую из села в стан, долго кружил поодаль от стана и обследовал каждый кустик. И уже под вечер, когда упорство его почти иссякло, он вдруг нашел под кустом жимолости, недалеко от тропинки, свежую, только что сорванную этикетку с черного куска крепдешина.

— Вот она, тикетка от крендешеля, — ласково говорил Сережкин, с усмешкой разглаживая радужный бумажный лоскут на своей широкой ладони. — Ну, теперь мы посмотрим, кто кого одолеет!

Сережкин бережно положил этикетку в планшет и пошел на стан сплавщиков.

4

Километрах в двух от Переваловского на излучине Бурлита расположилась палаточным лагерем бригада сплавщиков. Здесь в жаркие дни сплава они ворочали баграми бревенчатые заторы, разводили по протокам легкие стайки бревен, а в большую воду вязали плоты. У них не было постоянного пристанища: в теплые времена бригада кочевала по берегам Бурлита, а с наступлением холодов размещалась обычно в поселках лесорубов.

Оторванная на многие месяцы от запани, бригада была предоставлена самой себе. Рябой по прибытии в нее сколотил вокруг себя звено из крепких парней. «Кто хо-

чет заработать, становись в сторону, — говорил он, подбирая напарников. — Только не хныкать — кости трещать будут...»

И они двинулись по реке, работая по шестнадцать часов в сутки, нередко и ночевали на бревнах, там, где темень застанет.

Звено прогремело на всю запань, и Рябого избрали бригадиром. Он встретил это выдвижение просто, с такой внутренней уверенностью, с какой встречают наступление дня после ночи, мол, так и должно быть.

Рябой относился к тем властным и крутым натурам, которые не могут жить, чтобы не подчинять других, не распоряжаться ими.

Всех людей он делил на два разряда: на тех, которых надо заставлять подчиняться грубо, вплоть до применения кулаков, и на тех, которых надо убеждать подчиняться.

Первым столкнулся с Рябым Варлашкин, когда они еще работали в одном звене. Напившись однажды, Варлашкин лег на плоту животом кверху и объявил, что больше не работает и Рябой ему не указ. Время было горячее, даже уход одного человека грозил провалить работу всего звена. «Ничего, — успокоил Рябой сплавщиков, — я его вылечу». Он прыгнул на плот к Варлашкину и, оттолкнувшись от затора, уплыл с ним по реке за кривун. Возвратились они на другой день пешком молчаливые и хмурые. Татуировка на голом теле Варлашкина была подкрашена лиловыми кровоподтеками. Никто не знал, что произошло между ними, только с этого дня Варлашкин стал правой рукой Рябого и преданным ему по-собачьи.

Рябой действовал по своему неписаному закону: он думал, что самое важное — подчинить до раболепия хотя бы одного человека на глазах у всех, остальные станут либо заискивать перед тобой, либо почитать тебя, либо, в худшем случае, держаться в стороне. Таким сторонним в звене оставался один Ипатов, белобрысый детина, могучий, как сохатый. Но, сделавшись бригадиром, Рябой назначил Ипатова и Варлашкина звеньевыми. Ипатов поддался, стал послушным, но Рябой не доверял ему, хотя относился к нему почтительно. Вообще Рябой не ругался, не кричал ни на кого в бригаде; эту «черную» работу, как выражался он, выполняли звеньевые. Но боялись его как огня: он мог непослушного рабочего лишить прогрессивки — в бригаде Рябого всегда поддержит большинство; по его указанию компания Варлашкина могла избить про-

винившегося, тихо, без свидетелей и синяков. Как бы там ни было, но трудовая дисциплина соблюдалась и бригада была не на последнем счету.

Сережкин хоть и не знал всех тонкостей жизни сплавщиков, но чувствовал волю Рябого в бригаде и понимал, что дело предстоит ему нелегкое.

Стоял тихий августовский вечер. Солнце, отяжелевшее за день, лениво опускалось на дальние в голубичном, бледно-синем налете сопки. Его темные клюквенные отсветы разбросаны были повсюду: на засыпающей переливчатой воде, на бронзовых кедровых бревнах, лежащих в завалах, на серых палатках, задравших высоко свои полы. Сплавщики, кончив работу, готовились к ужину. Одни купались, другие лежали возле костра, где в котлах на треногах варилась уха и каша. Дым струился жидким сизым столбом, а над костром летала, толклась мошкара, смешиваясь с гаснущими пепельными искрами.

Первым Сережкина заметил малорослый мужичок в линялой гимнастерке и в кирзовых сапогах. Он с готовностью пошел навстречу старшине, улыбаясь всем своим морщинистым лицом, словно старому приятелю.

— Фомкин! — крикнул кто-то от костра. — Бригадир зовет!

С лица Фомкина мгновенно исчезла улыбка, будто ветром сдуло; он сухо и деловито кашлянул в кулак и свернул к костру.

Сережкин подошел к группе купающихся.

— Ну, как дела, ребята? — спросил он, присаживаясь.

Сидевший рядом широкогрудый светловолосый парень с маленькой кудрявой бородкой обернулся, молча посмотрел на Сережкина, затем, посвистывая, встал и пошел на другое место метров за десять. Это был Ипатов. За ним поднялись и остальные. Старшина остался один.

— Приемчик! — усмехнулся он и пошел к костру.

Увидев его, от костра повставали несколько человек и пошли к реке. Возле котлов остались только Нюрка и Рябой.

— А, Власть тайги! Здорово живешь! — воскликнул Рябой, кривя в приветливой усмешке тонкие губы.

Он лениво растянулся на траве. На нем была кремовая, с манжетными резинками модная курточка и зеленые непромокаемые брюки. Рядом, помешивая в котле деревянной ложкой, сидела Нюрка, широкобровая щекастая

молодуха в пестрой шелковой кофточке, туго стянувшей высокую грудь.

Сережкин сел возле костра, неторопливо раскрыл портсигар, достал папироску.

— Нюрка, огня старшине! — приказал Рябой.

Нюрка выхватила горящую головешку и услужливо подала Сережкину.

— Привет передает тебе Усков, — сказал старшина Нюрке, принимая головешку.

— Я с преступниками не вожусь, — бойко ответила кухарка.

— И давно ли?

— Да уж месяца два, почитай...

«Врешь ты, чертовка!» — хотелось сказать Сережкину.

— А мне бабка Семениха сказывала, что ты еще десять дён назад миловалась с ним, — заметил он.

Нюрка насторожилась. «А еще что ты знаешь?» — написано было на ее бровастом лице. Но Сережкин умолк.

— Семениха сослепу козу с коровой перепутает! — Нюрка засмеялась тоненьким, притворным смешком, запрокинув лицо.

«В пуху рыльце-то у тебя, в пуху, — думал Сережкин, прикуривая. — Ишь какого лебедя шеей-то выгнула!»

— А где десятник? — спросил он у Рябого.

— На запани. Здесь я за него, а что?

— Да вот потолковать надо. Кое-кто из вашей бригады замешан кое в чем.

— Уж не в воровстве ли? — хохотнула Нюрка.

— В воровстве?! — с ленивой усмешкой протянул Рябой.

— Нет, зачем же в воровстве? — равнодушно заметил Сережкин. — Здесь ни следователь, ни оперуполномоченный никаких подозрений к вам не имели. А вот хулиганством занимались ваши ребята. Пришел узнать, как вы с ними поступите.

— Да не говори, старшина, — озабоченно заметил Рябой. — Просто от рук некоторые отбились. Оторванность, понимаешь. Начальства никакого. Даже десятник не каждый день бывает. Ну и, сам понимаешь, трудно одному с ними управляться. Но мы их на собрании пропесочим.

— А кто был в Переваловском? — спросил Сережкин.

— Сейчас выясним, — ответил Рябой и крикнул: — Варлашкин!

От группы купающихся отделился черноголовый па-

рень в трусах. Рослый, отлично сложенный, он шел вразвалку. Когда-то перебитая и неровно сросшаяся переносица придавала его лицу свирепый вид. Весь торс, руки, ноги его были расписаны татуировкой. На спине выколота целая картина: собака воет на крест, а под этой картиной надпись: «И необмытого меня падлай собачий похоронят». Так и было написано: «падлай собачий». Грамотность Варлашкина плакала на его собственной спине. На ступнях вытатуирована надпись: «Они устали».

Сережкин не без любопытства рассматривал эти диковинные надписи и картины.

— Что, интересно, старшина? — спросил Варлашкин, перехватывая взгляд Сережкина.

— Ты лучше расскажи, кто вчера с тобой был в Переваловском? — строго оборвал Рябой Варлашкина.

— А что он, не знает, что ли? — ответил Варлашкин.— Ему все известно, он же Власть тайги!

— А ты, может, перестанешь дурака валять? — спросил, недобро улыбнувшись, Рябой и показал рядом с собой на траву. — Садись.

Варлашкин сел.

— Ну?

— Ну, ну! Иван Косолапов, Костюков... Звено наше, все пятеро, да Ипатов с нами, — неохотно, поглядывая с опаской на Рябого, ответил Варлашкин.

— Запишите, товарищ старшина, и передайте в селе, что мы их строго накажем по общественной линии и прогрессивки лишим.

— А что мы, виноваты? — огрызнулся Варлашкин. — Они сами начали драку. Прогнать нас хотели.

— Ну, ваши объяснения пока не нужны, — прервал его Рябой и повернулся к старшине. — Еще что у вас есть к нам?

«Ах, хитрая бестия!» — думал Сережкин, глядя на Рябого, но вслух сказал:

— Я слышал, что ваша моторка сегодня пойдет на станцию?

— Да, пойдет, — ответил Рябой, немного помедлив.— А что?

— Да я хотел служебные письма с вами переслать. Мне самому-то нельзя отлучаться. Возись теперь с этой кражей.

— А что ж! Можно, конечно, — с веселым облегчением поспешно подхватил Рябой. — Я сам поеду. Можешь не беспокоиться, доставлю.

— Ну и хорошо! Я ночью занесу вам письма.

Сережкин, не прощаясь, встал и пошел от костра. За своей спиной он услышал подавленный смешок Нюрки.

— Заткнись! — цыкнул на нее Рябой.

«Смейся! — думал ехидно Сережкин. — Опосля плакать будешь. Крендешин у вас. но тикеточка у меня».

5

В хомутной пахло дегтем, конским потом и плесенью. Фонарь «летучая мышь» скупо освещал дощатые стенки, завешанные сбруей, земляной пол и сидевшего в углу на охапке сена за починкой недоуздка Лубникова. Сережкин тщательно прикрыл за собой дверь и сказал, присаживаясь к Лубникову:

— Запомни хорошенько: в час ночи ты выведешь двух заседланных лошадей, одну для меня, другую для себя... Выведешь их, значит, на Красный бугор к развилке — и ни гугу об этом.

Лубников слушал, раскрыв рот от удивления. Напряжение, любопытство и страх, написанные на его лице, придавали ему вид заговорщика.

— Понял? — строго спросил его Сережкин.

— А как жеть! — весело воскликнул он, сдвигая на затылок фуражку. Следует заметить, что фуражка эта была предметом особой гордости Лубникова. Настоящая фуражка, какую носят пограничники, но Лубников за пять лет так замызгал ее, что она из зеленой превратилась в грязно-серую. — Как не понять! Стало быть, мы с вами оперативную выполнять будем?

— Потише ори, оперативный! — строго одернул его Сережкин. — Смотри, не проспи!

— Ну, Василь Фокич! Да в таком деле лучше, как на меня, не на кого положиться во всей округе. Я уж буду точно... Ходики свои настрою.

— Лошадей возьми получше, скакать долго придется.

— Да я вам самого Рубанка заседлаю. Вот оно, значит, как! Пригодился еще Лубников на оперативные дела! А ты знаешь, как я в тысяча девятьсот сорок пятом году шпиона поймал? Так вот, иду я, значит, по тайге. А Играй, пес мой, жмется и жмется ко мне. Уши навострил да так отрывисто, не голосом, а чревом, брешет: «Ав! Ав!» А хвост промеж ног держит. Что такое, думаю? Не тигра ли?

— Буля врать-то, — перебил его Сережкин. — Слыхал я твою сказку не один раз. Смотри, не усни! — бросил он на прощание.

— Ну что ты, право! Не первый раз на оперативной. Как-нибудь — люди привычные, — важно заверил Лубников Сережкина, провожая из конюшни.

Близилась полночь. Крупная белая луна пряталась в седловину черных сопок, и мрачные длинные тени все плотнее окутывали землю.

Сережкин неторопливо шел по знакомой тропинке в стан сплавщиков. Замысел его был прост: показаться Рябому за несколько минут до отхода моторки и уйти. Вор, будучи уверенным, что ему теперь никто не угрожает, обязательно прихватит с собой краденые вещи и отвезет на станцию. Вот тут-то и надо перехватить моторку. А перехватить ее можно только у переправы, километров за двадцать пять от Переваловского, где лодка причаливает к берегу. По тайге верхом до переправы можно проскакать часа за полтора-два, а моторной лодке петлять по извилистому Бурлиту вдвое больше и по времени, и по расстоянию.

Обычно моторка отходила от сплавщиков после полуночи, чтобы к началу работы попасть на станцию. На лодке они подвозили продукты, всякое оборудование и тросы, перевозили людей.

Сережкин, подходя к стану, увидел возле реки темные фигуры, освещенные фонарем. Кто-то размахивал фонарем, отчего огромные тени людей тревожно метались по земле, окружающим кустам и палаткам.

— Да свети лучше, дьявол! — услышал он голос Рябого, доносившийся из лодки.

Сережкин подошел к ним.

— А, старшина! — воскликнул Рябой. — Ну, как, принес письма? — На нем была брезентовая куртка, высокие яловые сапоги, а на голове, спадая на плечи, словно бабий платок, трепался удэгейский накомарник. — Вот вожусь с мотором, да едят комары, черти!

Сережкин открыл планшетку и подал Рябому два конверта.

— Ну, будь спокоен, сегодня получат твои письма! А может, с нами прокатишься?

— Да нет, куда мне от своих дел, — ответил старшина.

— А-а, жаль. Ну ладно, будь здоров. А насчет наказания хулиганов не беспокойся. Завтра вернусь, и мы займемся этим отсталым элементом.

Не успел Сережкин далеко отойти от стана, как зачихала, затарахтела моторка.

— Торопится, — сказал Сережкин и пустился бежать.

«Только бы Лубников не подвел, — думал он на бегу. — До лошадей бы добраться. А уж там не уйдешь от меня, голубчик».

Бежать к Переваловскому было все время в гору. Сережкин грузно перепрыгивал через ручьи и шумно отдувался.

— Уф, черт, жарко! — восклицал он, отирая ладонью пот.

Расстегнул мундир, снял фуражку, но легче от этого не было. Чтобы сократить путь, он свернул с тропинки и по лугам бежал, огибая село, к Красному бугру, где должен ждать его Лубников.

Но никого на Красном бугре не оказалось. Сережкин, тяжело переводя дыхание, растерянно озирался по сторонам. Никого! В настороженной ночной тишине несмело пробовал свой голос одинокий перепел. «В путь пора!.. В путь пора!» — чудилось Сережкину. Злость, обида, отчаяние, словно пальцами, перехватили ему горло. Хотелось крикнуть, дать волю гневу, силе, но он только тихо выругался:

— Ах же ж ты, с-сукин сын! Прохвост проклятый! — и тяжело, размашисто побежал к конюшням.

Лубникова он застал в хомутной спящим; все так же тускло освещал его фонарь «летучая мышь» и мерно тикали над ним ходики. Взяв за шиворот обеими руками, Сережкин с силой тряхнул его.

— Что, что такое? Что такое? — забормотал спросонья Лубников и, увидев перед собой гневное лицо Сережкина, растерянно захлопал глазами.

— Ты что ж? Пособничать нарушителям решил! — кричал на него Сережкин. — Да я тебя под арест сейчас и в сельсовете запру. Понятно? До разбора дела, денька на два.

Лубников сидел перед Сережкиным неподвижно и ошалело смотрел на него.

— Да чего ж ты сидишь? Руки-ноги отнялись, что ли? Седлай коней скорее, тебе говорят!

Наконец Лубников сорвался с места и суетливо начал снимать седла и недоуздки.

— Я сейчас, сейчас... В момент...

Он сунул седла в руки Сережкину и выбежал из хомутной. Через несколько секунд в темной конюшне раздался его хриплый спросонья голос.

— Но, милок, но! Да ну же, дьявол! Чего уперся? —

Раздался удар кнута, и жеребец зафыркал, застучал о настил. Наконец Лубников вывел Рубанка на свет, падавший сквозь растворенную дверь хомутной, и начал седлать, одновременно разговаривая с Рубанком и Сережкиным.

— То-ой, черт! Чего мордой-то мотаешь? А то тресну вот по зубам. А насчет пособничества ворам, Василь Фокич, это ты напрасно. Тьфу, окаянная сила! Что брыкаешься?.. Я, можно сказать, весь в ярости против них. А ты — пособник!

— Скорее, скорее ты седлай! — торопил его Сережкин. — Проспал, да еще копается.

— Проспал, — ворчал Лубников. — Вовсе и не проспал, а так, прилег только. Какой уж сон, когда ехать надо.

— Готово, что ли?

— Готово. А мне-то кого заседлать — Зорьку ай Буланца? — спрашивал, почесываясь, Лубников.

— Да хоть самого черта седлай! — крикнул, выйдя из терпения, Сережкин. — Если через пять минут не будешь готов, один поскачу и брошу в тайге твоего Рубанка.

Лубников побежал к соседнему стойлу и в темноте ворчал:

— Брошу Рубанка. Смотри-ка, пробрасаешься... Где это видано, чтобы такое добро бросали.

Но оседлал он на этот раз быстро. Сережкин вывел Рубанка из конюшни, осветил карманным фонарем часы.

— Почти час потерял. Ну, если не догоним!.. — Он не договорил и прыгнул в седло. Сытый жеребец отпрянул в сторону и пошел маховитой рысью.

Сережкин пустил лошадь галопом и долго, напрягаясь, прислушивался. Но, кроме глухого щелкающего стука копыт, ничего не слышал. Перед глазами бежала травянистая дорога, словно три параллельные тропы, где-то впереди совсем близко она пропадала и никак не могла пропасть. Изредка с боков набегали придорожные кусты так близко, что с непривычки Сережкину казалось: вот-вот смахнут они его своими черными мохнатыми шапками. Но кусты надвигались, вырастали до больших размеров и пропадали, и снова перед глазами были три тропы, коротко обрывающиеся впереди, и снова чмокающее щелканье копыт по грунту.

Так размеренным гулким галопом проскакал Сережкин, а за ним Лубников почти полпути до самой Каменушки, мелкой протоки Бурлита. И когда жеребец разбрызгивал речную воду, старшина уловил отчетливый стук мотора.

— Догнали! — крикнул он во все горло.

— Чегой-то? — переспросил, подскакивая, Лубников.

— Догнали, говорю! — Сережкин придержал жеребца и спросил Лубникова: — Слышишь?

— Мотор, — сказал Лубников.

— Ну, теперь-то не уйдут, голубчики.

Сережкин знал, что от Каменушки Бурлит делает самую большую петлю, а дорога напрямую идет до переправы.

Дальше поехали медленнее. Несколько минут они слышали, как стучал мотор все тише и тише и, наконец, замер. Лодка ушла по кривуну.

Когда они подъехали к переправе, было уже совсем светло, хотя солнце и не выкатилось еще из-за покрытых белой дымкой сопок. Вся переправа состояла из одного бата — длинной долбленой лодки. Батчик — сухонький пожилой нанаец Арсе, равнодушный и молчаливый. На противоположном берегу возле избы перевозчика сидели три человека. Двое поджидали оказию, третий был Арсе.

На переправу обычно заходят все лодки, идущие по Бурлиту, чтобы забрать или высадить пассажиров, заправиться горючим и просто порасспросить о таежных новостях.

Сережкин слез с лошади, передал повод Лубникову:

— Останься пока здесь, только в кусты уведи лошадей и сам спрячься.

Затем с высокого лесистого бугра стал махать фуражкой. Его заметили. Арсе неторопливо столкнул в воду бат и, работая двухлопастным веслом, переехал реку.

— Не проходила лодка сплавщиков? — спросил его Сережкин.

— Нет, — ответил Арсе, посасывая трубочку.

— Хорошо. Перевези-ка меня, друг Арсе. — Сережкин прыгнул в бат, лодка осела под его грузным телом.

Нанаец молча оттолкнулся и направил бат поперек реки. Вода курилась молочным туманом, чуть розоватым на стрежне, подкрашенным зарей.

— А что эти двое, — кивнул Сережкин в сторону сидевших возле избы, — на станцию ехать собрались?

Перевозчик утвердительно кивнул головой.

— Ягоду синюю торговать, — сказал он, помедлив.

— Хорошо, — заметил Сережкин. — А ты, друг Арсе, как сарыч, неразговорчив. Скажи, у тебя бывали когда-нибудь радости, чтоб смеяться захотелось?

— Берег подходит, — ответил Арсе и указал трубочкой на нос бата.

— Ах ты, какой деревянный, ей-богу! — воскликнул Се-

режкин и с ходу выпрыгнул на берег. Он подсел на бревно к двум женщинам с большими корзинами.

— Ну что, бабочки, божий дар везете продавать?

Одна, что помоложе, в пестрой косыночке, в синих резиновых тапочках, игриво прыснула в руку и спросила:

— А что — конфисковать хочешь?

— Будет тебе! Нашла с кем шутить! — укоризненно оборвала ее пожилая напарница в повязанном углом платке и в улах.

«Ишь ты, какая баба-яга», — подумал про нее Сережкин и встал с бревна. Он подошел к реке, вода все так же кудрявилась парным дымком, но уже того легкого настроения у него не было. Он вдруг почувствовал, как звенит голова, гудят и ноют отяжелевшие ноги, от жажды пересыхает рот.

— Эх, напиться, что ли? — Он зачерпнул пригоршнями теплую речную воду и внезапно услышал отдаленный стрекот мотора.

— Бабочки, идет моторка. Тащите сюда корзины! — скомандовал им Сережкин и сам побежал навстречу, подхватил корзины и поволок их к самому приплеску.

— Да будет вам, — гудела пожилая женщина и шла покорно за старшиной.

— Вот здесь садитесь и машите, кричите. Они обязательно возьмут вас. — Сережкин подбадривающе улыбнулся и пошел к прибрежным кустам. Там он спрятался в развесистом кусту жимолости и стал наблюдать за рекой.

Вскоре из-за кривуна вышла черная моторка сплавщиков. В ней сидели четверо. Сережкин сразу узнал Рябого, тот развалился, откинувшись на борт. Положив голову на его колени, свернулась клубком Нюрка. Кроме них, в лодке сидели еще двое мужчин.

Ягодницы с берега замахали руками.

— Завернем? — спросил моторист Рябого.

— А чего ж, — ответил тот. — По десятке с носа — и то хорошо.

Лодка, разворачивалась, заскользила к берегу. Мотор несколько раз булькнул, как бутыль, в которую наливаю воду, и умолк. Затем лодка бесшумно ткнулась в песочную отмель.

— Заходи, пошевеливайся, — скомандовал Рябой ягодницам и осекся, увидев Сережкина, выходящего из кустов.

Если бы перед Рябым появился сейчас уссурийский тигр, он бы не растерялся так, как от появления Сережкина. Он так и застыл с открытым ртом и поднятой рукой, которой хотел принимать корзины.

— Не ждал? — спросил Сережкин, и его широкоскулое лицо расплылось в довольной улыбке.

— А, старшина! — наконец воскликнул Рябой. — Ты что, с неба свалился? Ну проходи, проходи... Тоже до станции?

— Да нет, подальше провожу вас, — ответил Сережкин и перешел на строгий начальнический тон: — Прошу всех разобрать свои вещи и вынести из лодки. Проверка.

В лодке лежало всего два объемистых рюкзака. Моторист и рабочий быстро выпрыгнули из лодки. Рябой и Нюрка замешкались на минуту, Нюрка взяла сначала один рюкзак, но Рябой выразительно посмотрел на нее, она потащила за лямку и другой.

— Товарищ старшина, эти вещи я везу начальнику районной милиции, — сказала Нюрка. — Поэтому вы их здесь не смотрите.

— А вот я есть здесь и начальник милиции, и участковый, вся власть тут... Давай, давай, — ответил Сережкин, подхватывая рюкзаки. — Смелее! Вот так.

Он рывком расстегнул первый рюкзак и воскликнул:

— Гляди-ка, хорошие отрезы вы начальнику милиции везете! Все из переваловского магазина. Вот он обрадуется. Это ты везешь такой подарок? — спросил он Рябого.

— Это ее вещи, — кивнул он на Нюрку. — Я к ним не имею никакого отношения.

Нюрка, заложив руки в карманы фуфайки, презрительно смерила Рябого взглядом:

— Проходимец ты, Рябой! Из воды сухим хочешь выйти? Думаешь, я такой же холуй тебе, как Варлашкин? Плевала я тебе в рожу!..

— Убью! — бросился на Нюрку Рябой, но перед ним встал с пистолетом Сережкин.

— Зачем же? Пусть живет, — сказал старшина. — Поехали, — пригласил он всех в лодку.

— Может, поинтересуешься своими письмами? — спросил Рябой.

— Возьми их себе на память, — ответил Сережкин.

Рябой бросил скомканные конверты и пошел первым в лодку.

— Нет, ты погоди, — остановил его Сережкин. — Ты ко мне поближе сядешь.

Сережкин пропустил на нос моториста и рабочего, затем подсадил Нюрку и ближе к себе Рябого. Сам старшина сел за руль, завел мотор, и тронулись.

Рябой молча смотрел в воду. Видно было по бугристым надбровьям, по сильно поджатым тонким губам, что он напряженно о чем-то думает. Наконец он повернулся к Сережкину и сказал:

— Не могу понять... как ты догадался?

Сережкин раскрыл планшетку, вынул этикетку, найденную под кустом жимолости, затем среди кусков крепдешина нашел один с белой меткой и, приложив к нему этикетку, спросил:

— Видишь? Тикеточку ты обронил на тропинке возле стана.

— Ну-ка, ну-ка! — Рябой ринулся к Сережкину, глаза его остро блеснули, словно вспыхнули, и увесистый кулак мелькнул в воздухе.

Старшина рывком уклонился.

— Еще одна попытка, — внушительно сказал Сережкин, — и ты приедешь на станцию дырявым. А я не хочу этого. Ведь тебе надо еще в тайгу съездить, показать, где остальные вещи спрятаны.

— Ничего я вам не покажу, — угрюмо и безнадежно ответил Рябой.

Лубников, привязав лошадей в кустах, побежал по берегу за лодкой.

— Василь Фокич! — крикнул он. — А мне-то какая задача дальнейшая?

— Домой поезжай, — ответил из лодки Сережкин.

Обратно конюх скакал с не меньшей скоростью, ведь он вез такую новость! А к вечеру уже все Переваловское знало, как он, Лубников, на самом юру на Бурлите настиг контрабандиста Рябого и передал его из рук в руки самому Сережкину.

6

Через день в районной милиции Рябой все-таки согласился идти в тайгу и показать спрятанные вещи. Запираться дальше не было смысла. Нюрка все рассказала, и ее выпустили накануне. В кабинете начальника милиции Рябой сказал ей на прощание:

— Ты передай Варлашкину, что я завтра вечером приеду на стан с кем-нибудь. Пусть все приготовит...

— Может, не стоило бы ее туда пускать? — осторожно спросил Сережкин Конькова.

— А что?

— Варлашкин вещи может перепрятать.

Коньков засмеялся:

— Неужто ты знаешь, где они спрятаны? — Затем он снисходительно оправил погон у Сережкина и добавил озабоченно: — По совести говоря, милый Вася, не верю я Рябому. А Нюрка убедить их сможет, она слово дала.

— Все-таки не надо было Нюрку выпускать, — с сожалением заметил старшина.

— Да что она тебе далась. Никуда она не денется до самого суда.

— Она-то не денется, да мы с тобой тайгой поедем, еще и вечером.

— Уж не боишься ли ты засады, доблестный лыцарь!

— Да ну тебя к черту! — выругался Сережкин.

Из показаний Нюрки, которые затем признал и Рябой, следовало, что Варлашкин по договоренности с ним устроил скандал на селе, а Нюрка недели за две принесла ему слепки с ключей Ускова. Прямого участия в грабеже она не принимала. Магазин обокрал один Рябой.

В коридоре милиции Нюрку поджидал Усков.

— Может, вместе поедем в Переваловское, а? Нюрка? — робко предложил он ей, когда она вышла из кабинета начальника. — Я и насчет подводы договорился.

Нюрка саркастически улыбнулась:

— Больше твои ключи не понадобятся... по крайней мере мне.

— Ну зачем ты об этом? — с мучительной гримасой сказал Усков. — Ну, был грех... Что ж теперь, через это и в душу плевать?

— Эх, грех! Мало бьют вас, дураков... Вот в чем грех-то, — сказала она с какой-то злобной горечью и пошла к выходу.

За ней посеменил Усков. Возле двери она обернулась к нему и процедила сквозь зубы:

— Не ходи за мной... Тошно мне, понимаешь, тыквенная голова.

Она быстро вышла, хлопнув дверью перед самым носом Ускова.

На следующий день Коньков и Сережкин сопровождали Рябого в тайгу на поиски вещей. До переправы они добрались уже в сумерках. На той стороне их поджидал грузовик из Переваловского. Шофер лежал на фуфайке под машиной, оттуда торчали его сапоги.

— Эй, шофер! — крикнул Коньков. — Машину готовь! — Но сапоги не пошевелились. — Спит, каналья, — беззлобно выругался Коньков.

Молчаливый и строгий, как бронзовый бог, Арсе усадил их в бат и оттолкнулся сначала шестом, потом взял весло.

Рябой, ехавший всю дорогу ссутулившись, в бату ожил и зорко посматривал на противоположный берег. На середине реки он неожиданно навалился на один, ухватился за второй борт руками, и бат мгновенно перевернулся.

Первым вынырнул Арсе; маленький, с угловатым черепом и жиденькими белыми волосами, он был похож на старого водяного духа. Ухватившись за корму опрокинутого бата, он крутил головой, фыркал и никак не мог понять, что с ним произошло. Коньков не мог плыть, он тоже держался за бат, высунув из воды свое острое лицо, и сокрушенно ахал:

— Ах, черт! Очки-то мои, очки! Как же я буду теперь без них? — очки были черные, у него болели и слезились глаза.

К берегу, вымахивая черными рукавами рубахи, плыл Рябой. За ним в пяти метрах Сережкин. Поодаль мирно колыхались на волнах две милицейские фуражки. Течение уносило их от плывущих. Рябой первым достал дно. Разбрызгивая воду, он бежал к берегу. Вот он уже выпрыгнул на зеленый откос, а там в десяти шагах и тайга... Но в это время грохнул выстрел. Рябой обернулся и застыл. Сережкин стоял по грудь в воде с наведенным на него пистолетом.

— Правильно, — говорил, приближаясь к нему, старшина. — Зачем рисковать?

— Ну что ж, твоя взяла, — сказал Рябой.

— Моя всегда берет, — ответил Сережкин.

— М-да, — протянул Рябой и усмехнулся.

Выстрел разбудил шофера, он стоял теперь возле машины и тупо смотрел на происходящее. Это был молодой парень в облезлой сиреневой майке.

— Что смотришь? — окликнул его Сережкин. — Видишь, бат уплывает. Помочь людям надо.

— Это можно, помочь-то, — тихо сказал парень и стал неловко, будто стесняясь, раздеваться. Затем нагим забежал по берегу напротив бата и медленно пошел в воду, сводя лопатки.

Наконец бат вытащили. Коньков, весь мокрый, худень-

кий, без очков, стал сразу меньше и теперь сильно смахивал на подростка в форме.

— Ты мне, сукин сын, ответишь за эту баню! — кричал он на Рябого. — Смотри, не вздумай еще чего учинить. Башку сниму!

Он сел с шофером в кабину. Сережкин с Рябым в кузов.

— Машину в тайге не останавливай, кто бы ни встретился, — наказал Сережкин шоферу. — Понял?

Тот согласно кивнул головой, включил зажигание, и поехали...

Из-за помутневших в белесой пелене вечернего тумана сопок выкатилась огромная красная луна. Она замелькала в ветвях придорожных деревьев, словно хотела заглянуть и получше рассмотреть, что же это за машина? Рябой сидел у кабинки и посматривал по сторонам. Сережкин подпрыгивал на корточках возле борта. Под каждым из них натекли и поблескивали черные лужицы.

— Держись крепче, старшина, а то, не ровен час, на ухабе выбросит, — мрачно сострил и усмехнулся Рябой.

Сережкин уловил в позе, в жестах Рябого какую-то настороженность, ожидание чего-то важного, внезапного. Эта настороженность передалась и Сережкину, взвинтила нервы, обострила внимание.

Когда переезжали мелкий серебристый поток Каменушки, Рябой вскочил на ноги и крикнул шоферу:

— Щука, щука на дороге!.. Останови!

Действительно, на каменистой дороге, возле самой воды, лежала огромная щука, будто сама выпрыгнувшая из воды.

Шофер притормозил машину. И Сережкин вдруг увидел, как в прибрежных кустах промелькнули тени, четко на луне холодным стеклышком блеснул ствол ружья.

— Гони! — гаркнул он на шофера и, выхватив пистолет, выстрелил поверх кустов.

Машина, взревев, рванулась прямо на кусты, в которых была засада. Сережкин осадил Рябого и, припав к борту, отчетливо крикнул:

— Уложу первого, кто двинется!

Машина стремительно шла на засаду, тени в кустах скрылись... Секунда, две, три... но впереди все еще маячит этот проклятый куст. Как медленно движется и время, и машина! Кровь в висках стучит так, что заглушает рев мотора, и Сережкину кажется, будто машина стоит на мес-

те, а куст отдаляется и становится маленьким. «Когда-то я уже испытывал все это, — мелькнуло у него в сознании. — Но где?»

— Трусы! — прошипел Рябой. — Будьте вы прокляты!

Машина уже разбрасывала колесами последний галечник прибрежного откоса. Вот она выскочила на лесную травянистую дорогу и понеслась. Засада осталась позади.

7

Всю ночь Сережкин просидел в стане сплавщиков, охраняя Рябого. Коньков, потеряв очки в Бурлите, сказал: «Я теперь все равно что обезоружен», — и ушел еще с вечера спать в палатку.

На рассвете лениво подошла к костру закутанная в шаль Нюрка. Присела.

— Что, не спится? — спросил ее Сережкин.

— Вот посмотреть пришла на вожачка, — усмехнувшись, сказала она в сторону Рябого. Тот отвернулся.

— Кто ж его избрал вожаком-то?

— Глупость наша да трусость, — ответила она, глядя в костер широко раскрытыми глазами. — А подлость поддержала... Как же! Каждому хотелось поближе быть к вожачку-то, позаметнее. — Она горько усмехнулась, встала и поплелась в палатку.

Варлашкин с компанией появились только утром. Они шли гуськом, хмурые, молчаливые. Видно было по лицам, что они перебранились и были сильно не в духе.

— Сложите ружья! — приказал им Сережкин.

Они равнодушно положили ружья, даже не посмотрев ни на Рябого, ни на Сережкина. Старшина указал им место у костра рядом с Рябым, сам сел напротив.

Приятели Варлашкина были крупные, как на подбор, детины. Особенно выделялся среди них светлобородый Ипатов, с лицом упрямым, но добродушным, а когда запрокидывал от дыма лицо, шея троилась — такие бугристые сильные мышцы были у него.

Глядя на них, Сережкин вдруг начал испытывать чувство крутой, горячей злости. Он вспомнил свой приход сюда, их равнодушные уклончивые лица. Представил себе, как они с ружьями протопали за ночь двадцать с лишним километров. Ради чего? Ради мести ему, старшине? Нет, к Сережкину они не питали никакой злобы. Это видно было по их лицам и по тому, что они не стали стрелять. Ведь

они бы легко могли застрелить его из кустов, оставаясь сами невредимыми. Значит, у них не было к нему злобы. Но что же тогда заставило их идти скандалить в село, чтобы помочь Рябому обворовать магазин, и теперь вот пытаться освободить его? Что?

— Ну как, неудачной охота на Сережкина оказалась?— спросил старшина Ипатова.

— Какая там охота! — ответил тот. — Просто попугать хотели, да сами испугались.

— А рыбу где такую крупную взяли? Ту, что на дороге положили.

— Вон, Варлашкин достал, — ответил второй парень и усмехнулся: — Приманочка, говорит, клюнет, мол, Сережкин — тут мы его и накроем.

— Что ж вы, Ипатов, друзья с ним, что ли? — указал старшина на Рябого.

— У меня среди трусов нет друзей, — ответил за него Рябой, презрительно сплевывая.

Ипатов молчал, но Сережкин заметил, как заходили его узловатые желваки. «Эге, брат, ты как бык — грозен да ленив», — подумал Сережкин и решил расшевелить его.

— Ну, может, были с ним друзьями?

— Нет, — угрюмо ответил Ипатов.

— Может, он тебе платил за помощь? — допытывался Сережкин.

— Он те заплатит! — криво усмехнулся Ипатов. — Да и не нужна мне его плата.

— Так что же ты, из интересу пошел скандалить на село?

— Пошел... просто так... — Ипатов помолчал и добавил: — Как все, так и я.

— Эх!.. — воскликнул Сережкин и выругался, скорее от удивления, чем по злобе. — И ты тоже пошел на село, как все? — спросил он Варлашкина.

— А то что ж, — ответил тот. — Приказано было... Ну мы и палили по верхам.

— Да кто же приказал-то?

— Рябой.

— Зачем же ты слушался?

— А как же не слушаться? У него сила...

— А у вас? Вот у него, у него, — показывал Сережкин на сидящих. — Разве у вас нет силы? Неужто послабее Рябого будете?

Рябой грыз ветку и смотрел на них, прищурившись.

Ипатов по-бычьи исподлобья смерил его ответным взглядом и сказал, больше обращаясь к Рябому, чем к Сережкину:

— Наша-то сила не мерена...

Помолчали.

— Он вас гнул, а вы терпели, — снова заговорил Сережкин. — Так неужто ж вам нравилось его самоуправство?

— Не нравилось, — ответил Ипатов. — А если терпели, значит, свернуть ему шею время не подошло... не накипело.

— Под защитой старшины-то все вы смелые, — сказал Рябой, поджимая свои тонкие губы.

Ипатов снова исподлобья посмотрел на Рябого, но только глубоко вздохнул.

— Так что ж, он сам расправлялся с теми, кто не подчиняется?— спросил Сережкин.

— Нет, больше все вот этот, Варлашкин, — раздался голос сзади Сережкина.

Он обернулся. За ним стояли еще человек семь сплавщиков, незаметно подошедших к костру.

— Этот холуй продался Рябому, — пояснили из толпы.

— Нет, постой, постой, я скажу, — расталкивая людей, вырвался вперед узкоплечий мужичок в расстегнутой фуфайке. Сережкин признал в нем Фомкина. — Он же, паразит, по отдельности нам бока мял. Дай-кась я ему в ломаную переносицу хрясну! Хоть разок! — рванулся он к Варлашкину.

— А что, и стоит пощупать их с Рябым-то, — поддержал его кто-то.

Толпа загудела и стала обступать Рябого и Варлашкина.

Варлашкин беспокойно заерзал, бросая из-под лохматых нависших бровей опасливые взгляды. Рябой не шелохнулся, он так же покусывал веточку, словно никого и не было.

— Вот паразит! Он еще и не замечает нас! Бей его, ребята!

— Стой! — крикнул Сережкин и поднял руку. — Осади назад! Храбрецы!

— Как же так получается? — обратился к ним старшина. — Вас много — и ничего сделать с Рябым не могли, а я один — и вот обезвредил его...

— Так на то вы и власть!

— Вам положено.

— Мы что? Мы — посторонние, — раздались возгласы из толпы.

— Значит, не накипело, — снова угрюмо пробасил Ипатов.

— Эх вы, люди-головы! — воскликнул Сережкин и почесал затылок.

8

Поздно ночью сильно постучали в окно избы милиционера Сережкина.

Татьяна вскочила с постели в одной рубашке, подошла к окну и, приложив ладони козырьком к щекам, стала всматриваться через стекло.

— Никак, Вася! — радостно воскликнула она и пошла открывать дверь.

— Ну, слава богу! — лепетала она сонным голосом через минуту, зажигая в чулане лампу. — Неделю не был дома. Ну, что там у тебя?

— Обыкновенно, порядок наводил, — ответил Сережкин, с трудом стягивая волглые сапоги. Он не любил расписывать дома о своих делах.

— Навел порядок-то? Ну и хорошо. Поужинаешь?

— Нет, молочка, пожалуй, выпью. Отнеси-ка мой портупей на стол, — сказал он, подавая Татьяне снаряжение. — Эх, хоть высплюсь! — Он аппетитно потянулся.

Татьяна поставила на стол глиняный горшок молока, сама ушла в соседнюю комнату.

Сережкин выпил залпом молоко, погасил лампу, постоял с минуту над кроватью сына.

— Спит, кочедык, — ласково пробасил он и положил на подушку мальчика горсть нешелушеных лесных орехов.

А через минуту всю избу заполнил громкий затяжной храп Сережкина, от которого тихо и жалобно тренькали оконные стекла.

1954



Пропажа свидетеля

1



Они вылетели утром на вертолете из райцентра Воскресенского. Целый час летели над таежной извилистой рекой Вереей, заваленной всяким лесным хламом на бурных порогах; бревна с такой высоты казались спичками, а черные выворотни и коряги, окруженные шапками пухлой пены, похожи были на ломаные сучья в снегу. Река то бурлила на перекатах, заметных по извилистой череде белесых гребней постоянных волн, то растекалась на спокойные темные протоки, обросшие по берегам купами краснотала, черемухи и дикой амурской сирени-трескуна.

Тайга стояла еще однотонно-зеленой, и только кое-где, на косогорах проступали опаловые пятна рано пожелтевших берез и осин, да радужным оперением просвечивали порой сквозь мелколистные макушки ильмов плети дикого винограда, обвившие эти могучие стволы и раскидистые ветви.

Рядом с пилотом сидел светловолосый и худой лейтенант милиции Коньков; у него было темное, словно продубленное лицо с аскетическими складками на впалых щеках. Такие лица бывают у людей, не знающих угомона ни днем ни ночью. Он пристально глядел на эти игравшие слюдяным переблеском речные перекаты, на затененные и длинные протоки, стараясь определить то самое место, где ждали их председатель промысловой артели Дункай с проводником убитого зоолога Калганова.

Река везде петляла, везде были заломы, перекаты, песчаные косы да протоки — попробуй определи с эдакой высоты, которая из них та самая протока, называемая местными жителями Теплой? Правда, Семен Хылович Дункай сказал по телефону, когда вызывал лейтенанта Конькова на место преступления, что на косе они разведут костер. Но из-за этого костра они чуть было не приземлились на другой косе, да вовремя спохватились — здесь, у костра, сидело не два человека, а четверо, валялись какие-то железные бочки, и у самого приплеска была черная развалистая лодка, совсем не похожая на длинный удэгейский бат.

Все это они заметили только при посадке, когда зависли на стометровой высоте над водой. Коньков толкнул пилота в бок и крикнул, прислонив ладонь к его уху:

— Это не они! Теплая протока километров за сто вверх по реке. Сколько мы пролетели?

— Сейчас определим, — ответил пилот, глядя на приборы. — Примерно шестьдесят-семьдесят километров.

— Тогда крой дальше!

— А, чтоб тебя скосоротило! — выругался летчик, подымая вверх вертолет.

— А я виноват? И песчаная коса, и протока рядом, и костер... Попробуй разберись тут, — проворчал обиженно Коньков.

Помимо Конькова и пилота в вертолете, в пассажирском отсеке, сидели два санитара в каких-то белесых, застиранных халатах, похожих на робы грузчиков, врач в черном костюме при галстучке и в соломенной шляпе, да еще в форменной одежде плотный и благообразный, с широким добродушным лицом следователь из районной прокуратуры по фамилии Косушка.

Наконец увидели они длинную песчаную косу, и костер, и двух человек возле него; те, заметив вертолет, встали и начали размахивать руками.

— Вот теперь они! — крикнул Коньков. — Узнаю Дункая по шляпе; он у нее поля обрезал, чтоб, говорит, ветер не сдувал. Вон, видишь? Как ведро на голове...

Пилот утвердительно кивнул головой и начал снижаться прямо на песчаную отмель.

2

Дункай с Кончугой встретили прилетевших у трапа вертолета, словно делегацию, — Дункай почтительно протягивал всем по очереди руку и представлялся:

— Председатель артели Семен Хылович.

Коренастый широкоплечий Кончуга стоял чуть поодаль и сосал маленькую бронзовую трубочку с черным мундштуком. Его плоское скуластое лицо было безразлично-спокойным, полным сурового достоинства.

— Где Колганов? — спросил следователь.

— Идите за мной, — ответил Дункай.

Он повел их к лесной опушке по песчаной косе. Не доходя до кустарников, Коньков жестом остановил Дункая и спросил:

— Вы тут без нас следы не затоптали?

— Да вы ж не велели, — ответил Семен Хылович с некоторой досадой, как маленьким. — Ни я, ни Кончуга вплотную к Калганову не подходили.

— А есть следы? — спросил Косушка.

— Есть. В кедах кто-то был, — ответил Дункай со значением, словно по секрету. — Сейчас увидите.

Он свернул за ивовый куст и остановился.

— Ах ты, голова еловая! — воскликнул Косушка, увидев Калганова.

Тот лежал лицом вниз, неудобно подвернув голову. Пуля вошла в грудь и засела в теле — на спине никаких отметин, расстегнутая кожаная куртка с распластанными вразлет по песку бортами, точно крылья подбитой птицы, была чистой от крови. По всему было видно, что человек убит наповал — упал и не трепыхнулся. От лесной опушки вел к нему размашистый след: его массивные сапоги с рифленой подошвой были в песке.

Косушка, даже не замеряя следов, сказал:

— Дело ясное — следы его.

А чуть поодаль, так же из лесу, вели к нему другие следы, мельче, с частой рифленкой в елочку. Следы эти уводили обратно в лес.

Косушка снял с плеча фотоаппарат и стал фотографировать и убитого, и эти мелкие следы.

— Кажется, кеды, — сказал Коньков.

— Да! — кивнул головой Косушка.

— Женские, что ли? — спросил Коньков.

— По-видимому... тридцать седьмой — тридцать восьмой резмер. Впрочем, у местных жителей вообще ноги маленькие.

Коньков невольно покосился на ноги Кончуги, но тот был обут в олочи.

— Семен Хылович, — спросил Коньков Дункая. — Вы не интересовались — куда ведут эти мелкие следы?

— Интересовались, такое дело, — ответил за Дункая Кончуга. — Следы ведут к ручью.

— А потом? — спросил Косушка.

— Потом пропадай, — ответил Кончуга.

— Надо поискать, — сказал Коньков.

— Бесполезно. Я сам искал вместе с Кончугой. Наверно, человек разулся и пошел по ручью, — ответил Дункай.

Косушка раскрыл свой черный чемоданчик, вынул оттуда флакон, встряхнул его, насыпал порошку и стал заливать след, оставленный кедом, белым раствором гипса.

— Странно! — сказал Коньков, разглядывая те и другие следы. — Вроде бы они шли вместе, но стреляли не сбоку, а в грудь.

— А может, замешкался Калганов и обернулся на возглас, или там под руку взяли, — рассуждал Косушка. — Повернулся грудью, в упор и выстрелили.

— По следам не скажешь, — отрицательно покачал головой Коньков.

— Почему не скажешь? — спросил Кончуга, потом вынул изо рта трубочку и указал мундштуком на реку: — Стреляй оттуда. Наверно, с лодки.

— Откуда ты знаешь? — спросил его Косушка.

— Тебе смотри следы: Калганов шел быстро из тайги, от своей палатки, к реке. Падал на ходу, вперед лицом. С реки стреляли! Другой человек тихо шел, его мелкий след, неглубокий. Осторожно шел, тебе понимай? Когда увидал убитый, его стоял немножко, потом назад ходил совсем тихонько.

Меж тем доктор осматривал и прощупывал тело Калганова.

— Когда наступила смерть? — спросил его Косушка.

— Должно быть, вечером или ночью, — ответил доктор.

— А когда стреляли? — спросил Коньков Кончугу.

— Не знай, — невозмутимо ответил тот.

— То есть как не знаешь? Где ж ты был? — спросил Косушка с удивлением и даже на Дункая поглядел вопросительно.

Дункай только плечами пожал. А Кончуга пыхнул дымом и сказал как бы нехотя:

— Вечером на пантовка ходи. Ничего не находил, вот какое дело. Утром приходил сюда — начальник убит.

— И выстрела не слыхал?

— Нет. Далеко ходи. Тайга.

— Что за пантовка? Речка или распадок? — спросил Косушка, раскрывая блокнот с намерением записать ответ Кончуги.

Коньков чуть заметно усмехнулся, отворачивая лицо. Дункай глядел с удивлением на Конькова, а Кончуга сунул опять в рот трубочку и задымил.

— Вы почему не отвечаете? — сердито сказал Косушка.

— Я все отвечал, — с той же невозмутимостью отозвался Кончуга.

Косушка вопросительно поглядел на Дункая:

— Что это значит? Его спрашивают, а он и отвечать не хочет.

— Пантовка не река и не распадок. Это охота на изюбря с пантами. По-нашему так называется, — извинительно пояснил Семен Хылович.

— Ну, хорошо! — строго сказал Косушка. — Тогда пусть ответит — где охотился?

— Река Татибе, — сказал Кончуга.

— Ладно, так и запишем, — Косушка сделал запись в блокнот.

— А ты когда сюда приехал, Семен Хылович? — спросил Коньков Дункая.

— Утром. Когда за мной Кончуга приехал, я тебе позвонил — и сразу сюда.

— Никого не встретил на реке?

— Нет.

Косушка поманил пальцем Конькова:

— Давай сходим в палатку Калганова! — И обернувшись, спросил Кончугу: — Где его палатка?

— Там, — указал трубочкой на таежный берег Кончуга.

— Тело отнесите в вертолет, — приказал Косушка санитарам. — А пулю сохраните.

— Хорошо, — ответил доктор.

Потом дал сигнал санитарам, те уложили Калганова на носилки и двинулись к вертолету.

А следователь с Коньковым поднялись на берег. Палатка стояла под кедром. Ее передние полы были приподняты и привязаны к угловым крепежным веревкам. В палатке еще был натянут из пестрого ситца полог. Косушка приоткрыл его; там лежал спальный мешок на медвежьей шкуре, а возле надувной подушки валялась кожаная полевая сумка.

Сфотографировав и палатку, и все вещи Калганова, Косушка взял сумку и заглянул в нее: там была сложенная карта, альбом для зарисовок, две толстых тетради в черном переплете — дневники Калганова, и еще лежало несколько блокнотов, исписанных, с вложенными в них газетными вырезками. Косушка раскрыл один из блокнотов и прочел вслух:

— «Речь идет о коренном пересмотре устаревшей точки зрения на лес как на нечто дармовое и бездонное...»

— М-да... А где же его карабин? — спросил Косушка.

— Его лежит под матрац, — крикнул Кончуга откуда-то сзади.

Косушка оглянулся: Дункай с Кончугой остановились возле кедра на почтительном расстоянии от начальства.

— Проверим! — Косушка откинул матрац.

Карабин лежал в изголовье.

— Странно, — сказал Косушка. — Ночью вышел из палатки и карабин не взял.

— Он, наверно, люди слыхал, — отозвался опять Кончуга. — Зачем брать карабин, если человек на реке?

— Уж больно много ты знаешь, — усмехнулся Косушка.

— Наши люди все знают, — невозмутимо ответил Кончуга. — Калганов был храбрый начальник. Все говорят, такое дело.

— Ну, тогда скажи: кто убил Калганова?

— Плохие люди убили.

— Оччень хорошо! — Косушка хлопнул себя по ляжкам. — А фамилия? Кто они такие?

— Не знай.

— Ну что ж, зато мы узнаем, — сказал Косушка, при-

стально глядя на Кончугу, потом, после выдержки, приказал Дункаю: — Сложите все вещи Калганова и отнесите их в вертолет.

А Конькова, взяв под локоток, отвел в сторону:

— Тебе придется здесь остаться. Установи, кто ездил вчера по реке. И вообще пошарь. А с Кончуги глаз не спускай.

3

Коньков решил первым делом сходить на лесной кордон, где жил лесник Зуев. Вытащив на берег бат, они с Дункаем и Кончугой пошли по еле заметной лесной тропинке.

Неподалеку, за приречным таежным заслоном, открылась обширная поляна с пожней, поросшей высокой, по щиколотку, салатного цвета отавой; посреди пожни возвышался внушительных размеров стог сена, побуревшего от долгого августовского солнца.

Изба лесника, окруженная хозяйственными пристройками: амбаром, сараем, погребом и сенником, стояла на дальнем краю у самого облесья...

И огород был на кордоне, засаженный картошкой, огурцами, помидорами и всякой иной овощной снедью, и все это было обнесено высоким тыном от лесных кабанов. Недурственно устроился лесник, подумал про себя Коньков.

На крыльце их встретила молодая хозяйка: миловидная, опрятно причесанная, с тугим пучком светлых волос, заколотым на затылке огромными черепаховыми шпильками. Ее большие серые глаза были в чуть заметных красных прожилках, и смотрела она как-то в сторону, будто кого-то ждала, и от нетерпения прикусывала пухлые губы. Одета она была в пушистую бурую кофту ручной вязки, синие брюки, заправленные в хромовые сапожки.

На руках у нее висели пестрые половики.

Поздоровавшись с Дункаем, она приглашала всех в дом:

— Проходите, пожалуйста! А я вот полы помыла только что, — указала она на половики и первой вошла в сени.

— Гостей ждете? — спросил Коньков.

— Какие тут гости! — не оборачиваясь, сказала хозяйка и стала раскатывать от порога половики. — Проходите и присаживайтесь.

В избе было чисто и уютно; по стенам развешаны

ружья, чучела птиц и засушенные, связанные пучками травы. Хозяйка поставила на стол глазурованную поставку желтоватой медовухи, потом соленые грибы, вяленую рыбу, огурцы:

— Кушайте на здоровье! Небось проголодались с дороги.

Дункай налил в стаканы мутноватой медовухи, а Коньков, заметив на левом виске у хозяйки синяк и сообразив — почему она на крыльце все смотрела в сторону, подворачивая правую щеку, спросил с улыбкой:

— Кто же вам эту отметину на лице поставил? Или с лешим в жмурки играли?

— Да в погреб вечером спускалась за молоком, оступнулась и ударилась об косяк, — ответила она, слегка зардевшись.

— А где хозяин? — спросил Коньков.

— В городе. Третьего дня уехал в лесничество.

— Вы вчера вечером или ночью не слыхали выстрела?

— Нет, я спала, — поспешно ответила она.

— А недалеко от вас Калганова убили. На Теплой протоке.

— Мне Кончуга говорил... утром, — и глаза в пол.

— И мотора с реки не слыхали? — Коньков подался к ней всем корпусом, как бы желая расшевелить ее, приблизить в эту мужскую застолицу, говорить, глядя друг на друга глаза в глаза.

Она сидела поодаль от стола на табуретке, с лицом печальным и спокойным, и, как бы понимая этот тайный вызов Конькова, посмотрела на него безо всякой робости, в упор:

— Нет, не слыхала. А вы кушайте, пожалуйста, кушайте!

— Давайте горло прополощем! — сказал Дункай. — Потом поговорим.

Мужики чокнулись стаканами и все выпили.

— Хорошая медовуха! — похвалил Коньков. — С хмелем?

— Самая малость, — ответила хозяйка.

— А вы что ж не пьете за компанию?

— У меня работы много, а с этой медовухи в сон клонит.

— Вы знали Калганова? — неожиданно спросил ее Коньков.

— Да, — она опять опустила голову и стала разгонять руками складки на брюках.

— Когда его видели в последний раз?

— Третьего дня. Они с Кончугой останавливались у нас на ночь. Муж еще был дома. Они располагались там, на сеновале.

— А когда уехали?

— Тогда же, утром. Они на реку, муж в город.

На дворе закудахтали куры и залаяла собака. Хозяйка вышла из дому. Коньков встал из-за стола, прошелся по дому, остановился у подпечника, где хранилась обувь: ботинки, сапоги, туфли.

— Чего гуляешь от стола? — спросил его Дункай.

— Вы пейте, ешьте! — сказал он своим напарникам. — Я дома заправился.

Он закурил и вышел в сени; здесь в углу валялись старые шкуры, олочи, резиновые сапоги; на стенах висели искусно сплетенные связки новых корзин, липовые да вязовые туеса, берестяные лукошки.

Вернулась хозяйка с тарелкой красных помидор.

— Ну, что там? — спросил ее Коньков.

— Ястреб кружит. Куры разбежались.

— У вас тут прямо настоящий промысел! — кивнул Коньков на лукошки и туеса.

— Сам занимается, любитель. Тайга.

— Сапожки у вас аккуратные. Какой размер?

— Тридцать восьмой.

— А я вот в бахилах топаю. Сорок третий! Тяжело в тайге в сапогах-то: ноги тоскуют, как говорят у нас в деревне. Но форма одежды, ничего не попишешь. А вы чего в сапогах? Олочи удобнее. А то кеды! С дырочками.

— Нет, я не ношу кеды, — поспешно сказала хозяйка, стараясь пройти в избу.

Но Коньков жестом задержал ее:

— А может быть, Кончуга в кедах ходил? Вы не заметили? В тот самый вечер, когда они ночевали у вас?

— Я не обратила внимания... Но вряд ли. Удэгейцы-охотники не любят кед.

— А где у вас обувь хранится?

— Старая вон в углу, то есть здесь, в сенях, да еще на кухне, в подпечнике. Тут рабочая обувь. Сподручно. А новая в шкафу. Хотите поглядеть?

— Спасибо. Я вам верю, Настя. — Коньков поглядел на нее пристально и спросил: — Кажется, вас так зовут?

— Да, — Настя отвела взгляд и потупилась.

4

— Батани, а чем занимался твой хозяин? — спросил Коньков Кончугу, когда они садились в лодку.

— Смотрел следы изюбра, записывал — какой трава ест изюбр, куда его ходил.

— А почему он выбрал для лагеря эту косу?

— Нерестилище рядом. Калганов рыбу считай. Смешной человек, понимаешь. Разве хватит ума столько рыбы считать?

— Ишь ты какой дотошный! Тогда давай на нерестилище! — приказал Коньков.

Кончуга завел мотор, и бат стремительно полетел вверх по реке.

— А ты чем занимался? — спросил опять Кончугу Коньков.

— Немножко рыбачил.

— Х-хе! Немножко? Вон, целый мешок навялил, — Коньков раскрыл лежащий на дне бата мешок. — И ленки, и кета... А ведь нерест начался!

— Мне максиму давали на нерест, сто пятьдесят штук.

— Максимум, — усмехнулся Коньков. — Ты уж, поди, три раза взял свою максиму.

Коньков поднял длинную острогу со дна лодки и спросил:

— Все острогой бьешь?

— Есть такое дело немножко.

— А вот лейтенант штрафанет тебя за такое дело, — сказал сердито Дункай. — Ты что, не знаешь, что острогой нельзя бить рыбу? Да еще во время нереста!

— Почему не знай? Знаем такое дело.

— Зачем же нарушаешь? — спросил Коньков.

— Я совсем не нарушаю. Я только на еду брал. Себе да собакам немножко.

Коньков рассмеялся:

— Уж больно большой аппетит у твоих собак!

— Он изюбра за неделю съедает со своими собаками, — сказал Дункай.

— За неделю нельзя, — покачал головой Кончуга. — За две недели можно съесть, такое дело.

— Быка за две недели? — удивился Коньков.

— Можно и корову, — отозвался невозмутимо Кончуга.

— Да у тебя просто талант! — опять засмеялся Коньков.

— Немножко есть такое дело.

Кончуга сбавил обороты и погнал бат к берегу. Впереди загородил реку огромный залом: свежие кедровые бревна вперемешку со старыми корягами торчали во все стороны и высились горой.

Коньков выпрыгнул на берег первым, Дункай и Кончуга вытащили на отмель лодку и пошли к залому за Коньковым.

— Здесь работал, говоришь, Калганов? — спросил Коньков Кончугу.

— Здесь сидел, — указал тот на обрывистый берег, — смотри и считай — сколько рыбы приходит сюда и подыхай.

Вся отмель перед заломом была усеяна трупами дохлой кеты; иные еще трепетали, били хвостами и, судорожно замирая, хватали жабрами воздух.

И вода перед заломом кишела кетой: одни с разлета выпрыгивали из воды и, сверкая радужным оперением, долетали до самой вершины залома, потом шмякались на бревна и, пружиня всем телом, изгибаясь и подпрыгивая, все в кровоподтеках и ссадинах, снова падали в воду; другие, обессилев от этой отчаянной таранной атаки, вяло разбивали хвостами бугорки прибрежной гальки и не в песок, а в воду выметывали икру, которую тотчас уносило течением, угоняло пустые икринки, не оплодотворенные молоками.

— Что ж это такое? Кто залом навалил? — со злым отчаянием спросил Коньков.

— Леспромхоз. Они ведут сплав, — ответил Дункай.

— Но это ж нерестовая река! — шумел Коньков. — По ней запрещено сплавлять лес, да еще молем.

— Калганов тоже говорил, запрещал такое дело, — отозвался Кончуга.

— Ну и что? — спросил Коньков.

— Сплавляют, — ответил Дункай.

— Хоть бы залом растащили. — Коньков покривился, как от зубной боли.

— Ого! — воскликнул Дункай. — Целой бригаде на неделю работенка.

— Калганов требовал. Растащили, такое дело, — сказал Кончуга. — Два дня проходил — новый залом, понимаешь.

— А что делать? — спросил Дункай. — Дороги нет. Остается одна эта река. Вот по ней и сплавляют.

— Почему же дорогу не строят? — зло спросил Коньков.

— Хлопот много. Без дороги легче план выполнять, — усмехнулся Дункай. — Берут только толстые кедры. Одно дерево повалят — сразу десять кубометров есть. А другие деревья заламывают — наплевать.

— Отчего другие деревья не берут? — спросил Коньков.

— Ильмы, ясень, бархат, лиственница — все тонет.

— И все молчат? — наколялся Коньков.

— Почему молчат? — спросил Кончуга. — Калганов шумел, понимаешь.

— А вы почему молчите, Семен Хылович? Вас же кормит эта река и тайга!

— Кому говорить? Кто нас послушает? — Дункай вяло махнул рукой на залом и пошел к лодке. — Мы уж привыкли.

— Ты привыкыл, а я не привыкыл, — ворчал Кончуга, идя вслед за Дункаем. — Тайга болеть будет, гнить. Плохое дело, привыкыл...

— Ладно, мужики! — сказал Коньков примирительно. — Давайте съездим на ту косу, где мы хотели приземлиться на вертолете. Что там за люди? Чем они занимаются?

— Это лесная экспедиция, — ответил Дункай. — Они определяют сортность леса.

— Каким образом?

— Берут полосу вдоль реки, метров на двести шириной, и считают — сколько и каких деревьев растет на этой полосе? Какой возраст? Что можно брать, что нельзя...

— А давно они здесь работают?

— Да, пожалуй, второй месяц.

— Тогда едем к ним! — приказал Коньков. — Они должны знать Калганова и видели, наверно, кто ночью по реке проезжал.

Не успел еще Кончуга завести мотор, как где-то за лесистым холмом раздался далекий, но зычный звериный рык.

— Вроде тигр? — сказал Коньков, прислушиваясь.

Но рык не повторился.

— Чужой приходил, — ответил Кончуга, запуская мотор.

— То есть как чужой? — удивился Коньков. — У вас что, свои тигры здесь пасутся?

Кончуга раскурил свою трубочку, вывел бат на стремнину и только тут ответил:

— Есть и свои, понимаешь. На Арму один, на Татибе два, где солонцы — тоже есть тигрица и два тигренка. Я все тигры знай. Этот чужой.

— Ты что, видел его?

— Не видел, такое дело.

— Как же ты определил, что он чужой? По рыку, что ли?

— Его собачек таскал.

— Твоих собак?

— Моих не трогал. Которые лес сортируют, у них утащил. Такой тигр человека может кушать.

— На то он и тигр, — сказал Коньков.

— Это не наш тигр. Его из Маньчжурии приходил. Старый тигр, охотится на изюбрь не может. Только собачек таскай. Корову может, овечку, человека.

— Это кто ж тебе говорил, Калганов?

— Я сам знай.

— М-да... — многозначительно покачал головой Коньков и вспомнил давешнюю фразу Косушки: «Уж больно много ты знаешь».

5

Лесотехническую экспедицию они застали на косе. Тут горел костер, на перекладине над костром висели закопченные чайник и котел. Рабочие, вернувшиеся из тайги на обед, успели разуться, скинуть защитного цвета куртки с капюшонами и сетками от комаров; трое блаженно растянулись возле огня, четвертый лежал в палатке, высунув наружу ноги в шерстяных носках.

Коньков, сидевший в носу бата, махнул Кончуге рукой, тот резко вырулил и с разгона направил бат на песчаную отмель. Лодка, скрежеща брюхом о песок и гальку, почти всем корпусом выскочила насухо.

Коньков выпрыгнул первым из бата и подошел к костру:

— Здорово, ребята!

— Здорово, начальник! — иронично отозвался бородатый детина в черной рубахе с расстегнутым воротом.

Видно было по тому, как остальные рабочие помалкивали, этот детина и был бригадиром.

— Какой я начальник? — сказал Коньков, присаживаясь на корточки и вынимая из костра головешку, чтобы прикурить. — Я из тех, которые следы потерянные ищут, вроде гончих на охоте.

— Их вроде бы лягавыми зовут, — подмигнул Конькову беловолосый парень с облупленным от загара носом и прыснул в кулак.

— А ну, заткнись! — цыкнул на него бригадир.

— Да я это к слову... Насчет чего иного вы не подумайте, — оправдывался тот, разводя извинительно руками.

— Лягавые — это те, которые хвостом виляют, — сказал Коньков, таким же озорным манером подмигивая беловолосому парню.

Все дружно рассмеялись.

— Я из района, участковый уполномоченный; звать меня Леонидом Семеновичем. — Коньков протянул руку бригадиру.

— Павел Степанович, — отрекомендовался тот.

— Вот и гоже! — сказал Коньков. — Вы давненько на этом месте?

— Четырнадцатый день. А что? — спросил бригадир.

— Чем занимаетесь?

— Тайгу сортируем.

— Слыхали, Калганова убили? — сказал Коньков, глядя поочередно на рабочих.

— Какого Калганова? Ученого, что ли? — аж привстал бригадир.

— Его...

— Когда?

— Где? — допытывался каждый.

— Нынче ночью. На Теплой протоке, — ответил Коньков.

— А может, вечером, понимаешь, — сказал Кончуга, подходя и присаживаясь к костру.

— Какая сволочь! — процедил сквозь зубы бригадир и заковыристо выругался.

— Кто сволочь? — спросил Коньков.

— Да тот, кто убил.

— Во был мужик! Настоящий таежник, — сказал третий рабочий, пожилой лысоватый мужчина, заросший седой щетиной. — Травы нам привез для подстилки в сапоги. И что за трава такая? И пружинит, мягкость придает, и в труху не перетирается.

Подошел к костру и Дункай; в наступившей тишине неторопливо раскурил сигарету от головешки и сказал:

— Забо-отливый был мужик, это правда. Обо всем заботился: и о людях, и о лесе, и о воде. Да не всем это

нравилось. У одних забота на словах, другие же с кулаками лезут доказывать свою заботу. В драку лезут. Таких у нас не жалуют.

— Значит, видишь безобразие — и посапывай себе в кулак? — спросил, недобро смерив Дункая взглядом из-желта-смоляных глаз, Павел Степанович.

— Да я не про то, — покривился Дункай. — За порядок переживай, но и себя не бросай, как затычку, в любую дыру. Прорех у нас много. Всех прорех своим телом не закроешь.

— Рассуждать мы научились, а делаем все — через пень колоду валим, — сказал более для себя Павел Степанович и уставился долгим взглядом в костер.

А пожилой мужичок с лысиной подтянул свои сапоги, вытащил из них травяную прокладку и положил просушить ее поодаль от костра.

— Травки подарил нам, — говорил он ласково. — Раньше про таких говорили — божий человек. Мир праху его!

— Такой трава хайкта называется, — отозвался Кончуга. — Я сам доставал ее.

— Ты лучше расскажи, как стадо кабанов съел? — сказал беловолосый парень, посмеиваясь и подмигивая Кончуге.

Павел Степанович грустно усмехнулся и встряхнулся как бы из забытья.

— Это нам Калганов рассказывал, — пояснил бригадир Конькову. — Зимой, говорит, охотились с Кончугой. Стадо кабанов подняли. Я, говорит, убил трех, а Кончуга шесть штук. Снег лежал глубокий. Как вывозить кабанов? Прямо беда. Я, говорит, пошел в деревню за лошадью. Пятьдесят верст просквозил на лыжах. Нет лошадей — все в извоз ушли. Я в райцентр, говорит, подался. А Кончуга посадил всю свою семью на нарты и на четырех собаках привез к убитым кабанам. Раскинул палатку и пошел пировать. Пока, говорит, я лошадь нашел, пока приехал — он уже пятую свинью доедал.

Все засмеялись, и только Кончуга невозмутимо посасывал свою трубочку и смотрел в огонь, будто и не слушал никого.

— У кого ж это рука поднялась? — опять с горечью, покачав головой, спросил пожилой рабочий.

— Кто-нибудь из вас видел вчера вечером мотор на реке? Никто не проезжал тут? — спросил Коньков.

— Вроде бы тарахтел мотор, — сказал бригадир. — Да мы спали в палатке.

— А Николай с Иваном? — воскликнул пожилой рабочий. — Они же долго у костра возились, картошку чистили, рыбу.

— Николай! — крикнул бригадир, обернувшись к палатке.

Но высунутые из палатки ноги в шерстяных носках и не шелохнулись.

— Во зараза! Уже успел заснуть, — удивился бригадир.

— Сейчас я его подыму, — сказал парень с облупленным носом и, схватив дымарь, строя всем уморительные рожи, стал на цыпочках подкрадываться к палатке.

Перегнувшись через лежащего и просунув дымарь в палатку, парень начал качать ручку дымаря. Через минуту из палатки во все дыры повалил густой дым, как из худой печной трубы. Потом оттуда раздался протягновенный мат, прерываемый чихом и кашлем, и здоровенный верзила, протирая глаза, высунул из палатки взлохмаченную голову. Увидев беловолосого с дымарем, крикнул:

— Ты чего, спятил?!

— Это ж я паразитов выкуривал, — ответил тот и, кривляясь, стал отступать к костру.

— Ах ты, химик! — заревел верзила. — Я те самого раздавлю сейчас, как паразита.

Не успел разбуженный встать на ноги, как беловолосый бросил дымарь и дал стрекача в таежные заросли.

— Ладно тебе ругаться, Николай! — сказал бригадир, едва скрывая улыбку. — Дело есть к тебе. Вон лейтенант поговорить с тобой хочет.

Заметив Конькова, Николай заправил рубаху и подошел к костру.

— Вы вчера вечером не видели моторной лодки на реке? — спросил опять Коньков. — Или ночью, под утро.

— Слыхал мотор... И вроде бы не один. Да уж в палатку залез. — Он силился что-то вспомнить, морщил лоб, шевелил бровями и вдруг воскликнул: — Стой! А Иван-то еще на берегу сидел. Рыбу разделывал.

— Что за Иван? — спросил Коньков.

— Это кашевар наш, Слегин.

— А где он?

— Черт его знает! Вот сами ждем, — сказал бригадир. — Пришли на обед, а его нет. Утром пошел на Слюдянку хариусов ловить.

— А где эта Слюдянка? — спросил Коньков.

— Да километра два отсюда будет до нее. Речка Чистая такая. Форели в ней много.

— Когда же он придет?

— А кто знает? Он у нас заводной, — ответил бригадир и снова выругался. — Если рыба клюет, до вечера просидит. Зато уж без добычи не приходит. Тут с него хоть три шкуры дери. Улыбается, как дурачок: крючок, мол, зацепился за тайменя, чуть в горы не увел. А я вот хариусов по дороге подбирал. Все тайменя обещает принести. Мы уж привыкли к его выходкам и не ждем его. Сами вон обед варим, — кивнул бригадир на кипящий котел.

— Эх, работенка! — сказал Коньков, откидываясь на спину и закладывая ладони на затылок. — Устал, будто чертей гонял. С трех часов утра на ногах. Не везет!

— Зачем не везет? Можно найти кашевара, — сказал Кончуга.

— Где ты его найдешь?

— Я схожу, такое дело.

— Разминешься, — сказал бригадир. — Иван выбирает места укромные.

— Почему разминешься? — возразил Кончуга. — Тайга не город, здесь все, понимаешь, видно.

— Пусть сходит, — сказал пожилой рабочий. — Иван уж там засиделся.

— Ну, валяй! — отпустил Кончугу Коньков. — Только смотри сам не заблудись.

— Смешной человек, понимаешь, — Кончуга пыхнул трубочкой, встал, закинул карабин за спину и ушел.

— А вы отдохните, Леонид Семенович, — предложил Конькову Дункай. — В лодке у нас медвежья шкура.

— Зачем в лодке? Вон лезь в палатку. Там надувной матрац, — предложил бригадир. — А хочешь — лезь под полог.

—Я и в самом деле малость вздремну, — сказал Коньков и полез в палатку.

Заснул он быстро, как в яму провалился. Ему снился сон: будто он еще мальчишкой идет полем, по высоким оржам; чем дальше идет, тем все выше становится рожь, наконец он скрылся в этих колосках с головой, и ему стало жутко оттого, что не видит и не знает куда надо идти. И вдруг откуда ни возьмись налетают на него два лохматых черных кобеля, хватают его за штаны и начинают рвать их и стаскивать. Он смотрит по сторонам — чего бы

найти и огреть этих кобелей, но нет ни камня, ни палки, одна рожь стоит вокруг него стеной. Он хочет ударить их кулаком, но не может: руки онемели от страха и не слушаются. Хочет крикнуть — язык не ворочается, и голоса нет.

— Да проснитесь же вы наконец! — услыхал он над самым ухом и открыл глаза.

Над ним склонился Дункай и теребил его за брюки и за китель.

— Что случилось? — тревожно спросил Коньков, вскакивая.

— Кончуга вернулся. Говорит — кашевара нет нигде.

— Что ж он, сквозь землю провалился? — сердито проворчал Коньков.

— Наверно, в другое место ушел. Сидит где-нибудь на протоке и рыбачит. Тайга велика. Чего делать будем?

Коньков наконец пришел в себя от сонной одури, вылез из палатки, подошел к костру. Тут вместе с рабочими сидел и Кончуга.

— Ты хорошо смотрел? — спросил его Коньков.

— Хорошо. Кричал много. На Слюдянка нет никого.

— Павел Степанович, куда же он делся? — обернулся Коньков к бригадиру.

— Где-нибудь рыбачит в другом месте. Да вы не беспокойтесь. Вечером придет, — отвечал тот, помешивая в котле деревянной ложкой. — Отдохните у нас. Вместе и пообедаем.

— Нам, брат, не до отдыха, — сказал Коньков, потом повел носом: — А что у вас на обед варится? — и бесцеремонно заглянул в котел.

— Нынче варим рыбные консервы, — ответил бригадир, вылавливая огромной ложкой хлопья разваренной лапши и нечто розоватое, похожее на раздерганные и расплывшиеся клочья розовой туалетной бумаги.

— Значит, нынче консервы! А вообще что варите? — спросил Коньков.

— Уха бывает. Изюбрятину варим.

— А что, изюбрятина кончилась?

— Есть. Да Иван куда-то схоронил. Искали, искали... Где-то у воды прикапывает, в холодке. Или в реку опускает. В кастрюле она у него хранится, веревкой обвязана, да еще в целлофановом мешке. Так она сохраннее.

— А где достали изюбрятину? — спросил Коньков, все более оживляясь.

— У охотников Иван покупает.

— Вы ему продавали, Семен Хылович? — спросил Коньков у Дункая.

— Нет, — ответил тот твердо. — К нам за мясом он не приезжал. Да и пантовка кончилась.

— У вас кончилась, у других нет, — усмехнулся бригадир. — До сих пор бьют. Тут эти охотники шныряют как барыки на базаре. Вот приедет Иван — он вам все расскажет.

— Ладно, — сказал Коньков. — Мы завтра приедем. Только вы предупредите его, чтобы он никуда не уходил.

— Будет сделано, — сказал бригадир.

— Кончуга, заводи мотор! — приказал Коньков, вставая. — Поехали к вам в село.

6

Село Красное стояло на высоком берегу укромной протоки. Сотни полторы новеньких домов, рубленных в лапу, то есть с аккуратно обрезанными да обструганными углами, крытые серым шифером и щепой, вольготно раскинулись по лесному косогору. Каждый поселянин норовил повернуть свой дом окнами на реку, то есть на протоку, широкий и спокойный рукав, отделенный песчаным наносным островом от протекавшей неподалеку шумной и порожистой реки Вереи.

Тут не было ни улиц, ни переулков, отчего все село смахивало на огромное стойбище; каждая изба, казалось, стоит на отшибе, в окружении зарослей лещины, жимолости да дикой виноградной лозы. Между отдельными группами домов стояли даже нетронутые раскоряченные ильмы, голенастые деревья маньчжурского ореха да густые иссиня-зеленые шапки кедрача. Жили здесь и удэгейцы, и нанайцы, и орочи, и русские, и татары. Дункай, посмеиваясь, называл свое таежное село лесным интернационалом.

Они подъехали к песчаному берегу, где на приколе стояли такие же, как у них, длинные долбленые баты, похожие на африканские пироги. Дункай цепью привязал бат к столбу, врытому у самого приплеска, и сказал Конькову:

— Я схожу домой, прикажу хозяйке, чтобы обед приготовила.

— Спасибо, Семен Хылович! А может, у вас столовая есть? Неудобно, право, — замялся Коньков.

— Столовая только вечером откроется. А до вечера жи-

вот к спине подведет. Как допрашивать будешь? — засмеялся Дункай. — Пошли со мной!

— Я через часик приду. Пока вон со стариками поговорю.

Старики сидели тут же на берегу на бревнах, поглядывали на приезжих, покуривали.

— Ну, давай! Тебе виднее.

Дункай взял весла и ушел домой, а Коньков с Кончугой поднялись на высокий берег, к бревнам. Здесь же один старик с редкой седой бороденкой и жидкими усами, засучив рукава клетчатой рубашки, заканчивал работу над долбленой из цельного ствола тополя остроконечной лодкой-оморочкой. На бревнах, в синих и черных халатах — тегу, расшитых ярким орнаментом по бортам и по стоячему ворот, сидело пять стариков, каждый с трубочкой во рту. Возле бревен кипел черный большой казан со смолой.

— Багды фи![1] — приветствовал их Коньков по-удэгейски.

— Багды фи! Багды! — оживленно отозвались старики.

— Хорошая будет оморочка! — похвалил Коньков плотника. — На такой до большого перевала доберешься, легонькая, как скорлупка. — Коньков хлопнул ладонью по корпусу новой оморочки, и гулкое эхо шлепка отдалось на дальнем берегу. — Во! Звенит как бубен. Шаманить можно.

Старики опять, довольные, заулыбались.

— Одо![2] — обратился Коньков к самому ветхому старику с желтым морщинистым и безусым лицом, в меховой шапочке с кисточкой на макушке. — Ты знал ученого Калганова?

— Калганова все село наше знай, — ответил тот. — Хороший человек был. Кто его убивал, свой век не проживет. Сангия-Мама́[3] накажет того человека.

— А у вас на селе не знают, кто это сделал?

— Не знают.

— Когда у вас последний раз был Калганов?

— Неделя, наверное, проходила.

— Почему наверное? А точнее?

---

[1] Багды фи! — удэгейское приветствие, вроде русского «здорово!». Переводится как «ноги есть!».

[2] Одо — уважительное обращение к старику (*удэг.*).

[3] Сангия-Мама́ — главное лесное божество (*удэг.*).

Собеседник Конькова посасывал трубочку и молчал, словно и не слыхал вопроса Конькова.

Коньков допытывался у других стариков:

— А может, две недели прошло? Никто не помнит?

— Может быть, две, понимаешь, — ответил лодочник.

— Так две или одна?

— Зачем тебе считай? Две, одна — все равно, — сказал старик в шапочке.

— Нет, не все равно, — сказал Коньков, несколько обескураженный таким безразличием.

Потоптался, подошел опять к плотнику, тесавшему лодку:

— Не продашь?

— Для себя делай, — ответил тот.

— Н-да... А кто из вас хорошо знал Калганова?

— Сольда, — ответил лодочник.

— Который это Сольда? — спросил Коньков.

— Я, понимаешь, — ответил старик в шапочке.

— Ты с ним в тайге бывал?

— Бывал, такое дело. Проводником брал один раз.

— Ты ничего не замечал за ним? Может быть, он ругался с кем? Враги у него были?

— Может, были. А почему нет?

— Да не может быть, а точно надо знать.

— Не знай.

— Ну, как он относился к вашим людям и вы к нему? Не обижал?

— Его смешной, понимаешь, — ответил Сольда, выпуская клубы дыма. — Немножко обижал.

— Каким образом? — оживился Коньков.

— Его говорил: человек произошел от обезьянка.

Старики засмеялись, а иные стали плеваться.

— А чего тут смешного или обидного? — удивился Коньков.

Сольда поглядел на него как на неразумного младенца, вынул трубочку и мундштуком ткнул себе в голову:

— Разве я обезьянка? Тебе чего, ребенок, что ли? — и, скривив губы в саркастической усмешке, стал говорить горячо и яростно: — Мы видали такое дело, обезьянку. В Хабаровске было совещание охотников. Потом в цирк возили, обезьянки показывать. Маленький зверь вертится туда-сюда. Как может человек произойти от такой зверь? Разве я, понимаешь, туда-сюда голова верти? Детей за такое дело наказывать надо.

Коньков едва заметно улыбнулся и спросил:

— А как ты думаешь, Сольда, от кого произошел человек?

— Наши люди так говорят: удэ произошел от медведя. Его зовут Одо, старший рода, понимаешь. Это правильно. Медведь ходит важно, никого в тайге не боись. На двух ногах может ходить, одинаково человек.

Старики закивали головами:

— Так, так...

— Ну, ладно! Удэ произошел от медведя, — согласился Коньков, поблескивая хитровато глазами. — А русский от кого? Или, допустим, татарин?

— Я не знай. Ты, может, от обезьянка. Чего стоишь, вертишься? Садись!

Старики опять засмеялись. Коньков, тоже посмеиваясь, сел на бревнышко, закурил:

— Все ты знаешь, Сольда.

— Конечно, — согласно кивнул тот.

— А вот скажи, что это за тигр тут появился? Говорят, из Маньчжурии пришел? Собак таскает.

— Э-э, Куты-Мафа́[1] собачку любит кушать. И наш и маньчжур одинаково.

— Но этот бродит везде, людей пугает?

— Э-э, тигр нельзя говорить. Сондо![2] — сказал Сольда и пальцем покрутил вокруг себя. — Его все слышит. Потом пойдешь на охоту — его мешать будет. Сондо!

— Ну, ты прямо профессор, — опять усмехнулся Коньков.

— А почему нет?

С невидимой за лесным заслоном реки послышался отдаленный стрекот мотора. Коньков мгновенно встал и прислушался:

— Ровно гудит. Значит, издалека. Кто-то со станции едет, из райцентра. Кончуга, а ну-ка сбегай на реку, погляди!

— Зачем бежать? — спросил Сольда. — Это Зуев едет. Его мотор. Самый сильный. Такой больше нет у нас.

— Зуев! Тогда я сам сбегаю. Он мне нужен, — сказал Коньков, выплевывая папироску и собираясь бежать на реку.

---

[1] Куты-Мафа́ — тигр (*удэг.*).
[2] Сондо — грешно (*удэг.*).

— Опять не надо бежать, — невозмутимо сказал Сольда. — Его сам сюда поворачивает.

Коньков влез на бревна и стал поглядывать на протоку — свернет сюда Зуев или нет?

— Слушай, Сольда, — спросил Коньков. — А ты не слыхал вчера вечером мотора на реке?

— Слыхал.

— Не Зуева? Не узнал?

— Нет, не Зуева. Проходили два мотора «Москва».

— Чьи?

— Не знай.

Зуев и в самом деле завернул в протоку; его новая длинная лодка, крашенная в голубой цвет, стремительно вылетела из-за кривуна и, обдавая волной стоявшие на приколе удэгейские и нанайские баты, лихо пришвартовалась к причальной тумбе. Зуев, сильный, рослый мужчина средних лет с коротко подстриженными рыжими усиками, в кожаной тужурке и в высоких яловых сапогах, пружинисто выпрыгнул из лодки и быстро пошел вверх по песчаному откосу, остро и резко выбрасывая перед собой колени.

— Здорово, лейтенант! — подошел он к Конькову, протягивая руку. — Я уж в курсе. В городе слыхал о несчастье. Хочу поговорить с тобой.

— Вот как! — удивился Коньков. — И я тоже хочу с тобой поговорить. — Потом крикнул Кончуге: — Батани, сбегай к Дункаю, принеси ключ от конторы!

— Зачем бегай? Контора открыта. Заходи и говори сколько хочешь, — сказал Сольда.

Деревянная контора артели, похожая на обычный жилой дом, стояла тут же, у самой протоки. Невысокое крыльцо, дощатый тамбур и — наконец — рубленая изба, перегороженная тесовой перегородкой на две половины. На стенах были наклеены плакаты: «Берегите лес от пожара!» — огромная спичка, от которой вымахивает пламя на зеленую стенку леса; «Браконьер — злейший враг природы» — стоит молодчик в болотных сапогах и целится из ружья в стаю лебедей; в кабинете председателя висела карта района величиной с Бельгию.

Из мебели — в одной половине скамьи вдоль стен и табуретки возле стола; в другой половине, в кабинете, стоял клеенчатый диван, просиженный до ваты, и несколько венских стульев возле длинного стола, покрытого красным сатином.

Двери настежь. И — ни души.

— Садись! — указал Коньков Зуеву на диван, сам же сел за стол, на председательское место, вынул из планшетки толстую клеенчатую тетрадь и ручку.

— Эх, мать-перемать! — выругался заковыристо Зуев и хлопнул ладонью о голенище своего сапога. — Ведь надо же?! Такого человека ухлопали! Окажись я дома — может, ничего и не было бы.

— То есть как? — спросил Коньков с некоторым удивлением.

— У меня жил бы — и вся недолга.

— Значит, вы знакомы были?

— А как же?! Положение мое — прямо скажем — незавидное. — Зуев потупился, сцепив зубы и выдавливая на скулах желваки, головой покрутил с досады.

— В чем же дело? Что значит незавидное положение?

— Да как ни верти, а случилось это неподалеку от моего дома. Вот и гадай и думай что хочешь. Теперь каждому вольно нос совать. То да се... трепать начнут. Мало меня, так и жену прихватят. Народ есть народ: на несчастье и любопытные летят, как мухи на мед. — Он требовательно уставил на Конькова свои узкие, стального отблеска глаза и хищно передернул ноздрями. — Ведь не просто же ты меня завел в эту контору?

— Тебе неприятен этот разговор?

— Да не в том дело...

— А чего ж ты волнуешься?

— Ну, как не волноваться? Ведь знакомы... И не один год.

— Бывал он у вас?

— Перед моим отъездом ночевал на сеновале. Следователь спрашивает: на кого думаешь? Ну, как скажешь? Сболтнешь — на человека подозрение. А я за сто верст оказался. Ну, предположения у тебя есть? — спрашивает. А какие предположения? Что я их, во сне видел?

— Поди знаешь, что у него были с кем-то трения?—спросил Коньков.

— Как не бывать! Живой человек. Взять хоть эту же промысловую артель. Они убили семь пантачей сверх лицензий. Калганов и сцепился с председателем, с Дункаем.

— А что же Дункай?

— Дункая тоже понять можно: нынче взяли сверх плана, а могли бы и недобрать. Зверь есть зверь, не в загородке пасется.

— Ну, не скажи! — возразил Коньков. — И зверю можно учет наладить.

— Конечно, можно. Оттого-то Калганов и встал у них поперек горла. — Зуев даже по коленке прихлопнул. — Артель с охотоуправлением спелись. Те спускали сюда план только для видимости. Сколько ни набьют охотники — все хорошо. Да еще проценты получали за перевыполнение... А Калганов шел от науки. Он говорил: это, мол, узаконенное браконьерство. Судом грозил.

— Он часто бывал здесь?

— Каждое лето. А то и зимой приезжал, смотрел, как соболь расселяется. Он выпускал в здешней тайге баргузинского соболя, а тот не держится, ходом идет.

— Но эта же территория не относится к заповеднику?

— В том-то и дело, что нет. Вот охотники и сердились на него: чего это он лезет в наши угодья?

— А что, потихоньку браконьерствуют охотники?

— Х-хе, потихоньку! — усмехнулся Зуев. — Наш, местный охотник как скроен? Где зверя увидит, там его и убьет. Взять того же Кончугу — у него карабин отбирали за браконьерство, вроде в прошлом году. И не кто-нибудь, а Калганов.

— Зачем же он взял его в проводники?

— Ума не приложу. Дункая спроси — он назначал. Он и знает. И насчет Ингани знает.

— Какой Ингани?

Зуев как-то дернул плечом и вроде бы нехотя ответил:

— Это племянница Кончуги. Она в прошлом году ложилась от Калганова в больницу. И теперь, говорят, у них произошла промеж себя запятая. — Зуев вроде как бы извинительно развел руками: передаю, мол, слухи по необходимости. — Вот я и говорю: лезть в чужую душу со своим копытом... Дело нескладное.

— Правильно! — кивнул головой Коньков. — Чужая жизнь — потемки.

Помолчали. Коньков что-то записывал в свою тетрадь.

— Дак я пошел? — спросил Зуев в некоторой нерешительности, втайне надеясь, что Коньков, заинтригованный этими известиями, задержит его с расспросами.

Но лейтенант неожиданно сказал:

— А чего ж время-то терять?

Зуев встал, козырнул по-военному и пошел к двери.

— Квиток от гостиницы не сохранился? — спросил Коньков.

Зуев остановился у порога и сказал небрежно, через плечо:

— Я его оставил у следователя.

7

Коньков познакомился с Дункаем еще в Приморске. Семен Хылович учился в краевой партшколе, а Коньков был внештатным корреспондентом молодежной газеты, заочно учился в университете на юридическом факультете и еще подрабатывал шофером. Однажды он возил по городу удэгейскую делегацию из Бурлитского района. Старшим этой делегации был Дункай. Разговорились. Оказалось, что у них был общий знакомый — старшина милиции Сережкин.

Старшине Сережкину Коньков когда-то помогал распутать дело о краже в селе Переваловском. А Дункай был односельчанином этого Сережкина, ходил в парторгах колхоза имени Чапаева, а потом уж попал в партшколу. Дункай был нанайцем, выросшим в русском селе Тамбовке, говорил отменно по-русски, по-нанайски и по-удэгейски. После окончания партшколы его и направили сюда, на Верею, председателем охотно-промысловой артели, где поселился, по выражению самого Дункая, целый интернационал. Здесь, в артели, знание языков очень пригодилось Семену Хыловичу.

А года через три попал сюда в Воскресенский район и Коньков; хоть и окончил он юридический факультет заочно, но устроиться следователем в Приморске, так чтобы и квартиру получить, не смог; а жить в частных комнатенках надоело, к тому же стал подрастать ребенок. И жена забастовала. Вот Коньков и явился с повинной опять в милицию, из которой уволился лет пять назад.

Его встретили радушно, простили старый грех, но предложили самый захолустный район, где была готовая квартира. Делать нечего, Коньков согласился. Поселились они в Воскресенском, жена пошла работать учительницей, а Коньков стал районным уполномоченным и в зимнее время не раз охотился со своим старым другом Дункаем.

Семен Хылович встретил его по-барски: на столе стояла обливная чашка, полная розоватой талы[1] из тайменя, присыпанная перцем и черемшой, глубокая тарелка красной икры, нарезанная крупными кусками юкола[2], пропитанная

[1] Тала — нанайское блюдо, строганина из свежей рыбы.

[2] Юкола — провяленная на солнце кета.

горячим сентябрьским солнцем и оттого облитая проступившим ароматным жиром золотистого оттенка, да еще целая жаровня запеченных радужных хариусов. И бутылка водки посреди стола, и рюмочки, и бокалы желтоватого сока лимонника, который до краев наполнял высокую стеклянную поставку. И вдобавок ко всему — хрустальная ваза, полная, будто золотыми слитками, нарезанного кусками сотового меда.

— Семен Хылович, да разве можно голодного человека встречать таким пиршеством? Я умру от аппетита, не дотянув до стола! — сказал Коньков, оглядывая все это богатство.

— Все свое. Сам добывал, — смущенно и радостно улыбался Дункай. — Садись, пожалуйста!

На Дункае была рубашка с закатанными по локоть рукавами и с распахнутым воротом, обнажавшим его крепкое тело цвета мореного дуба. Голову он коротко стриг, отчего его черные волосы торчали густо и ровно, придавая голове форму идеального шара.

— А где Оника? — спросил Коньков, присаживаясь к столу.

— Вот он я! — смеясь, выглянула с кухни, из-за цветной занавески, маленькая, похожая на школьницу, жена Дункая.

— Отчего ж вы не за столом?

— Я сытый. Кушайте на здоровье! — и скрылась опять на кухне.

— Мы выпьем первую рюмку за ее здоровье. Вот и ей почет, — посмеивался Дункай, наливая в рюмки водку.

— А ты знаешь, сюда Зуев заезжал, — сказал Коньков, ожидая вызвать у него удивление.

— Я в окно видел, — равнодушно ответил тот.

— А чего ж ты в контору не пришел?

— Зачем? Что нужно, ты и здесь спросишь.

— Пра-авильно! — шутливо произнес Коньков. — А еще знаешь, почему ты не зашел?

— Ну?

— Не любишь ты его.

— Тоже правильно. Ну, поехали!

Они выпили, выдохнули, как по команде, и стали закусывать.

— Он мне, между прочим, рассказывал про Ингу, племянницу Кончуги.

— Есть такая.

— Что она делает?
— Заведующая нашего медпункта.
— Говорит, что она с Калгановым была знакома?
— Была.
Дункай ел, пил, потчевал гостя и ласково поглядывал на него. И Коньков чокался с ласковой улыбкой, ел, хвалил талу, форели и вдруг сказал:
— Слушай, а что у вас тут с Калгановым было? Говорят — он в суд грозился подать на артель?
Дункай вздохнул, отложил вилку и, подаваясь грудью на стол, спросил:
— Это Зуев говорил?
— Допустим. А что, неправда?
— Правда. Мы семь пантачей взяли сверх плана. Вот из-за этого и был скандал.
— Как же так? — Коньков с удивлением развел руками. — Ты, что ли, разрешил?
Дункай поморщился от дасады и сказал таким тоном, каким отвечают, оправдываясь при недоразумении:
— Ну, зверь же не корова, во дворе не стоит. Как ты его сосчитаешь? Пошли охотники в тайгу — кто ни одного не убил, кто двух. А лицензии даем на бригаду.
— А почему не каждому в отдельности?
— Потому что у нас нет таперских участков.
Коньков не понял: при чем тут таперские участки? И решил зайти с другого конца:
— Скажи, пожалуйста, Багани Кончуга знаком был до этого с Калгановым?
— Знаком.
— Говорят, Калганов у него карабин отбирал. Кончуга, наверное, обиделся?
— Зачем обиделся? Калганов добрый человек. Отбирал да отдал. Кончуга не браконьер.
— Но стрелял без лицензии?
— Я ж тебе сказал, что наши лицензии вроде разнорядки, бумажки для отчетности.
— Но ё-моё! — Коньков с досады даже вилкой пристукнул по столу. — Неужели ты не понимаешь? У них же конфликт был! Зачем же сводить их в тайге один на один? Да еще не на день, на два, а на целый месяц. Зачем ты назначил в проводники Кончугу? Или других не было?
Дункай замялся, потом сказал с тяжелым вздохом:
— Ну что ты привязался? Остальные были на клепке — ясень заготовляли для мебели.

— Дак что ж, нельзя было отозвать кого-нибудь с клепки? Они же всего за шесть верст отсюда работают!

— Ну и прилипчивый ты! — Дункай покачал головой и опять поморщился. — Пойми же, здесь нет никакого подвоха. У Кончуги детей много. Панты он не добыл в этом году — не повезло ему на охоте. А на клепке какой заработок? Вот я и решил отправить его с Калгановым — проводнику хорошо платят. И потом, Кончуга надеялся, что Калганов разрешит ему убить одного пантача.

— Но нет же лицензии!

— Тогда были.

— И ты дал ему лицензию?

— Зачем? Калганов сам мог разрешить. Мог войти в положение человека. Ведь нуждается Кончуга. За панты много платят. А Калганов был добрый человек.

— Подожди! То Калганов карабин отбирает за браконьерство, то сам вроде бы потворствует. Что-то здесь не вяжется. Ты мне откровенно скажи — в чем дело?

— А дело в том, что порядка у нас нет, — сказал Дункай, выходя из себя и наливаясь фиолетовым багрянцем. — Если хочешь знать — мы сами потворствуем этому браконьерству.

— Как это так? — опешил Коньков.

— А вот так. Ты видел эти заломы? Сколько там одной кеты гибнет? Может, миллион. Видим, но молчим. А мужикам внушаем: не тронь лишней кеты. Она, мол, общее достояние. Значит, одну рыбу не тронь, а миллионы пусть гибнут? Ну, что они, эти мужики, слепые? Или дети неразумные? Как они думают о нас?

— Допустим, ты с рыбой прав. Но ведь зверь — не рыба. Здесь особая статья.

— Да то же самое! — с силой воскликнул Дункай. — Скажи, кто только по нашей тайге не лазает? И леспромхозовские охотники, и райпотребсоюзовские, и наша артель, и любители всякие из отдаленных центров, и просто шалые хищники. Бесхозная она у нас, тайга-то! Вот мы учимся в школах, в институтах, нам внушают: охотничьи угодья должны быть закреплены за артелями, разбиты на таперские участки... А что на самом деле? Тьфу! Бардак! Извини за выражение.

— А что дадут эти таперские участки?

— Как что? Зверь-то, он ведь родные места знает. Небось был бы у того же Кончуги свой таперский участок, он бы на пушечный выстрел не подпустил бы к нему ни одного

браконьера. И сам бы не взял сверх нормы ни одной соболюшки, ни одного пантача. Потому что кормился бы с этого участка и нынче, и завтра, и через многие годы.

— А почему же не закрепят за вами угодья? Кому это на руку?

— Всяким бездельникам да хищникам. Да еще любителям дешевой пушнинки да дичинки, да тем, которые любят развлекаться, из некоторых заведений. Один Калганов носился с этими таперскими участками, пока самого не ухлопали. Он и срывал на мне горе: плохо смотришь! А я что? Дух святой, чтоб углядеть за всеми? И семимильных сапогов у меня нету. Тайга велика. Один наш район с Голландию будет.

— Н-да, брат, дела... — Коньков в задумчивости побарабанил пальцами по столу. — Откуда Калганов?

— Из филиала Академии наук. А раньше был директором соседнего заповедника.

— И часто он у вас бывал?

— Не часто... но бывал. Года три назад он выпускал здесь баргузинского соболя. Изучал парнокопытных, книги писал.

— Он у тебя останавливался?

— Нет, в школе.

— В классе, что ли? Или у знакомых?

— Учительница тут была. Ну и он при ней, значит, приспосабливался.

— Куда же она делась?

— Вышла замуж за Зуева.

— Настя!

— Она.

— Вот оно что!..

Помолчали. Коньков вынул папироску, размял ее, Дункай тем временем услужливо вычеркнул спичку.

— Как думаешь, Семен Хылович? — спросил Коньков, прикуривая и глядя на Дункая. — Калганов разрешил Кончуге взять пантача, или он Ваньку валяет?

— Не знаю. Я с ним и не был.

— А где сейчас Инга?

— Наверное, на медпункте.

Коньков засобирался:

— Ну, спасибо тебе за угощение и за откровенность, как говорится. Извини, если в чем был навязчив.

— Ну, об чем речь, — сказал Дункай. — Служба такая. Я ж понимаю.

— Так я пошел на медпункт.
— Ночевать приходи.
— Спасибо!

Коньков закинул через плечо свою планшетку, снял с вешалки фуражку и вышел.

8

Сельская больница размещалась в доме, срубленном из бруса на три связи. И крыльцо высокое, с тесовым козырьком.

Коньков, постучавшись, вошел в первую дверь и оказался в амбулатории. За столом в белом халате и в белой косынке, перехватившей ее иссиня-черные волосы, сидела молодая удэгейка с мелкими приятными чертами лица: низкий, но прямой носик, маленькие алые губки — двугривенным можно накрыть — и узкие, диковато-быстрые смоляные глаза.

Глянув на Конькова, она сказала:

— Присядьте на табурет.

И занялась своим посетителем. Перед ней сидел пожилой охотник удэгеец в мятом пиджачке и в олочах с длинными ремешками, оплетавшими его ноги точно оборы.

Рука его лежала на столе — во всю ладонь загноившийся, забитый грязью порез.

— Чего же вы так руку запустили? Раньше надо было приходить, — сердито отчитывала охотника Ингани.

Тот ей что-то ответил по-удэгейски и засмеялся.

— Вот отрежут вам кисть, тогда посмеетесь, — строго сказала докторша.

— Э-э, один палец оставляй, чтоб крючок дергай, — и хорошо, — посмеивался старик.

— Оля! — позвала Ингани.

Вошла медсестра, тоже во всем белом, молоденькая, но русская.

— Промойте ему руку как следует марганцовкой, положите мази Вишневского и перевяжите.

— Кикафу, пошли в перевязочную! — Оля хлопнула удэгейца по плечу.

— Пальцы резать не будешь? — спросил он.

— А это как себя станешь вести, плохо — отрежу.

— Мне один оставляй — и хватит. Вот этот, — Кикафу, довольный собственной шуткой, пошел за Олей в перевязочную.

— Итак, я вас слушаю? — обернулась Ингани к Конькову. — Что у вас болит?

— Я — участковый уполномоченный. И, видите ли, — извинительно заулыбался Коньков, — я в некотором роде по иной части.

— Понимаю, вы пришли допрос снимать?

— Ну, зачем же так? Допрашивает следователь. А я веду беседы, знакомлюсь с обстоятельствами. Вас Ингой зовут?

— Да.

— А меня Леонидом Семеновичем. Рад познакомиться.

— Что же вас интересует, Леонид Семенович? — Ингани не приняла того доверительно-ласкового тона, с которым обращался к ней Коньков, держалась как натянутая струна и отвечала сухо.

— Для начала мне хотелось бы знать, что сказал вам старый охотник насчет своей руки? Судя по его улыбке, это было что-то забавное.

— Он мне сказал, что рука — не нога. На охоту на руках ходить не надо.

Коньков усмехнулся:

— Почему же он так запустил рану?

— Старые охотники соблюдают старый обычай: за два месяца перед отправкой в тайгу на охоту они не только лекарств никаких не принимают, но даже не умываются. Это у них называется... как бы по-русски сказать? Обтаежиться, что ли? Чтобы весь он лесным духом пропитался, чтоб никаких посторонних, ну, человеческих, что ли, запахов от него не исходило. Тогда зверь его не так остро чует.

— Интересно! — покачал головой Коньков.

— А что еще вас интересует? — спросила не без иронии Ингани.

Коньков развел руками.

— Да вот, в больнице вашей ни разу не был. Вроде бы вы неплохо устроились. Кроме этой амбулатории, какие есть еще помещения?

— Пойдемте, покажу.

Ингани встала и все так же сухо, строго держась, повела его и деревянным голосом давала пояснения:

— Здесь у нас родильное отделение, здесь приемный покой, там аптека...

— А где же больные? — с удивлением спросил Коньков.

— Какие теперь больные? Сезон охоты скоро начнется. Они сами в тайге лечатся.

— Аптечку им даете с собой?

— Не берут. У них психология не та. С аптечкой не охотник.

— Простите, а куда ведет вон та дверь?

Ингани убрала прядку волос со лба под косынку и в упор, вызывающе поглядела на Конькова.

— Эта дверь ведет в мою комнату... личную.

— Извините, но мне хотелось бы заглянуть.

Опять пауза и молчаливый упорный взгляд.

— Это — моя обязанность, а не прихоть, — извинительно сказал Коньков.

— Хорошо! — Ингани пошла вперед, раскрывая дверь. — Прошу!

Они вошли в небольшую, уютно обставленную комнату, похожую скорее на мужской охотничий кабинет, — над диваном висел карабин, со стены спадала на подлокотники кресла пятнистая шкура барса. Рога изюбра, чучела птиц...

Коньков посмотрел в угол прихожей: под вешалкой, на полочках, аккуратно были поставлены в рядок черные лакированные туфли, расшитые тапочки с меховой оторочкой, желтые олочи с загнутыми носами. Рядом лежали ракетки.

— В бадминтон играете? — спросил Коньков, кивнув на ракетки.

— Играю. — Ингани стояла посреди комнаты бледная, но спокойная.

Коньков улыбнулся.

— В бадминтон играете, а кед нету. Как же вы обходитесь?

— Я предпочитаю олочи. Они удобнее — отпечатков не оставляют.

Коньков пристально поглядел на Ингани, но ни один мускул не дрогнул на лице ее — все та же подчеркнутая сухость и отрешенность.

— Интересно вы рассуждаете, — сказал он наконец. — С подтекстом, как теперь говорят писатели.

— Уж как могу.

На столе стояла большая фотокарточка под стеклом в синей рамочке — это был Калганов в кожаной куртке, с ружьем через плечо на фоне таежных зарослей. Борода и улыбка во все лицо. Коньков невольно задержал взгляд на нем: столько было силы и бесшабашной самоуверенности

или даже дерзости на этом лице! Жил человек и думал, поди: неотразим и вечен, как бог, — мелькнула мыслишка в голове Конькова.

— Калганов вам подарил? — спросил он.

— Не украла же, — вызывающе ответила Ингани.

— А шкуру барса тоже он?

— Нет, сама добыла.

— Вы охотник?

— Да.

— А я думал, что карабин вашего дяди, Батани. — Коньков подошел к ружью.

— Снимайте, снимайте! Вы же за тем и пришли сюда, чтобы карабин осмотреть.

— Приятно говорить с человеком, который все понимает.

— Спасибо за любезность.

— Прошу прощения! — Коньков извинительно развел руками, но карабин снял.

— Легонький. Прямо игрушка! — Коньков открыл затвор, посмотрел в ствол. — А он у вас, простите, не чищен, и порохом пахнет. Совсем недавно стреляли?

— Да. Вчера стреляла. Нюх у вас хороший.

Он пропустил колкость мимо ушей.

— Где стреляли, на охоте?

— Нет, по мишеням.

— А-а! Где мишени берете? Сами рисуете?

— Бог дает. Вон мои мишени — шишки кедровые.

Две свежих шишки лежали на столе. Коньков взял одну, колупнул ее ногтем.

— Рано вы их сбиваете — смоляные еще. Значит, развлекаетесь?

— Извините. Других развлечений нету.

— Ну вот, и мы сейчас развлечемся. Пойдемте за мной!

Они вышли на крыльцо. Неподалеку от поленницы дров стояла бадья с песком. Коньков приложился и выстрелил в бадью. Потом протянул карабин Инге:

— Видите отметину в бадье?

— Вижу.

— А ну-ка, покажите класс!

Ингани, почти не целясь, дважды выстрелила в бадью. Коньков подбежал к бадье и сказал восторженно:

— Ну, надо же! Одна в одну всадили.

Он выгреб пули из песка и положил их в сумку:

— Возьму на память. Хорошо стреляете!

9

Кончугу нашел он в сумерках; тот неподалеку от своего дома, прямо в тайге, колол дрова и складывал их в поленницу. Два огромных выворотня — ильм и пихта, высоко задрав обнаженные корни, валялись тут же; деревья были распилены и уже наполовину расколоты.

— Дары природы прибираешь? — спросил Коньков, подходя.

— Ветер сильный гулял, деревья повалил, — сказал Кончуга, присаживаясь на чурбак и раскуривая трубочку. — Дункай эти два дерева мне отдавал.

Коньков тоже закурил, сел рядом.

— Послушай, Батани! Надо говорить со мной откровенно. Понимаешь? Иначе тебе же хуже будет.

— Почему хуже?

— Да потому, что ты финтишь.

— Чего такое финтишь?

— Ну, что-то скрываешь от меня. Давай начистоту: разрешил тебе Калганов идти на пантовку или ты самовольно ушел?

— Какая тебе разница? Разрешил, конечно.

— Так, допустим. Сколько вы с ним были в тайге?

— Вторая неделя.

— И ни одного изюбря не видали за это время?

— Нет. Только сохатый видали.

— Ну, так убил бы сохатого!

— Зачем мне сохатый? — Кончуга виновато улыбнулся. — Сохатый панты нет.

— Но на панты нужна лицензия! — повысил голос Коньков.

— Зачем лицензия? — удивленно переспросил Кончуга, даже трубочку вынул изо рта и поднял ее кверху. — Калганов сам начальника! — произнес со значением и после короткой паузы сказал с улыбкой: — Его немножко подумал — разрешил.

— Чего ты дурака валяешь! — возмутился Коньков.

— Почему дурака? — обиделся Кончуга.

— Калганов закон не нарушал.

— Зачем Калганов? Я нарушал. Один раз он мой карабин отбирал, прошлый год.

Коньков саркастически усмехнулся.

— Ну? И теперь ты говоришь, что Калганов противозаконно послал тебя на пантовку?

— Почему против закона?
— Так лицензии у вас не было?! — взорвался Коньков.
Кончуга опять стал терпеливо, как ребенку, разъяснять ему:
— А зачем лицензия? Калганов разрешал. Тебе не понимай, что ли?
— Угу! Понял, чем мужик бабу донял. — Коньков поглядел на него, иронически прищуриваясь, и другим тоном спросил: —А ты не скажешь, что было между Калгановым и твоей племянницей Ингой?
— Не знай, — коротко и сердито ответил Кончуга.
— Значит, посторонние люди знают, а ты, ее родной дядя, не знаешь?
Кончуга сунул трубку в рот и сделал каменное лицо — будто и не слыхал, о чем его спрашивает Коньков, и глядел куда-то в сторону, попыхивая дымком.
— Ну, ладно... — Коньков тронул его за локоть и спросил с тем же ироническим оттенком: — Ты случайно не видел в тот день, накануне убийства, Ингу у вас в лагере? Она не приезжала к вам?
— Не знай, — резко ответил Кончуга.
— Ну, что ж... Тогда поедем и узнаем.
— Куда?
— К кашевару Слегину. Он-то видел, кто по реке проезжал той ночью. Так что подготовь мотор. А я возьму горючее у Дункая, и завтра утром поедем. Надеюсь, что на этот раз застанем кашевара.
Но съездить вторично в лагерь лесной экспедиции им не удалось.
Утром, чуть свет, Дункая и Конькова, ночевавшего у него, разбудил сильный грохот в дверь. Дункай, сердито чертыхаясь, пошел открывать дверь и вернулся в дом с бригадиром лесной экспедиции Павлом Степановичем.
— Извините за раннюю побудку, — сказал тот, вытирая сапоги о половик возле порога. — Но у нас несчастье.
— Что за несчастье? — спросил тревожно Коньков с дивана; уже успевши натянуть сапоги, он торопливо застегивал китель.
— Иван Слегин пропал, — ответил бригадир.
— Кашевар, что ли? — спросил Дункай.
— Он самый.
— Как то есть пропал? — Коньков прошел к столу, указал на табуретку бригадиру: — Да вы садитесь! — и сам сел.

Павел Степанович положил на стол серую кепочку, присел на табурет и стал рассказывать; его тяжелое одутловатое лицо с вислым носом было серым от бессонницы.

— Мы, значит, пообедали после вас, на работу сходили, вернулись в лагерь... А Слегина все нет. Тут Зуев к нам подвернул, из города ехал. Поговорили: то да се. «А где Иван?» — спрашивает Зуев... Сами ждем. Ушел, говорим, с утра рыбачить — и как сквозь землю провалился. «Да вы что ж сидите, мать вашу перемать, — заругался Зуев. — Уже сумерки на дворе. Искать надо! А вдруг что случилось?» Пошли искать, сперва на Слюдянку... Всю речку исходили — кричали, шумели — никого. Прошли дальше, на Кривой ручей, это в двух километрах от Слюдянки. И вот на берегу ручья находим эту кепочку, а рядом свежие следы тигра. Крупный след! Вон, с блюдце будет. Мы опять кричали, шумели... Искали везде — и вдоль ручья, и в зарослях. Ни следов, ни Ивана. Собак с нами нет. Да что собаки? Они не больно берут тигриный след. Покричали, постреляли в воздух да ни с чем и вернулись.

— А кто нашел эту кепку? — спросил Коньков.

— Зуев. Ну а потом и мы подошли. И следы видели, и эту кепочку.

— Следы возле кепки? — спросил Коньков.

— Два-три следа на влажной земле. И кепочка между ними. Все видели.

— И что же вы думаете? Что с ним произошло? — допытывался Коньков.

— А чего тут думать? Дело ясное — тигр утащил его. И Зуев это же говорит. Он — лесник опытный. Какой-то шалый тигр здесь появился. Да и Колганов говорил про этого тигра, еще предостерегал нас. Вот какая беда!

— Да... Вот так история с географией! — Коньков взял кепку Слегина, вынул из кармана лупу и стал разглядывать эту загадочную находку. — Какой он был, чернявый или белесый?

— Кто? — отозвался бригадир.

— Ну, кашевар-то ваш!

— Рыжий!

— Пра-авильно. Кепочку я с собой заберу. — Коньков положил кепку в планшетку, потом сказал Дункаю: — Бензин мне нужен, сначала на место пропажи съездить, а потом в район.

— Я сам вас отвезу, — сказал бригадир.

— А я вам бензину налью, — отозвался Дункай.

— Вот и спасибо. Тогда в путь! — Коньков встал и прошел к вешалке, где лежала на полочке его фуражка.

— Позавтракайте сперва! — пытался задержать его Дункай.

— Дорогой поедим. Айда!

10

Косушка встретил Конькова вопросом от самого порога:

— Ну что, Леонид Семенович? Установил, кто проезжал по реке?

Коньков расстегнул планшетку и, шурша газетой, вынул какой-то сверточек.

— Ты чего копаешься? — сказал Косушка.

Коньков развернул наконец сверток, положил кепку на стол перед следователем и сказал, указывая на нее:

— Вот!.. Один только он и мог сказать.

Косушка в недоумении встал и посмотрел на Конькова как на воскресшего покойника.

— Это что за комедия? Чья кепка? Кто этот без вести пропавший?

— Кашевар из лесной экспедиции, Слегин по фамилии. Помните, как мы чуть не приземлились на их косе?

— Ну?

— Так вот, один человек из этой экспедиции, тот самый кашевар, не спал, сидел на косе, разделывал рыбу или картошку чистил. Хрен его знает. Словом, сидел ночью на косе, он и видел их, тех самых, которые проезжали по реке. Остальные же рабочие все дрыхли в палатке и только мотор на реке слыхали, да и то сквозь сон.

— Куда же девался этот кашевар?

— Тигр утащил его.

— Чего? Ты что, пьяный, что ли?

— Ну, перестань! — с досадой поморщился Коньков. — Выслушай сперва. Ты же приказал мне пошарить как следует. Вот я и шарил. Нагрянул в лагерь этой экспедиции, кашевара нет. Говорят, ушел с утра на таежную речку рыбачить. Мы ждали-пождали, поискали его, а потом поехали в артель и обещали вернуться утром, когда этот кашевар будет в лагере...

И Коньков рассказал всю историю со Слегиным, вплоть до появления бригадира с этой кепочкой.

— Ездил я утром туда. Осмотрел то место, где кепку

нашли. Следы тигра отчетливо видны. А сам Слегин исчез бесследно, как дух лесной растворился.

— Ничего себе помог. — Косушка сел на диван и задумался. — Только мне этого Слегина еще не хватало! — Он с досады хлопнул о подлокотник дивана и поднял голову. — Погоди, кто же ходил его искать первым? Днем еще?

— Кончуга. А что?

— А то! Он сам на подозрении. Далеко он ходил?

— Километра за два, на речку Слюдянку. А кепку нашли в другом месте, у Кривого ручья. Там же и следы тигра оказались.

— Тигр, тигр! — передразнил кого-то Косушка, вставая с дивана, потом остановился перед Коньковым, ткнул его в грудь пальцем и сказал: — Вот этот Кончуга и есть твой тигр.

— Не может быть! — уверенно возразил Коньков. — Кончуга отлучался всего на час, неподалеку. Ни крика, ни выстрела. Он же был всего в двух километрах от нас!

— Это они умеют. В тайге выросли. — Косушка присел за стол, потер растопыренными пальцами свое отечное лицо и высокий, с залысинами лоб, словно сонную одурь разгонял, и сказал: — Он же убирал единственного свидетеля! А ты в это время в шалаше дрых. Тут простая логика, тут дважды-два — четыре. Он тебе и про этого шалого тигра плел с целью. А ты развесил уши: тигр, тигр.

— Ты хочешь арестовать Кончугу? — спросил Коньков, настораживаясь.

— Да. У меня складывается очень определенное подозрение. Я вызывал их обоих с Дункаем, утром сегодня. И допрашивал.

— Я их тоже допрашивал, но прямых улик нет.

— Зато косвенных много. Один этот тигр чего стоит. Понимаешь, голова еловая, я сегодня допрашивал Кончугу, а он мне ни слова ни о Слегине, ни об этом тигре.

— Ну и что? Это в его характере.

— Ага, разведи мне тут еще психологию. Нет, Леонид Семенович, я чикаться не намерен; они оба у меня вот где! — Косушка сжал пальцы и внушительно пристукнул кулаком по столу.

— То есть как это? — спросил, удивляясь, Коньков. — Выходит, они оба виноваты?

— По крайней мере, пусть докажут, что невиновны. Плохо ты их допрашивал. Ты знаешь, сколько они изюбрей убили сверх лицензии? Семь штук! Да за одно это предсе-

дателя сажать надо. У них же конфликт из-за этого с Калгановым. И Кончуга явно темнит.

— Насчет изюбрей я выяснял. Тут злого умысла не было. Вот рыбу губят в нерестилищах, это другое дело.

— Кто?

— Леспромхоз! Вот кого надо привлекать.

— Чего, чего? Ты кто такой, рыбнадзор? Или в самом деле того... рехнулся?

— Я-то в здравом уме. А вот у тебя и в самом деле еловая голова.

— Но, но! Не забывайся.

— Это я к слову, твою же поговорку привел, — лукаво усмехнулся Коньков. — Ты был хоть на одном из заломов? Видел сплав? А ведь сейчас нерест начинается!

— Иди ты... со своим сплавом и с нерестом! У нас дело, понял? А ты меня толкаешь башкой в залом!

— А если там закон нарушается?

— Леонид Семенович, хватит! Не превышай полномочий, — сказал обессиленным голосом Косушка. — Давай о деле. У тебя сложились какие-либо определенные подозрения? И на кого?

— Пока трудно сказать что-то определенное. Много неясных вопросов. Почему у жены Зуева на виске синяк? Почему Инга, племянница Кончуги, намекнула на следы, когда я заговорил о кедах?.. Да, вот пули, выпущенные из ее карабина, — вынул Коньков две пули из планшетки и положил на стол. — Из тела Калганова извлекли пулю?

— Она отправлена на экспертизу. Еще какие странности заметил?

— Странности? — переспросил с усмешкой Коньков. — Есть еще. Например, вот одна: почему именно Зуев нашел эту кепку? Свернул к ним побалакать, потом повел всех в тайгу на розыски Слегина. И ни кто-либо из рабочих, а сам Зуев и набрел же на эту кепку. Тебе это не кажется странным?

— Во-первых, у Зуева алиби — он в ту ночь был в районной гостинице, за сто верст. Во-вторых, Зуев — лесник, опытный следопыт, потому именно он и нашел эту кепочку, а не кто-либо из рабочих.

— Опытный следопыт заметил бы и следы иного человека, кроме Слегина, и, уж по крайней мере, следы борьбы или крови. А Зуев ничего такого не заметил. Странно!

— В чем дело? Мы завтра можем съездить туда с опытными экспертами и осмотреть эти следы.

— Х-хе! — Коньков хмыкнул. — Съездить, после того как пять обормотов все затоптали там, как носороги. А еще вон тучи повалили. На ночь глядя дождь будет. Какие теперь следы!

— А я думаю, что Кончугу надо брать под стражу.

— Не промахнуться бы! — Коньков почесал затылок и сказал: — Дай мне денька два, я еще тут пошарю. Авось и ухвачусь за какой-нибудь кончик.

— Ладно!.. — Косушка достал из ящика письменного стола две клеенчатых тетради и три блокнота и протянул их Конькову. — Возьми дневники Калганова. Тут есть кое-что. Изучи, тогда легче будет соображать. А я доложу насчет Слегина. Дело — дрянь...

Коньков застал жену дома; она пришла из школы, успела пообедать и сидела за столом, готовилась к вечерним занятиям. Мужа встретила и с радостью, и с тревогой: с радостью, что вернулся жив-здоров и нежданно (обычно звонит загодя), а растревожило ее усталое лицо мужа и весь его удрученный вид.

— Ну что там, Лень? — спросила она, подходя и обнимая, заглядывая снизу и вопросительно, и тревожно.

— Скверное дело, Малыш. — Он погладил ее по коротко стриженной, под мальчика, черной голове и чмокнул в щеку. — Жрать хочу, как из ружья.

— До чего несуразны эти твои охотничьи побасенки. Хочет есть... как из ружья. Глупость. — Она смешливо наморщила свой коротенький носик в мелких конопушках, а потом, поцеловав его крепко в губы, сказала: — Вот как надо жену целовать. А у тебя первым делом еда на уме.

Коньков стал раздеваться да умываться, а жена хлопотала вокруг стола, накрывала не то на обед, не то на ужин. Перебрасывались фразами:

— Ты какой-то нынче серый?

— На заре подняли. И весь день на ногах. Где Николашка?

— Наверное, на речке. Или в тайгу за орехами ушли.

— Что тут у вас нового?

— Все о Калганове говорят. Какая жалость! Тело в цинковом гробу в Ленинград отправили, к родителям. На кого хоть подозрение падает?

— Пока трудно сказать. Разберемся...

Коньков ел вяло, все задумывался, откладывая ложку.

— Лень, ты давай поспи!

— У меня дневники его, — кивнул Коньков на планшетку. — Следователь дал только до утра.

— Успеешь, прочтешь! Ночь длинная. Так что ложись спать, а я побежала на вторую смену.

11

Коньков с Еленой познакомился лет десять назад. Она была студенткой Приморского пединститута и приехала к матери на каникулы в Бурлит. А он был в ту пору оперуполномоченным районного отделения милиции. Был он такой тоненький, юный лейтенантик, светловолосый и кудрявый. И стишки сочинял. Она же была бойкой и острой на язык первокурсницей, вернее переступившей первую ступень математического факультета. Если говорят, что у каждого солдата в ранце побрякивает маршальский жезл, то уж наверняка можно сказать, что в голове каждого первокурсника ворочается мыслишка с замахом по меньшей мере на докторскую диссертацию.

А тут всего лишь «опер» из районной милиции. Лена была не то чтобы красавицей, но той сбитой и ладной хохотушкой, которая и в пляске, и в песнях любую паву за пояс заткнет. И влюбился в нее лейтенант до смертной тоски — и ее черная головка с шапкой коротко стриженных, непродуваемых ветром волос (она даже зимой щеголяла без платка), и эта крепко сбитая фигурка, перехваченная широким черным ремнем в узкой талии, и этот смешливый носик конопушками и круглые, озорные, как у бесенка, янтарные глаза — все это мерещилось ему во сне и наяву, преследовало и выматывало душу.

Она уехала в институт, а он уволился из милиции и приехал в Приморск с мечтой стать великим поэтом и доказать этой гордячке, что она горько просчиталась, отвергнув его руку и сердце.

Впрочем, все тогда стремились либо покорять романтические просторы неизведанных земель, либо штурмовать крутые и скользкие откосы науки; все рвались ввысь да вглубь — время было такое.

Увы! Большого поэта из него не вышло, хотя он и печатался в молодежной газете, числился даже внештатным корреспондентом ее, а по совместительству работал шофером — в местном отделении Союза писателей. Но зато он поступил в университет, на заочное отделение юридического факультета, и упорством своим к умствен-

ному совершенству, а главное — преданностью и неизменной любовью покорил-таки сердце честолюбивой гордячки.

С годами их мечты потускнели, зато они поняли, что жизнь хороша прежде всего уютом да семейным покоем и добрым делом по душе и по сердцу. Она стала школьным учителем, а он вернулся в милицию. Получили они в Воскресенском целых полдома с огородом и садиком и зажили на славу.

Лена вернулась поздно вечером; Николашка уже посапывал в своей кроватке, а хозяин сидел за столом и читак дневники Калганова. Кое-какие выписки делал.

— Интересно, Лень? — спросила она от порога, раздеваясь.

— Да... — откликнулся он, не отрываясь от работы.

— А у нас, на вечернем отделении, спор сегодня зашел. Ты знаешь — я просто обалдела! Некоторые педагоги люто ненавидят Калганова.

— Кто именно?

— Зоолог наш, Кузьмин Илья Иваныч, говорит, что этот Калганов чуть не сорвал у них отлов певчих птиц. А они же, говорит, за границу идут, по разнорядке.

— А по чьей разнорядке, ты не спрашивала?

— Нет. Только он говорит, что Калганов не ученый, а бюрократ заскорузлый. Какие-то справки от них требовал...

— Кто еще ругал его?

— Калганова-то? Историк, зять Коркина. Он, говорит, бесстыдником был, ходил по дворам и в чугуны заглядывал.

— Интересно, Малыш!

— Чего ж тут интересного? Просто какая-то непонятная злоба. А дочь Коркина — она физику ведет — так прямо в открытую сказала: моральному растлителю туда и дорога...

Подошла к столу, села рядом, заглядывая в дневники, попросила:

— Прочти-ка что-нибудь?

— Насчет растления? — усмехнулся Коньков.

— Да ну тебя! Я серьезно.

— Я еще сам всего не знаю. Чувствуется, что он любил Настю. И роман был...

— С Зуевой, что ли?

— Да. Но произошла осечка... пока непонятная мне.

А с Ингой что-то не заладилось у него. Вот одна запись. — Он раскрыл нужную страницу с закладкой и прочел: — «Июль месяц... Опять я в Красном. Здесь все мне на память приводит былое, как сказал поэт. Вчера видел Ингу. Сидели на берегу реки. Как ей хочется все начать сначала! А мне грустно. Грустно, потому что начала не будет, все пойдет с середины, и конец выйдет тот же».

— Кто такая Инга?

— Врачиха тамошняя.

— Что-то и про нее трепали, грязное. И во всем опять Калганова винили. В чем тут дело? За что они его так ненавидят?

— Некоммуникабельность — вот причина всех бед с Калгановым.

— Какой ты стал образованный, прямо жуть! — усмехнулась Елена. — А ты попроще скажи, по-нашенски. Не то мне, рядовому математику, как-то неуютно становится с таким ученым.

Коньков только головой покачал:

— Ну и язва ты, Малыш! Хочешь по-русски? Пожалуйста — не ко двору пришелся. Или рано родился, или с запозданием — кто его знает.

— Почему?

— А потому! Больно горяч и ретив. Законы требовал исполнять строго и всеми без исключения.

—Ну и удивил! А ты чем занимаешься? Тоже с нарушителями закона борешься.

— Я за уголовниками гоняюсь, голова — два уха. А он брал шире и выше... Искал общественного согласия, гармонии... Истину в законе пытался постичь. Вот послушай его записи!

И Коньков стал вычитывать из тетрадей страницы, которые были заложены клочками газет.

— «Национальное богатство складывается не из чудом раскопанных кладов. Оно обеспечивается передачей наследия от одного поколения — следующему. Не зря прежние старики ревниво следили за каждой упавшей со стола крупицей. А мы транжирим все, сорим, кидаем направо и налево. Какой-то примут землю внуки из наших рук? Что они скажут про нас?»

— Интересно! — сказала Елена.

— А вот еще запись. — Коньков открыл следующую заложенную страницу и прочел: — «А Семен плут...»

— Кто такой Семен? — перебила его Елена.

— Дункай, председатель артели. Слушай! «Получил он телеграмму от Лысухина и спрятал. Но мне почтарь выдал текст: «Опять нарушаете поголовье отстрела. Просить вас надоело. Предупреждаю в последний раз». Ах ты боже мой! Прямо не охотоуправитель, а классная дама. Просить надоело!.. Да знаешь ли ты, холера тебе в брюхо, что это браконьерство — тот же разбой?! Вон Швеция берет в год по тридцать тысяч голов лося. А мы по всей России того не набираем. И хуже будет. Хуже! Ну, доберусь я до этого Лысухина. Вот только из тайги выберусь...»

— Выбрался на тот свет, — печально вздохнула Елена.

— А вот еще запись: «Весь ужас, весь разбой идет от обезлички тайги. Таперские участки не закреплены; их вовсе нет. Поэтому никто ни за что не отвечает. Охотятся где попало и кто попало. Гималайского медведя скоро выбьют начисто. Проверяют дупла — берлоги подрубом снизу, тем самым делают дупла навсегда негодными, — в них гуляют сквозняки. Медведям зимовать негде».

— Как это, Лень? — спросила Елена.

— Очень просто: увидят липу с дуплом или тополь — дыру прорубят снизу; если медведь в дупле, то выскочет. Медведя убьют и дупло испортят. В старину охотники просверливали дупла коловоротом, а потом пробкой забивали эту дыру, ну — кляпом.

— Ой, батюшки мои! — сказала Елена. — Ну-ка я это прочту. Ты, что ли, отчеркнул?

— Я.

Елена стала читать дальше:

— «Заповедники да заказники превращают в охотничьи хозяйства для избранных. А те «в порядке исключения» охотятся когда попало. Бьют все кряду — и матерых, и щенков. Бьют медведей, лосей, оленей, кабарожек... Даже норок, соболей, бобров не жалеют...»

И чуть ниже, подчеркнуто Коньковым:

— «Болтаем о единомыслии, но единомыслие складывается только из обязательного исполнения законов всеми без исключения. Это еще Сократ знал и говорил, что все в Греции принимают клятву в единомыслии. Это не значит, что все одинаково должны хвалить одного и того же певца или поэта, театр или иное заведение; а это значит, что все граждане должны одинаково повиноваться законам».

— Ай-я! — покачала головой Елена и перевернула страницу.

— «А теперь до певчих птиц добрались... Одна областная газета объявила: «Поймаем двадцать тысяч голов ценных птиц на экспорт!» И наши от них не отстают — соревнуются».

— Во дают! — воскликнула Елена.

— Кстати, завтра будет у нас погрузка отловленных птиц, — сказал Коньков. — Я им устрою представление...

— А ты с начальством советовался?

— Звонил в райисполком председателю после твоего ухода. Спрашиваю: кто разрешил отлов певчих птиц? А он мне: понятия, говорит, не имею. У нас уборочная идет. До птиц ли мне. Ты, говорит, с прокурором свяжись. Я свяжусь... И если нет разрешения, я их пугану!

— Да кто они такие?

— Из областного заготживсырья. И наши ловцы стараются. Зуев, говорят, больше всех наловил со своей шатией-братией. А ведь у нас же нельзя ловить — заповедник рядом. Птицы не знают запретных границ.

— Ну-ка, еще закладочку! — сказала Елена и прочла: — «Даже муравьиные яйца везут на экспорт — заокеанские мещане ими кормят своих канареек. Муравьиные кучи жгут из озорства, а лес наш остается беззащитным, лишенным этих неутомимых ловцов всякой тли...»

И ниже красным карандашом подчеркнуто: «Ваше равнодушие я буду расстреливать из пулемета моей непримиримости».

— Да-а... Ничего себе. — Елена покачала головой, потом сказала в раздумье: — Одного я не пойму: искал истину, добивался соблюдение закона, а жил как бродяга, крутил направо и налево. То Настя, то Инга... Что-то здесь не вяжется.

— Человека постичь сложно, Малыш. Это тебе не уравнение решить с двумя неизвестными. Погоди немного, дай срок. Разберемся и с Настей, и с Ингой.

— Ну, ладно, разбирайся, — сказала Елена, прошла на кухню и стала греметь посудой.

— Малыш, ты не слыхала такого названия: Медвежий ключ или распадок?

— Что-то не припомню. А что? — отозвалась Елена с кухни.

— Наверное, местное название, — сказал Коньков. — Нашел я в дневнике один шурупчик; вот послушай: «Ка-

жется, оба Ивана догадались, что я за ними слежу. Интересно, где у них встречи? Где тайник? Не на Медвежьем ли»?

— Это все? — спросила Елена.

— Все.

— Ну и шурупчик! Какие-то Иваны и встречаются черт-те где. Ты хоть знаешь, кто они?

— Пока еще нет. Но... слепой сказал, посмотрим.

12

С утра первым делом Коньков зашел в районную гостиницу. Его встретила в просторном вестибюле, отгороженная высоким барьером, Агафья Тихоновна Пластунова, старуха с темным сухим лицом, но еще быстрая в движениях и выносливая, как выезженный конь. Она и заведующей гостиницы была, и администратором, и порою за сторожа оставалась. И днем и ночью просиживала там. Когда только и спала?

— Здравствуйте, тетя Агафья! — взял под козырек Коньков.

— Здравствуй, Леонид Семеныч! Не нашли еще убийцу? — Она сидела в очках и вязала кофту.

— Пока еще нет. А ты как поживаешь?

— Да ничего. Спокойно живем. Одно хлопотно — выбрали меня народным заседателем. Так веришь или нет — каждый день заседаем.

— Чего делаете на заседаниях-то?

— Судим! Все по этой новой статье... за пьянство да за хулиганство. Которая от тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года.

— А-а, за мелкое хулиганство и запои... Кого же вы приструнили?

— Вчера Ваську Звонарева, тракториста из Гольтяпаева. На три года осудили. Он плакал-то... Трое детей осталось.

— А что он натворил?

— Собрание колхозное сорвал, по пьянке. В председателя колхоза чернильницей запустил. Всю ро... то есть лицо ему залил чернилами. И костюм испортил.

— Ах, этот артист! Слыхал.

— А ноне плотника Курая с фельдшерицей Назаркиной разбирать будем. Из Подболотья они, поди, знаешь?

— А этих за что?

— Ревновал он ее по дурости. Она же фельдшер, ну и люди к ней ходят. А он психовал сильно. И так напился, что упал. А она думала, что у него приступ на почве невренности. Она сама перепугалась и повезла его в районную больницу. В дороге тот пить попросил. Она с перепугу бутылки перепутала в сумке и вместо воды дала бутылку с нашатырным спиртом. Он и хлебнул. Так веришь — вся шкура на языке у него чулком спустилась. Он теперь языком чует хуже, чем пяткой. И подал на нее в суд за членовредительство.

— Дурью он мучается, — сказал в сердцах Коньков.

— И я так думаю. А разбирать надо.

— Ты, Агафья Тихоновна, прямо как бюро информации, — похвалил ее Коньков.

Она, довольная, заулыбалась.

— Дак ведь я периодически освещаюсь. Место у меня видное — перекрестье всех дорог.

— Вот и хорошо. А скажи-ка ты мне вот что — сколько дней у вас жил лесник Зуев?

— Это который с Вереи?

— Он самый.

— Жил он у нас... Сейчас посмотрю. — Она открыла книгу и прочла: — Ага! Значит, ровно трое суток. А на четвертые уехал.

— А за это время не отлучался на ночь?

— Вроде бы здесь ночевал. А что?

— Жена у него, тетя Агафья, тоже красивая да ревнивая. Разузнать просила. Узнаю, говорю, успокою.

— Спал как убитый.

— Ты все ночи сама дежурила?

— Нет.

— Откуда же ты знаешь?

— По вечерам заходила.

— А люди к нему не приходили?

— Приходили! — радостно подтвердила она. — Двое изюбрятиной закусывали.

— Ты-то откуда знаешь?

— А запах? Она ведь копченая. И вкусная!

— Значит, угощали?

— Так, самую малость.

— Не слыхала, о чем говорили?

— Как тебе сказать?.. Будто бы собирались съездить куда-то.

— Ты не вспомнишь, куда?

— В тайгу, куда ж еще?

— Ну да... А поточнее? Может, называли место? Ключ или распадок?

— Не скажу. Не слыхала.

— Откуда хоть они?

— Да вроде из потребсоюза.

— Ну, спасибо! О том, что я у тебя был и о чем расспрашивал — никому!

— Ну, могила!

Коньков вышел к речному затону, где обычно стояли на приколе лодки местных рыбаков. Он надеялся встретить кого-нибудь из заядлых забулдыг, которые после ночной удачи засиживались здесь на берегу возле костра до самого утра, а порой и засыпали, набравшись под свежую закуску. Как знать, может, и заметил кто — какая лодка отчаливала отсюда в ту роковую ночь?

Но на затоне было безлюдно; лишь два черноголовых паренька удили с лодки, стоявшей на приколе. И вдруг Коньков увидел с краю от реки длинную, как осетр, голубую лодку Зуева. Он ее сразу узнал: и эту ярко-красную бортовую полосу, и зачехленный мотор «Вихрь».

— Хлопцы, вы не заметили — когда подошла вон та, крайняя лодка?

Паренек, сидевший на скамье ближе к Конькову, ответил:

— Ну, может, полчаса или минут двадцать назад...

— А куда делся лодочник?

— В чайную пошел.

— Это лесник Зуев! — крикнул второй, с кормы. — Они сегодня птиц сдают.

— Каких птиц? Гусей да уток? — спросил Коньков, стараясь расшевелить азарт ребятишек.

— Не, дяденька! Певчих птиц. Их в тайге наловили, — поясняли оба вперебой.

— Во-он что! А какой нынче клев? — спросил весело Коньков.

— Водит хорошо, а берет плохо...

— Ну, ни пуха ни пера.

— Пошел к черту!

— Туда и ухожу, — смеясь, сказал Коньков, направляясь в чайную.

Она стояла неподалеку отсюда, на отлете, возле реч-

ного берега: бревенчатый сруб и широкие, в полстены, окна.

Коньков очистил сапоги о скребок возле порога и вошел в чайную. Народу мало. За широким буфетом, опершись на локти и положив на прилавок мощную грудь, сидела буфетчица Леля Карасева, по прозвищу Рекордистка; у нее были сочные смешливые губы и большие, грустные, как у сохатого, глаза.

— Торгуешь, Лелечка? — спросил Коньков, здороваясь.

— Какая с утра торговля? — сказала она, лениво поднимаясь и потягиваясь.

— Или не выспалась? — улыбнулся Коньков.

— У меня, Леонид Семеныч, будильника нет, я холостая. Сколько захочу, столько и сплю. Это вам, поди, приходится трудиться по ночам, бедному. А заснешь ненароком — еще и в бок пинка получишь. — Леля озорно подмигивала ему и похохатывала.

— Оно и потрудиться не грех — было бы над чем, — в тон ей, тоже посмеиваясь, отвечал Коньков, а сам косо поглядывал в зал; там за столиком одиноко сидел Зуев. — Ты мне чаю покрепче налей...

— С коньячком? — спросила Леля.

— Нет, с молочком! С томленым. И пусть подадут во-он за тот столик, — указал он на Зуева.

— Сделаем! — сказала Леля.

— По делам в районе? — спросил Коньков, присаживаясь к Зуеву и здороваясь с ним.

— Да. Птиц певчих сдаем сегодня.

— А разрешение на отлов этих птиц имеется? — строго спросил Коньков.

Зуев недовольно передернул плечами.

— Этим делом руководит инспектор из краевого охотуправления. С него и спрашивайте. А я — человек маленький.

— Ага! Ваше дело ловить да продавать.

— А что ж вы хотите, чтоб я даром работал? — раздраженно ответил Зуев.

— Да нет, отчего ж? — миролюбиво сказал Коньков. — А где же ваши птицы?

— В тайге. На грузовике едут.

— А вы?

— У меня свой транспорт. На реке стоит.

— Богато живете, — усмехнулся Коньков. — Сотню ки-

лометров туда по воде да сотню обратно — недешево стоит.

— А куда нам копить? — Зуев взял графинчик с водкой, предложил Конькову.

— Я уже заказал, — остановил его рукой Коньков.

Официантка принесла зеленый чай, пиалу с густым томленым молоком, поставила перед Коньковым.

Зуев усмехнулся:

— Жена не дает или оклад не позволяет? — Перед Зуевым тарелка с отбивной, шпроты, три бутылки пива.

— Дает не дает... сам не возьмешь. На мою сотню с хвостиком не больно разживешься.

— И я вот получаю сотню с небольшим. — Зуев широким жестом указал на свой завтрак.

— Дак у вас приварок хороший! — со значением сказал Коньков.

— Правильно! — Зуев поджал губы и с нарочитой любезностью склонил голову. — Не сидим сложа руки. Сам видел мое хозяйство.

— Хозяйство твое не мерено — тайга!

— Тайга не каждому дается. Нужна сноровка.

— Сноровка бывает разная: один норовит дерево посадить, а другой кору с него содрать.

— Користерство тоже промысел.

— Промышлять-то мы умеем. Лишь бы взять оттуда. А вложить туда, лес восстановить — это уж пусть дядя за нас делает.

— Видывали мы таких дядей. Тот же Калганов... Бывало, послушаешь его — прямо одна забота о тайге. А сам пускал баргузинских соболей в тайгу как воробьев в небо. Выпустит — их и след простыл, не держатся они здесь, ходом идут. Вот и получается — на словах забота, а на деле растрата.

— Видно, что вы человек городской.

— Почему?

— Потому! Соболь не телок, на веревку его не привяжешь. А вы переживаете, — усмехнулся Коньков.

— Мне переживать некогда! — вспылил Зуев. — Я делом занят, и хозяйство мое в порядке.

— Ну да... На ваш век хватит.

— И я так считаю...

Так, попивая один — чай, другой — водку, они полусерьзно-полушутя не то переругивались, не то в полунамеках выражали свою антипатию друг другу, старались выз-

вать вспышку, за которой могла бы последовать нечаянная откровенность намерений каждого из них.

— И давно вы в тайге работаете? — спросил Коньков.

— Представьте себе — пятый годик.

— Представляю.

— И все делом занят, оттого и не переживаю. Это уж пусть ваши сотрудники переживают. Вас-то когда перевели сюда? В позапрошлом году?

— Эге, — кивнул Коньков.

— Вот и спросите своих сотрудников, сколько они преступлений не раскрыли хотя бы за последние пять лет? Работать надо, а не за тайгу переживать. О тайге как-нибудь уж мы сами позаботимся.

— Каждый сверчок знай свой шесток! — усмехнулся Коньков. — Знакомая присказка. Между прочим, я видел ваши заботы. От этих забот даже кета в заломах дохнет.

— Не за тем смотрите! — повысил голос Зуев. — Вы скажите, кто у вас под носом человека убил?

— Не беспокойтесь, Зуев, на этот раз найдем, — сказал Коньков, вставая. — До новых приятных встреч! — и вышел.

13

«Злобишься да шипишь, — думал Коньков о Зуеве, выходя из чайной. — Ну, погоди, касатик... Я тебя еще успокою, ткну носом в твои шкодливые дела. И синяк на виске у Насти тобой посажен. Тобой, голубчик. И ты у меня не отвертишься...»

Первым делом он зашел к председателю райпотребсоюза, чтобы запретить вывоз отловленных птиц впредь до решения райисполкома и поразведать насчет заготовителей.

Плотный, упитанный Коркин в сапогах и диагоналевых галифе, с квадратными плечами, еще увеличенными ватными подкладками темно-синего кителя, стоял возле аквариума и кормил красновато-золотистых японских рыбок. Кабинет у него был просторный, с кожаным старинным диваном и двумя массивными креслами, множество стульев возле стен, огромный стол, обтянутый зеленым сукном, — хоть в бильярд играй на нем, и во весь кабинет индийский ковер, голубоватый, с красными павлинами.

— Здорово, Василий Федорович! — нарочито бодрым тоном приветствовал от порога его Коньков.

— Здорово, здорово!.. — Коркин медленно, как бы нехотя, подошел к нему, протянул свою короткую, как обруб-

ленную, но увесистую ладонь и спросил, глядя исподлобья, не то с обидой, не то с укором: — Что ж ты наших птицеловов притесняешь?

— А ты об этом спроси председателя райисполкома или прокурора. — Коньков только руками развел — я, мол, тут ни при чем.

— Спрашивал, — сухо ответил Коркин и нахмурился.

— Ну вот... Они распорядители, а я — простой исполнитель, обыкновенный гражданин-участковый.

— Ну, чего мы тут стали? Давай к столу! — Коркин пошел первым, поскрипывая хромовыми сапогами.

Он сел за стол в вертящееся кресло, отчего плечи его поднялись еще выше и лысеющая круглая, как глобус, голова оперлась прямо на плечи.

Коньков сел на стул сбоку, и Коркин, точно каменный идол, повернул к нему все тело сразу. Его широкое красное лицо с белыми бровями было все еще сердитым.

— Между прочим, обыкновенный участковый занимается своими делами, — сказал Коркин назидательно и даже палец поднял.

— А это все и есть мои дела. По обязанности.

— По какой это обязанности?

— По гражданской.

— И ко мне пришел по этой обязанности?

— Точно!

— Ну, говори!

— Птицеловов задержите до решения райисполком- То есть не самих птицеловов, а грузовик с птицами.

— А если они не послушаются?

— Грузовик будет задержан, а птиц выпустим на волю.

— Но они же из края, из охотоуправления! — зашевелил бровями Коркин.

— Ну и что? В нашем районе есть Советская власть. Вот и пускай получат у нее разрешение на отлов певчих птиц. Мы находимся рядом с заповедником, а птицы, как известно, живут не на привязи.

— Да я, собственно, ни на чем таком не настаиваю. Пусть оформляют все как надо.

— И слава богу! — улыбнулся Коньков. — Есть и повыше нас люди. Пускай они разбираются.

— Ну и жох ты, лейтенант. — Коркин тоже улыбнулся, но как-то кисло. — Ты ведь, чай, не за этим пришел? Это можно было бы и по телефону сказать, из милиции.

— Да и ты не простачок, Василий Федорович. Отгадал. Хорошо иметь дело с умными людьми!

— Чем могу быть полезен?

— Откровенностью, как говорится.

— Перед тобой — как перед господом. Исповедуй!

— Помоги нам разобраться. Кто из ваших потребсоюзовцев держит связь с Бурунгой на Верее?

— Какую связь?

— Ну, заготовители... Кто там еще обитает?

— А-а! Кузякин и Рыбаков. Они у меня клепку там заготовляют и кору бархатного дерева.

— А изюбрятину они там, случаем, не заготовляют?

— Изюбрятину? — Коркин пожевал губами, помедлил. — Вообще-то было время... Когда шел отстрел изюбрей, брали, кажется, в артели у Дункая. Ну, дней десять — пятнадцать тому назад.

— А три дня тому назад они ничего не привозили?

Коркин пожал плечами, подумал, наконец произнес:

— Не знаю.

— Они знакомы были с Калгановым?

— Да кто с ним не был знаком? — оживился Коркин. — Конечно, о покойниках не принято плохо говорить. Но, откровенно сказать — он был живодер. Просто житья никому не давал.

— Как не давал?

— Да так. И охотников огульно всех обвинял. И лесников. Поклепы писал на целые учреждения. Сплошное очернительство. Работать мешал.

— И вам тоже?

— Было и с нами. Он у нас весной всю кору бархатного дерева арестовал. Как раз там, в Бурунге.

— За что же?

— Да пустяки. Придрался, будто мы нарушаем возрастной ценз. Нашел, может быть, одно-два деревца, с которых сняли кору до срока. И поднял шум.

— Что значит — до срока?

— Пробковую кору заготовляем. Значит, диаметр установлен для взрослого дерева, толщина то есть. Вот он и придрался — что, мол, тонкомер обдираем. Дак у нас же лесничество следит за этим. И лесник там контролирует, Зуев.

— Зуев Иван?

— Он самый. Ну вот... Вызывали нас на исполком из-за этого поклепа. И Зуев, и сам лесничий показали в нашу

пользу, сказали, что отдельные случаи, издержки производства. Ну, Калганов и остался с носом. А сколько мы времени потеряли на эту волокиту? План сорвали... По его милости.

— Значит, никаких нарушений технологии не было? Одни издержки... Так — чепуха? — усмехнулся Коньков.

— Не в том дело, — сказал Коркин, нахмурившись. — У меня что тут, частная лавочка? Я себе в карман прибыль-то деру, а? Для кого мы пробку заготовляем? Для государства! Мы ее вон куда, аж в Москву да на Кавказ отправляем. Ее ждут, просят, требуют! Это ж понимать надо.

— Значит, валяй, дери кто во что горазд? Поскольку для государства, оно, мол, все и спишет.

— Ну, зачем же так упрощать, Леонид Семенович? Тут дело тонкое: все мы по своей специальности работаем, каждый на своем участке. Тут лезть в чужие рамки — только делу общему вредить. Ведь и мы понимаем, что к чему, не для себя стараемся. План-то надо выполнять.

— А что, если при этом природе вредите, земле?

— Дак ведь есть же люди, которые приставлены специально следить. У них инструкции... на случай, если нельзя иначе. А он — просто ученый, и больше ничего. Посторонний человек, можно сказать. Так по какому праву он совался?

— А по праву совести!

— Совести? А как ее понимать, эту совесть? Для нас совесть в том, чтобы выполнить задание. Вот я тебе приведу еще один конфуз с тем же Калгановым. По осени он запретил леспромхозу трелевать лес к Теплой протоке. Нельзя, мол, по ней сплавлять лес: это нерестилище. В край звонил, в Москву! Приказали разобраться. Вот собрались все производственники на исполком. Что же мы будем делать? Спрашивают его. Значит, сплавлять нельзя, а вывозить — дороги нет. Может, лесозаготовки прекратить, а? Так смех поднялся!

— Тут не смеяться, а плакать надо. Калганов был прав.

— Ну, ты дал!.. — Коркин ажно привстал и шею вытянул. — По-твоему, мы занимаемся личной выгодой?

— Насчет выгоды судить не берусь... пока. Но что тут пахнет государственной растратой — это факт.

— Вон как! Значит, и ты туда же, за говорунами? Тогда я тебе вот что скажу... — Коркин встал и, опираясь на стол руками, багровея, подался резко на Конькова, точно

сшибить его хотел своим увесистым телом. — У нас одни люди работают, а другие саботируют. Хорошо рассуждать о рыбке да о лесной красоте, стоя в стороне. А ты поработай директором леспромхоза! План выполни! Или вот, садись на мое место... Тяни этот воз!..

— Эге, давай махнемся! — усмехнулся Коньков. — Бери мою сотню и свисток... А я на твоем кресле вертеться буду. Оно же у тебя вращается, как шар земной. И притяжение имеет.

— Да иди ты со своими дурацкими шутками!

— Во, во! Вроде бы мы и в самом деле пошутили. Значит, изюбрятиной у тебя не торговали в последние дни?

— Я не продавец... И вообще, говорить нам больше не о чем.

— Как знать. Может, и придется.

— До свидания! — Не подавая руки, Коркин пошел к своему аквариуму.

14

«Ну что ж! Расшевелили парадный подъезд, — твердил про себя Коньков, выходя от Коркина, — а теперь попробуем зайти с черного хода».

Магазин сельпо, стоявший на выносе из общего порядка домов, поближе к реке, был закрыт на обед. А со двора, от реки, валил мощным столбом черный дым.

Здесь на обширном дворе, огороженном высоким дощатым забором, горой были накатаны пустые бочки, валялись ящики, коробки картонные и всякая иная рухлядь. Магазинный сторож, в кирзовых сапогах, в овчинной безрукавке и военной фуражке со звездой, носил охапками и крепкую, и ломаную тару и бросал в большой костер, разложенный посреди двора.

— Что, гвардеец, добро сжигаешь? — сказал Коньков, подходя к старику и здороваясь за руку.

— Не говори, парень... Его накопилось вон — ноги не протащишь.

— Не жалко? Ведь ящика доброго не купишь на почте. А ты сжигаешь.

— Да что поделаешь? Порядок тоже наводить надо. Тут настоящий завал образовался.

— А я к тебе по делу, Иван Корнеевич. — Коньков присел на чурбан и протянул раскрытый портсигар старику.

Тот неторопливо размял папироску, закурил и подсел рядом.

— А что у тебя за дело?

— Собрался посылочку отправить, хвать — ящика нет. Дай, думаю, к Ивану Корнеевичу зайду. У него этого добра много.

— Тебе под чего ящик-то?

— Рыбы вяленой хочу послать.

— Кому? — допытывался дед.

— Братану, в Кемерово.

— Известно, на сухопутье живут. Большой ящик-то?

— Килограмм на шесть.

— Ну что ж, подберем... Не то сам собью — лучше нового будет.

Коньков вынул два рубля и подал их деду. Тот проворно сунул деньги в карман и сказал, как бы в оправданье:

— Ты много дал.

— Два сколоти. Один впрок будет.

— Сделаю, Леонид Семеныч. А после службы выпью с устатку.

— Смотри, от старухи влетит.

— Тогда уж поздно будет. А то и деньги отберет, и по шее заедет. В жисть не поверит, что милиционер дал.

Коньков рассмеялся.

— Боишься хозяйки-то?

— Дак ведь по нонешним временам кроме хозяйки и бояться некого — пьют и прогуливают. Вон и в газетах про это пишут. Эта самая... регулирующая струна ослабла.

— И как же ее подтянуть? — усмехнулся Коньков.

— А очень просто — назначить баб. Они нам враз сухую конституцию пропишут.

— Это еще не беда. Лишь бы они нас без закуски не оставили. В вашем магазине, поди, и закусить нечем?

Сторож покачал головой и языком причмокнул:

— Э-э, парень! Была закуска добрая... Да ты опоздал.

— Да ну? Что ж это за закуска?

— Изюбрятина.

— В магазине?

— Около прошла. — Дед сделал выразительный жест рукой. — Вчера целый день тащили — и всё черным ходом.

— Ах ты, какая жалость! Я, грешным делом, люблю изюбрятину. Может, осталось у кого? Кто хоть привез-то?

— Кто ж тебе отпустит? Ты при форме. Пошли бабу, может, он и продаст. А то давай я схожу.

— Да ну, что ж тебя гонять, старого человека. Я жену пошлю. К кому?

— Только обо мне ни слова!..

— Ну, что ты!

— Пусть сходит к Кузякину. Небось даст.

— Где он живет?

— Третья изба с краю по главному порядку, считай от реки.

— Спасибо, вечерком пошлю. А ты мне ящичек приготовь для посылки.

— Это уж само собой. Собью. Дырки-то провернуть с боков?

— На что они мне? Чай, не яблоки посылаю. Бывай здоров!

— Спасибо! — Иван Корнеевич для почтения снял фуражку и проводил Конькова до ворот.

«А черный ход оказался интереснее. Нас из одних дверей роде бы взашей вытолкали, а мы премся в другие. Хо-хо!» — весело думал Коньков, идя к дому Кузякина, и распевал на разные лады одну и ту же подвернувшуюся на язык строчку: «То ли еще будет! То ли еще будет!»

Кузякина он застал на дворе; тот подправлял плетень, вплетая свежесрезанные тальниковые хворостины в изреженные и прохудившиеся от времени прорехи в заборе.

Это был средних лет мужчина, черноволосый, с неприветливым скуластым лицом и косоватым разрезом узких монгольских глаз.

— Вы — Кузякин Михаил Емельянович?

— Ну, я, — неохотно отозвался тот, кладя топор на дровосек.

— Я участковый уполномоченный, — Коньков показал свою книжку.

— Да знаю, — сказал Кузякин, не глядя на этот красный документ.

— Мне поговорить с вами надо.

— Пожалуйста. — Хозяин указал на здоровенный чурбак, сел сам и вынул пачку папирос.

— Да что ж мы здесь? — Коньков глянул на серое небо. — Вон и дождь накрапывает. Пошли в избу!

— Пошли.

Коньков пропустил вперед себя хозяина и сам нырнул через порог в темноватые сени, потом прошли в избу. Изба

как изба, ничего подозрительного: полы чистые, крашеные, стены обклеены обоями. Над кроватью с никелированными шишечками висит дробовик и патронташ. Коньков прошел к столу, сел напротив хозяина.

— Вы заготовителем работаете, в Бурунге?

— Так живу-то здесь. Работаю в потребсоюзе. Бываю, конечно, и в Бурунге... Изредка.

— Ну как изредка? Последний-то раз когда там были?

— Да уж недели две прошло.

— Ага!.. А что вы там делали?

— Пробковую кору сплавляли.

— Дробовичок-то с собой берете? — Коньков кивнул на ружье.

— Берем... Так, по уткам ежели.

— А если что покрупнее? Карабина-то разве нет?

— Как видите. — Кузякин указал на стену.

Вошла хозяйка, приветливо улыбнулась.

— А у нас во-он кто! Гости, оказывается.

— Гостей угощать надо, — сказал Коньков, здороваясь с хозяйкой.

— И правда! — встрепенулась она. — Миша, ну-к, сбегай за бутылкой.

— Спасибо! — остановил Коньков приподнявшегося было хозяина. — Рад бы с душой, как говорится, да нельзя. Служба! А вот кваску бы я испил.

— Дак я сейчас! — метнулась к дверям хозяйка.

— Не беспокойтесь! — Коньков подошел к скамье на кухне, над которой висел ковш, снял его. — Проводите, а я по пути и напьюсь.

И, направляясь к двери, спросил:

— Где у вас погреб-то?

Хозяин как-то съежился, а хозяйка, все еще не понимая, что к чему, защебетала:

— Дак, на двор выйдете — тут вам будет налево хлев, а туточки пряменько и погреб.

— Ну, хозяин меня и проводит, — обернулся Коньков к Кузякину. — Там и напьемся за компанию.

Они вышли во двор. Здесь, за дровосеком, под тенью ильма, стоял бетонный погреб, вернее, виден был только вход в погреб — окованная дверь под козырьком.

Растворилась она со скрежетом. Коньков, пригибаясь, вошел первым. В сумрачном погребе на мощной матице висело два окорока.

— О-о! Да тут и закусить есть чем, — весело сказал Коньков. — Кабаньи?

— Да, — выдавил из себя хозяин.

— Попробовать-то можно?

Кузякин только плечами пожал. Коньков вынул охотничий нож, отрезал небольшой кусочек, пожевал.

— Свежего копчения. Еще дымком припахивает. А говоришь — в тайге давно не бывал?

В ответ раздался только тяжелый вздох.

— Ну, что? Остальное сам покажешь или будем искать? — спросил насмешливо Коньков.

— Вон там в кадке изюбрятина. И больше ничего нет.

Коньков подошел к кадке, открыл рядно, там лежало мясо. Коньков пощупал его, отрезал кусочек, взял на язык.

— Даже просолеть не успело. Сами убили?

— Нет.

— Когда привезли? Третьего дня?

— Да.

— С кем везли?

— Один.

— У кого брали мясо?

— Охотники продали.

— Кто именно?

— Да они все там на одно лицо... не то нанайцы, не то удэгейцы.

— Вы покупали в Бурунге?

— Нет, возле артели. До Бурунги бензина не хватит.

— А сколько сдали мяса в сельповский магазин?

Кузякин, застигнутый врасплох, помолчал...

— Так чтобы в магазин сдавать... этого не было. Приезжала Настя, продавец. Ну, пуда два взяла для своих... знакомых там, друзей.

— Понятно! Промысел налажен.

— Да это случай... Просто подвернулись мне охотники. Я ж на рыбалку ездил. Какой там промысел!

— Разберемся... — Коньков вышел на двор и сказал хозяину, запиравшему дверь: — Вы погреб-то не закрывайте. Сейчас понятых вызовем. Придется мясо конфисковать, и протокол составим...

15

В приемной прокуратуры, куда пришел Коньков, чтобы доложить Косушке насчет конфискации убоины, он неожиданно столкнулся с Дункаем.

— Семен, ты чего здесь делаешь? Тебя снова вызвали? — Коньков с настороженностью и недоумением глядел на Дункая.

— Да нет, не вызывали, — ответил тот улыбаясь и протягивая руку. — Сам приехал.

— По какому делу?

Дункай взял Конькова под руку и отвел к порогу, подальше от сидевших на диване посетителей.

— Понимаешь, какая история... Тот шалый тигр, которого замечали возле Бурунги, теперь на Улахе ходит.

— Ну и что? А где эта Улахе?

— Улахе по-вашему Медвежий ключ. Распадок.

— Постой! Про Медвежий ключ и у Калганова написано, но его нет на карте.

— На карте есть Улахе. А русские охотники, из Воскресенского, звали это место Медвежьим ключом.

— Что ж ты предлагаешь? Поймать этого тигра и допросить — съел он свидетеля или нет? — усмехнулся Коньков.

— Да погоди ты!.. — Дункай опять потянул к себе Конькова и сказал тише: — Там же, наши люди говорят, будто скрывается какой-то человек. Понимаешь, чепуха получается: тигр слопал человека на Бурунге и живет в распадке рядом с другим человеком. И ничего! — Он зашептал Конькову на ухо: — А может, этого свидетеля-кашевара никто не съел? Может быть, он и скрывается там?

— Семен Хылович, ты гений! — Коньков ткнул его в бок и шепнул на ухо:— Ты про эти свои догадки никому не говорил еще?

— Никому! — покачал головой Дункай.

— Молодец! Ты один приехал?

— Со мной еще Сольда. Он на завалинке сидит, на солнышке греется.

— Зови его сюда! А я сейчас следователю скажу — и мы вас вызовем.

Как только вышел от Косушки прокурор, Коньков сразу прошмыгнул в дверь.

— Чего это «сам» тебя навещал? По нашему делу?

— Да. Вот принес заключение экспертизы насчет пули, убившей Калганова. — Косушка указал на бумагу, лежавшую сверху в раскрытой папке. — Только что от криминалистов получил.

— Ну и что?

— Говорит, пустыми поисками занимаетесь. Это он насчет твоих пуль... Ну, тех, что врачиха в бадью всадила. Вы можете, говорит, перебрать все карабины, которые зарегистрированы в республике, и ни один из них не будет искомым. Пуля эта выпущена из нестандартного ствола. Скорее всего — самоделки.

— Дак как же его искать?

— А это, брат, наша с тобой забота. Какие новости?

— Накрыл одного охотника с убоиной.

— Какой убоиной?

— Все той же!.. Изюбрятина, кабанина... свежая!

— Изюбрятина? Что за человек?

— Заготовщик из потребсоюза.

— Где он взял?

— Темнит. Говорит, что купил у охотников возле села Красного.

— А ты что думаешь?

— Не верю я ему. Охота в артели прекратилась еще дней десять назад. Значит, либо сам добыл, либо есть где-то запасы. Кто-то орудует умело.

— Сколько у него убоины?

— Пудов пять будет. Да пуда два, говорит, сдал в магазин сельпо. По-моему, врет. Там целый день шла торговля... через черный ход. Коркина надо спросить. Он поточнее скажет.

— При чем тут Коркин?

— При том. Это его заготовитель. Две недели назад этот самый Кузякин с Балабиным привозили много изюбрятины. Это Коркин признает. А то, что вчера шла торговля изюбрятиной, об этом — ни слова.

— Во-первых, он мог не знать — торговали или нет. Он же не продавец.

— Вот и давай установим, знал он или нет. И почему продавец не докладывает ему о поступлении в магазин убоины от частного лица? То бишь, извините, от заготовителя Коркина.

— Постой! Ты что предлагаешь, еловая голова, Коркина вызвать на допрос?

— Ну и что? Вызовем и Кузякина, и продавца, и Коркина, сделаем перекрестный допрос. Ведь это же не первый случай.

— Ну при чем тут Коркин? Ему же сдали готовый

продукт, да и то через магазин. Он — государственное заведение, а не частная лавочка.

— Дункай тоже не частную лавочку держит. Но мы же его допрашивали. Теперь давай Коркина допросим.

— Дункай — заготовитель, а Коркин — потребитель, то есть распределитель! Это ба-альшая разница! Понимать надо, еловая голова.

— Вот именно, потребитель, — усмехнулся Коньков и с ехидцей спросил: — Что-то я не слыхал, чтобы в сельпо изюбрятину продавали в этом месяце. Кто же ее потреблял, кроме Коркина? Любопытно бы узнать...

— Ну, знаешь! Ты, кажется, того, божий дар путаешь с яишницей.

— Эге, божий дар! А ты, случаем, не приложился к этому дару? Тебе не продавали изюбрятину по дешевке?

— Леонид Семеныч, не забывайся! — вспыхнул Косушка, и на залысинах его стали проступать мелкие бисеринки пота. — Ты что, в кастрюли мои хочешь заглянуть?

— Не о кастрюлях я, — устало ответил Коньков. — О совести я думаю, о нашей принципиальности.

—По-твоему, я бессовестный! — Косушка, поджав губы, исподлобья смотрел на Конькова, и на его широкой переносице проступили красные жилки.

— Да не сердитесь! Я же не про вас. Я говорю о том, что скрывается за частным случаем убийства. О той нетерпимости, о травле Калганова. Они же его ненавидели за то, что он требовал жить по закону. И заготовители, и леспромхозовцы, и браконьеры, и черт знает кто. На него чуть ли не науськивали...

— Но пойми же, мы с тобой ведем следствие. У нас частное дело об убийстве. А ты куда лезешь? Не превышай полномочий!

—Конечно... Посадить под стражу какого-нибудь Кончугу, толком не разобравшись в его виновности, — тут не превышаем. А допросить Коркина, который принимает браконьерскую изюбрятину, — тут превышение. Ладно, еще вернемся к этому. У меня есть новость и поважнее, — меняя тон, сказал Коньков.

—Что за новость?

—В дневниках Калганова записано, что оба Ивана, должно быть, встречаются в Медвежьем ключе... Там у них, предполагал Калганов, и происходит заготовка. Или тайник есть. Мне только что сказали, что в Улахе, так называют удэгейцы Медвежий ключ, прячется какой-то тип.

И там же, между прочим, обитает эти дни и тот шалый тигр, который слопал нашего свидетеля. Не кажется ли тебе, что наш свидетель живет поблизости от того самого тигра, который слопал его?

—Это любопытно! Кто тебе сказал?

—Сейчас узнаешь. — Коньков растворил дверь и поманил Дункая и Сольду.

Те вошли и остановились у порога, слегка поклонившись. Следователь подошел, поздоровался с ним за руку.

— Семен Хылович, значит, Улахе и Медвежий ключ — это одно и то же место? — спросил Косушка.

—Это правильно, — сказал Дункай. — А Сольда говорит: там человек прячется.

—Какой человек? — спросил Косушка старика.

—Не знай, — ответил Сольда.

—Ты его видел?

—Нет.

—Так кто же говорит?

—Наши люди говорят.

—Они его видели?

—Нет.

—Откуда ж они знают?

—Наши люди все знают, — твердо отвечал Сольда.

—Каким образом? — чуть усмехнулся Косушка.

—Тебе что, не понимай? Чувствуют!

—А-а! Тогда другое дело. — Косушка, все с той же улыбочкой, валкой походкой прошел к карте, которая висела на дальней стене, и поманил за собой Конькова.

Они нашли на карте распадок с ключом Улахе.

—Калганова убили здесь, возле Бурунги... — отмечает на карте ручкой Коньков, — до Улахе недалеко. Километров двадцать.

Косушка, обернувшись, громко спрашивает Дункая и Сольду:

— По Медвежьему ключу лодка проходит?

—Почему нет? — отозвался Сольда.

—Даже с мотором, — сказал Дункай.

Следователь сказал вполголоса Конькову:

—Съездить можно... Но зыбкая история. Одни слухи. Что мы с тобой с лодки увидим?

—У меня есть идея... — тихо сказал ему Коньков. — Но сперва давай отпустим удэгейцев и поблагодарим их.

—Ну, ну! — Косушка подошел к Дункаю и сказал: —

Спасибо вам, Семен Хылович! Сведения ваши ценные. Мы их учтем.

Дункай натянул кепку, а Сольда сунул трубочку в рот, а свою шапочку с кистью и не снимал. Они повернулись уходить.

—Семен, подожди меня возле прокуратуры! — сказал Коньков. — Ты мне нужен.

— Ага, подождем! — и вышли.

—Что ж у тебя за план?

—Устроить облаву в Улахе. Прочесать весь распадок...

— А что? Может, и в самом деле там какой-нибудь обормот скрывается. Но как ее устроить? Собирать охотников на ловлю призрака? — усмехнулся Косушка.

—Ни в коем случае! Нас просто на смех поднимут, во-первых; а во-вторых — те, кому надо, услыхав о такой охоте, просто уберут того человека нынешней ночью, — сказал Коньков.

—Что ж ты предлагаешь?

—Поскольку разлетелась по всей округе молва, что кашевара утащил тигр, то давай и устроим облаву на тигра-людоеда. Людей даст лесничий и Дункай. Но звонить им надо завтра утром, по причинам предосторожности. Пойми, нам нужен тот свидетель. И делать все надо так, чтоб его перед нашим носом не ухлопали.

—Ты уверен, что он жив и прячется там?

—Да как бы там ни было, а прочесать эту падь надо. А главное, я на этой охоте их всех сведу — и Зуева, и Кончугу... А Инга сама придет.

—Откуда ты знаешь?

—Я чувствую.

—А-а! — усмехнулся Косушка и пошел к столу.

Коньков шел за ним и горячо доказывал:

—Завтра скажу Кончуге, что к Зуеву поедем, а уж он Инге передаст.

—Но вы ж до ночи облаву все равно не проведете? Не успеете. А за ночь те, кому надо уничтожить этого свидетеля — уничтожат! Они ж не дураки. Они ж поймут, что на такой облаве и тигра, и того типа зацепят.

—Они все будут у меня на глазах всю ночь, и Зуев, и Кончуга, и Инга, и Дункай. Да, все!

—Ну кто-то может шепнуть сообщнику, а тот может обойти ваш заслон.

— И это учтено. Ночью по тайге бесшумно не пройдешь. С нами собаки будут. Значит, пройти можно только по

реке. А на реке у меня будет наблюдатель всю ночь.

— Ну, Леня! Ну, силен, бродяга! — Косушка только головой покачал. — Ладно. Завтра утром звоню леснычему, и человек пятнадцать он тебе выделит на облаву на тигра. А остальных бери завтра у Дункая.

— О'кэй! Сейчас отпущу Дункая в Красное и накажу ему, чтобы ждал меня утром. И никаких подробностей. А Зуева пошлю завтра же утром в Бурунгу, чтобы ждал нас к обеду у себя дома.

— Он здесь?

— Да в гостинице. Привез птиц продавать.

— Ну что ж, Леня, желаю удачи! — И они крепко пожали друг другу руки.

16

Как и условились, с раннего утра Коньков забежал в прокуратуру, и при нем Косушка звонил лесничему на дом и попросил егеря и человек десять—пятнадцать рабочих во главе с Зуевым на облаву тигра-людоеда.

Тот ворчал спросонья: «Что еще за фантазия? Ни свет ни заря булгачить народ из-за какого-то тигра. Тоже мне пожар!» — «Петр Афанасьевич, дорогой! — упрашивал его Косушка. — Дело у нас горячее, хуже пожара. Два человека сгинули. Нам нужно прочесать лесную падь на Улахе безотлагательно. Я умоляю тебя, дай мне пятнадцать человек! И немедленно. Иначе придется прокурора просить, в райисполком звонить. Ну зачем?»

Лесничий повздыхал, покряхтел и спросил: «Но завтра ты отпустишь их к вечеру?» — «Раньше отпустим. К вечеру дома будут».

Наконец лесничий согласился выделить и рабочих, и егеря, и три лодки дать, с горючим в оба конца.

Потом Коньков позвонил Дункаю в контору. Тот был на проводе, как дежурный.

— Семен Хылович, можешь собрать человек двадцать на облаву тигра? К обеду! — спросил Коньков.

— С клепки сниму хороших охотников. И лодки подготовлю, — бодрым голосом отвечал тот.

— Ну, молодец! А я приеду часам к одиннадцати.

— Буду ждать на берегу у лодочного причала.

— Спасибо! Еще вот что: скажи Кончуге, чтобы он никуда не уходил. Мы вместе с тобой и с Кончугой поедем к Зуеву... Так и скажи ему. Поедем на его лодке. Заберем Зуева, потом двинемся в Улахе.

— Все сделаю как надо!

— Ну, молодец.

Зуева Коньков застал в гостинице, еще сонным. Тот был в одной майке и в брюках — собирался умываться. Выслушав, по какому случаю понадобился он Конькову, Зуев сделал удивленное лицо и даже обиделся, что его по таким пустякам отрывают от дела: я, мол, здесь не баклуши бью. Какая облава тигра? Видел я вашего тигра в гробу в белых тапочках. У меня птицы здесь. На кого я их оставлю?

Но когда Коньков прикрикнул на него, он и совсем заупрямился: «У меня начальник есть — лесничий. С ним и разговаривайте». — «Я с ним только что говорил. А теперь вы говорите. Телефон у Агафьи Тихоновны. Звоните ему на дом. И немедленно!»

Зуев сходил в дежурку и вернулся озадаченным и хмурым. «Ну и что?» — спросил Коньков. «Что да почто, — проворчал Зуев. — Мне же кого-то надо найти да оставить за себя. Пока там проволынишься с вами, здесь и птицы сдохнут». — «Ты здесь не околачивайся! — начал терять терпение Коньков. — Оставь кого-либо у птиц и без промедления поезжай в Бурунгу. Жди нас к обеду у себя дома. Я заеду за тобой вместе с Дункаем и Кончугой. Ты в моей группе, понял? И потом все вместе поедем в Улахе на облаву. Заночуем там, на Медвежьем ключе. Все запомнил?» — «Ну». — «Не ну, а так точно. Имей в виду, если не застану дома, под землей разыщу и посажу под стражу!» — «Да вы что в самом деле? — обиделся Зуев. — Или я злоумышленник? Раз меня начальник отпустил в ваше распоряжение, то буду там, где приказано. Что за разговор?» — «Это другой коленкор, — сказал примирительно Коньков. — До встречи».

К девяти часам утра три моторных лодки с рабочими лесхоза и с егерем уже покачивались на речной волне возле затона. Коньков в плаще и в сапогах сел в переднюю лодку и махнул фуражкой.

Затарахтели моторы, и лодки, оседая на корму, стали выходить одна за другой на речной стрежень.

По дороге Коньков договорился с егерем Путятиным, что лодки войдут в Медвежий ключ с интервалом в сотню метров одна от другой и встанут на прикол. Палатки разбивать тут же возле лодок. И ждать приезда остальных. А вечером, когда все соберутся, обсудим, как вести облаву.

Возле села Красного лодка с Коньковым свернула в протоку, а остальные ходом пошли вверх. Дункай ждал его на берегу с целой оравой охотников, а возле мужчин табунились ребятишки, за которыми бегали со звонким лаем собаки.

Не успел выпрыгнуть Коньков из лодки, как удэгейцы, покрикивая на собак: «Га! Га!», стали подтягивать баты, стоявшие на приколе, к берегу и загружать их рюкзаками с продуктами, медвежьими шкурами для подстилок, палатками и охотничьим снаряжением.

Через полчаса пять батов, полные людей, собак и всякой утвари, тарахтя моторами, стали разворачиваться и уходить за лесной остров к невидимой речке вслед за черной лодкой лесничества.

Коньков поднялся на берег. Здесь, кроме ребятишек, Дункая и стариков, на бревнах сидел Кончуга и сосал свою короткую трубочку. Возле него пристроились две собаки, лежал туго набитый рюкзак, из которого торчал ствол карабина.

— У тебя все готово? — спросил Кончугу Коньков, здороваясь.

— Готово, такое дело.

— Тогда в путь!

— Я сейчас домой сбегаю, — забеспокоился Дункай. — У меня там все припасы, — и потрусил рысцой к своему дому, стоявшему за конторой.

Коньков поглядел по сторонам: ни на берегу, ни возле конторы, где стояли бабы, Инги не было.

— Я, пожалуй, тоже схожу на медпункт, — сказал Коньков Кончуге. — Мне кое-что надо сказать Инге насчет Калганова.

— Ходить не надо, — отозвался Кончуга. — Инга сама придет.

— Сюда, на берег?

— Конечно.

— Тогда давай грузиться.

— Давай, такое дело, — согласился Кончуга.

Коньков взял свой рюкзак, карабин, лежавший тут же, и снес их в бат. За ним спустился вниз со своим снаряжением, в окружении собак, и Кончуга. Пока Кончуга укладывал на дно лодки медвежьи шкуры, палатку, рюкзак, собаки сидели тут же, возле воды, и повизгивали от нетерпения.

Показался на берегу и стал спускаться по тропинке

Семен Хылович, нагруженный огромным рюкзаком; а за ним в таежном снаряжении — в олочах, в шапочке с накомарником, откинутым на затылок, с рюкзаком за спиной и с карабином в руках — быстро шла Инга.

К лодке она подошла вместе с Дункаем.

— А вы куда собрались? — спросил ее Коньков с нарочитым удивлением.

Инга сперва прошла в лодку, сняла рюкзак и только потом ответила:

— С вами еду.

— Но мы еще к Зуеву завернем, — сказал Коньков.

— Знаю.

Коньков подмигнул Дункаю и с наигранным недоумением в голосе продолжал спрашивать Ингу:

— Как же вы так? Без приглашения? Без разрешения?

Инга ответила угрюмо и с вызовом:

— Приглашать вы меня все равно будете. На допросы! Вот я и решила пойти вам навстречу. И тигр меня интересует — не часто в наших краях людоеды появляются. И стрелять умею. По всем статьям подхожу.

Она уселась поудобнее в самом носу бата, за ней прошел и уселся Дункай.

— Ну что ж, — сказал Коньков Кончуге. — Поехали!

Кончуга крикнул на собак:

— Га!

Они тотчас прыгнули в лодку, и Кончуга стал шестом отталкивать бат от берега.

17

К Бурунге они подошли часа через три. Солнце еще светило мощно, хотя от воды тянуло острой свежестью — предвестником вечерней прохлады. Оставив Дункая в лодке с вещами и собаками, взяв с собой только карабины и патроны, они втроем пошли на заимку Зуева.

Хозяин с хозяйкой встретили их возле забора, у калитки. Настя была в толстой пуховой кофте и в цветном платке — с красными бутонами по черному фону. Зуев стоял в сером пиджачке и в голубой рубахе нараспашку. Всем своим праздничным видом они как бы подчеркивали, что рады гостям.

Но рассмотрев наконец своими близорукими глазами

гостей, узнав Ингу, Настя побледнела; как с перепуга, невнятно сказала всем «здрасьте» и, диковато озираясь, стала потихоньку отступать к дому. Зато Зуев пошел навстречу гостям, улыбаясь во все лицо, широко распахнув руки, словно обниматься хотел. Это его показное радушие удивило Конькова, и он подумал, что смена настроения у Зуева, должно быть, неспроста.

— Проходите, гости дорогие, проходите в избу! — говорил Зуев. — Мы уж прямо заждались. И стол давно накрыт. Все остыло.

Возле порога стояла Настя, теперь уже спокойная, и степенно, с легким поклоном, приглашала гостей в дом. Но Коньков заметил, что смотрела она как-то вкось и в глазах ее все еще таился тот первоначальный испуг.

Инга на одно мгновение задержала на ней свой быстрый рысий взгляд, и ноздри ее крошечного носа дрогнули и округлились. «Ну, быть потехе», — подумал Коньков, наблюдая с крыльца за обеими соперницами.

Посреди горницы Зуевых был накрыт стол: белая скатерть, красные помидоры, грибки маринованные, яйца и огромная жаровня с медвежатиной, дышащая еще парком. А по концам стола стояли две бутылки водки, два графина с медовухой и бутылка красного вина в центре.

— Да вы как к свадьбе приготовились, — сказал с усмешкой Коньков. — Только вот кого женить будем?

— А может, поминки собрали? Все-таки человек был вроде бы не чужой, — съязвила Инга, поглядывая на хозяйку.

— Нет, мы без особой цели, — покраснела Настя, пряча глаза. — Садитесь! Дорога дальняя, на воде. Озябли, наверно.

— За сколько часов доберемся до Улахе? — спросил Коньков Зуева, присаживаясь к столу.

— Часа за два, за три. К ночи доедем.

— А вы сами не видали этого тигра? Живым не возьмем его? — спросил опять Коньков Зуева.

— Самому не приходилось. Но Калганов говорил, что старый. Так что этого живым не возьмешь, — усмехнулся Зуев.

Сели за стол. Зуев налил вина и водки в рюмки и поднял свою.

— За удачную охоту! — сказал он.

— И за счастье в этом доме, то есть за любовь, — добавила Инга, не притрагиваясь к своей рюмке.

У Насти дрогнула рука, плеснулось красное вино на белую скатерть.

— Как кровь на белье, — сказала Инга, глядя гневно на Настю. — Не похоже?

Настя зарделась, как бутон на ее черном платке, и поставила рюмку.

— Прошу выражаться культурнее, — Зуев смерил сердитым взглядом Ингу, и верхняя губа его с рыжими усиками гневно дернулась. — Все ж таки мы за обеденным столом сидим, а не в перевязочной.

Инга только фыркнула и ответила не ему, а Насте, не сводя с нее упорного взгляда:

— Кто сидит, а кто и лежит.

— Я не понимаю, что вы имеете в виду? — сказала Настя и обернулась к ней, все лицо ее выражало теперь не смущение, а глубокую печаль.

— Ах, вы не понимаете? — нервно усмехнулась Инга. — Я тоже не понимаю, как можно пировать после того, что произошло в трех шагах отсюда?

Настя только горестно вздохнула и снова уставилась в белую скатерть прямо перед собой.

А Зуев сказал:

— Наш стол здесь ни при чем.

— Конечно! — подхватила Инга. — И жена ваша ни при чем.

— К чему весь этот разговор? Мы собрались выпить. Или нельзя? — обратился он с усмешкой к Конькову.

Тот пожал плечами и вынул пачку папирос, стал закуривать.

— Кому нельзя, а мне можно, — сказал Кончуга. — Я озябла. За рулем сидел! — Взял свою рюмку и выпил.

Его поддержал Зуев:

— Молодец, Кончуга! В самом деле, развели канитель. На здоровье! — Он тоже выпил и стал закусывать. — Мертвый, как говорится, в гробе спит, а живой пользуйся жизнью. Веселись то есть. А ему теперь постом не поможешь.

— Зато он любил помогать кое-кому... при жизни, — сказала Инга, обернувшись к Зуеву. — Вы не слыхали?

Зуев поперхнулся:

— Кх-хэ! Кх-ха-а! Кыххх! — Он закрылся рукой и вышел из-за стола. — Я си-ичас... — просипел он и выбежал за дверь.

— Это недостойно! Вы не имеете права! — гневно сказала Настя.

— Значит, я не имею права? А вы какое имели право встречаться с Калгановым? — крикнула Инга. — Теперь невинность изображаете? Но кто его сюда завлек? Вы! И погиб он здесь из-за вас!

— Я... я не виновата... ни в чем! — Настя закусила губу и всхлипнула. — Это ложь!

— Ложь! — У Инги тоже зарделись скулы и недобро заблестели и сузились янтарные глаза. — Тогда я прямо скажу: вы были в ту ночь в лагере у Калганова!

Настя открыла рот и подняла руку, словно заслоняясь от удара.

— И не смейте возражать! — кричала Инга. — Я точно это знаю. И следы возле него были ваши. И кеды ваши. Я могу это доказать.

Настя закрыла лицо руками, зарыдала и быстро вышла из горницы в бревенчатый пристрой, отгороженный толстой стеной.

— Чего так шуми? Выпей немножко — сразу спокойнее будешь, — сказал Кончуга племяннице.

— Я в этом доме кружки воды не выпью!

Инга вышла в сени, хлопнув дверью.

— А я, понимаешь, озябла. Мне можно? — спрашивал Кончуга Конькова, наливая себе водки.

— Пей на здоровье! — Коньков встал из-за стола и прошел к Насте в бревенчатый пристрой, плотно затворив за собой дверь.

Настя лежала на диване, уткнув лицо в подушку, и глухо рыдала.

Коньков присел возле нее на стул, оглядел обстановку этой комнаты, похожей на спальню. В углу стоял комод, рядом с кроватью платяной шкаф, трюмо на подставке, и перед ним зеленый бархатный пуф.

— Успокойтесь, Настя. — Коньков стал утешать ее: — Быть в лагере у Калганова той ночью еще не значит совершить преступление. Но имейте в виду, если вы будете запираться, придется взять вас под стражу... А там перекрестные допросы, улики... Свидетели! Докажут. Но тогда вас будут судить за укрывательство преступления.

Настя встала, все еще всхлипывая, оправила волосы, потом накинула крючок на дверь:

— Я хочу, чтобы нас никто не слышал.

— Понятно! Будем говорить тихо, — согласился Коньков. — Итак, вы знали Калганова?

— Да.

— Когда вы с ним познакомились?

— Года два назад. Я в школе в Красном селе работала.

— Какие у вас были с ним отношения?

— Мы встречались...

— Как?

— Ну... — Настя повела плечом и замялась.

— У вас была любовь?

— Была.

— Почему же вы не поженились? Он не захотел или вы?

— Он меня держал в неопределенности.

— Каким образом?

— Говорил, что он прирожденный холостяк. Что замужество — это предрассудок. Что замужество убивает любовь, что любовь должна быть свободной. Ну и все такое... Теперь это модные взгляды... — и потупилась.

— Н-да. — Коньков помолчал, потом спросил: — Вы переписывались?

— Он не любил писать письма. Говорил, что это тоже предрассудок. Уехал в экспедицию куда-то в Якутию. Я потеряла с ним связь и с год ничего не знала о нем.

— И вы решили выйти замуж за другого?

— Да... В прошлом году.

— А с Зуевым вы давно знакомы?

— Давно. Раньше, чем с Калгановым.

— Он что, в Красном жил?

— Нет, он в райцентре жил. Работал экспедитором торговой базы. Часто приезжал к нам. Потом перешел в лесничество. Мы поженились, жили у меня, при школе. Но тут приехал Калганов, познакомился с Ингой... И мне в отместку стал крутить любовь у всех на глазах. Инга понимала это, и ненавидит меня.

— А вы любили Калганова?

— Да.

— Зачем же вышли за Зуева?

— Куда же деваться? Деревня, глушь... Четыре года одна прожила, и никакой надежды...

— А Зуев знал о вашей связи?

— Конечно. Когда приехал Калганов, он стал меня ревновать.

— Скандалил?

— Всякое было. Из-за этого он и ушел сюда и меня увез. Говорил — временно. Мол, подыщем что-нибудь получше — переедем, станешь опять работать.

— Понятно. А теперь скажите, что было в ту ночь?

Настя опять всхлипнула. Потом с минуту молчала, подавляя в себе приступы плача. И заговорила ровным голосом:

— Дня за три до этого Калганов с Кончугой заезжали к нам. Вели мирные застольные разговоры... А на другой день все уехали. Ивана вызвали в район, а Калганов с Кончугой подались в тайгу.

— И что ж? Зуев спокойно поехал в район? Он же знал, что Калганов остался поблизости.

— Знал... Предупреждал меня, что нагрянет... Я его успокоила. Говорила, что возврата к прошлому не будет. Ну... и все в таком плане...

Она вдруг попросила:

— Дайте мне папироску.

— Вы ж не курите!

— Бросила. Когда-то курила... С Калгановым.

— Пожалуйста! — Коньков протянул ей пачку.

Она затянулась раза два глубоко и жадно, потом продолжила рассказ:

— В тот же день, по отъезде, Калганов пришел ко мне и стал меня уговаривать уехать с ним. Я заплакала, говорю ему — поздно! А он свое — я, мол, все понял, что был свиньей... Что не может без меня жить... — Она вдруг часто стала всхлипывать, и плечи ее затряслись, потом опять пересилила себя. — Мы встречались с ним. И в ту, последнюю ночь я согласилась с ним уехать. Вот только, говорю, Зуев приедет. Стыдно бежать как ворам.

— Значит, были в ту ночь у него в лагере?

— Была... Он отправил куда-то Кончугу... Уже под утро он проводил меня лесом до пожни. Мы расстались, как нам казалось, ненадолго. Он пошел к себе в лагерь, а я домой. Подхожу к дому, смотрю — дверь в сени растворена и собака лежит на пороге. У меня ноги подкосились, я поняла, что дома Иван. Я хорошо помнила, что закрывала дверь на замок и ключ положила в условленном месте, где мы обычно прячем его. Смотрю на этот черный дверной проем и не могу шага ступить. Оперлась о забор и чую, что сердце готово разорваться... Тут выбежал Иван, растрепанный, с бешеными глазами. И

слова не дал мне выговорить — ударил в висок. Я упала. Он стал бить меня ногами и скверно ругался... И вдруг на реке раздался выстрел. Иван словно остолбенел, поглядел туда со страшным испугом. Потом сказал мне: если скажешь кому, что я был ночью здесь, убью. И бросился бежать к реке.

Она опять сделала несколько глубоких затяжек и потом сказала:

— Я еле встала... Отдышалась немного. И пошла туда, в лагерь. Сердце мое билось и ныло нестерпимо вот здесь, — указала она на ключицу. — Я чуяла недоброе. Пришла в лагерь — там пусто. Вышла на косу и увидела его, убитого... Вот все, что я знаю...

— Спасибо, Настя! — Коньков положил на ее руку свою ладонь и слегка пожал пальцы. — Спасибо!

— Вы сейчас арестуете Ивана? — спросила она.

— Ни в коем случае! И прошу вас ничего об этом не говорить. Мы едем на облаву. Благодарю вас! — Коньков первым вышел из пристроя.

В горнице за столом сидели Кончуга и Зуев. Зуев был насторожен и спросил:

— Ну, что будем делать?

— Настя успокоилась... Так что давайте собираться на охоту.

— Да мы готовы! — с заметным облегчением сказал Зуев. — Вы бы поели да выпили.

— А я это сделаю в дороге. Поехали! — сказал Коньков.

18

Лодки Зуева и Кончуги еще засветло дошли до Медвежьего ключа. Тут, на песчаной косе в самом устье ключа, поджидал их рослый бородач с двумя рыжими широкогрудыми амурскими лайками. Это был егерь Путятин; поначалу Коньков не узнал его — он стоял в разосканных под самый пах яловых сапогах, в брезентовом плаще нараспашку и в башлыке с опущенным накомарником. Он откинул с лица накомарник и степенно поздоровался со спутниками Конькова.

— Вы прямо к ужину угодили, на готовое, — гудел он, добродушно посмеиваясь. — Значит, удачливые.

— Тигр-то не убежал? — спросил Коньков.

— Охотники Дункая сказали, что здесь, в распадке. Значит, от нас не уйдет.

— Вы его что, на привязи держите? — спросил Коньков Дункая.

— Я бы привязал, да ремня лишнего нет, — отшучивался Семен. — Брючной тоненький — ненадежный. Вот у тебя надежный ремень — милицейский. Может, уступишь?

— Э, нет! — усмехнулся Коньков. — Когда идешь на тигра, ремень нужно туже затягивать. Не то штаны спадут.

— А где же ваш ужин? — спросил Кончуга. — Я озябла, понимаешь.

— Там, на берегу ключа, — махнул егерь рукой. — Там и палатки стоят.

— Аким Степанович, а охотников развели по пикетам? — спросил Коньков.

— Да... Вдоль всего Медвежьего ключа... Теперь тут мышь не проскочет. Ну, пошли ужинать!

— Почему пошли? Поедем на лодках! — сказал Зуев.

— Нет, лодки оставим здесь, — сказал Коньков.

Зуев с недоумением поглядел сперва на Конькова, потом на Дункая.

— Почему? — спросил Дункай Конькова.

— Так нужно, — ответил тот уклончиво. Потом с улыбочкой обернулся к Зуеву: — Мало ли какой казус может выйти? Мы тигра на ключе караулим, а он вдруг вздумает по реке от нас уйти, вплавь. Говорят, и среди тигров хитрованы водятся. Тут нам и пригодятся лодочки. Так что, Батани, — обернулся Коньков к Кончуге, — оставь собак здесь, при лодках. А сам иди за нами. Айда!

Надев за спину рюкзаки, взяв карабины, они пошли за егерем. Не прошли они по берегу ключа и две сотни метров, как увидели егерский бивак: стояли две палатки, горел костер на воле, кипел котел на треноге, а вокруг костра лежало с дюжину загонщиков.

— Здорово, охотнички до ухи! — сказал Коньков.

— Привет кашеедам, — отшучивались те.

— Возьмите в компанию. У нас и орудии при себе. — Коньков вынул ложку из-за голенища и потянулся к костру.

— На чужой каравай рот не разевай!

— Она у нас архиерейская, уха-то. А у тебя звание

не соответствует, — наперебой острили загонщики и шумно гоготали.

— Какая архиерейская уха? Это еще что за религиозная пропаганда? — строго спросил Коньков.

— Вон главный шаман, с него и спрашивай, — кивнули на егеря.

— Пока еще только утки варятся, — сказал Путятин. — Трех на реке подстрелили. А рыба вон, в ведре, ждет очереди.

Возле костра стояло конное ведро, полное чищеных ленков и хариусов.

— Это как же? И рыбу, и уток в один котел? — спросил Коньков.

— Вот это и есть архиерейская уха. Сварятся утки, потом в бульоне будем варить рыбу, — смачно причмокивая, пояснял егерь. — Погоди, вот поспеет — язык проглотите.

— Ну что ж, пока язык на месте, давай, рисуй обстановку, — сказал Коньков егерю.

Они вдвоем с егерем пошли в палатку. Здесь на раскладном столике они расстелили карту. В палатке было уже сумеречно. Они засветили фонарями, склоняясь над картой.

— Тигр, по приметам охотников, находится сейчас в этом районе, по правую сторону ключа. По ключу, как и договаривались, расставлены пикеты. И здесь пикеты и флажки, чтобы не пошел вверх, — указал Путятин карандашом на верховье ключа. — Отсюда, с высот, пойдут загонщики. Забросил их туда по реке утром. Где сам станешь? Где ставить Зуева, Кончугу?

— Зуев останется при мне. А место я выберу. Дай мне поколдовать над картой.

— Ну что ж, колдуй! А я пойду рыбу запускать в котел. — Путятин вышел.

А Коньков, обшарив глазами все высотки и впадины на обширном зеленом пространстве, решил, что если кто-то и скрывается здесь, то держится либо неподалеку от реки, либо поблизости от ручья. Ручей перекрыт, думал он, а вот река? Кого туда поставить? Самому нельзя — Зуев может за ночь натворить дел. Кончугу? Тоже нельзя. Все-таки на подозрении. Семена? Начальник ведь, заснет еще... Н-да...

Так и не решив этого вопроса, Коньков вышел из палатки. Начинали сгущаться сумерки, и звончее, навязчи-

вее зудели комары. Отмахиваясь от них фуражкой, Коньков поскорее подсел к спасительному костру. Загонщики, среди них Дункай, Зуев, Кончуга, Путятин — все были здесь. А Инги нет. Коньков встал и сходил заглянул в другую палатку. И там ее не было.

— Где Инга? — спросил он Кончугу.

— Она, понимаешь, на речку пошла. Накомарник в лодке оставался.

— Странная забывчивость, — сказал Коньков и быстро пошел в темнеющие лесные заросли по направлению к реке.

Инга сидела в лодке. Увидев подходившего Конькова, насмешливо спросила:

— Боитесь, что сбегу?

— Вы что здесь делаете?

— Мечтаю.

— Почему не у костра?

— Шума не люблю.

— Вы неподходящее время выбрали для шуток.

— А я не шучу. Вот сижу и думаю как раз: когда же настанет это подходящее время?

— Смотря для чего и для кого?

— Для всех... Когда, например, люди станут людьми, а не зверями? Когда порядочные будут жить и работать как совесть подсказывает, а негодяи сидеть где положено? Когда любить будут и не обманывать?.. — У нее вдруг задрожали губы, она отвернулась лицом и сказала, немного помолчав. — Да вам-то что до этого? Вы ведь допрос пришли снимать. Так давайте, допрашивайте.

— Вы теперь жалеете, что поехали с нами?

— Я не умею жалеть. И меня никто не жалел. Так что спрашивайте уж напрямую.

— Хорошо. Вы были в ту ночь на реке?

— Была.

— Когда вы оказались на месте происшествия?

— Сначала вечером... поздно. Но на стоянке никого не было. Я решила, что они на пантовке. Я поехала на верхние солонцы. Но там никого не оказалось. Тогда я решила, что они охотятся в Гнилой протоке. Там много водяного лютика, изюбры и сохатые любят там пастись. Добралась туда за полночь. Но встретила там только дядю. Он мне сказал, что Калганов под вечер привел в лагерь Настю, а что Зуев в городе. Тогда и решила, что он

у нее. Поехала домой... И тут увидела на стоянке его, убитого. А рядом ее следы. Эти кеды я на ней раньше видела. Синенькие. Было уже утро, хотя солнце еще не встало... Больше я ничего не знаю, — глухим голосом закончила она.

— А как вы думаете, в момент убийства Калганова Настя была вместе с ним? Рядом?

— По следам этого не скажешь. У него след размашистый. Чувствуется, он бежал к реке навстречу опасности. Навстречу своей смерти. А ее следы мелкие, частые. Чувствуется, она шла немея от ужаса. Наверное, слышала выстрел и пришла позже.

Они долго молчали. Коньков курил, а Инга смотрела на бегущую воду реки, возле берега темную, как конопляное масло, а на стрежне играющую мертвенно-желтым переблеском в вялом свете взошедшей луны.

— А вам никто не встречался на реке?

— Нет.

— И шума мотора не слыхали?

— Солонцы слишком далеко от того места, а Гнилая протока еще дальше. Ничего я не слыхала.

— Понятно... — Коньков помедлил и потом заговорил с заминкой: — Может, вы и сами догадались, что меня и следователя не столько тигр интересует, сколько этот тип, который где-то прячется в здешних местах. Ваши люди говорят.

— Знаю.

— И... у меня есть опасения, что ночью к нему попытается проникнуть кто-либо из возможных сообщников, чтобы увести его отсюда, либо... Вы понимаете?

— Понимаю.

— Медвежий ключ надежно перекрыт. Если он пойдет сверху, его там схватят. Но если он предупрежден кем-то насчет засады... Если он опытный и рисковый, то может двинуться туда вдоль реки, по берегу, именно по этому берегу.

— Понятно. Человек прячется где-то на этом берегу.

— Но он может и по реке пойти.

— Как, по открытой реке, на моторе? — удивилась Инга.

— Зачем на моторе? Вдоль берега, отталкиваясь шестом. В тени деревьев. Луна будет как раз светить справа... Значит, тот берег будет освещен, а этот в тени. Я бы сам здесь продежурил всю ночь. Но не могу оставить Зу-

ева одного. С ним сесть здесь — тоже не могу. Он исхитрится каким-нибудь сигналом предупредить об опасности. Он у меня на сильном подозрении. То, что он ночью был там, я теперь не сомневаюсь. Но нам нужны его сообщники. Иначе вывернется. Он скользкий, как угорь.

— То есть вы хотите, чтобы я осталась здесь, в засаде? — спросила Ингани.

— Да. Вы любили Калганова. И вы должны помочь нам уличить его убийцу.

— Я согласна, — ответила без промедлений. — Вон, на самом юру под тем ильмом натяну полог. Меня с реки не заметят, я же смогу увидеть даже плывущее бревно. Только заберите от меня собак.

— Собак заберу. А лодки останутся здесь. Если кого-либо заметишь, останови. Будет уходить — стреляй! А в лодке, по реке захочет уйти — стреляй не в лодочника, а в лодку. Мы прибежим и пойдем вдогонку. У лодки Зуева мотор сильный. От нас не уйдет.

—Я вас поняла. Буду всю ночь сидеть как сова.

19

Два выстрела с коротким промежутком раздались с реки в первом часу ночи. После сытной ухи и легкой выпивки загонщики уже спали в палатках. Возле костра сидели только Путятин, Коньков да Кончуга. Зуев с Дункаем храпели под небольшим пологом, натянутым возле самого ручья, где поменьше комарья. Сырости они не боялись — для подстилки прихватили с собой две больших медвежьих шкуры.

Эти выстрелы всполошили только собак да Зуева с Дункаем, а загонщики в палатках и не почухались.

Коньков, как спринтер после знака, поданного стартовым пистолетом, рванулся в таежную темень за собаками, далеко оставив всех позади себя. Он поспевал за собаками огибать буреломную заваль и выворотни, словно держал их на невидимой шлее, и, не успев даже запыхаться, через какую-то минуту выбежал на бугор к тому ильму, где был натянут полог. Коньков сунулся было в полог, но там никого не было.

Инга покрикивала внизу, от реки:

— Лодку вытащи насухо! Так, а теперь брось шест и не вздумай вильнуть или побежать... Уложу как зайца. Подымайся на берег!

Коньков сам хотел спуститься вниз, но за спиной услышал хруст валежин и тяжкое пыхтение. Он посветил фонариком — Зуев! «Ах, сволочь! Не спал и даже не раздевался...» — успел подумать Коньков.

— Что здесь за стрельба? — спросил Зуев, щурясь и заслоняясь руками от света.

— Сейчас узнаем.

Пока Инга вела по откосу какого-то здоровенного мужика сюда, к ильму, подоспели и Дункай, и Кончуга, и Путятин.

Задержанный шел сутулясь, низко опустив голову, за ним — Инга, держа его под прицелом; оплеч висел у нее второй карабин с раздробленной ложей. Коньков высвечивал их обоих фонариком. Задержанный наконец поднял голову, и все увидели его скуластое, блестевшее от пота лицо, мертвенно-синее от страха.

—Кузякин! — удивился Коньков. — Ты что, с неба свалился?

—Шел вдоль берега, на шесте, с выключенным мотором, — сказала Инга за Кузякина. — Я его окликнула. Он развернул лодку и стал заводить мотор. Я выстрелила в мотор. Тогда он поднял со дна лодки карабин. Я выстрелила в карабин. Вот, ложу раздробила, — Инга сняла с плеча карабин и протянула его Конькову. — Я крикнула ему, если не причалит к берегу, продырявлю голову, как пустую банку. Он понял,что с ним не шутят. Вот и причалил.

—У кого вы взяли карабин? — спросил Коньков Кузякина.

— Зуев дал, — ответил тот, глядя себе под ноги.

—Врет он! — крикнул Зуев.

—А вы помолчите! — строго сказал ему Коньков и опять Кузякину: — Как вы здесь оказались? Куда шли?

Кузякин мотнул головой, как притомленная лошадь, и опять уставился себе на ноги.

— Кашевара Слегина шли выручать? Отвечайте! — повысил голос Коньков. — Зуев вас послал?

—Да. Сегодня утром...

—Сволочь! — крикнул Зуев.

—А мясо у кого брали? Тоже у Зуева?

—Да.

—Врет же он! Врет! — надрывался Зуев.

—Да чего уж там? — глянул на него виновато Кузякин. — Не все ли равно теперь?

—Дубина! — сказал Зуев и отвернулся.

—Где брали мясо? — спросил Коньков.

—Тут недалеко есть тайник. — Кузякин кивнул на Зуева: — Он сам покажет.

—Ладно... — зло покривился Зуев. — Я покажу... Но имей в виду — ты сейчас сам себя приговорил к смерти.

—Разговорчики! — прикрикнул на Зуева Коньков. — И Слегин там прячется?

—Там, — ответил Кузякин.

—Значит, ты шел, чтобы вывезти отсюда Слегина?

—Да!

—Врешь, мерзавец! Ты шел, чтоб его зарезать. Убрать, чтоб не проболтался, — сказал Зуев со злобным азартом.

Коньков посмотрел на Зуева, потом на Кузякина и спросил:

—Так кто же из вас троих стрелял в Калганова?

—Не знаю, — ответил Кузякин.

—Х-хе! Он не знает! — усмехнулся Зуев и кивнул на Кузякина: — Да он же, он убил Калганова.

—Это еще надо доказать, — исподлобья посмотрел Кузякин на Зуева.

— Идемте. Я докажу... — Зуев пошел впереди по речному берегу.

— Идите! — сказал Коньков, подталкивая Кузякина. — Разберемся...

Тайник оказался совсем неподалеку.

В полуверсте по реке вверх от устья Медвежьего Ключа и метров на сто в глубь тайги стоял могучий тополь Максимовича, эдак обхвата в три. К нему и подвел всех Зуев и сказал:

—Здесь он.

Коньков осветил фонариком лесные заросли вокруг тополя, в надежде увидеть какую-нибудь избушку на курьих ножках. Но ничего такого не увидел.

—Где же тайник? — недовольно спросил он.

Зуев подошел к тополю и стукнул три раза по шершавой коре. И вдруг дерево открылось — дверь была врезана в ствол и замаскирована искусно набитой на доски корой. Из тополя выглянула испуганная физиономия; высвеченный фонарем, парень заслонился ладонью и спросил хриплым спросонья голосом:

—Это ты, что ли, Иван?

— Выходи давай! — сказал ему Зуев и, обернувшись, пояснил Конькову: — В тополе большое дупло. Я устроил в нем избушку.

Парень был маленький, шустрый; он вылез и таращил испуганные глаза на Конькова.

—Не ждал нас? — усмехнулся Коньков. — Вы — Слегин Иван?

—Ага! — с готовностью отозвался тот.

Коньков заглянул в дверь: в избушке, устроенной в дупле исполинского дерева, стоял топчан, столик, табуретка и даже «буржуйка», труба от которой отходила вверх, в дыру, невидимую за огромным суком. На перекладине над топчаном висели копченые окорока, а под ним и под столом лежали перебинтованные панты.

— Шесть пантов! — пересчитал их Коньков и сказал Зуеву: — А у тебя здесь промысел налажен.

Зуев промолчал.

— Как ты здесь оказался? — спросил Коньков Слегина. — Тебя же тигр слопал?

— Какой тигр? — испуганно переспросил парень и глянул на Зуева. — Я это... Иван меня сюда послал...

— Когда?

— Да вроде четыре дня назад. Я уже здесь и дни-то перепутал.

— А ты вспомни, и поточнее! — строго сказал Коньков. — Скажи все, подробнее. И не врать!

— А чего мне врать? Я мясо не крал. Я покупал его. Вот у них, — указал он на Зуева и Кузякина.

— Как ты здесь оказался? Почему ушел из бригады?

Зуев хотел было что-то сказать, но Коньков прикрикнул на него.

— Молчать! — и Слегину: — Говорите.

— Дак ночью, значит... Они шли на лодке вверх. А я еще не спал, на косе сидел. Вот мы и договорились: обратно пойдут — мяса мне продадут. Возвращались они на рассвете. Я вышел на косу. Дали мне мяса и говорят: мол, теперь сматывайся. Почему? А потому, говорят, что шухер. Утром приедет сюда Калганов, он по нашим следам идет, и станет пытать тебя — у кого ты мясо покупал? А я говорю — не скажу. Тут мне Зуев говорит: «Дурак! Вы вторую неделю изюбрятину варите. Ведь кто-то же проговорится из рабочих. Да они уж, поди, сказали ему. Он же тут околачивается». Я испугался. А Зуев еще добавил: «Он тебя потянет в милицию за незаконную покупку дичины. Там все скажешь. И получишь срок вместе с нами». Я чуть не заплакал: что ж мне теперь делать, говорю. А Зуев мне сказал: «Заблудись в тайге дней на пять. Пройди на Медвежий ключ

и поживи в моем тайнике. Возьми с собой хлеба. Остальное все там есть. Не отощаешь. А Калганов уедет — я дам знать. Вернешься к себе на стан. Скажешь: плутал». Сейчас, говорю, хлеба возьму и дам деру. Но Зуев меня остановил: «Куда, — говорит, — ты, дурень? Сперва мясо свежее спрячь. Положь его в большую кастрюлю да прикопай возле воды, не то пропадет». Это я все сделаю, говорю. И хотел за кастрюлей бежать. А Зуев меня опять остановил: «Вот еще что, — говорит. — На Кривом Ручье свежие тигриные следы. Тут, мол, какой-то приблудный тигр появился. Кинь свою кепочку возле следа, а сам по ручью, по воде, топай на перевал. Оттуда спустишься к Медвежьему. Пусть думают, что тебя тигр слопал. Так будет вернее. Когда придешь в стан, еще посмеешься над своими». Я все так и сделал. А насчет того, что мясо покупал, не отказываюсь. Виноват, судите.

—А кто убил Калганова? — строго спросил Коньков.

—Как убили? Калганова? — испугался Слегин. — Когда?

—В то утро, когда ты бежал из стана.

—Я? Калганова?! Да что вы, товарищ лейтенант? — Слегин осекся голосом и всхлипнул: — Да я разве замахнусь на такого человека? Я ж совсем ничего не знаю!

—Ну? Так кто же из вас убил Калганова? — спросил опять Коньков, поочередно глядя то на Кузякина, то на Зуева.

—Не знаю, — сказал Кузякин.

—Зато я знаю, — с ненавистью смерил его взглядом Зуев. — Мы возвращались с мясом. Возле Бурунги, на косе, остановились. Я пошел домой, за женой приглядеть. А он в лодке остался. Пока я выяснял там с ней свои отношения, Калганов накрыл Кузякина. Он его и кокнул. Я слыхал выстрел. Когда прибежал — все было кончено...

—И тут выкручивается! — гневно сказала Инга.

—Чем докажете? — спросил его Коньков.

— Человек я запасливый. — Зуев прошел в свою избушку и вышел оттуда со вставным стволом, и, подавая его Конькову, сказал: — Убили Калганова из этого ствола. Проверить не трудно. Ствол нестандартный, пуля хранится у вас.

— Как он у вас оказался? — спросил Коньков, оглядывая этот вкладыш.

— Кузякин вынул его из своего дробовика и в реку

бросил. А я уж потом достал его. Благо что вода неглубокая и светлая. Авось, думаю, пригодится.

— Какой негодяй! А сам вроде бы и ни при чем? Негодяй! — Инга всхлипнула и вдруг сорвала свой карабин с плеча.

— Инга! Не смейте! — крикнул на нее Коньков.

— Таких стрелять надо как бешеных собак! — завизжала она, передергивая затвором.

Кончуга схватился за ствол и с трудом вырвал из ее цепких рук карабин.

Она зарыдала, забилась в истерике и упала на землю лицом вниз.

— Она больной немножко, — сказал извинительно Кончуга, передавая карабин Конькову. — Она целую неделю не спит... Вот какое дело.

— Инга, успокойтесь! — сказал Коньков, наклоняясь над ней. — Ведь слезами горю не поможешь. Вставайте! Пора идти.

Она не ответила, только рыдания стали судорожнее и ходуном ходили ее плечи.

— Пускай плачет, — сказал Кончуга. — Легче будет, такое дело. Вы идите. Все. Я здесь оставайся.

— Заберите панты, дверь тайника заприте, — сказал Коньков Путятину и Дункаю. — И пойдем к лодкам.

— А как насчет облавы? — спросил егерь.

— Облава отменяется. Как видите, тигр не виноват. Так что все по домам.

И они двинулись гуськом по тайге, все дальше уходя от лежавшей ничком на земле Инги и от Кончуги, сидевшего возле нее с трубочкой во рту и с карабином на коленях.

1969

Падение лесного короля

1



ледователь районной милиции капитан Коньков вызван был ни свет ни заря в прокуратуру. Звонил сам начальник: седлай, говорит, Мальчика и поезжай к прокурору. Он тебя ждет.

Утро было дождливым и по-осеннему зябким. Пока Коньков сходил на колхозную конюшню, где стоял его Мальчик, пока ехал по глинистой скользкой дороге в дальний конец районного городка Уйгуна в прокуратуру, успел промочить макушку — фуражку пробило; и брюки промокли, снизу, на самом сиденье, вода подтекала с плаща на седло. Вода была холодной, это почуял Коньков ляжками. И от шеи лошади начал куриться парок.

Коньков привязал гнедого, потемневшего от дождя мерина под самым навесом крыльца и говорил ему виновато, будто оправдываясь:

— Ты, Мальчик, не сердись на меня. Такая у нас с то-

бой работа — машины не ходят, а мы — топай. Ни дворов для тебя, ни коновязей. Анархизм, говорят, пережиток прошлого. А вот приспичит — давай, мол, седлай этого чудо-богатыря.

Лошадь, словно понимая сетования хозяина, согласно мотнула головой. Капитан очистил от глинистых ковлаг сапоги об железную скобу и вошел в прокуратуру.

Районный прокурор Савельев, крупный носатый мужчина лет за тридцать, из молодых, как говорится, но решительных, встретил Конькова по-братски, вышел из-за стола, тискал его за плечи, басил:

— Да ты вымок до самых порток! Снимай плащ, погрейся вон у печки. Ну и льет! Каналья, а не погода.

— Что у тебя приспичило? Тормошишь ни свет ни заря! — Коньков снял плащ, кинул его на широкий клеенчатый диван, а сам подошел и прислонился руками к обитой жестью печке. Он был в форменной одежде и в яловых сапогах; высокий и поджарый в просторно свисающем сзади кителе, он выглядел юношей перед массивным Савельевым, хотя и был старше его лет на десять.

— Звонил твоему начальству. Говорю, Коньков нужен, срочно! А он мне — у тебя что, своего следователя нет? Мне, говорю, спец нужен по лесным делам. Коньков у нас один таежник.

— А чего в такую рань?

— Глиссер ждет у переправы. Почту везет к геологам и тебя подбросит.

— Что за пожар? Куда ехать?

— На Красный Перекат.

— Эге! За двести верст киселя хлебать. Да еще в такую непогодь.

— Глиссер крытый. Не течет, не дует.

— Так до глиссера, до той самой переправы, ни один «газик» сейчас не доплывет. Дороги — сплошная глина да болота. Вон что творится! — кивнул на окно.

— Поэтому и вызвали тебя на лошади.

Коньков поглядел на свои мокрые брюки, вздохнул:

— Спасибо за доверие, — и криво усмехнулся. — Что там стряслось? Тайга, чай, на месте, не провалилась?

— Чубатова избили. Говорят, не встает.

— Какого Чубатова?

— Того самого... Нашего Лесного Короля.

— Ну и... бог с ним. Отлежится. Сам хорош.

— Я слыхал, что ты его недолюбливаешь?

— А мне что с ним, детей крестить?
— Вроде бы на подозрении он у тебя, — не то спрашивал, не то утверждал Савельев.
— Слухи об этом несколько преувеличены, как говаривал один мой знакомый журналист. Просто знаю, что он сам не одну потасовку учинял. Девок с ума сводит. Все с гитарой... Менестрель! Ни кола ни двора. По-вашему, романтик, а по-моему, бродяга.
— Ты ему вроде бы завидуешь. Сам ходил в писателях, — хохотнул Савельев.
— Да пошел ты со своими шутками!
Коньков и в самом деле работал когда-то в Приморском отделении Союза писателей шофером и в газетах печатался. Даже песню сочинили на его стихи: «Горят костры над черною водой».
В то далекое время он поступил на юридический факультет и уволился из милиции. Кем он только не работал за эти долгие годы! И газетным репортером, и рабочим в геологических партиях, и даже городским мусорщиком— шофером на ассенизаторской машине. Повеселился, помыкался и вернулся-таки на круги своя, в милицию. Во искупление первородного греха — непослушания, был отправлен в глухой таежный угол участковым уполномоченным, в самый захолустный район. Отстал от своих сверстников по училищу и в должности, и в звании, к сорока годам все еще ходил в капитанах. Наконец-то перебросили его в большой районный центр следователем. К репутации въедливого милиционера прилепилось еще прозвище «чудик». На это, собственно, и намекнул Савельев этим насмешливым выражением — «ходил в писателях».
— А что? У Чубатова есть песенки — будь здоров! Сами на язык просятся, — продолжал подзадоривать его Савельев.
— Паруса да шхуны, духи да боги... Новая мода на старый манер, — покривился Коньков. — Дело не в песнях. Гастролер он — прописан в Приморске, живет здесь. Не живет, гуляет.
— Это ты брось! Он еще молодой — пусть погуляет. А парень деловой, авторитетный.
Коньков хмыкнул:
— Артист-гитарист... Поди, из-за бабы подрались-то?
— Не думаю. По-видимому, коллективка. Избиение мастера.
— Мастера-ломастера, — опять усмехнулся Коньков.

— Это ты напрасно, Леонид Семеныч. Что бы там ни было, а для нас он золотой человек.

— Что, дорого обходится?

— Ты привык в тайгах-то жить и лес вроде не ценишь. А мы — степняки, каждому бревнышку рады. Старожилы говорят, что у нас до Чубатова в райцентре щепки свежей, бывало, не увидишь. Не только что киоск дощатый сбить — кадки не найдешь. Бабы огурцы в кастрюлях солили. Вроде бы и тайга недалеко — полторы сотни километров, а поди выкуси. Сплав только до железной дороги, а тому, кто живет ниже, вроде нас, грешных, ни чурки, ни кола. Добывайте сами как знаете. И Чубатов наладил эту добычу. По тысяче, а то и по две тысячи кубиков леса пригонял ежегодно. Да вот хоть наша контора, — вся отделка: полы, потолки, обшивка стен — все из того леса. Дом культуры какой отгрохали. А сколько дворов для колхозов и совхозов построено из его леса? А ты говоришь — артист.

— Ну, ладно, золотой он и серебряный. Но зачем туда следователя гнать? Что я ему, примочки ставить буду? Я ж не доктор и не сестра милосердия. А допросить и его, и виновников я и здесь могу.

— Так беда не только в этом. Лес пропал — вот беда.

— Как пропал?

— Так... Недели три ждем этот лес. И вот известие — лес пропал, лесорубы разбежались, бригадир избит. Что там? Хищение, спекуляция? Расследуй! Сумма потрачена порядочная, больше десяти тысяч рублей. И постарайся, чтобы лес доставили в район. Любым способом!

— Это другой коленкор, — сказал Коньков. — А как же с лошадью? Не бросать же ее на переправе!

— Лошадь твою паромщик пригонит. Давай, Леонид Семеныч, двигайся!

— Эх-хе-хе! — Коньков взял с дивана мокрый плащ и, морщась, стал натягивать его.

2

Зимовье на берегу реки Шуги состояло из длинной и приземистой, на два сруба избы да широкого, обнесенного бревенчатым заплотом, подворья, сплошь заваленного штабелями гнутых дубовых полозьев да пиленым брусом для наклесток саней. Лесник Фома Голованов, строгий и сухой, как апостол, старик, но еще по-молодому хваткий, тесал на бревенчатом лежаке полозья под сани. Поначалу шкурье сни-

мал настругом, потом пускал в ход рубанок и наконец долото — выдалбливал узкие и глубокие гнезда под копылы.

Погода стояла солнечная и тихая, — прохладный ветерок, прилетавший с рыжих сопок, трепал на нем бесцветные, как свалявшаяся кудель, волосы, сдувал с лежака стружки и гонял их по двору на потеху серому котенку да черному с белой грудкой медвежонку.

Первым за летящей стружкой бросался котенок; поймав ее и прижав лапкой к земле, он торопился разглядеть — что это за летучее чудо; но сзади на него тотчас наваливался медвежонок, хватал за холку и сердито урчал. Котенок вырывался и, фыркая, отбегал, распушив и подняв кверху хвост. Медвежонок обнюхивал сдавленную стружку и, не находя в ней ничего интересного, снова бросался за котенком. Так они и метались по двору, забавляя работавшего лесника.

«Да, сказано: глупость, она с детства проявляется, — думал старик. — Вот тебе кошка, а вот тебе медведь. Та с понятием живет, к человеку ластится, услужает. И не даром — глядь, и перепадает ей со стола хозяйского. А этот дуром по тайге пехтярит. Что ни попадет ему, все переломает да перекарежит. Медведь, он и есть медведь».

И, не выдерживая напора мыслей, начинал вслух распекать медвежонка:

— Ну, что ты за котенком носишься, дурачок? Ты сам попробуй поймать стружку-то. Ведь на этом баловстве и ловкость развивается: ноне стружку поймал, а завтра, глядишь, и мышку сцапал. Не то еще какую живность добудешь. А ты только и знаешь, как другим мешать. Вот уж воистину медведь.

Из дома вышла приглядно одетая женщина лет тридцати, в хромовых сапожках, в коричневой кожаной курточке, в цветастом с черными кистями платке. Старик немедленно перекинулся на нее:

— Что, Дарьюшка, томится душа-то?

Она поглядела на широкий, пропадающий в синем предгорье речной плес и сказала:

— Нет, не видать оказии.

— У нас оказия как безобразия... От нашего хотения не зависит. На все — воля божья, — ответил старик.

— Ты отдал мою записку геологам?

— И записку, и все, что наказано, передал. Пришлите, говорю, доктора какого ни на есть. Человек, говорю, постра-

дал за общественное дело. На ответственном посту, можно сказать.

— А они что?

— Да я ж тебе передавал! В точности исполним, говорят. И доктора, и следователя пришлем.

— А ты сказал, что сюда надо, на зимовье?

— Ну.

— Второй день — ни души. Эдак и сдохнуть можно, — тоскливо сказала Дарья, присаживаясь на чурбак.

— Я ж вам говорил — поезжайте все в моей лодке.

— Чтоб они его до смерти убили?

— Что они, звери, что ли?

— Хуже. Бандиты!

— Столько вместе отработали. И на тебе — бандиты.

— Работал он, а они дурака валяли.

— Стало быть, руководящая линия его ослабла. Вот они и дали сбой. — Старик потесал, подумал и добавил: — Указание в каждом деле создает настрой. Какое указание, такой и настрой.

Вдруг с реки послышался неясный стрекот. Дарья и Голованов поднялись на бугор и стали всматриваться в даль.

Глиссер показался на пустынной излучине реки, как летящий над водой черноголовый рыбничек; он быстро шел по реке с нарастающим гулом и грохотом.

Напротив зимовья глиссер сделал большую дугу, носом выпер со скрежетом на берег и, утробно побулькав, затих. Тотчас откинулась наверх боковая дверца, и, пригибаясь, стали выходить на берег пассажиры.

Их было трое: впереди шел капитан Коньков, за ним с медицинской сумкой пожилой врач и сзади — водитель глиссера, малый лет двадцати пяти, в кожемитовой куртке и в черной фуражке с крабом.

—Где пострадавший? — спросил врач, подходя к леснику.

Но ему никто не ответил. Женщина протянула руку Конькову и сказала:

— Здравствуйте, Леонид Семенович!

— Здравствуйте, Дарья! — удивился Коньков, узнавая в этой женщине финансиста чуть ли не с соседней улицы.

— А это лесник Голованов, — представила она старика. — Хозяин зимовья.

— Следователь уйгунской милиции, — козырнул Коньков. — А где бригадир?

— В избе, — ответила Дарья.

— Проводите! — сказал Коньков и сделал рукой жест в сторону зимовья.

И все двинулись за Головановым.

Бригадир Чубатов лежал на железной койке, застланной медвежьими шкурами. Это был светлобородый детина неопределенного возраста; русые волосы, обычно кудрявые, теперь сбились и темными потными прядями липли ко лбу. Серые глаза его воспаленно и сухо блестели. Запрокинутая голова напрягала мощную шею, посреди которой ходил кадык величиной с кулак. Лицо и шея у него были в кровоподтеках и ссадинах. Он безумно глядел на окруживших койку и хриплым голосом бессвязно бормотал:

— Ну что, заткнули глотку Чубатову? Я вам еще покажу... Я вас, захребетники! Шатуны! Силы не хватит — зубом возьму. Дар-рмоеды!

Медик с дряблым озабоченным лицом, не обращая внимания на эту ругань, ощупывал плечи его, руки и ноги. Потом распахнул рубаху на груди, прослушал стетоскопом. Наконец сказал капитану:

— Ран нету, кости целы. Обыкновенный бред. Температура высокая. Острая простуда.

— Они его в воде бросили, мерзавцы, — сказала Дарья.

— Кто-либо из его бригады есть на зимовье? — спросил Коньков.

— Те разбежались. А последние, двое, уехали на моей лодке за продуктами, — ответил Голованов.

— Накройте его, — сказал капитан, кивнув на бригадира, — и отнесите в глиссер. А вы останьтесь в избе со мной, — обернулся он к Даше.

Голованов и моторист взяли Чубатова под мышки и за ноги, врач помогал им, поддерживая больного за руку, — и все вышли, тесня и мешая друг другу на высоком пороге.

Коньков притворил за ними дверь, указал Даше на скамью возле стола:

— Присаживайтесь!

Сам сел на табуретку к столу, вынул из планшетки тетрадь.

— Я вынужден задать вам несколько вопросов. Что вы здесь делаете? Уж не поварихой ли работали в бригаде?

Даша чуть повела плечиком, капризно вздернула подбородок.

— Я работаю финансовым инспектором Уйгунского райфо.

— Это я слыхал. А что вы здесь делаете?

— В бригаде Чубатова находилась в командировке и помогала им в качестве экспедитора.

— Что значит — в качестве экспедитора? Какие обязанности?

— Ну, обязанности разные... Дело в том, что бригада состоит на полном хозрасчете. Ей отпускаются средства для заготовки леса и на прочие расходы, связанные с производством: покупка продуктов, тягла, оборудования всякого.

— И вы занимались этими покупками?

— Не совсем так. Я помогала оформлять трудовые сделки. Как бы контролировала их законность. И некоторое оборудование приходилось завозить мне.

— И сколько же вы находились в бригаде?

— Всего месяц.

— Значит, при вас случилась драка? Или нападение на бригадира?

— К сожалению, нет. Я в ту ночь была в Кашихине, закупала продукты в сельпо для бригады.

— И вы не знаете, из-за чего ссора произошла?

— Вам лучше бы поехать на Красный перекат. Там удэгейцы вам все расскажут.

— Куда мне ехать и кого спрашивать — я сам знаю. А вас прошу отвечать на вопросы.

— Вы со мной так разговариваете, как будто бы я подследственная, — улыбнулась она.

— Избили человека... Еще неизвестно, какие осложнения это вызовет. Вы знаете обстоятельства или причины драки и не хотите говорить. Как прикажете понимать это?

— Дело в том, что драка произошла из-за меня.

— Но вас же не было в ту ночь в бригаде?

— Окажись я в бригаде, может, и драки не произошло бы.

— Значит, причина в обыкновенном соперничестве?

— Вроде этого.

— И кто же оказался соперником бригадира?

Она опять кокетливо повела плечом.

— Вы меня, право, ставите в неловкое положение, — усмехнулась. — Уж так и быть, скажу. Только вам, как представителю закона, по секрету...

— Ну, скажите по секрету.

— Заведующий лесным складом Боборыкин не ладил с бригадиром.

— Какого лесного склада?

— От Краснохолмской запани.

— А при чем тут бригада лесорубов? Они же дрались?

— Лесорубы имели с Боборыкиным общие интересы. Он оказывал влияние на бригаду. И очень не любил Чубатова из-за меня.

— Значит, он подговорил лесорубов? Как бы натравил их?

— Вроде того.

— Что ж они, дети, что ли, неразумные? Избивать человека по наущению?

— У них в бригаде были, конечно, и свои трения. Производство — дело сложное.

— Трения из-за леса?

— Не знаю... Я была у них всего месяц.

— А где заготовленный лес?

— Плоты сели выше Красного переката.

— Как сели? Все?!

— Все. Две тысячи кубометров.

— Целы хоть они?

— Не знаю. Люди разбежались, бригадир избит. Спрашивать не с кого.

— Как же ухитрились плоты посадить?

— Вода малая, река обмелела. Из-за этого и сыр-бор вышел. Не пригонят плоты в Уйгун до морозов — и останутся наши лесорубы без денег. Вот они и дуются на бригадира. А он что — бог? Не может он послать проливные дожди. Осень на дворе.

— О чем же он раньше думал?

— Хотел побольше взять древесины. Да бригада у него собралась нерасторопная. Лодыри.

— Лодыри? Две тысячи кубиков добыли на дюжину человек. Это не хухры-мухры.

— А-а! Чего это стоило бригадиру?

— Бригадир, между прочим, обязан был заблаговременно спустить лес.

— Кабы не саботаж, плоты давно бы в Уйгуне были.

— Кто же саботировал?

— Все те же — Вилков да Семынин, дружки Боборыкина. Вот с них и спрашивайте.

Вошел лесник Голованов.

— Больного уложили. Моторист спрашивает: заводить ай нет?

— Как заводить? А я? — всполошилась Даша, вставая со скамьи. — Я в тайге не останусь.

— Не беспокойтесь — я вас больше не задерживаю, — сказал капитан.

— Дак мы же вместе поедем. В дороге, пожалуйста, — все расскажу, что вас интересует.

— И куда лес делся, расскажете? — усмехнулся Коньков.

— Про лес я больше ничего не знаю.

— Поезжайте! Но мы еще встретимся.

— Я всегда пожалуйста. — Даша без лишних слов вышла и посеменила под откос, придерживая руками раздувавшуюся на ветру юбку.

За ней вышли на берег Коньков и Голованов.

— Вы можете меня подкинуть до Красного переката? — спросил Коньков.

— Можно. Мотор мой к вечеру придет, — ответил Голованов.

— А где он?

— Лесорубы за продуктами угнали.

— Что ж у них, своего мотора нет?

— Они все хозяйство продали. Работу кончили, погрузились на плоты. И сели где-то за перекатом.

— Товарищ капитан, едем, что ли? — крикнул с глиссера моторист, подсадив на палубу Дашу.

— Поезжайте! — ответил Коньков и махнул рукой.

Глиссер взревел, попятился задом, потом развернулся и пошел по реке, набирая скорость, задирая все выше нос и оставляя за собой тянущиеся к берегам волны, словно длинные усы.

3

Моторная лодка к вечеру, как обещал лесник, не пришла, Голованов с Коньковым сидели на бревнах возле деревянного заплота и томительно ждали ее возвращения.

Предзакатное, нежаркое солнце плавало над синей кромкой дальних сопок; река затихла и блестела у того берега желто-красным отсветом начинающейся вечерней зари; в успокоенном воздухе тонко и беспрерывно зудели комары.

Коньков хлопал себя по шее, обмахивался фуражкой и ругался. Он досадовал на себя за то, что доверился леснику и отпустил глиссер. Мог бы сгонять на глиссере к перекату; часа полтора потеряли бы доктор с больным, не более. Чай, за это время ничего бы с ним не случилось, качка

не бог весть какая, потерпел бы бригадир. А теперь сиди вот и жди у моря погоды.

Капитан смутно догадывался, что драка случилась неспроста, тут не одно соперничество да оплошность с плотами. Загвоздка в чем-то другом. Да и лес цел ли? Не растащили ли плоты-то?

Несколько раз заводил он разговор с лесником, но тот ничего определенного не знал или просто отговаривался.

— Из-за чего ж они все-таки подрались? — допытывался капитан.

— Я не видел, — отвечал лесник. — Дрались они где-то на перекате.

— А как же у тебя очутились?

— Бригадира с Дарьей удэгейцы привезли. Говорят: половина лесорубов на запань ушла, а двое сюда приехали, на катере.

— Ну что-то они говорили? Слыхал, поди?

— Вроде бы бригадир с Боборыкиным не поладили.

— Да что ему этот Боборыкин? Он же заведующий лесным складом! Какие могут быть у них трения?

— Тот лесом заведует, а этот лес заготовлял. Вот и столкнулись.

— На чем? На каких шишах?

— Обыкновенных. Боборыкин, к примеру, продал лес, а Чубатов купил.

— Как это продал? У него не частная лавочка, а государственный склад. Запань! Лес на учете.

— Кто его там учтет? Вон сколько тонет леса при сплаве. Тысячи кубов! Речное дно стало деревянным. Рыбе негде нереститься. А ты — учет.

— Ну, то потери при сплаве. Они списываются по закону.

— А кто проверит — сколь списывают на топляк, а сколь идет на сторону в загашник?

— Дак есть же инспектора, ревизоры.

— А ревизоры тожеть люди живые. Вот, к примеру, наша река — нерестовая. По ней нельзя сплавлять лес молем. Но его сплавляют. Все ревизоры видят такое дело. Ну и что?

— Погоди! Значит, вы говорите, что на лесном складе у Боборыкина есть неоприходованные излишки?

— Я ничего такого не говорил, — ответил Голованов, глядя прищуркой на Конькова.

— Но ты же сказал, что Боборыкин мог продать неоприходованный лес, а Чубатов купить.

— Мало ли кто что мог сделать. Могли вон ухлопать Чубатова, а он живой.

— Кто ж его пощадил?

— Бог.

— А вы шутник! — Капитан во все глаза глядел на прищуренного лесника и даже головой покачал.

— Шутник медведь — всю зиму не умывается, да его люди боятся. — Лесник был невозмутим.

Коньков положил ему руку на колено и сказал, вроде бы извиняясь:

— Я ж вас не пытаю как следователь. У меня другая задача: помочь уладить это дело миром. А главное — лес разыскать да двинуть его куда надо. Я не могу понять, как ухитрились плоты посадить? Вроде бы Чубатов — человек опытный?

— Одно дело опыт, а другое азарт, зарасть. Погнался за кубиками и перегрузился. Да ведь и то сказать — для вашего Уйгуна каждая щепка — золото. На голом месте живете.

— Как думаете, не подымется вода в реке?

— Нет, — уверенно ответил лесник. — По моим приметам, осень будет сухая.

— Что за приметы?

— Ондатра гнездо делает у самого приплеска. Значит, вода зимой будет низкая.

— А у нас, в Уйгуне, дожди льют.

— У вас низменность. А мы на высоте живем — притяжения нет. Вот и гонит к вам тучи.

Далеко за синим перевалом поднялся в небо высокий столб дыма. Капитан присвистнул:

— Что бы это могло значить? Уж не тайга ли загорелась?

— Все может быть, — спокойно отозвался Голованов. — Дым светлый, значит, дерево горит. Не солярка.

— Ехать надо, тушить! — забеспокоился Коньков.

— А на чем? На собаках?! — усмехнулся лесник.

— Ну, есть же у тебя лодки?

— Лодки есть, мотора нет. А на шестах туда и до утра не доберешься. Это ж где-то у Красного переката горит. Верст за сорок. Река обмелела, быстрая. Напор такой, что с ног валит.

— Лесник называется! Тайга горит, а он сидит и рассуждает.

— Говорят тебе — мотор у меня угнали.

— Зачем отдал?

— Не умирать же людям с голоду!

— А если лодка не придет? Что ж, мы так и будем тут сидеть?

— Приде-от. Куда она денется?

Однако моторная лодка появилась совсем не с той стороны, откуда ее ждали, — она шла сверху, оттуда, где в полнеба растекалось огромное облако дыма. В длинной долбленой лодке с поперечными распорками, называемой по-удэгейски батом, сидело два паренька удэгейца — один на корме, возле мотора, правил, другой, поднявшись в рост, махал кепкой.

Голованов и Коньков в сопровождении двух пестрых собак сбежали по берегу к самому приплеску.

— Что там стряслось?! — кричал Голованов.

— Дядь Фома, лесной склад горит! — ответил из лодки стоявший паренек.

— Чей склад? Боборыкина? — спросил Коньков.

— Его, — ответил сидевший за рулем.

— На тайгу огонь не перекинулся? — спросил Голованов.

— Немножко прихватило, — кричали из лодки. — С метеостанции дали сигнал. Может, самолеты прилетят.

— Ну да, прилетят самолеты — завтра об эту пору, — ворчал Голованов, ловя за нос подходившую лодку. — Не глуши мотор! — и первым прыгнул в лодку.

— Надо бы лопаты прихватить да топоры! — сказал Коньков.

— Давай, прыгай! — гаркнул Голованов. — Найдется там это добро.

Собаки, обгоняя капитана, попрыгали с разбегу в бат, потом, придерживаясь за борт, влез в лодку и Коньков.

— Оттолкните шестом бат! — крикнул Голованов, берясь за руль. — Та-ак. А теперь — сидеть по местам!

Взревел мотор, запенилась, закипела бурунами вода за кормой, и длинная, как торпеда, черная посудина пошла на разворот к речной стремнине.

4

Тревожный запах гари летел над рекой, загодя опережая дым; еще отдаленно полыхало, растекаясь по небу лиловыми языками, зарево пожара, окаймленное бушующими си-

зыми клубами дыма, еще темен и чист был речной фарватер от огненных бликов и дымной завесы, а встречный ветерок с верховья уже горчил на языке и пощипывал в носу.

«Крепко горит», — подумал Коньков. Ему не терпелось поскорее прибыть на пожарище, поглядеть на этого Боборыкина — как он мечется теперь по складу? «Что это за разгильдяйство? Среди бела дня склад загорелся! За чем же он смотрит, сукин сын? Ну, я ему сказану...» — горячил себя Коньков.

Лодка хоть и летела, словно ласточка, над волнами, высоко задрав нос, но река то и дело петляла между сопок, и каждый кривун, оставляя за собой очередные отроги сопок, выводил все на новые заслоны, и казалось, нет им числа.

Дым над рекой появился неожиданно; как только лодка свернула за гранитный выступ высокой отвесной сопки, над острыми гольцами закурчавился дымный гриб, спадая жидкими клочьями на темную воду, кипящую на перекате мелкими рваными волнами. Далее по речному плесу все заволакивало до самых берегов белесой дымовой завесой. И там, где-то неподалеку, за очередным кривуном, угадывался пожар, — оттуда несло, высоко вздымая в небо, как черные перья, истлевающие на лету, щепки, листья и оскретки сосновой коры.

Лодка вдруг развернулась и пошла по неширокой, заросшей водяным лютиком и тросником, речной протоке.

— Куда ты? — крикнул Коньков. — По реке давай! На лесной склад!

— Лесному складу мы теперь не поможем, — спокойно сказал Голованов. — Чем ты его, штанами потушишь?

— Мне Боборыкин нужен!

— А мне тайгу надо спасать! — повысил голос Голованов. — Боборыкин никуда не денется. А тайгу можем отстоять, пока не поздно.

— Что ж мы, вдвоем тайгу потушим? — спросил Коньков.

— Люди уже на месте, — заверил Голованов.

И в самом деле — в горящей тайге было множество народу, всё нанайцы да удэгейцы из таежного поселка Арму. Они были с лопатами, топорами и даже с пилами.

Длинный и неширокий ров извилистой змейкой опоясывал горящий участок леса от остальной тайги; здесь, словно на переднем крае обороны, вдоль этого рва бегали и суетились люди, — больше все глядели за тем, чтобы перелетевшие через ров искры не заронили огонь в новом месте.

Лесной пожар еще только начинался: кое-где факелом истаивали вершинки неокрепших сосенок, свечками оплывали в несильном жаре сухостоины, да трещал, как лучины, корежился и разваливался в угли валежник. Жидкие космы дыма повсюду просачивались откуда-то из-под земли, и лишь местами из сухих корневищ вырывались косые и неверные язычки пламени. Но ясень, ильмы, маньчжурский орех, бархат и темная кипень подлеска держались стойко.

Фома Голованов, крича и размахивая топором, увлекая за собой удэгейцев, бросился рубить охваченные огнем деревья. От каждого удара горящее дерево, вздрагивая, осыпало лесорубов летучим роем искр и, заваливаясь с треском и гулом, обдавало всех жаром и головешками.

— Штаны затяни потуже! — кричал Голованов. — Не то вернешься домой с головешкой вместо этого самого. Баба прогонит.

Ему отвечали нанайцы:

— У тебе, наверно, все усохло. Бояться не надо.

— Га-га! Вот это по-нашему, — довольный собой, гоготал Голованов и снова покрикивал: — Лопатами шуруйте, ребятки! Главное, корневища подрубайте, где горит! Чтоб огонь низом не пошел.

Коньков, казалось, позабыл и о лесном складе Боборыкина, и о самом бригадире Чубатове, и о плотах — обо всем том, зачем приехал в эту таежную глухомань; он преданно повсюду поспевал за Головановым и по первому слову его кидался с топором или с лопатой на огонь.

— Так его, капитан! Глуши, бей по горячему месту, — покрикивал Голованов. — Вот это по-нашему. Молодец!

Старик был неутомим; то с шуткой, то с матерком подваливал он одним ударом топора высокие сосенки да елочки, а Коньков, ухватившись обеими руками за комель, оттаскивал срубленные деревья подальше от пожара.

Удэгейцы так же азартно и ловко подрубали корни, сносили валежины, бегали с ведрами и засыпали песком горящие лежбища палого листа и всякой прели.

Меж тем незаметно опустились сумерки; очистились вершины деревьев от дымной завесы, и в просветах от поваленных сосен да елочек заблестели на небе звезды; все стихло — ни возбужденных криков людей, ни огненных вспышек, ни треска горящих сучьев, — только редкие головешки, присыпанные песком, все еще чадили жиденькими струйками, но дым пластался понизу возле корневищ, перемешивался с вечерним туманом.

— Баста! — сказал Голованов. — Шабаш, мужики! Хорошо поработали. А теперь вниз, к реке. Мойтесь! Не то впотьмах за чертей сойдете.

— Вместе пойдем! — сказал ему Коньков.

— Ступайте, ступайте! Я еще пошастаю тут. Кабы где не отрыгнул огонек-то. А вы там удэгейцев попытайте.

Люди спускались по крутым откосам к реке, цепляясь за мягкие ветви жимолости и черемухи, у воды шумно плескались и возбужденно переговаривались.

— Кто же тайгу поджег? — спрашивал Коньков.

— Никто не поджигал, сама загорелась.

— Как сама?

— От склада огонь перелетал. Ты что, не соображаешь?

— А склад отчего загорелся?

— Сторож знает, такое дело, — ответил старик удэгеец.

— А где он?

— Я не знай.

— А кто знает?

— Никто не знай, такое дело, — ответил другой старик.

— Куда же он делся? — удивился Коньков.

— Его пропадай...

— Что он, сгорел, что ли?

— Не знай.

Вдруг Коньков увидел идущего навстречу по речному берегу старого знакомого Созу Кялундзигу.

— Соза Семенович! — кинулся к нему Коньков. — Ты что здесь делаешь?

— Председателем артели работаю, — отвечал тот с улыбкой, радушно здороваясь с капитаном.

— Ты ж на Бурлите работал? — удивился Коньков.

— И ты там работал, — невозмутимо отвечал Соза.

— Твоя правда. Скажи на милость — вот так встреча! — Коньков все улыбался и, словно спохватившись, спросил озабоченно: — Вы что, в самом деле не нашли сторожа?

— В самом деле пропал сторож. Куда девался — никто не знает. Утром на складе был, а когда пожар случился — пропал.

— А Боборыкин где?

— Тот ездил на запань. Когда возвратился — склад догорал.

— Ничего себе пироги, — сказал Коньков и после паузы добавил: — Ладно, разберемся.

5

Ночевать пригласил его Кялундзига. Попутно зашли на лесной склад: ни Боборыкина, ни сторожа — тишина и пустынность. Один штабель бревен сгорел начисто, и на свежем пепелище дотлевали мелкие колбешки. Но они уж никого не тревожили — тайга была далеко от них, а уцелевшие штабеля бревен еще дальше. Коньков носком сапога поворошил кучки пепла — ни искорки, ни тлеющего уголька. Все мертво.

— А отчего колбешки дымят? — спросил он Кялундзигу.

— Это они остывают, дым изнутри отдают. Огня уже нет, — ответил тот спокойно.

— Ты все знаешь, Соза, — усмехнулся Коньков.

— Конечно, — согласился Кялундзига.

Эта невозмутимость Созы, его спокойная умиротворенность и уверенность, что все идет по определенному закону, который знают старые люди, всегда умиляла Конькова. «Ну, а если явное безобразие? А то еще преступление, тогда как?» — спрашивал его, бывало, Коньков. И тот невозмутимо отвечал: «Спроси стариков — все узнаешь».

— Надо бы Боборыкина допросить, — сказал Коньков.

— Ночью спать надо. Утром чего делать будешь? — возразил Соза.

— И то правда, — согласился Коньков. — Поди, не убежит он за ночь. Не скроется.

— В тайге нельзя скрыться. Это тебе не город, понимаешь.

— Ну, ты мудер, Соза! — засмеялся Коньков.

— Есть немножко.

Дома их встретила приветливо Адига, жена Созы. Она уже знала, что Коньков здесь, что тушил пожар и что ночевать придет конечно же к ним. Поэтому на столе стояла свежая красная икра из хариуса, шумел самовар и рядом с чашками и блюдцами поблескивали хрустальные стопки. Она службу знает, отметил про себя Коньков, увидев стопки для вина. Адига поклонилась ему и протянула руку.

— Вот уж встреча так встреча! — с радостью пожал ей руку капитан. — Лет десять не виделись, а вы ничуть не стареете.

— Некогда стареть — работы много. — Адига кинулась к буфету, достала бутылку водки, поставила рядом с самоваром.

Она и в самом деле выглядела молодо, несмотря на свои пятьдесят лет, — лицо округлое, гладкое, как ядреный же-

луды; сама легкая, подвижная, в черном шелковом халате-тегу с красным и зеленым шитьем по широкому вороту и подолу, в меховых тапочках, опушенных беличьим мехом.

— Умываться будете? — спросила она.

— В реке плескались, — ответил Соза, снимая пиджак.

— Тогда проходите к столу. — Сама нырнула в кухню за цветастую, в ярких полосах, занавеску и в момент обернулась, неся шипящую сковородку жареного мяса.

Да и Соза выглядел молодцом — волосы черные как смоль, без единой сединки, усики аккуратно подстриженные, сухой и жилистый, как матерый спортсмен. Он налил водки себе и Конькову.

— Какие новости на Бурлите?

— Все как было.

— По-старому живут?

— Конечно. За встречу!

Выпили. Адига из кухни принесла еще тарелку каких-то квашеных круглых стебельков, похожих на спаржу.

— Кушайте!

— А что это за штуки? — спросил Коньков.

— Папоротник, — ответил Соза. — Японцам заготовляем. Ешь!

— Папоротник, японцам? — удивился капитан. — Ну и ну... — Попробовал. — Вкусно! Лучше всякой капусты.

— Большие деньги платят.

— Да не в деньгах дело! Это ж и нам к столу не лишней была бы закуска.

— Наши не берут. Не заказывают, такое дело.

— А грибы, ягоду, кедровые орехи? — спросил Коньков.

— Тоже не заказывают.

— Мать честная! — сказал Коньков. — Сколько раньше вы с Бурлита посылали одних орехов?

— По сорок тонн!

— А теперь?

— Теперь весь кедр вырубили... Ты кем работаешь? — спросил Соза.

— Следователем уйгунской милиции.

— Зачем приехал сюда?

— Расследовать, куда лес дели уйгунские лесорубы.

— Это мелочь, понимаешь. Вот какое дело надо расследовать: по Шуге и по всем ее верхним притокам — по Татибе, по Мотаю, по Кутону, лес сплавляют. А ведь это нерестовые реки. Нельзя по ним сплавлять. По закону! Почему закон нарушают? Кто виноват? Расследуй такое дело.

— Не могу. Это не в нашей сфере. Здесь другой район.
— А что, для другого района закон другой писан, да?
— Да не могу я, чудак-человек! Полномочий у меня нет на это.
— Какие полномочия? У тебя фуражка милиционера, погоны капитана. Чего еще надо?
Коньков только посмеивался.
— Не смешно, понимаешь. На той неделе знаешь что делали? Реки бомбили! И Татибе и Кутон. Там заломы — лесу много, воды мало. Они бомбы кидали, чтоб заломы разбросать. Речное дно, берега искалечили. Рыбы не будет. Худо совсем! Я знаю, кто бомбил, кто приказ давал. Посадить за такое дело надо. Ты следователь — вот и пиши на них протокол.
— Да не могу я. Они подчиняются краевым организациям. Там и рыбнадзор, и лесная охрана. Туда и сообщай.
— А-а, — Соза поморщился. — Телеграммы давал, звонил. Никто не слушает.
Он налил водки. Выпили.
— Тайга чужой стала, — отозвалась с дивана Адига. — Я говорю ученикам: земля наша и тайга наша. Они смеются: если наша, зачем ее уродуют? — В отличие от Созы, она тщательно подбирала слова, и речь ее была удивительно правильной.
— Заломали тайгу-то? — участливо спросил Коньков.
— Есть такое дело, — ответил Соза.
— Все воюешь с лесорубами?
— С кем воевать? Лесорубы тоже план выполняют. Кедр возьмут, остальное заломают и все бросят. И никто не виноват. Вот какое дело...
— А почему уехал с Бурлита?
— Делать нечего, закрыли артель. Тайгу вырубили, ореха нет, рыбы нет, зверя нет. Одну бригаду оставили — пчеловоды, да немножко клепку заготовляют.
— А говоришь: все по-старому.
— Конечно.
— Отец-то хоть жив?
— Ты что, не знаешь. — Кялундзига посмотрел на Конькова как на ребенка.
— Помер, что ли? — опешил тот.
— Заболел. Опухоль в горле. Врачи сказали — рак. А он говорит — врут. Это не рак, а Окзо[1] гнездо свил. И выстрелил прямо в опухоль.

[1] Окзо — злой дух тайги.

— Это что ж у вас, поверье такое? — спросил Коньков.

— Пережиток капитализма, понимаешь.

— Да-а! — Коньков покачал головой. — Жаль Сини. Лучший охотник за женьшенем был. А ты говоришь — все как было.

— Конечно.

— А село-то, Банга, стоит на старом месте? — спросил с усмешкой Коньков.

— Ты чего, не знаешь, что ли? — удивился Соза. — Село переехало на другой берег. Там затопляло в половодье. Теперь село на Новом перевале. Живут вместе с лесорубами.

— А так — все по-старому? — Коньков откинулся к стенке и захохотал.

Его любезно поддержали хозяин с хозяйкой, но смеялись они скорее над ним: ну, чему он в самом деле удивляется? Ведь столько лет прошло!

— Ты бригадира лесорубов Чубатова не знаешь? — спросил Коньков хозяина.

— Как не знаю! Работал он тут, километров двадцать выше по реке. Наши люди помогали ему. Лошадей давал для вывозки леса.

— Что он за человек?

— Человек как человек. Я с ним не работал.

— За что хоть его избили лесорубы?

— Не знаю.

— А почему они враждовали с Боборыкиным?

— Бывшая жена Боборыкина работала экспедитором у бригадира. Понимаешь?

— Дарья?

— Да.

— Вот оно что! — Коньков вынул тетрадь из планшетки и записал: «Дарья+Боборыкин». — Это интересно! Завтра попытаемся кое-что уточнить, — сказал более для себя.

— Конечно! — ответил Кялундзига. — Завтра все узнаем. — И налил еще по стопке.

6

Утром, чуть свет, Коньков первым делом сбегал на дом к продавцу и узнал — брал ли накануне днем водку Боборыкин или сторож с его склада; потом проверил все удэгейские баты и оморочки, стоявшие на реке, в том числе и моторку Боборыкина, накрытую брезентом. И уж потом пришел завтракать.

Хозяева ждали его: шумел самовар посреди стола и курилась парком остывающая на жаровне картошка.

— Соза, после завтрака сразу пошли на розыски сторожа.

— Я вчера говорил. Наверно, уже пошли старики.

Ели торопливо, перекидываясь фразами.

— День хороший будет — туман над рекой потянулся кверху еще до восхода солнца, — сказал Коньков.

— Гээнта спит где-нибудь на косе, — сказал свое Кялундзига.

— Какой Гээнта? — не понял Коньков.

— Сторож со склада. Боится теперь возвращаться.

— Наверно, виноват, — сказала Адига. — Или что-то знает нехорошее.

— Его надо обязательно найти, — сказал Коньков.

— Найдем. Никуда не денется.

Наскоро проглотив по стакану чая, Коньков с Кялундзигой пошли к складу. Возле реки их уже ждали Боборыкин с Головановым. Боборыкин был в хромовых сапогах, в защитном френче и в кепочке, из-под которой выбивалась копна черных вьющихся волос. Он был щеголеват и недурен собой, но лицо его портили шишковатые надбровья — они резко скашивали лоб и придавали ему выражение угрюмое и раздражительное.

— Прежде всего давайте установим — откуда пошел огонь, — сказал Коньков.

— Я на запани был, — ответил Боборыкин. — Не знаю.

— Старики говорят — огонь пошел с того бугорка. — Кялундзига прошел к возвышению на краю пепелища и остановился. — Отсюда пошел огонь. Здесь юрта Гээнты стояла.

Подошел Коньков к этому месту, расшвырял сапогом пепел; что-то вроде задымленной палки отлетело в сторону. Капитан поднял ее; это оказался забитый пеплом обрезок от алюминиевого весла. Огонь в костре оправляют такой штуковиной, подумал Коньков, вместо кочережки. Покопался в пепле этой палкой; вдруг какой-то странный неистлевший сучок привлек его внимание. Он нагнулся и поднял закопченную бронзовую трубочку с длинным мундштуком.

— Чья это трубка? — спросил Коньков.

— А ну-ка, — Кялундзига взял ее в руку. — Это Гээнты трубка. У него мундштук костяной, сам прожигал, такое дело... Его трубка.

Коньков внимательно оглядел трубку, вынул складной нож и лезвием достал содержимое трубки — бурую смесь чего-то вязкого с золой. Коньков потрогал ее, понюхал и сказал уверенно:

— Странный запах. Что-то подмешено в табак.

— А ну-ка?

Кялундзига взял трубку, понюхал и сказал уверенно:

— Сок бархата подмешен. От семян.

— Для чего? — спросил Коньков.

— Крепость большую дает. И голова крутится.

— Это что ж, Гээнта такой табак курил?

— Нет, Гээнта — слабый человек. Такой табак сам не делал.

Коньков посмотрел на Боборыкина, тот не уклонился, встретил его спокойным взглядом округлых, как у ястреба, желтоватых глаз.

— Где стояла лодка Гээнты? — спросил Коньков.

— Оморочка его стояла вон там, — указал Боборыкин на общую стоянку лодок.

— Он знал, что вы уезжаете на запань? — спросил Коньков.

— Знал. Я мотор заводил, а он с острогой стоял в оморочке во-он у того омутка, — указал на противоположный обрывистый берег. — Ленка еще добыл. Говорит — талы захотелось. — Боборыкин отвечал спокойно и держался солидно.

— Вы с ним выпивали с утра? Или он с кем-то другим выпил? — спросил Коньков. — Не знаете?

— Откуда вы взяли, что он выпивал?

— Продавец сказал, что утром он брал водку.

— Я не видел.

— И сами не пили?

— Нет, не пил. — Боборыкин усмехнулся: — Странные вопросы вы задаете.

— Странные! Как же у вас в лодке оказалась пустая бутылка?

Боборыкин замялся:

— У меня нет никакой бутылки. С чего это вы взяли?

— Пойдемте к вашей лодке!

— Пойдем.

Они вдвоем двинулись к берегу. Здесь стояла крашенная в голубой цвет, принакрытая брезентом моторная лодка. Коньков сдернул брезент; на дне, в кормовом отсеке, ва-

лялись какие-то мешки. Коньков поворошил мешки и достал пустую поллитру с водочной этикеткой.

— Чья это бутылка? — спросил Коньков.

Боборыкин стал покрываться до самых ушей малиновым отливом.

— Я думаю — не станем наводить экспертизу. Отпечатки пальцев здесь сохранились довольно четко. Как вы думаете? И Гээнта уж наверно не откажется, что вчера пил с вами водку?

— Моя поллитра, — сказал Боборыкин. — Ну, и что здесь такого?

— Это другой разговор. — Коньков положил бутылку в сумку. — Значит, вы посылали сторожа за водкой?

— Я, — согласился Боборыкин.

— И выпили с ним вместе перед отъездом на запань?

— Да, — только головой мотнул.

— А талой из того ленка закусывали?

— Все в точности!

— Спасибо за откровение. Что ж вы ему сказали на прощание?

— А что я мог сказать? Просил глядеть в оба. Говорю, как бы чего не случилось. Приеду, мол, только вечером.

— Вы полагали, что может произойти нечто неприятное?

— Нет. Я просто так, без задней мысли.

— И никаких подозрений у вас? Ни о чем не подумали?

— О чем же я мог подумать?

— Ну, например, склад могут поджечь.

— Кто?

— А вы не знали, где находятся лесорубы из бригады Чубатова?

— Они мне не докладывали... Слыхал, будто вниз ушли. А иные на запани.

— И не встречались с ними на запани?

— Нет, не встречался.

— Куда сторож пошел после выпивки?

— Полез к себе в юрту. А я подался на запань.

Коньков накинул брезент на лодку и пошел по песчаной отмели навстречу Голованову и Кялундзиге. Боборыкин, потерявший в минуту и важную осанку, и независимый вид, слегка наклоня голову, увязался было за Коньковым.

— Я вас больше не держу, — обернулся к нему Коньков.

— То есть как? Ничего не спросите?

— Ничего... Пока. — Затем махнул рукой Голованову и Кялундзиге, приглашая их сюда, к реке. Те подошли.

— Фома Савельевич, у тебя мотор заправлен? — спросил он Голованова.

— Хватит горючки.

— Тогда заводи! — И, обернувшись к Кялундзиге, сказал: — Как только найдете сторожа, сообщите мне. Я буду на Красном перекате. Там, где плоты сели.

— Сделаем, такое дело, — сказал Кялундзига.

Голованов с Коньковым сели в удэгейский бат, завели мотор и понеслись вверх по реке.

7

Красный перекат начинался возле обрывистых рыжевато-бурых скал; река здесь делала крутой разворот и, перепадая с грохотом и шумом по каменистым порогам, уходила вниз, растекаясь на десятки пенистых рукавов.

Река была настолько мелкой, что лодка Голованова с трудом прошла по главному, самому широкому фарватеру.

Выше скал, преградивших путь реке, течение становилось спокойнее, вода темнее и русло значительно шире. А там, за плавным кривуном, огибавшим такую же отвесную скалу, начинался новый кипучий перекат, казавшийся еще более шумным и грозным. Он так и назывался Шумным. В самом начале этого переката, на речной излуке, они и нашли брошенные плоты.

Целая дюжина огромных секций плотов, вязанных в два, в три бревна, была прижата к залому и к берегу мощным течением и завалена всяким речным хламом.

Коньков и Голованов перебрались на ближнюю к берегу секцию плота, потоптались, попрыгали на ней, пошвыряли шестом в воду. Дно реки было рядом. Плоты сидели крепко на каменистом ложе.

— Никакой силой не оторвешь. Вот это посадка, — сказал Коньков.

— Вода посадила, вода и сымет, — заметил Голованов.

Они обошли все секции плотов, так же прыгали на них, щупали речное дно, замеряли везде глубину. Картина все та же — дно мелкое, все секции сидели мертво.

— Сколько здесь кубов? — спросил Коньков. — Примерно.

— А сколько они заготовили? — спросил в свою очередь Голованов.

— Говорят — две тысячи.

— Две тысячи кубов будет. Это верное дело.

— Значит, можно считать лес целым. Но как его доставить отсюда?

Голованов только усмехнулся:

— Молите бога, чтоб дождей послал...

— Послушай, а чего это они плоты вязали в два, а то и в три бревна? — спросил Коньков. — Ведь знали ж, что вода малая. Плоты в одно бревно провести легче.

— А ты погляди — нижние бревна светлее верхних, — заметил Голованов.

— И в самом деле... — согласился Коньков. — С чего бы это?

— По-моему, в верхний слой пошел топляк, — ответил Голованов. — Его в один слой и сплавлять нельзя. Потонет.

— Откуда они взяли топляк?

— С речного дна.

— А где работала бригада Чубатова? Где они лес рубили?

— Километрах в двадцати отсюда, вверх по реке. Там есть протока Долгая. Вот на ее берегах и рубили.

— Вы не знаете, в той протоке есть топляк?

— Вряд ли. Там лес почти не тронут. Топляку и в реке полно.

— Да... Но из реки надо уметь взять его.

— На все есть своя оснастка, — ответил Голованов, ухмыляясь. — Сказано, без снасти и вошь не убьешь.

— Откуда в бригаде возьмется такая оснастка?

— Да что ж, на бригаде мир клином сошелся?

— Значит, им кто-то помогал?

— Не знаю.

— Поехали к протоке Долгой! — сказал Коньков. — Поглядим, откуда они лес брали.

Выше переката Шумного река вольно разливалась в спокойном и мерном течении, но берега ее на извивах были сплошь завалены то корягами, то валежником, а то и разделанным кругляком, торчавшим из завалов.

Над рекой же, по обоим берегам, тянулась заломанная и выщербленная тайга: раскоряченные, со сшибленными макушками мощные ильмы, оголенные орешины да ясени и с пятнами белых обломов на темной коре бархатное дерево.

— Ничего себе картинка, — указал на заломанную тайгу Коньков.

— Так брали только кедры, да ель, да пихту... все, что можно сплавлять! Остальное тонет. Дороги нет. Вот и бросили в таком срамном виде.

— Знакомое дело, — сказал со вздохом Коньков. — Сколько помню, а я уже двадцать лет по тайгам мотаюсь, все такая же история: дорог нет и не строят. Берут только хвойные породы, что само плывет. Остальное заламывают и бросают.

— А раньше такого безобразия не было, — сказал Голованов. — Раньше подчистую деляны вырабатывали и новый лес растили. Тяжелые породы вывозили по зимнику, не то плоты вязали, вперемежку с легкими, и по большой воде уводили. А молем сплавлять запрещали. Ни-ни! Штрафовали под дых. Не то еще и в тюрьму за это сажали.

— За такую привычку штаны снимать да сечь надо по мягкому месту.

— Так за чем дело стало? Вам же право дадено.

— Ни хрена нам не дадено! — Коньков выругался и плюнул в воду.

Вдруг из-за кривуна навстречу им вынырнула удэгейская долбленка с мотором; в корме за рулем сидел Кялундзига. Он снял кепку и замахал ею, разворачиваясь и делая знаки, приглашая встречную лодку причалить к берегу.

Обе лодки пришвартовались в затишке.

— Что случилось? — крикнул Коньков.

— Гээнту нашли! — ответил Кялундзига.

— Где?

— На косе, напротив сопки Банга. Лежит мертвый на песке. И оморочка рядом.

— Убит?

— Не знаю.

— Как не знаешь? Рана есть?

— Нет, понимаешь, такое дело. Как все равно уснул.

— Доктора вызвали?

— Привезли нашего фельдшера.

— Поехали! — скомандовал Коньков, и лодки двинулись по реке.

За первым же кривуном открылась длинная речная коса, примыкавшая к пологому песчаному берегу. В небольшой ложбинке под самыми тальниковыми зарослями стояло

трое: два пожилых удэгейца и женщина с медицинской сумкой в руке.

Перед ними лежал на песке человек, лежал бочком, поджав ноги, будто спал. Возле него валялась на песке легонькая оморочка, вытянутая и оттащенная совсем недалеко от воды.

Коньков внимательно осмотрел оморочку и потом уж подошел к лежащему Гээнте. Голованов и Кялундзига держались за ним поодаль и сбоку, как ординарцы за полковым командиром.

Гээнта был древний старичок, весь какой-то скрюченный, тонконогий, в длинном белесом халате, прогоревшем в нескольких местах и похожем на женскую исподнюю рубаху. Желтолицый, без усов и бороды, он сильно смахивал на старуху. Выражение лица его было спокойным и даже счастливым, будто он и в самом деле уснул после тяжелой работы.

— Мертвый? — спросил Коньков женщину с медицинской сумкой.

— Да, — ответила она. — По всей вероятности, смерть наступила естественным образом.

— Почему?

— Не обнаружено никаких побоев, даже видимых ушибов нет.

— Следов возле него не было? — спросил Коньков Кялундзигу.

— Нет, понимаешь. Такое дело, сам Гээнта оставил. Его следы. Больше следов не было, — ответил Кялундзига.

— Зато вы натоптали здесь будь здоров.

— Не страшно, понимаешь. Все следы ваших людей можно определить. Ее следы тоже отличить можно, — кивнул Кялундзига на фельдшерицу.

— Ладно. Ну-ка, отойдите к берегу, я посмотрю, — сказал Коньков.

Все удэгейцы были обуты в олочи — мягкую обувь из рыбьей кожи с загнутыми носами. На фельдшерице были резиновые сапожки.

Коньков осмотрел сперва обувь удэгейцев, потом следы возле Гээнты.

Следы самого Гээнты, оставленные маленькими, словно детскими, олочами, шли от оморочки никем не затоптанные. Не обнаружив ничего подозрительного, сфотографировав и следы, и оморочку, и самого сторожа, Коньков спросил фельдшерицу:

— Как полагаете, отчего смерть наступила?
— Думаю, от разрыва сердца, — ответила та.
— Какой разрыв сердца? — проворчал старик удэгеец с жиденькой бороденкой. — Сердце — веревка, что ли?
— А вы как думаете, отчего он помер? — спросил его Коньков.
— Его смерть приходил, — твердо ответил старик.
— Пра-авильно, — усмехнулся Коньков. — Как вас звать?
— Арсё, — ответил за старика Кялундзига. — Он у нас самый старший охотник.
— Все еще охотитесь? — удивился Коньков.
— А почему нет? — спросил Арсё.
— Сколько же вам лет?
— Не знай. Если человек здоровый, зачем года считай?
— Пра-авильно, — подтвердил опять Коньков, улыбаясь. — Значит, смерть пришла, он и помер. А зачем же он сюда приехал помирать, на эту косу. А?!
— Тебе не знай, что ли? — удивился Арсё.
— Нет, не знаю.
— Здесь сопка Банга стоит. — Арсё указал на прибрежную высокую сопку с голой вершиной. — На вершине его живет дух охотника Банга. Его знает дорогу туда, — указал он рукой на небо.
— Куда это туда? — спросил Коньков.
— К предкам, понимаешь, — ответил Арсё. — Банга отводит туда душу охотника, который помирать сюда приходил.
— А как же тело? — спросил Коньков, еле сдерживая улыбку.
— Тебе не знай, что ли? — переспросил Арсё.
— Нет, не знаю.
— Тело охотника отвожу я.
— И ты знаешь туда дорогу?
— Конечно, знай, — ответил Арсё без тени колебания.
— И повезешь туда Гээнта?
— Завтра повезу, такое дело.
— И можно посмотреть?
— А почему нет?
— Н-да... приду, посмотрю. — Коньков обернулся к фельдшерице: — Вы смогли бы свезти его на вскрытие?
— Сейчас повезем, — ответила та.

— Надо обернуться до вечера, — сказал Коньков. — Мне нужен акт смерти, причины.

— К вечеру привезем! — ответила фельдшерица.

— Как мотор, надежный? — спросил Коньков Голованова. — Успеют обернуться?

— Сотня километров туда, сотня обратно, — ответил за него Кялундзига. — Успеем, такое дело.

— Ты мне нужен здесь, — сказал Коньков Созе. — А с фельдшером поедет Голованов. Стариков завезти в поселок.

— Есть, такое дело! — ответил Кялундзига.

— Ну, действуйте!

Старики бережно подняли Гэнту и понесли его, как младенца, в лодку. Между тем Голованов втащил в воду его оморочку и причалил ее к большой лодке. Все они уселись и поехали.

На косе остались Коньков и Кялундзига.

— Соза, мне надо поговорить с вашим человеком, который хорошо знал бригадира лесорубов Чубатова. Есть у вас такой?

— А почему нет? Здесь, возле сопки, живет пасечник Сусан. У него часто бывал Чубатов.

— А далеко ли заготовлял Чубатов лес?

— Километра три отсюда. Все здесь. Вон лодка. Пожалуйста, в момент объедем, такое дело. — Кялундзига даже улыбался от услужливости.

— А Сусан видел лесорубов? Знал, как они лес заготовляли?

— Сусан все знает.

Это воодушевление передавалось и Конькову, он тоже улыбнулся:

— Тогда вези меня к Сусану.

8

Они переехали на другой берег и причалили в укромной бухточке. Поднялись по тропинке на пустынный откос: перед ними лежал брошенный поселок лесорубов — забурьяневшие улицы, дома с выбитыми окнами, с раскрытыми дверьми, с покосившимися крыльцами, сквозь выщербленный настил которых прорастали буйные побеги маньчжурского ореха да аралии с длинными перистыми листьями.

— Ничего себе картина! — Коньков присвистнул и вы-

ругался. — Прямо как Мамай прошел. А где же люди — жители поселка? Ведь не передушили их! Ведь не вымерли от чумы?

— Лесорубы переехали в новый поселок, — ответил Кялундзига. — Далеко отсюда. Километров пятьдесят будет. А этот бросили.

— Почему? Дома крепкие, тайги вокруг много. Зачем же такое добро бросать? Смотри, какие дебри вокруг. Ноги не протащишь!

— Эту тайгу нельзя брать.

— Да почему? — повысил голос Коньков.

— А все потому... Я ж тебе говорил: кедры порубили, ель да пихту взяли. Остались ильмы, да ясень, да орех. Они тяжелые, их сплавлять нельзя — тонут. А дороги нет. Такой порядок завели.

— Ничего себе порядок! Заломали, захламили тайгу, бросили хороший поселок и поперли на новые места. Рупь кладем в карман — червонец в землю втаптываем. Порядок!

— Ты что, первый раз видишь такое дело? — с усмешкой спросил Кялундзига. — Разве там, на Бурлите, не такое ж дело?

— Я там уже пять лет не был...

— Какая разница?

— Так в том-то и беда, что годы идут, а безобразия эти повторяются. Как увидишь — душу переворачивает.

— Такое дело запрещено законом. Точно говорю! Это выборочной рубкой называется. Ты кто? Ты есть человек закона. Правильно говорю?

— Ну? — согласился Коньков.

— Вот и запрети такое дело.

Коньков только рукой махнул с досады.

— Эх, Соза! Наивный ты человек... Как ребенок.

— Я ребенок? А ты большой? Тогда поясни, почему такое дело видишь, ругаешься, плюешься, а наказать за такое безобразие не хочешь?

— Ну кого я накажу? Да разве мне этот леспромхоз подчиняется? Я только за жуликами гоняюсь да за хулиганами.

— А разве такое дело не хулиганство, понимаешь?

Так они, переругиваясь, шли по улице заброшенного поселка, по ветхому дощатому тротуару, сквозь щели которого прорывался наружу кустарник; а вокруг ни живой души, ни дымка из трубы, ни собачьего лая, ни петушиного крика.

И вдруг навстречу им вышел невысокий широкоплечий мужичок с ружьем за спиной, словно из-под земли вырос, как дух лесной.

— Откуда он взялся? — удивился Коньков.

— А это пасечник наш, Пантелей Иванович, — сказал Кялундзига.

— Ты же говорил, что пасечник — удэгеец!

— Это старший над ними.

Они поравнялись с пасечником, поздоровались.

— Мы к вам по делу, — сказал Коньков. — Здесь, неподалеку от вас, заготавливал лес Чубатов. Вы, наверное, встречались с ним, видели его работу?

— Я сижу на дальней пасеке, километров за десять отсюда. А здесь — мой подручный Сусан. Он хорошо знал Чубатова. Пойдемте!

И опять еле заметная тропинка на месте прогнившего тротуара, заросшего бурьяном да кустарником, и пустынная мертвая улица.

— Пантелей Иванович, как вы тут живете? — спросил Коньков. — Страшно, поди?

— Привыкли. А чего бояться?

— Зверье кругом, медведи и тигры, поди, есть?

— Есть и медведи, и тигры. Самка с двумя тигрятами прижилась тут. Холостячка. Лет четырех-пяти. Эта не балует. Но зимой пришел самец. Здоровенный! След — фуражкой не накроешь. Этот хулиган. Двух собак на пасеке стащил. Сусан боится его. Вот я и пришел попугать этого хулигана. Надо отогнать его.

— И вы видели тигров? — спросил Коньков.

— Частенько. Иной раз идешь — и чуешь спиной: он сидит в зарослях и за тобой наблюдает.

— Так ведь бросится со спины-то?

— Э, нет. У меня и на спине есть глаза. Я его встречу будь здоров. Он это чует.

— Ну, брат, вы с ними, с тиграми-то, как с соседями живете, — сказал Коньков, усмехаясь.

— Да вроде того, — охотно согласился тот. — Почти каждую неделю общаемся. Одни мы тут. То он у меня кабана убитого украдет. А то, случается, и я у него беру. Намедни он двух кабанов задавил, одного сожрал, а другого на ужин оставил. А я говорю — это непорядок, обжираться-то. Взял у него того кабана и на пасеку уволок. Так что взаймы берем друг у друга, — идет, рассказывает да посмеивается.

Таежная пасека на обширной лесной поляне появилась перед ними внезапно; выйдя из густых зарослей жимолости и кипрея, они очутились перед длинным приземистым омшаником, за которым в стройном порядке раскинулись, словно четырехгранные кубики, желтые и синие ульи. Тут же, под навесом, стоял верстак, на нем лежали чисто оструганные дощечки, под ним — куча свежих стружек. А над верстаком, на бревенчатой стене, висели распертые белыми палочками две тушки кеты, уже чуть привяленные на солнце, с красновато-желтым отливом на нутряной полости проступившего жира.

Пожилой удэгеец с седеющей, коротко стриженной головой и ершистыми усиками, склонившись над выносным столиком, черпал деревянной ложкой из тузлука красную икру и бросал ее в обливную чашку.

— А вот вам и Сусан, — сказал Пантелей Иванович, приподняв кепочку, и подался восвояси, исчезнув в таежных зарослях так же внезапно, как и появился.

Сусан подошел, чинно поздоровался с Кялундзигой и Коньковым. Из раскрытых дверей омшаника выглянула старуха в черном халате и с медной трубочкой в зубах и снова скрылась.

— Рыбачил? — спросил Кялундзига, кивнув на икру.

— Худо совсем, — ответил Сусан. — Утром ходил — всего две кеты взял. Нет рыбы! Юколы не будет, что зимой есть будем? Чем собачек кормить?

— Да у тебя и собачек-то нет, — сказал Коньков. — Тигр утащил, говорят?

— Ай, беда! — покачал головой Сусан. — Куты-Мафа вчера приходил. Его одинаково как вор. Ночью приходил. Два улья повалил. Собачки побежали, гав, гав! Я думал — медведь. Ружье взял. Выбегаю — нет никого. Что такое? Побежал туда, дальний конец пасека. Смотрю — след у ручья. Большой! Куты-Мафа оставил. И собачек нет. Ой, беда! Плохой тигр. Так нельзя делать. Мы соседи с ним одинаково. Зачем собачек таскать? Пантелей его накажет за такое дело.

Он водил их в дальний конец пасеки, показывал огромный, как сковорода, отпечаток тигриного следа на сырой и черной земле. Все головой качал. И вдруг зычно и гортанно крикнул через всю пасеку:

— Алимдя! Кушать давай! Га!

Из дальнего омшаника опять выглянула старуха и, вынув изо рта трубочку, спросила его что-то по-удэгейски.

— Все давай! Все! На стол неси. Га! — покрикивал Сусан.

Старуха попыхала дымком из трубки и скрылась в темном дверном проеме.

Пока они ходили по пасеке, осматривали ульи и слушали, как Сусан ругал за нахальство Куты-Мафу, Алимдя накрыла на стол и пригласила их обедать.

— А у вас служба поставлена, — сказал Коньков, глядя на дымящуюся полную сковороду с темным жареным мясом, на миску с икрой, на тарелку с темно-зеленой обмытой черемшой. И глиняная поставка с медовухой стояла посреди стола.

— Женщина свое дело знает, — заметил Кялундзига. — Наши люди так говорят: если женщина плохо делает, виноват хозяин.

— Почему?

— Учил ее плохо. Вот и виноват, — посмеивался Кялундзига.

— Что за мясо? — спросил Коньков, присаживаясь и поддевая вилкой прожаренный до темноты кусок.

— Кабан, — ответил Сусан.

— Тот самый, что приволок Пантелей Иванович?

— Ага! — радостно закивал Сусан.

— Значит, Пантелей Иванович у тигра взял кабана без спросу, а тигр взял у вас собак не спросясь. Вроде бы у вас продуктообмен получился, — сказал Коньков и засмеялся.

— Сондо! Нельзя, — строго сказал Сусан.

— Сондо, сондо! — подхватила и старуха, присевшая на чурбак, поставленный на попа.

— Что это значит? — спросил Коньков.

— Нельзя про тигра говорить, да еще смеяться, — пряча улыбку, сказал Кялундзига.

— Нельзя, нельзя, — всерьез подтвердил Сусан. — Куты-Мафа ходи здесь там и слушай, — указал он на лесные заросли. — Нехорошо! Его обижайся. Ночью опять придет. Охотиться мешать будет, — с озабоченностью на лице говорил Сусан, разливая по берестяным чумашкам медовуху.

— Разве он по-русски понимает? — пытался отшутиться Коньков.

— Куты-Мафа все понимает. — Сусан поднял чумашку, похожую на ковшик, и выпил медовуху.

— А ты знаешь: здесь, на реке, Гээнта умер? — сказал вдруг Коньков, пытаясь вызвать удивление Сусана.

— Конечно, знай, — невозмутимо ответил тот.

— Ты видел, как Гээнта проходил на оморочке? — с надеждой спросил Коньков.

— Когда человек пошел умирать, нельзя глядеть. Нехорошо, — ответил Сусан и добавил: — Сондо!

— Почему? — с досадой спросил Коньков.

— Зачем мешать, такое дело? — сказал Сусан.

— А кто виноват в его смерти?

— Никто.

Разговор зашел в тупик. Конькову помог Кялундзига:

— Сусан, — сказал он, — когда ты встретил Гээнту, ты ведь еще не знал, что он идет умирать?

— Не знал, такое дело, — согласился Сусан.

— Значит, ты можешь рассказать капитану, о чем вы говорили.

— Такое дело, могу рассказать.

— Пра-авильно, Сусан! Мне и не надо знать, что он умирать шел, — обрадовался Коньков. — Ты расскажи, что он тебе насчет лесного склада говорил?

— Говорил — беда! Склад загорайся...

— А что он про своего начальника говорил? Про Бобрыкина? Не ругал его?

— Зачем ругай? Хороший, говорил, начальника, водка давал. Сам уходил на запань, Гээнта лег юрта покурить, засыпал немножко.

— Погоди! — остановил его Коньков. — Скажи мне, Гээнта наркотик курил?

— Курил, такое дело, если кто-нибудь давал.

— У него свой мак есть? Огород в тайге есть у него?

— У Гээнта нет огород.

— Понятно... Ну, так что дальше? Уснул он в юрте...

— Уснул немножко. Трубочка его падай изо рта — пожар делай. Проснулся Гээнта — юрта гори, склад гори... Ах, беда! Его ходил оморочка, брал шест и толкай, толкай до сопка Банга. Помирать надо. Тут, говорит, все болит. Шибко болит! — Сусан прижал ладонь к груди. — Плохо делал. Надо Банга просить, чтобы не наказывал его.

— А это что за Банга? — спросил Коньков Кялундзигу.

— Есть такое удэгейское поверие или сказка, — ответил тот. — На вершине той самой сопки Сангия-Мама́, наш главный бог, вырыл чашу и наполнил ее водой. Озеро там, понимаешь. И будто в том озере, на дне, есть небесные ракушки — кяхту. Кто эти ракушки достанет, тот будет са-

мый богатый и сильный, как Сангия-Мама. И вот смелый охотник Банга решил достать кяхту для своей невесты Адзиги. Он нарезал ремни из камуса, сплел лестницу и влез по скале на ту сопку. Озеро там глубокое, и вода будто ядовитая. Мне геологи говорили. И вот Банга нырнул на дно за кяхту и не вынырнул. Старики так говорят — Сангия-Мама взял Банга к себе, потому что он был храбрый и честный. И с той поры Банга живет на Большом перевале в самых лучших лесах и отводит туда души умерших охотников. Вот почему старики, когда подходит смерть, идут к сопке Банга.

— А что же невеста его? — спросил Коньков.

— Адзига? Она, понимаешь, пришла к сопке и стала стучать в нее кулаками. Кричала, плакала, просила Сангию-Мама отпустить Банга. Много плакала, в реку превратилась и все еще и теперь стучится в сопку, шумит.

— Н-да... — Коньков только головой покачал. — Сусан, а бригадира Чубатова ты знаешь?

— Конечно! Хороший человек. Бывал у меня. Гость богатый...

— А ты видел, как он плоты вязал?

— Видел, такое дело.

— Откуда он брал топляк? Как из воды он лес доставал?

— Кран приходил. Люди были. Наши охотники. Тоже помогай, такое дело. Чубатов всем деньги давал. Хорошо платил! Пиво привозил! Целая бочка! Хорошо. Все пили! Его наши люди называют Лесной Король.

— Вы ему выделяли людей? — спросил Коньков Кялундзигу.

— Специально нет. Я слыхал, что он топляк подымал. Ну, кто из охотников был свободен, помогал. Зимой лошадей давал, бревна вывозить на санях.

— А Боборыкин не давал ему леса со склада?

— Я не знай, — ответил Сусан.

— Ну что ж, спасибо и на этом, — сказал Коньков, вставая, и хозяйке: — Спасибо за угощение! Все было вкусно.

Та согласно кивнула головой и выпустила целый клуб дыма изо рта.

— Куда теперь поедем? — спросил Кялундзига.

— Заедем на место заготовки... На притоку Долгую. А потом к Боборыкину, на склад.

9

На лесной склад приехали уже в сумерках. Их поджидал Голованов; он сидел на берегу возле удэгейского бата, на котором отвезли Гээнту, курил.

— Успели застать врачей? — спросил его Коньков.

— Застали.

— Что ж врачи сказали?

— Говорят — разрыв сердца. Перетрудился. Оно конечно... На шесте вверх по реке дойти туда не шутка. К тому ж он был выпимши. Вот оно и не выдержало, сердце-то.

— Вот что, мужики, — сказал Коньков, беря под руки Голованова и Кялундзигу. — Положа руку на сердце, скажите мне откровенно: сколько надо заплатить, чтобы снять плоты, то есть разобрать их и перегнать через перекаты?

— Осыпь ты всех золотом — и то не успеют перетащить до морозов, — ответил Голованов.

— А ты что скажешь, Соза Семенович? Ведь району позарез нужен этот лес. В степи живут люди. Вы понимаете?

— А почему нет? Конечное дело... Но помочь может только Сангия-Мама, — усмехнулся, — если пошлет много хороших дождей. Но я, понимаешь, не Сангия-Мама. Помочь не могу.

— Жаль, очень жаль, — сказал Коньков.

Из уцелевшей дощатой конторки вышел к ним Боборыкин. Он опять держался с достоинством, — в тех же хромовых сапожках, при галстуке, и щеки сияют, будто луком натерты.

— Слыхали, капитан? Умер Гээнта, своей смертью умер. — Боборыкин, шумно вздыхая, с сожалением качал головой. — Жаль старика! Такой был добрый, безропотный человек.

— Ага, пожалел волк кобылу, — ответил Коньков.

— Я вас не понимаю. — Брови Боборыкина поползли на шишковатый лоб.

— Пойдемте в контору, я вам растолкую. — И, обернувшись к Кялундзиге, сказал: — А вы ступайте домой. Не ждите меня.

— Ночевать приходи! — сказал Кялундзига.

— Приду, обязательно. — И опять Боборыкину, повелительно указывая на конторку: — Прошу!

В дощатой конторке, похожей на ящик, поставленный

на торец, был маленький столик, железный сейф с документами и две табуретки. Они сели за столик на табуретки, нос к носу.

— Ну, так в чем же вы меня обвиняете, капитан? — спросил Боборыкин с терпеливой готовностью выслушать все что угодно.

— Вы были пособником смерти человека.

— Какого человека? Того самого? — кивнул он в сторону реки.

— Да. Вашего сторожа.

— Но вам же сказал Голованов: Гээнта умер естественной смертью. Так решили доктора. Экспертиза! — с горьким укором растолковывал Боборыкин.

— Вы с ним пили?

— Выпивал. Ну так что? Водка же не яд.

— А кто ему давал эту смесь? Вы? — Коньков вынул трубочку Гээнты. — Это что?

— И что? На той хреновине тоже остались отпечатки моих пальцев? — горько усмехнулся Боборыкин.

— Мы докажем это иным путем. Это ваш наркотик.

— Нет, не мой. И ничего вы не докажете: Гээнта мертв.

— Ну, это мы еще посмотрим!

— А чего смотреть? Дело кончено.

— Скажите какой проворный! Думаете, все концы упрятали в воду?

— Не надо сердиться, капитан. Мне прятать нечего. Я весь тут. Что вас интересует? Все выложу начистоту.

— Какой вы старательный и чистосердечный, — криво усмехнулся Коньков.

— Опять сердитесь. Значит, вы не правы, капитан. А я вот спокоен, значит, прав. Ну, что вам дался этот Гээнта? Умер старик, смерть подошла, вот и умер. И не надо клепать мне дело. Ведь не за этим вы сюда приехали.

— И вы знаете, зачем я приехал?

— Знаю или догадываюсь... Не все ли равно. А приехали вы затем, чтобы найти виноватого — кто посадил плоты и оставил без леса целый район.

— Кто же?

— Известно. Иван Чубатов, наш Лесной Король.

— И за что избили его, тоже вам известно? И кто?

— Конечно. Избили его рабочие. За то, что он их оставил фактически без зарплаты.

— И сколько вы продали ему леса и по какой цене? Это вы тоже скажете?

Боборыкин огорчительно развел руками.
— Этого я вам не скажу, капитан.
— Ну что ж, другие скажут.
— Капитан, вы же опытный человек. Неужели я похож на мелкого жулика, который днем со своего лесного склада будет отпускать лес налево?
— Мудер, мудер. Но смотрите не перемудрите.
— Капитан, я простой советский труженик. Единственно, что мог бы я недоглядеть — это либо излишки на складе, либо недостачу. Такое бывает. Но склад сгорел. Теперь все, что есть в бумагах, — он прихлопнул лежавшую на столе папку ладонью, — то и было на самом деле. Но я человек откровенный — все, что вас интересует — расскажу.
— Почему Чубатов запоздал со сплавом?
— По причине собственной алчности. В июле еще держалась в реке хорошая вода. Лес был у них заготовлен, тысячу с небольшим кубов. Ребята торопили его со сплавом. Но на него жадность напала. Мало тысячи — две пригоним!
— С чего бы это охватила его такая азартность?
— А-а? Видите ли, капитан, была при нем одна особа, которую он грозился озолотить.
— Дарья? Ваша бывшая жена?
— И это вы знаете. — Утвердительным наклоном головы он как бы упреждал очередные вопросы на эту тему. — Хорошо с вами беседовать, капитан. Не надо отвлекаться на пустяки. Итак, о деле. К примеру — пригони бригада тысячу двести кубов лесу — каждый получает тысячи по две рублей на руки. А если две тысячи кубов? То оборот другой, особенно для бригадира: во-первых, двадцать пять процентов премиальных, да столько же за бригадирство, да плюс к тому сплав, себестоимость... Ну, Чубатов рассчитывал заработать тысячи четыре чистыми. Вот он и договорился с работниками запани: пригнали они кран и пошли ворочать — почти месяц таскали топляк. Плоты связали тяжелые, а тут еще вода спала. Они и остались на мели.
— А вы в этой ловле не участвовали?
— Мне-то она зачем? Я не охотник до больших денег. А деньги он кидал большие. Платил всем направо и налево, угощал, поил... Широкая натура! Все, мол, время спишет. Победителей не судят. Вот что он теперь скажет? Каким голосом теперь он запоет? Кто ему спишет такие

деньги на топляк? А там еще тросы, канаты, сбруя, лошади! Он одних саней да подсанок у Голованова взял, поди, на полтыщи рублей. И все — под голую расписку. Кому нужны теперь эти расписки? Подай накладные. А где их взять? Ох, не завидую я Ивану Чубатову. Не завидую...

10

Чубатов выписался из больницы на третий день здоровым и веселым, как сам про себя любил говорить. Кровоподтеки на скулах и щеках теперь сходили за бурые пятна неровного загара; волосы вились и путались на ветру, кожаная курточка туго обтягивала плечи, ноги сами бегут. Держи, а то расшибуся!

В таком-то бесшабашном состоянии духа мигом проскворил он вечереющими улицами пыльного Уйгуна, вышел на луговой откос, где на берегу небольшого озера стояли новые двухэтажные дома, постучался в торцовый подъезд, где жила Даша. Сверху в окно выглянула старуха, сказала весело:

— Эй ты, король червей! Эдак ты своим чугунным кулачищем и дверь в щепки разнесешь.

— А где Дарья?

— Ды где? Чай, на работе. Отчет гонит. У них же конец месяца.

— Фу-ты, ну-ты, лапти гнуты... — Чубатов спрыгнул с крыльца и помотал к центру города.

Дашу застал он в райфо за конторским столом. Она как-то торопливо, словно чего-то испугавшись, спрятала свои бумаги в стол и, не целуясь, не обнимаясь, хотя в кабинете за другими столами никого уже не было, повела его за руку, как маленького, на выход.

— Ты чего, иль не рада мне, изумруд мой яхонтовый? — опешил Чубатов.

— Пойдем! Начальник еще здесь. Может выйти в любую минуту.

Они вышли на безлюдную улицу. Кое-где в окнах уже вспыхнули огни. Тишина и пустынность. Даша, взяв его под руку, все так же торопливо уводила подальше от своей конторы.

— Ты говорила с начальником райфо? — спросил Чубатов, догадываясь о какой-то неприятности.

— Говорила. Его как будто подменили. Или кто настроил, не знаю...

— А что такое?

— Показала ему твои расходные списки, он и не смотрит. Это, говорит, не документы.

— Что он, с луны свалился? — гаркнул Чубатов, останавливаясь. — Я ж по ним пять лет отчитывался!

— Пойдем, пойдем же! — тянула она его за руку. — Еще не хватало, чтобы к нам зеваки стали подходить.

— Да чего ты боишься?

— Я ничего не боюсь. Пошли! — увлекала она его за собой. — По дороге и поговорим.

— Что с ним? Какая муха его укусила?

— Не знаю. Какой-то он дерганый. Кричит! Что вы мне подсовываете? Это на твои расписки. Четырнадцать тысяч рублей по филькиной грамоте я не спишу!

— Я же меньше десяти тысяч ни разу не расходовал. Ни разу! — повысил голос Чубатов.

— Да не ори ты, господи! — Даша оглянулась — нет ли кого.

— А пригонял я по тысяче двести, по полторы тысячи кубов, — грохотал Чубатов, не обращая внимания на ее одергивания. — А теперь я заготовил две тысячи. Разница!

— И я ему это же говорю. А он мне — вот когда пригоните их в Уйгун, тогда и расходы спишем.

— Я ему что, Сангия-Мама? Удэгейский бог? Дождем я не повелеваю и рекой тоже.

Они приостановились возле освещенного ресторанчика, откуда доносилась приглушенная музыка.

— Зайдем, Дашок! В этой больнице кормили меня кашей-размазней и пустой похлебкой. В брюхе урчит, как на речном перекате.

— Я тоже проголодалась, — согласилась она. — Сегодня толком и пообедать не пришлось. Торопит начальник с месячным отчетом.

В ресторане публика еще только набиралась, но оркестр уже сидел на своем возвышении справа от входа. Увидев Чубатова, оркестранты заулыбались и оборвали какой-то ритмический шлягер. Черноголовый худой ударник с вислым носом привстал над барабаном, грохнул в тарелки и крикнул:

— Да здравствует Лесной Король!

И оркестр с ходу, по давнему уговору, рванул «Бродягу». Это был входной музыкальный пароль Чубатова, который он всегда щедро оплачивал.

— Спасибо, ребята! — трогательно улыбнулся Чубатов и протянул им пятерку: вынул ее из заднего кармана, не глядя, как визитную карточку.

Присаживаясь за столик, Даша сказала ему:

— Ты шикуешь, как будто уже премию получил.

— А-а, помирать, так с музыкой, — скривился Чубатов и жестом позвал официантку.

Та поспела одним духом.

— Значит, фирменное блюдо — изюбрятину на углях, ну и зелени всякой, сыру... Ты что будешь? — перегнулся к Даше.

— Как всегда, — ответила та.

— Тогда все в двойном размере. Бутылочку армянского и две бутылки «Ласточки».

Официантка, стуча каблучками, удалилась.

Даша опять озабоченно свела брови и подалась к Чубатову:

— Я говорю ему — лес заготовлен, в плоты связан. Никуда не денется. И кто его там возьмет? Кому он нужен? Медведям на берлоги?

— А он что?

— И слышать не хочет. Меня, мол, этот лес не интересует, поскольку я финансист и слежу за соблюдением закона.

— Что ж такого сделал я противозаконного? — вспыхнул Чубатов.

— И я ему — то же. Расходы, говорю, не превышают нормативный коэффициент. А он мне одно твердит — подайте накладные. Где наряды? Где оформленные заказы? Ну, ведь не скажешь ему, что на бросовый топляк наряды водяной не выпишет. И накладные не подпишет. Лучше об этом топляке и не говорить.

— Почему не говорить?

— Потому что он может подумать бог знает о чем. Скажет: чем вы там вообще занимались?

— Да пожалуйста, пусть расследует. Мне скрывать нечего. Но что-то он утвердил? Какие расходы считает он оформленными?

— Только те закупки, что вела я. Всего на две тысячи двести рублей.

— Да что он, спятил? Ты говорила ему о райисполкоме? Намекала, что с председателем это было согласовано? Да не первый же год, черт возьми!

— Говорила, говорила... Не действует. Боюсь, что

они уже виделись с председателем... и договорились.

— Не может быть! — воскликнул Чубатов.

— А-а! — Она только рукой махнула.

Подошла официантка, поставила на столик бутылку коньяка и две бутылки приморской минеральной воды «Ласточка», поставила тарелки с огурцами и красными помидорами, сыром, спросила:

— Еще ничего не надо на закуску?

— Потом, потом, — сделал ей знак Чубатов, не глядя. Та отошла, а он подался грудью на стол, к Даше.

— А ты не преувеличиваешь? Не паникуешь?

— Нет, Ваня... Он даже грозился по твоему адресу. Уголовное дело, говорит, впору заводить.

— Ну, уж это — отойди прочь! Он еще мелко плавал! Чубатов налил коньяку в рюмки.

— Ладно, хватит о делах... Давай выпьем! — поднял рюмку. — Все-таки мы с тобой почти неделю не виделись. За встречу, дорогая моя касаточка! За тебя.

Выпили...

Закурил, говорил, бодрясь:

—Эх, изумруд мой яхонтовый! Мы еще с тобой разгуляемся. Мы еще на солнце позагораем. В Крым съездим, а то на Кавказ. Там сейчас бархатный сезон, осень золотая, море синее...

— На какие шиши съездим?

— Достану я денег. Экая невидаль — деньги. Суета и прах — вот что такое деньги.

— Где ж ты их возьмешь?

— Где возьму? Ты знаешь, сколько я леса поставил одному Завьялову? А?! Два скотных двора срубил он из моего леса, десять домов, магазин... Что ж ты думаешь, Завьялов не даст мне взаймы какую-то тысячу рублей? Да он две даст, если попрошу.

Даша молчала, кротко глядя перед собой.

— Ну, выпьем за море! — чуть подтолкнул он ее в плечо. — За синее, за Черное! Будет у нас еще праздник, будет!

Он налил по рюмке, выпили.

— Давай потанцуем!

Только он встал, подал Даше руку, не успели от стола отойти, как оркестр опять грянул «Бродягу». И оркестранты и посетители обернулись к Ивану Чубатову и стали просить его:

— Иван, спой!

— Ваня, песню!

— Оторви и брось!

— Гитару ему, гитару!

Из оркестра подали Чубатову гитару, и все смолкли. Он как-то изменился в лице, побледнел весь, поднялся на оркестровый просцениум, ударил по струнам и запел.

О Сангия-Мама! Сангия-Мама.
Я поднялся к тебе на Большой перевал...
Я все ноги разбил, я все путы порвал.
Я ушел от людей, я им вечно чужой —
С независимым сердцем и вольной душой.
О Сангия-Мама! Сангия-Мама!
У тебя на вершинах кочуют орлы
И снега не затоптаны — вечно белы.
У тебя без прописки живи — не тужи,
И не надо в награду ни лести, ни лжи...

Даша слушала, повернувшись от столика, глядела на Чубатова широко раскрытыми, блестевшими от возбуждения глазами и не замечала, как навертывались слезы и катились по щекам ее.

11

Иван Чубатов считал себя временным жителем Уйгуна. Он жил здесь месяца два, от силы три, остальное время в тайге, да еще в Приморске. Такая сезонная маета ему, кочевому человеку, была по душе. В Приморске он снимал комнату на Пекинской улице в бывшем китайском квартале, где, по рассказам, когда-то темные замкнутые дворики оглашались пьяными криками и визгливой китайской музыкой из ночных притонов.

Его воображение рисовало потешные картины шумного портового города той стародавней поры: веселые ватаги заморских матросов в окантованных бескозырках с бантиками на боку, в черных блестящих смокингах морских капитанов с шикарными красавицами в злаченых ложах двухъярусного ресторана «Золотой рог», а в ночных шалманах китайского квартала на низеньких сценах, освещенных разноцветными фонариками, китайских да японских танцовщиц в красных кимоно, с роскошными опахалами-веерами из черных страусовых перьев — точь-в-точь какие висели у него, прикнопленные на стенах, выдранные из старых японских журналов, — всю ночь напролет танцевали свои загадочные и влекущие танцы.

«Над городом ветра и снега прибой, и всходят над городом рыжие луны... А ты мне приснилась желанной такой, как в белом наряде голландская шхуна», — любил он декламировать где-то прочтенное и переиначенное им четверостишие. Он был поэтом и посему часто жил в иллюзорном мире.

Эта привычка к сочинительству и беззаботной жизни появилась у него на флоте. Тамбовский парень, окончивший строительный техникум, попал на Тихий океан в начале шестидесятых годов, когда стихия сочинительства от расхожих анекдотов до забористых частушек и дерзких песенок под нехитрое бренчание гитары охватила и старого и малого. Столичные менестрели и барды, как полые воды, как зараза, проникали без всякого на то дозволения в самые отдаленные и глухие места провинции, вызывая к дерзкому сочинительству бесчисленных поклонников и подражателей. Ражий и музыкально одаренный парень Иван Чубатов, поклонник Джека Лондона и Булата Окуджавы, быстро научился перекладывать на музыкальный речитатив под гитарный аккомпанемент забавные матросские пародии на классиков: «Дела давно минувших дней, как в довоенной обстановке. Владимир с ротою своей однажды завтракал в столовке». А потом стал сочинять.

С той поры и повело его на «уклонение от службы», как сам он говаривал. Мичманская карьера сверхсрочника закрылась перед ним из-за «потери авторитета в результате безответственных выступлений на неорганизованных вечерах». Демобилизовался в звании старшины первой статьи.

Поступил в пединститут и два года усердно посещал лекции и литературные кружки при всех газетах и даже при Союзе писателей. Стихи его называли традиционными, слишком простыми, говорили, что теперь так не пишут, что поэт эпохи НТР должен видеть мир иррациональным, сдвинутым с места и даже перевернутым вверх дном. Везде одни пятна да углы. Даже груша имеет три угла. А у вас, мол, гейши да голландские шхуны. Старо.

Не выдержал Иван литературной бурсы, перешел на заочное отделение и подался на краболов. Сезон целый прожил в этом плавучем гареме, как зовут краболовное судно моряки. Триста пятьдесят красавиц и дурнушек, собранных со всех концов света, приехали сюда не столько ради накопления денег в долгом рейсе, сколько при тайном намерении найти счастье хоть в море и кончить мыкать

свое одиночество. Бедные доверчивые души! Разве знали они, что на краболове их собираются многие сотни на двадцать мальчиков команды, среди которых большая часть отпетых мерзавцев «по части клубнички», как говаривали в старину. Нагляделся там Иван на потешные развлечения, наслушался проклятий и рыданий.

В тайгу потянуло, где вековая тишина... Увы, и там ее не нашел. Сперва подрядился строить поселок лесорубов в должности мастера. Вспомнил свою первую профессию. Рабочие подобрались — ух! Едят за двух, за день отсыпаются, а ночью слоняются. То теса нет, то кирпича нет, то извести, то цемента. Не работа, а сплошные побирушки да выколачивание строительных материалов и поиски рабочих. Не успеешь нанять его, глядь — он уже рассчитывается. Вот здесь, в тайге, Чубатов и присмотрелся к редким старателям вольных лесозаготовок. А через год и сам стал брать подряды от Уйгунского района.

Эта работенка пришлась ему по душе. Здесь все зависит от самого себя, от собственной расторопности и смекалки. И потом, великое дело — воля. Отработал в тайге семь-восемь месяцев, и свободен как птица. Достаток позволял и в Приморске жить, и на Кавказ слетать, а то и в Крым. Да куда хочешь! Ему пути не заказаны. Душа веселья просит — веселись. Учиться хочешь уму-разуму? Учись. Правда, с этим делом он не больно продвинулся — за пять лет заочного студенчества успел подняться до четвертого курса. А куда с этим делом торопиться? В педагоги Иван не рвался. Хотя Даша не раз и намекала ему: пора, мол, костям на место.

К Дарье привязался как-то нечаянно. В прошлом году пришел отчитываться в райфо и в коридоре встретился с ней: на плечах ее зеленый, в красных бутонах японский платок, по нему целый водопад распущенных черных волос аж до пояса, и с лица хоть картину рисуй — эдакая волоокая душечка, улыбка во весь рот, и зубы ровные, как кукурузный початок. С ходу предложил ей полет на Кавказ с остановкой в лучших отелях Черноморского побережья. Она только рассмеялась и, как-то внезапно изменившись, хмуро посмотрела на него и пошла к себе в кабинет. На пороге он догнал ее: «Послушайте, я вовсе не шучу. Вы мне очень нравитесь». — «Оставьте меня с вашими глупостями! Покоритель сердец...» — и сердито захлопнула дверь перед его носом.

Чубатов узнал потом, что у нее не ладилось с мужем и она хлопотала о разводе.

Теперь Даша не на шутку была расстроена внезапными угрозами начфина и чуяла, что здесь кто-то умышленно заваривает кашу. Уж не бывший ли муженек ее старается? У него в районе осталось много влиятельных дружков, и он человек мстительный.

Чубатов успокаивал ее, обещал сходить с самого утра к председателю райисполкома и все уладить. Они же почти друзья. Сколько раз выручал их Чубатов с лесом? Неужели они оставят его в беде? Да быть этого не может!

Успокаивал ее, а у самого кошки на душе скреблись. Он даже созвонился с Лелечкой, с секретаршей, просил устроить так, чтобы никого с утра у председателя не было:

— Вообрази на минуту, что к тебе придет сам Бельмондо!

— Все будет как по заказу! — ответила та.

И слово сдержала. Она встретила его на пороге приемной — светленькие завитушки, белая кофточка, подпоясанная узким черным ремешком, и коричневые брючки.

— Все как по заказу! — повторила она ту же самую фразу, протягивая ручку. — Хозяин на месте.

— Один?

— А как же! К нему сунулся было председатель райпотребсоюза, а я ему — номер занят. Ха-ха-ха! Он говорит: я подожду. А я ему: ждите, с минуты на минуту «сам» придет. На секретаря намекнула. Приятной компании, говорю, втроем. Он сразу на попятную. Извести, говорит, когда горизонт прояснится. Ха-ха-ха!

— Молодец, Лелечка! Я тебе привезу из Крыма коралловые бусы.

— За эти бусы мне Дашка глаза выцарапает.

— Хорошо. Прихвачу еще защитные очки.

— По мне, так лучше песню. Говорят, вчера ты здорово пел.

— Ну что ж, песню так песню. Я в долгу не останусь. — Он потрепал ее королевским жестом по волосам, по щечке и прошел к председателю в кабинет.

Тот встретил его как брата — руки вразлет, словно обниматься шел.

— Иван Гаврилович! Рад видеть, рад. Проходи к столу, дорогой. — Председатель исполкома, еще относительно

молодой, но грузный человек с двумя подбородками, одетый в светлый костюм цвета какао с молоком, предупредительно поздоровавшись, усаживал гостя: — Вот сюда, в кресло. Давненько не виделись, давненько, — говорил и все улыбался, садясь на свое председательское место.

— Обыкновенное дело, Никита Александрович. Наши рейсы дальние, — отвечал и Чубатов, так же вовсю улыбаясь. — Мы, как моряки, в большом каботаже.

Каждый из них под этой улыбкой прятал тревогу, поэтому глаза их смотрели пытливо и настороженно: чем ты меня огорошишь?

— В этом году вы что-то припозднились, Иван Гаврилович.

— Зато взяли две тысячи кубов, Никита Александрович.

—Это хорошо... А где же плоты?

— К сожалению, все еще там... На месте.

— Жаль, жаль...

Улыбки кончились, лица потухли. Председатель взял сигарету, протянул пачку Чубатову, закурили...

— Мы просто задыхаемся без твоего леса. Завьялов каждую неделю звонит — у него к зиме новый коровник строится. Столбы, перекладины — весь каркас поставили из железобетона, а стены бревенчатые, по типу шандоров. Ну и сам понимаешь... Стала стройка.

— Я для него четыреста кубометров заготовил.

— Он тебе в ножки поклонится. — Никита Александрович в упор и строго посмотрел на Чубатова. — Но как доставить эти кубометры? Ты можешь что-то предпринять? Ну хоть посоветуй!

Чубатов, потупясь, тяжело выдавил:

— Боюсь, что до весны лес не притянем. Дорог нет. Осталось только одно — ждать большой воды.

— То-то и оно... — Никита Александрович побарабанил пальцами об стол, отрешенно глядя в окно. — Вот так номер! И как ты ухитрился обсушить плоты?

— Кто знал, что в августе будет засуха?А весь июнь-июль вода держалась высокой. По нашей-то нужде не хотелось налегке возвращаться.

— Так-то оно так. Да вот видишь, что получилось. Где твои люди-то? Вербованные?

— Четверо на запани осталось, шесть человек подались в леспромхоз. А двое где-то здесь болтаются. Для связи — на случай, если деньги дадите.

— Окончательный расчет, что ли? Откуда взять деньги-то? Мы же не можем твой лес на баланс поставить? Он пока ничей... Обесценен. Вот когда пригоните его, тогда будет и окончательный расчет, и премиальные, и все такое прочее.

Чубатов, слушая эти слова, все ниже опускал кудлатую голову. Потом сказал с глухой обидой:

— Вот не ожидал, Никита Александрович. Но хоть расходы списать по заготовке леса сможете? — Он достал из кармана толстый бумажник, раскрыл его, положил на стол.

— Здесь было множество мятых бесформенных расписок, сделанных на тетрадных листках, на блокнотных листочках и просто на клочках бумаги.

— Сколько у вас расходов-то?

— Шестнадцать тысяч с небольшим. Две с половиной тысячи в райфо списали. Осталось четырнадцать!

— Подходящая сумма...

— Так ведь две тысячи кубов заготовлено! — с горечью и силой сказал Чубатов. — Я же не вру.

— Понятно, понятно! — Никита Александрович озабоченно опустил на грудь голову, выдавливая еще и третий подбородок. — Только на чей счет мы теперь запишем эти четырнадцать тысяч?

— Половину спишет райфо на зарплату лесорубам. А семь тысяч погасит Завьялов, как обычно, на такелаж спишет. Я ж ему четыреста кубов заготовил!

— Но пока лесу у него нет.

— Так будет! Куда он денется? Подтвердите, что лес заготовлен. Если хотите, пошлите туда комиссию, обмерят плоты, обсчитают.

— Комиссию послать — дело нехитрое. Но финансами своими распоряжается сам Завьялов, а не я. Понимаешь?

— Понимаю, как же! Не первый год так делаем. Вы ему визируете, чтобы оплатил такелаж. Он оплатит, то есть принимает расходы. Лес-то ему идет. И другим занаряжаете таким же образом.

— Тебе придется самому съездить к нему и договориться, — карие глаза Никиты Александровича смотрели теперь грустно на Чубатова.

— Но, Никита Александрович, не может же Завьялов принять эти расходы без вашего разрешения, — Чубатов еле удержался на подвернувшемся упреке: «Не дурачьте же меня!»

— Хорошо. Я ему позвоню. Поезжай!

12

Василий Иванович Завьялов слыл в округе человеком широкой натуры и крепким хозяином. Он сам приехал за Чубатовым. С утра пораньше! Дарье поставил корзину красных помидоров величиной с детскую голову каждый, да трехлитровую банку ароматного меду, чистого, темного, словно янтарь, да копченой свинины. Хоть и пожилой, но еще крепкий — не ладонь, а каменная десница. Лицо обветренное, загоревшее до черноты, с глубокими извилистыми морщинами, как из мореного дуба вырезано. Но сам такой обходительный, деликатный. Присел на краешек стула, будто боялся обломить его. Разговор вел легкий, утешительный:

— Это хорошо, что вы надумали съездить в отпуск куда подальше. Погодка теперь хоть на Тихом океане, хоть на Черном море благоприятствует...

Чубатов, звоня ему, заикнулся насчет денег: одолжите, мол, на отпуск. «Это мы всегда пожалуйста!» — был немедленный ответ.

И Дарья, провожая Чубатова в гости к Завьялову, впервые за эти дни воспрянула духом: а что? Если сам Завьялов благоволит к Ивану, то, может, все и утрясется. У Завьялова авторитет. Он и самого начфина убедить сможет.

Но в «газике» Завьялов как-то погас, тяжело навалившись на баранку, насупленно молчал всю дорогу, пока выбирались из города.

Заговорил, когда вырвались на простор, в поле, сказал, не глядя на Чубатова, не скрывая горечи:

— Крепко ты нас подвел, Ваня. Мы на тебя надеялись как на бога.

— На бога, говоришь? — вспыхнул Чубатов. — А кто засуху в августе послал? Я, что ли?!

— Мог бы и поторопиться, в июле пригнать плоты.

— А кто меня упрашивал? Заготовь сотни четыре кубов! До зимы ждать буду. Не ты ли, друг ситный?

— Я, Ваня, я. По нашей нужде не только попросишь — на колени встанешь, молиться будешь: пошли, господи, леса, кирпича и цемента!

— Ты просил, я заготовил. Как уговаривались — четыре сотни кубов только для тебя! В чем же моя вина?

— Да разве я тебя виню? Я плачу. Мне коровник до зимы построить надо. Коровник на четыреста голов! Понял?

— Я ж тебе не начальник строительного треста.

— В том-то и беда, что нет у нас начальника и треста нет. Для нас, для колхозов, строить некому. И деньги есть у нас. Много денег, Ваня. У меня полтора миллиона чистых денег в банке. Хоть сейчас пускай в оборот. Полтора миллиона! Да я бы на них не только что коровник — коттеджи всем построил бы. Но стройматериалы купить негде, нанять строить некого.

— У вас же есть областной Межколхозстрой?

— А-а! — только покривился. — Это — худая контора. Она может строить только дворы дорогие, сплошь из железобетона. Одно коровье место обходится в две с лишним тысячи рублей. Представляешь? Да и то на пять лет вперед ей все уже заказано и расписано. Мы стараемся строить и подешевле, и побыстрее. Упросил я ПМК-90, что геологов обстраивает: поставьте мне, говорю, только каркас для коровника. А стены я сам заполню. Построили они каркас, а стены твои в тайге, в заломе остались.

— Ты говоришь так, будто я во всем виноват.

— Да не в том дело. Извини, брат. Это я от безысходности, от тоски то есть.

Они свернули в распадок по грунтовой дороге и остановились возле недостроенного коровника. По внушительному периметру на бетонированной площадке стояли железобетонные столбы, связанные поверху единой балкой. Тут же, рядом со столбами, были сложены в четырех штабелях стальные легкие фермы для крыши. На площадке неприбрано и безлюдно, как бывает на заброшенных стройках.

Завьялов и Чубатов вылезли из машины, подошли к железобетонному остову.

— Видишь, — указывал на пазы в столбах Завьялов. — Эти пазы оставлены для бревен. Затесывай с торцов бревна, закладывай в пазы шандором — и стены готовы. И дешево и сердито. Сами придумали. А крыша вот она лежит, — указал он на фермы.

— Что и говорить, досадно! — сказал Чубатов. — А может, кирпичом заполнить проемы-то?

— Какой кирпич? Где он? На печки, на плиты кухонные и то не могу допроситься.

— Да, жаль, конечно. Ну, ничего... Долго ждал — подожди еще немного. Пригоним плоты. Лес тебе заготовлен, занаряжен... Так что никуда он не денется.

— Но куда я коров на зиму загонять буду?

— Ты ж только недавно построил себе коровник?

— Я его под молодняк отвел. Растем, Ваня, растем. Ты знаешь какие у нас теперь планы на молоко и мясо? Ого-го! Дают под самый дых, только поспевай поворачиваться.

— Молоко... мясо... Все это хорошо, — начал терять терпение Чубатов. — Но давай о деле поговорим. Я ж к тебе сам знаешь зачем приехал. Спишем семь тысяч моих такелажных расходов?

— Дак я их на что спишу? Кабы лес был — проще пареной репы. А теперь по какому каналу их пустить?

— Привет! То ты не знаешь. По тому же самому — за приобретение леса. Четыреста кубов по тридцать рублей за кубометр — и то двенадцать тысяч стоит. А если по сорок рублей? Ну, что для тебя семь тысяч?

— А где он, лес-то? В тайге, у черта на куличках?

— Дак он же заготовлен! Документ у меня есть. Прими себе на баланс. С райисполкомом согласовано.

— Милый Ваня, близится завершение года. А там — отчет! Придет ревкомиссия и спросит: а ну-ка, Василий Иванович, покажи, где твой лес хранится? А я им что? Он у Деда Мороза, в тайге на перекате?

— Погоди! Тебе звонил председатель райисполкома?

— Звонил. Говорит, Чубатов приедет к тебе, не обижай. Прими как дорогого гостя...

— А насчет семи тысяч ничего не говорил? — спросил Чубатов, меняясь в лице.

— Ни-че-го. Намекнул на такелажные расходы. Гляди, говорит, сам. Отчитаться сумеешь — действуй. А как я отчитаюсь?

Чубатов только головой покачал.

— Значит, покрывать расходы за лес отказываешься?

— Пока не могу. Не сердись, Ваня. Не могу без приказа свыше. А тысячи рублей взаймы тебе — это пожалуйста. Бери хоть на год, хоть на два. Поехали ко мне, пообедаем, и деньги получишь.

— Спасибо на добром слове. Отвези-ка меня на автобусную остановку. Не хочется мне обедать у тебя. Аппетит я потерял, — сказал Чубатов и вяло поплелся к «газику».

— Ну, как знаешь...

Всю обратную дорогу до автобусной остановки ехали молча. Так и расстались — ни прощай, ни до свидания.

13

Капитан Коньков на другой день после посещения пасеки успел побывать и в леспромхозе, и на запани, — ни-

каких особых претензий к бригадиру Чубатову со стороны этих контор не было. Да, знают, что работал он на протоке Долгой, что плоты его сели — тоже знают. «А что он топляк подымал, знаете?» — спрашивал Коньков. Возможно, подымал. Это никого не удивляло. Топляку много. «За кем-то числится этот топляк?» — пытался выяснить Коньков. Нет, не числится. Ни у сплавщиков, ни у лесорубов потерь в этом сезоне нет. Баланс — вот он, в порядке. Можно не сомневаться.

«А кто кран ему выделял?» — допытывался Коньков. А никто не выделял. Работал у них кран в верховьях реки. Может быть, в сверхурочные часы или в выходные и помогали Чубатову крановщики. Тайга большая — за всем не уследишь. Да и греха особого в том нет. Не для себя же заготовлял лес Чубатов!

О пожаре на лесном складе конторщики знали и говорили без особого удивления. Такое бывает. Огонь теперь не редкость, в лесу — засуха. Словом, ничего интересного, за что бы можно зацепиться, Коньков не нашел ни в леспромхозе, ни на запани.

Возил его Голованов на удэгейском бате. Вернулись обратно к вечеру. Хотел было Коньков проверить приходные журналы лесного склада, но Боборыкина и след простыл. Удэгейцы сказали, что уехал еще с утра в город. А председатель Гээнту хоронит.

Кялундзигу нашел он возле крайнего домика, заросшего бузиной и жимолостью. Тот стоял в окружении зевак и что-то шумно доказывал маленькой старушке в цветном расшитом халате и в олочах.

Заметив Конькова, Кялундзига заговорил с ним, ища поддержки:

— Опять, понимаешь, пережитки капитализма. Сколько воспитываем — ничего не помогает. Вот какое дело, понимаешь! — У него от недоумения поползли кверху черные редкие брови, морщиня лоб.

— А в чем дело? — спросил Коньков.

— Пора хоронить — вечер подходит. А старики все в избе сидят. Покойника провожают.

— А, это интересно! Давай поглядим.

Коньков с председателем вошли в избу. Посреди избы на табуретках лежала широкая доска, а на ней стоял гроб, накрытый черным сатином. Несколько стариков сидели на скамье у стены и внимательно слушали, как Арсё, простирая руки над гробом, закрыв глаза, торжественно и тихо

произносил нараспев что-то давно затверженное, как стихи читал.

— О чем говорит Арсё? — спросил на ухо Коньков Кялундзигу.

— В загробный мир отвозит Гэнту, про дорогу говорит, все приметы называет, а старики слушают — правильно везет или нет, — отвечал тот тихо.

— А ну-ка, ну-ка! Переведи мне что-нибудь.

Кялундзига, поглядывая на Арсё, стал потихоньку говорить на ухо Конькову:

— Давай, собачки, вези скорее! Га, га! Снег перестал, солнце светит, теперь все видно. Вон перевал храброго Нядыги. Здравствуй, Нядыга! Помогай немножко нарты толкать. Далеко едем, Гэнту везем. Хороший охотник Гэнта! Никого не боялся, как храбрый Нядыга. Га, га! Вот и Заячья протока. Кто ехать мешает? Зайцы! Прочь, тукса туксани![1] Га, га! Вон перевал Соломога. Юрта его стоит на самом небе. Ой, беда! Увидит нас Соломога — съест, как он съел медведя Одо. Может, Нядыга поможет? Эй, Нядыга! Помоги проехать! Мы тебе богдо[2] дадим...

Выходя на улицу, Коньков спросил:

— А почему он про снег говорит? Лето же.

— Для покойника все равно, что лето, что зима, — ответил Кялундзига. — В нартах летом нельзя ехать. Отвозят туда только в нартах.

— Да, брат... У вас все продумано, — невесело сказал Коньков. — А у меня — в голубом тумане. Однако ехать надо.

— Куда поедешь на ночь? Оставайся ночевать.

— Нет, заночую у Голованова. Там заберет меня почтовый глиссер. В леспромхозе договорились.

В Уйгун Коньков добрался только на исходе следующего дня и наутро явился в прокуратуру. Савельев ждал его.

— А, капитан! Легок на помине, — приветствовал прокурор Конькова. — А мы только о тебе говорили. Председатель райисполкома интересовался. Куда пропал наш следователь? А я ему — тайгу тушит. Героический порыв охватил его, говорю...

— Я гляжу, у вас информация налажена.

— Чистая самодеятельность, капитан. Как у нас официально пишут — патриотическая помощь населения.

---

[1] Тукса туксани — удэгейское ругательство (заяц тебя выплюнул)
[2] Богдо — меховая шапочка с кисточкой.

— Ну, ну. Выкладывай мне свою информацию, а я тебе скажу, какой патриот сочинил ее, — усмехнулся Коньков, присаживаясь.

— Не увлекайся Шерлок Холмсом, Леонид Семенович! Это называется индивидуализмом в сыске. А сила наших действий в общественной поддержке.

— И что ж тебе сообщила общественность?

— Сперва доложи, где лес? И можно ли пригнать плоты?

— Лес заготовлен хороший, плоты связаны надежно и сидят прочно на Шумном перекате. Обсушены будь здоров! Никакой силой не сорвешь и не протолкнешь. Придется ждать весеннего паводка.

— Невесело, что и говорить. Н-да. А что с дракой — серьезное избиение?

— Не думаю... Правда, я не уточнял. Мне кажется, не столько драка виновата, сколько болезнь. Простуда, должно быть.

— А что за пожар случился?

— Лесной склад сгорел. И тайгу малость прихватило. Полагаю, что не случайно.

— И я думаю — за всем этим кроется преступление.

— Но улик нет. Сторож умер, заведующий складом был на запани.

—Значит, пожар не по нашей епархии, коль нет улик? — усмехнулся Савельев. — Ищи улики, ищи! Зато мне поступили некоторые бумаги, они касаются нас с тобой. Хлопаем ушами, братец мой.

— В чем же мы провинились?

— Плохой надзор у нас. Вот в чем наша вина.

— Плохой надзор? — удивился Коньков. — Не понимаю. И где же?

— Все там же. При заготовке леса, в бригаде лесорубов.

— Вот те на! Не ты ли мне тут толковал о золотой прибыли от наших лесорубов — и вдруг? Что же изменилось?

— Просто кое-что прояснилось, Семеныч.

— Например?

— Бригадир Чубатов под видом заготовки леса поднимал топляк. Это во-первых...:

— Я в этом не вижу криминала, — перебил его Коньков.

— Как не видишь? Ему никто не давал разнарядки на топляк.

— Кто же даст на топляк разнарядку, если он топляк? То есть ничейный, бросовый лес. Он валяется под водой и портит реку.

— У нас ничейного леса нет, все принадлежит государству. — Савельев строго посмотрел на Конькова, и краска возбуждения пятнами проступила на его щеках. — Топляк валяется? Мало ли что! Там есть запань, лесопункт. У них должны быть сведения на топляк. Вот и оформляй, бери разнарядку.

— Нет у них сведений на топляк. Я проверял. Он давно уж списан.

— Кем?

— Дядей Ваней! Мало там начальников сменилось за последние двадцать пять лет? Каждый год топили этот лес и каждый год отчитывались, — накалялся и Коньков. — Небось концы прятать в воду у нас умеют. Нет его на балансе, понял? Да кто теперь поставит на баланс этот топляк? Кому такое взбредет в голову?

— Зато каждому может взбрести в голову прихватить так называемый даровой лес и наживаться за этот счет.

— Каким образом?

— Тем самым, каким действовал Чубатов. Во-первых, он ни у кого не спросил позволения насчет заготовок топляка; во-вторых, «слева» нанимал подъемный кран, рабочих, плавсредства.

— Они работали в сверхурочное время, по субботам, по выходным...

— Во-во! Еще и по ночам.

— Так без ущерба для основного производства. Чего ж тут плохого?

— А еще расплачивался наличными, деньги шли из рук в руки... Смену отработал — получай десятку и не чешись!Сколько за кран платил, никому не известно. А сколько пива выпито, водки? Ты знаешь, сколько тысяч потратил он на топляк?

— Сколько?

— Четыре тысячи рублей.

— Но заготовлено более пятисот кубометров топляка. Это же лес! И всего по семь рублей за кубометр. Даровой лес!

— Откуда ты знаешь, что он потратил четыре тысячи рублей? А может быть, он истратил всего половину, а две тысячи прикарманил? — Савельев даже радостно преобра-

зился от того, как просто посадил в калошу своего оппонента.

— Но это ж надо доказать! — удивленно развел руками Коньков.

— Нет! — Савельев погрозил кому-то пальцем. — Это уж пусть он теперь докажет, куда потратил деньги. Ты знаешь, у него нет ни нарядов, ни накладных — одни расписки.

— Я понял, кто тебе дал информацию. — Коньков понимающе покачал головой. — Заведующий лесным складом Боборыкин.

— Допустим, — сухо согласился Савельев. — Но к делу это не имеет прямого отношения. — Он раскрыл папку, лежавшую на столе, и подвинул ее к Конькову: — Вот, ознакомься... Выводы начальника райфо на так называемые документации Чубатова. Четырнадцать тысяч рублей списанию не подлежат. Понял? Надо, брат, открывать уголовное дело. Так вот.

14

Иван Чубатов относился к тем прямым и деятельным натурам, которые держатся крепко на ногах до тех пор, пока верят, что они нужны в деле и что ими дорожат. Как только им дают понять, что они заблуждаются относительно собственной необходимости или, еще хуже — непогрешимости, они тотчас теряют голову: либо рвут горло и лезут в драку, либо стыдливо впадают в глубокую апатию; и в том и в другом случае меньше всего думают о доказательстве собственной невиновности.

Даша сразу поняла, что Ивану самому не выкрутиться из этих финансовых пут, не вылезти из трясины, которая внезапно оказалась под его ногами. Как только приехал он от Завьялова, завалился на диван и часами столбом глядел в потолок, словно белены наелся. И на работу уходит она — лежит, и с работы придет — лежит, не то еще на гитаре наигрывает. Два дня терпела, старалась не бередить его душу разговорами об этом отчете. Авось все утрясется. Ведь лес-то заготовлен, думала она. Разберутся там как следует. Ведь не чужие же начальники. Все вроде бы знакомые, свои люди.

Но, узнав о том, что завели уголовное дело на него, расплакалась и ушла с работы раньше времени. «Надо что-то делать, — твердила она по дороге. — Нельзя же так. Под лежачий камень и вода не течет».

Когда вошла, еще в прихожей вытерла слезы, шаркала туфлями, чтоб не слыхал всхлипывания. Но он и в самом деле будто не слышал ее, сидел на диване, тихонько перебирал гитарные струны.

— Ну, чего замешкалась? — крикнул из комнаты. — Я мотивчик новый нащупал... Вроде бы ничего. Иди сюда!

Она вошла; раздвинув портьеру и увидев его, снова всхлипнула, прикрывая лицо углом головного платка, красным пожаром полыхавшим на ее плечах.

— Кто тебя обидел? — лениво, как спросонья, спросил Чубатов, все еще перебирая пальцами струны: — Сангия-Мама не дает тебе небесного жемчуга?

— Эх ты, Сангия-Мама! Все играешь... — Она поворошила его волосы, прижалась щекой к груди и опять всхлипнула.

— Да что с тобой, Дашок? Или обидел кто? — Чубатов отложил гитару и стал гладить ее по голове, как маленькую. — А ты скажи, назови — кто обидел? Я ему сделаю ата-та.

Она еще сильнее заплакала, затрясла головой, вдавливаясь лицом ему в грудь.

Он поцеловал ее в волосы и сказал виновато:

— Устала ты, душа моя. И во всем-то я виноват.

— Не в том дело. Ох, Иван, Иван!..

— Понимаю, понимаю... Замоталась. Загоняли тебя, как лошадь на приколе. А прикол — это я со своим дурацким делом. Знаешь что? Давай к чертовой матери перерубим веревку — и в степь как ветер улетим, как сказал поэт.

— В какую степь? О чем ты? — Даша вытерла слезы, вздохнула глубоко и уставилась ему в лицо.

— Это образ, понимаешь? Поэтическое воображение. А проще сказать — поедем к нашему милому, теплому синему морю. На Кавказ! Поедем, а? Теперь дикарей там немного. Осень. Можно снять комнатенку с оконцем на море, с балконом... Я тебе серенаду спою. А? Залезу на крышу старой сакли и спою. Поедем?

Она опять всхлипнула:

— Начальник сказал, что на тебя уголовное дело завели.

— Какой начальник?

— Финансовый... Мой начальник.

— А-а, уйгунский казначей, — усмехнулся Чубатов. — Это не он виноват. Это Сангия-Мама душу мою затребо-

вал за то, что я хотел достать для тебя небесный жемчуг-кяхту.

— Ты бы вместо того чтобы играть да шуточки шутить, сходил бы еще раз к председателю райисполкома. Попросил его. Небось его-то послушают, прикроют это дело.

— Эх, Дашок! Председатель — мужик, конечно, хороший. Да он сам боится.

— Чего он боится?

— Бумаги боится. Отчета, который дебёт и скребёт. Вот он, наш Сангия-Мама. Его все боятся. А я не боюсь. Я у него хотел вытянуть счастливую карту. Сыграть с ним хотел ва-банк.

— Доигрался... Эх, Иван, Иван! Сколько раз я тебе говорила: с финансами не шутят. Каждую копейку занеси в счет, каждый болтик зафиксируй, проведи в дело и пришей. А у тебя что? Сотня туда, две сюда.

— Платил только за дело. Расписки имеются.

— Кому они теперь нужны, эти расписки? Мой начальник говорит — пусть он их на стенку наклеит.

— Сукин сын он, твой начальник. А я ему верил.

— Что я тебе говорила? Никому не верь. В случае беды все отвернутся. Соблюдай правила.

— А что бы я заготовил по вашим правилам? Чурку да палку? Надо что-нибудь одно делать — или лес заготовлять, или ваши бумаги по всем правилам отчетности вести.

— Но ведь финансовая дисциплина — это тебе не фунт изюма!

— А две тысячи кубов леса — это что, фунт изюма? Я на себя потратил эти финансы? Да я же заготовил самый дешевый лес!

— Где он, твой лес-то?

— Что, и тут я виноват

— А кто же? Как тебя просили... и лесорубы, и я: «Иван, хватит! Поплыли до дому. Почти полторы тыщи кубов!» Нет, я две пригоню... Четыре тысячи премии отхвачу. Небесную ракушку достану... Достал... булыжник со дна.

— Все было бы в ажуре. Это Боборыкин меня подвел. Вот жила.

— Говорят, он здесь болтается. По начальству шляется. Чует мое сердце что-то недоброе.

— Хотел бы я встретить его вечерком в укромном местечке.

— Еще чего не хватает! — испуганно сказала она. — Здесь и лесорубы. Смотри, не подерись еще. Я умоляю тебя — без нужды не выходи из дому. А я сейчас схожу к Ленке Коньковой.

— Какой Ленке?

— Ну, господи! К жене следователя по твоему делу. Узнаю у нее — что хоть тебе надобно предпринять. А если удастся — и с ним поговорю.

— Не унижай ты себя этими просьбами.

— Какое унижение! Мы с ней знакомые. Свои же люди. Надо посоветоваться... Ленка — человек душевный. Она подскажет что-нибудь.

И, бодрясь от этой пришедшей мысли, она встала, оправила прическу, подпудрила нос, подкрасила губы и побежала к Коньковым.

Они жили недалеко от того же озера в деревянном двухквартирном доме, занимая наглухо отгороженную половину. Жена Конькова во дворе развешивала белье на веревках и, увидев подходившую к калитке Дашу, заторопилась к ней навстречу.

— Проходи, проходи! — открывала перед ней калитку. — На тебе лица нет. Разве можно так переживать?

Дарья поняла, что Лена уже знала о следствии, да и немудрено — скрыть такое дело в маленьком городке невозможно. К тому же Даше было известно, что Коньковы живут дружно, и уж наверно муж и жена во всех делах добрые советчики.

— Хозяин дома? — спросила она, проходя к крыльцу.

— Дома. Ты к нему?

— Я сперва посоветоваться с тобой.

— Тогда пошли!

Елена, маленькая, крепенькая, как барашек, вся в черных кудряшках, гулко протопала башмаками по коридору и провела ее в торцовую пристройку — кухню, отгороженную от остального дома капитальной стеной.

— Садись. Здесь нас никто не услышит! — усадила на маленький, обтянутый черной клеенкой диванчик. Сама села напротив у кухонного стола.

— Не везет мне, Лена, ой не везет. — Даша прикрыла лицо руками и потупилась, сдерживая рыдания.

— А вы покайтесь, легче будет. И они учтут, — Лена не сказала — кто они. Даша и так ее поняла.

— Да в чем каяться? Кабы преступление какое? А то ведь стыдно признаться — безалаберность, одна безала-

берность. Из-за нее все летит в пропасть. Слыхала, поди, мой-то с лесом влип в историю?

— Слыхала...

— А мы было решили пожениться, в свадебное путешествие съездить. Вот и приехали к разбитому корыту.

— А он что же сидит? Надо ж действовать, оправдываться.

— А-а! — Дарья махнула рукой. — Валяется целыми днями на диване. Все равно, говорит, мне тюрьма. Вот сама хочу поговорить с твоим хозяином.

— И правильно надумала! Все ему выкладывай без утайки. Он поймет. А потом я еще попрошу его проявить внимание. Пошли! Сейчас я ему скажу, чтоб принял тебя.

И тихонько, подталкивая в спину, Елена ввела Дарью в прихожую, потом, обойдя ее, нырнула за портьеру и сказала:

— Лень, к тебе гости!

Коньков сидел за столом, читал газету.

— Что за гости?

— Дарья, по делу. По тому самому. Насчет леса.

— Ага! — Коньков встал, снял китель со спинки стула, стал одеваться. — Зови ее!

Дарья вошла как милостыню просить, остановилась у самых дверей.

— Здравствуйте! Я к вам решила обратиться... — она запнулась, — за помощью то есть, — и всхлипнула.

— Проходите, садитесь, — Коньков усадил ее на широкую тахту, сам сел напротив на стуле. — Слушаю вас.

— Я его самого посылала... Сходи, поговори с капитаном. Он человек душевный, говорю, он поймет, — лепетала она тихим голосом. — Про вас то есть. А он загордился. Все равно, говорит, мне тюрьма. Успею еще наговориться. — Она, мучительно сводя брови, поглядела на Конькова и спросила: — Что теперь ему будет?

— Ведь я не прокурор и не судья. Я веду только предварительное расследование. Посмотрим, как дело сложится. Вы мне вот что скажите: где он покупал такелаж? То есть тросы, чокера, блоки..: По его документам определить невозможно.

— Кроме него самого сказать это в точности никто не сможет. И он не скажет.

— Почему?

— Потому что загордился. У него понятие — товарищей не подводить.

— Но как же я смогу установить — сколько на такелаж он потратил? Три тысячи рублей, или две, или не две?

— Так ведь не первый же год он заготовляет лес, и каждый год тратит на такелаж и подвозку леса примерно те же две или три тысячи рублей. Лишнего он не переплатит. Цены знает.

— Да, но где доказательства? Где накладные?

— Кто же вам продаст бухту троса по накладной? Это ж неофициальная продажа, но для дела необходимая.

— Вы странно рассуждаете. Что ж он, по-вашему, не виноват?

— Почему ж не виноват? Если б не виноват, я бы и просить не приходила. Виноват. Я и сама говорю: повинись. А он загордился. Деньги, говорю, счет любят. А он одним сплавщикам платил по десятке за вечер на подъеме топляка.

— А почему?

— А потому, говорит, что они неурочные, сверх нормы, говорит, ворочают. Оно и то сказать — за пятерку никто бы не пришел топляк поднимать. Работа каторжная.

— Как же оправдать документально эту десятку на нос?

— Никак. Вот за это его и наказывайте. За превышение выплаты то есть. Не себе в карман клал, а рабочим, чтоб работали лучше.

— Иными словами — за растрату?

— Растрата растрате рознь. Иной растратчик как сыр в масле катается, на себя все тратит, а этот растратчик штанов лишних не имеет. Его же и били за эту растрату.

— Вы же говорили, что из-за вас драка произошла?

— Из-за меня только Боборыкин подзуживал лесорубов. Но причина в деньгах. Ваши, мол, денежки бригадир сплавщикам подарил. А плоты, мол, на мель посадил в погоне за собственной премией. И оставил вас с пустым карманом. Они и разбушевались. А теперь одумались — и самим стыдно... Я вас очень прошу: сходите к ним. В нашей гостинице Вилков и Семынин остановились, лесорубы. Спросите их. Они плохого ничего не скажут. Я уверена. Сходите! Сами они не придут к вам.

— Хорошо, схожу, — сказал Коньков. — Учту вашу просьбу.

Дарья встала и заторопилась на выход, кланяясь и лепеча слова благодарности.

Не успела за ней толком закрыться дверь, как вошла

Елена стала оправлять скатерть на столе и, поймав косой взгляд мужа, решительно произнесла:

— Лень, помочь надо. Люди они честные.

— А ты откуда знаешь? — насмешливо спросил Коньков.

— Вот тебе раз! Почти на одной улице живем — и откуда знаешь!

—Чубатов вроде бы тут не жил, — все еще насмешливо возражал Коньков.

— Ну и что? Дарья проходимца не выберет, не такой она человек. Говорят, что она из-за этого и с Боборыкиным расплевалась.

— Ты вот что, на основании того, о чем говорят на улице, в мои дела не вмешивайся. Понятно?

— Скажи какой гордый! Значит, тебе наплевать, что народ думает?

— Я не верблюд, плеваться не привык. И погонять меня нечего,— Коньков вышел, сердито хлопнув дверью.

15

Но в гостиницу он сходил в тот же вечер. За столиком дежурного администратора он застал сельского библиотекаря Пантелея Титыча Загвоздина. Это был сухонький старичок, одетый в серенький простиранный костюмчик, в расшитой по вороту полотняной рубашке, в очках с тонкой металлической оправой. Перед ним во весь стол развернутая газета.

— Здорово, книгочей! — приветствовал его Коньков, как старого знакомого.

— Леониду Семеновичу мое почтение, — подал руку старичок, важно приподнявшись.

— А где Ефросинья Евсеевна?

— Фроська? А корову доит, — отвечал Загвоздин.

— Весело живете! Значит, дежурный администратор корову доит, а библиотекарь сидит в гостинице, дежурит.

— Дак ведь у нас все по-семейному налажено. Или как в орудийном расчете — взаимозаменяемость боевых номеров.

— И кто же у вас числится заряжающим, а кто наводчиком? — усмехнулся Коньков.

— Это смотря по обстановке, — ответил Загвоздин. — На улице, при людях, командую я. А вот в избе она верх берет — и наводит, и заряжает будь здоров.

Коньков поглядел на часы.

— Между прочим, еще восемь часов вечера. И вроде бы вам положено сидеть в библиотеке. Она же до девяти открыта!

— А там у меня внучек сидит, Колька... Оборот налажен, будь спокоен.

Коньков только головой покачал.

— Тут у вас поселились лесорубы с Красного переката. Не знаешь, в каком номере?

— Как не знать! Хорошие ребята, артельные.

— Откуда вы их знаете?

— Познакомились. Вчерась угощал их огурцами солеными, ветчиной...

— А они вас водочкой? Так?!

— В точности, Леонид Семенович. В корень зришь.

— Давно они здесь живут?

— Кажись, дней пять. Завтра собираются отчаливать.

— Зачем они приехали?

— Говорят, деньги хотели получить. Да вроде бы плакали их денежки.

— Почему?

— Начальник у них больно прыткий был. Позарился на дармовой лес, перегрузил плоты, они и сели на перекате. Говорят, до весны не сымешь. В райисполкоме им так и сказали: вот когда весной пригоните плоты, тогда и окончательный расчет будет. А я им говорю: не горюй, ребята, деньги целей будут.

— А где сейчас эти лесорубы?

— В коридоре, «козла» забивают.

— Пригласи их сюда!

— В один момент! — Загвоздин высунулся в дверное окошко, как скворец из скворечни, в коридор и крикнул:

— Сеня, Федор! Зайдите на минутку.

Они вошли вразвалочку, оба в кожемитовых, блестящих курточках, руки в карманы; один могучего сложения, медлительный, второй потощее, чернявый, с бойкими карими глазами.

— В чем дело? — спросил тот, что был покрупнее, лобастый, с залысинами, белобрысый малый, смотревший с вызовом на Конькова.

— Вилков и Семынин, если не ошибаюсь? — спросил Коньков.

— Допустим, — ответил лобастый. Это был Вилков.

— Будем знакомы. — Коньков подал руку. — Я следователь районной милиции.

Вилков и Семынин с явной неохотой протянули руки. Выражение лица у Вилкова было такое, что, того и гляди, зарычит или заматерится.

Загвоздин в момент оценил обстановку и, глянув на свои большие круглые часы, сделал удивленное лицо и сказал:

— Дак, Леонид Семеныч, мне ведь в библиотеку пора. Я Фросе передам, она придет. А пока уж вы подежурьте здесь, — и, деликатно рассмеявшись, ушел.

— Садитесь! — пригласил Коньков лесорубов на диван, сам сел за стол. — Что, ребята? Не дают вам окончательного расчета?

— Говорят, ждите, — ответил Семынин, этот был вроде поприветливей.

— Чего ждать? — спросил Коньков, стараясь завязать непринужденный разговор.

— Весенней погоды, — нелюбезно ответил Вилков.

— Во-он что! — протянул Коньков. — И куда же вы теперь?

— Все туда же, — ответил Вилков, — в леспромхоз.

«Не много же вытянешь из тебя, — подумал Коньков с досадой, — эка набычился! Того и гляди, забодает». И перешел на деловой тон:

— Как же вы ухитрились плоты обсушить?

Лесорубы переглянулись, и Вилков, помедлив, произнес:

— Погода подвела.

— А говорят, бригадир виноват?

— Он что, Илья Пророк? Дождями распоряжается? — насмешливо спросил Семынин.

Вилков промолчал.

«Ага, это уже кое о чем говорит, — отметил про себя Коньков. — Значит, топить бригадира не собираетесь». И, делая округлый жест руками, когда желают выразить свое недоумение, Коньков сказал:

— Будто бы он плоты перегрузил... Сроки спуска оттягивал?

— Мы все вместе грузили, — как бы делая снисхождение, процедил Вилков.

— Топляк подымали! — подсказал Коньков.

— Подымали, — согласился Вилков.

— А кран нанимали на стороне?

— Интересно, где ж еще можно взять его, кран-то? — переспросил с усмешкой Семынин.

— Вас посылали не топляк подымать, а лес рубить, — с упреком сказал Коньков.

— Вот мы и рубили, — промычал Вилков.

— На дне речном, — усмехнулся Коньков.

— Если вы везете, к примеру, машину дров и на обочине увидели бросовые дрова, так неужели не остановитесь и не подберете? — спросил, горячась, Семынин.

— Мне, например, другое известно: когда бригадир остановился, чтобы подобрать этот лес, топляк то есть, то не кто иной, а вы сами избили его. Мол, не жадничай.

— Кто это вам сказал? Бригадир? — поспешно спросил Семынин.

— Нет, — помедлив, ответил Коньков.

— Ну, дак спросите самого бригадира. Он знает, кто его бил.

— А вы не знаете?

— Нет. Мы не видели, — твердо ответил Вилков.

— Чудеса в решете! — усмехнулся Коньков. — Может быть, не видели и то, как топляк заготовляли? Откуда кран пригоняли?

— Кран из Америки, — ответил серьезно Вилков.

— А если кроме шуток?

— Дак ведь кран-то один на всю запань, — сказал Семынин. — А работал он у нас в свободные часы. Какие тут секреты?

— Кран работал, а вы дурака валяли. Бригадир нанимал сплавщиков со стороны. Сроки горели... и в конце концов плоты остались на мели. Вот и секрет!

— Это он вам говорил? — спросил Вилков, с прищуркой глядя на Конькова.

— Давайте так договоримся: спрашиваю я, а вы отвечаете.

— А мы не подследственные! — отчеканил Семынин.

— Зато ваш бригадир подследственный. И, может быть, вам не все равно — будет он осужден или оправдан.

Вилков впервые глянул на него открыто и спросил без обычной своей враждебности:

— Чего же вы хотите от нас?

— Хочу ясности. Значит, так. Сплавщики со стороны работали, а вы гуляли?

Вилков опять насупился.

— Такая уж судьба наша, капитан, — усмехнулся Се-

мынин. — Когда мы работаем, они гуляют. А мы гуляем — сплавщики работают. Взаимовыручка.

— Ага! Довыручались до того, что без гроша в кармане остались. — Коньков, упорно глядя на Вилкова, ждал от него ответа.

И Вилков ответил:

— Капитан, если вы ждете, что мы начнем клепать друг на друга, так напрасны ваши ожидания. Этого не будет. Мы все вместе работали, вместе и отвечать будем.

— А за что отвечать? — воспрянул протестующе Семынин. — За то, что позарились на дармовой лес и с погодой просчитались? Так мы уж наказаны за это — до весны без расчета остались.

— Значит, виноватых нет?

— Вам виднее. А мы все сказали. — Вилков встал и направился к выходу.

За ним двинулся и Семынин.

— Это не разговор, — сказал им вслед Коньков.

— Разговор на эту тему исчерпан, — прогудел в дверях Вилков.

Однако разговаривать им пришлось в тот же вечер и на ту же тему, только не с капитаном, а с Боборыкиным.

В гостинице он появился сразу после Конькова. Поселился Боборыкин на окраине города у старого приятеля — продавца сельпо, но с гостиницы глаз не спускал. Как только узнал, что капитан беседовал с лесорубами, так и заявился с черным пузатым портфелем в руке.

— Ребятки, у меня дело к вам, — зашел прямо в номер. — А сперва причастимся по махонькой и закусим чем бог послал.

Открыл портфель, вынул две бутылки водки, кусок копченой свинины и две банки иваси. Одну бутылку разлил сразу всю по стаканам, сала нарезал.

— Я был в прокуратуре... И в райисполком заходил. Связи кой-какие остались, — подмигнул Вилкову. — Все ж таки я здесь не последним человеком служил. У меня дела по запани. Попутно поинтересовался вашими делами. Кажется, вам что-то светит. Давайте за удачу, одним дыхом! А потом все вам выложу.

Сам выпил целый стакан и, заметив, что Вилков половину не допил, удивился:

— Это нехорошо! Это ты не водку, а зло оставил. Допей, допей!

— Ладно тебе каныжить, — покривился Вилков и взялся за сало.

— А ты не обижайся. Я такой человек — у меня все начистоту. Для начала скажу: вашего орла взяли под следствие...

— Знаем, — перебил его Семынин. — Капитан приходил к нам.

— И что же он предлагал вам?

— Ничего. Так, познакомились, — сказал Вилков.

— И вы не рассказали капитану, что за фрукт ваш бригадир? — удивился Боборыкин.

— А с какой стати? — спросил Вилков.

— Ни хрена себе! Ведь деньги-то он истратил не просто ничейные, а ваши кровные денежки.

— Наши деньги на перекате сели, — сказал Вилков.

— Но чудак-человек, сплавщикам кидал он по десятке на рыло из вашего фонда!

— И правильно делал. Мы ж не работали.

— Правильно?! По десятке в день!

— А ты попробуй отработай свои восемь часов, а потом еще вкалывай с пяти вечера и за полночь. Поворочай-ка бревна шестнадцать часов в сутки! Вот тогда и поглядим — сколько ты запросишь.

— Им же еще запань платила!

— А ты хочешь, чтобы они даром вкалывали?

— Вот вы и вкалывали даром. Я тебе, дураку, пытаюсь втолковать это, а от тебя отскакивают слова, как горох от стенки.

— Ты подбирай выражения, не то можешь язык прикусить.

Во время этой неожиданной перепалки Семынин молчал, с опаской поглядывал на распалявшегося Вилкова.

— Ну, ладно, ладно! — стал утихомиривать его Боборыкин. — Я ж к вам с добрым советом. Начальство намекнуло, что делать надо. По знакомству, понял? А сделать надо вот что: напишите заявление в прокуратуру: так, мол, и так — наш бригадир или прораб он? Как вы его называете? Не считался с коллективом, заставлял работать в сверхурочные часы и даже по выходным дням. А за то, что мы не соглашались, подменял нас незаконным наемом со стороны, переплачивал случайным рабочим, доводя тем самым нас до отчаянного положения. Ну и все в таком роде. Напишите и завтра же подайте заявление. Вам все выплатят, все до копейки. Точно говорю. Суд прикажет!

— Одного я не могу понять — с чего это ты нас так полюбил? — с усмешкой спросил Вилков.

— Да вы же дети неразумные! — Боборыкин, все более возбуждаясь выпитой водкой, размахивал руками и с жаром говорил: — Мне жаль вас. Все ж таки я работник запани, в управлении состою. А он и вас обидел, и наших сплавщиков разлагал. Такие люди, как Чубатов, хуже заразы. Это ж они воду мутят. И сами жить не умеют и другим не дают. Он же психопат... Ненормальный! Таких надо либо в тюрьму сажать, либо в сумасшедший дом! — Боборыкин пристукнул кулаком по столу.

— Ну, ты и фрукт! — сказал Вилков в изумлении. — А я думал, что ты ненавидишь его из-за Дашки. И еще помогал тебе... По пьянке...

— Очнись! При чем тут Дашка? Он же преступник, растратчик! Его надо на чистую воду выводить. Это долг каждого честного человека...

— Ну, хватит! — гаркнул Вилков, вставая.

В одну руку он взял бутылку водки, второй схватил за ворот Боборыкина и потащил его к двери.

— Да пусти ты, обормот! — Боборыкин вырвался из цепкой лапы Вилкова и вернулся к столу за портфелем. — У меня здесь документы, понял? А вам привет с кисточкой! — В дверях приставил большой палец к уху и помахал растопыренной ладонью.

— Ничего себе компот заварился, — сказал Семынин после ухода Боборыкина. — Что делать будем?

— Придется идти к капитану. Иначе Ивану тюрьма.

— Эх ты, Федя, съел медведя!.. Неужто от твоего похода что-либо изменится?

— Не знаю, — ответил тот и зло выбросил в форточку стакан с недопитой водкой.

16

На следующее утро Вилков с Чубатовым встретились неожиданно возле милиции; Вилков выходил от следователя, а Чубатов шел по вызову на допрос. Они не виделись с той самой драки на таежном речном берегу...

Тогда они только что сняли свои пожитки с плотов и сносили их в лодки, нанятые в удэгейском селе. Лодки пригнал Чубатов и застал своих лесорубов на берегу пьяными. Возле них крутился Боборыкин, тоже пьяный, с возбужденным красным лицом. Чубатов сообразил, что, пока

он пригонял лодки, этот тип даром время не терял, и грубо обругал его: «Ты, мать-перемать, долго будешь путаться в ногах! Кто тебя звал сюда с водкой?» — «По закону полагается выпить отходную, — ответил тот насмешливо. — Рабочие не виноваты, что хозяин у них обанкротился». — «Чего ты на человека набросился? — загудели лесорубы. — Он же ото всей души. Ничего не жалеет. Компанейский человек». — «Поменьше компании надо было водить, а побольше работать. Вот и не сидели бы здесь на перекате!» — «Это мы, значит, не работали? А ты, значит, работал? Так выходит?!» — «За вашу работу не на лодках везти вас, а пешком по тайге прогнать... Да в шею!» — «Нас в шею? Ах ты мотаня! Живодер!» — «Лодыри! Захребетники!» Ну и пошла щеповня.

Первым бросился на него Вилков. Прицелился издали, летел неотвратимо и топал как сохатый, хотел с разбегу сшибить его всей массой своей увесистой туши. Чубатов, увернувшись от удара, принял его на левое бедро и по инерции легко перекинул через себя в воду. Вторым бежал Семынин, и этого сшиб Чубатов кулаком в челюсть. Потом кто-то треснул его по затылку палкой; в глазах ослепительно вспыхнули разноцветные круги, и он упал, теряя сознание. Когда били его лежачего, он уже не чуял.

И вот теперь они встретились нос к носу. От неожиданности растерянно остановились; Вилков настороженно и выжидательно поглядывал на Чубатова. Тот первым пошел к нему и протянул руку с едва заметной виноватой улыбкой:

— Здорово, Федор! К сожалению, ничем порадовать не могу. Деньги не дают, говорят — ждите весны.

— Слыхали, — ответил Вилков и, чуть помедлив: — А как у тебя?

— Хреново... Наверно, посадят. Отчет не утверждают.

— Я это... к следователю ходил. Сказал ему: ежели для суда нужно, то мы напишем заявление, что наем сплавщиков был вынужденным, из-за нас то есть. Мы и виноваты. И на суд придем.

— Ну, спасибо!

— Ты извини, что так вышло между нами. Погорячились. — Вилков только руками развел.

— Ладно... Я сам виноват, — сказал Чубатов и пошел прочь.

В кабинете у Конькова посреди стола лежала серая папка с крупной белой наклейкой, и — черная надпись:

«Дело № 76». Увидев эту папку, Чубатов почуял холодок на спине, и сердце заныло и затюкало... Но виду не подавал и говорил, бодрясь:

— Здорово, капитан! Давно не виделись.

Коньков поздоровался за руку, указал на стул, сам сел напротив, все приглядывался к Чубатову.

— Вроде бы никаких следов. У лесника Голованова вы по-другому выглядели.

— На нашем брате как на собаке зарастает, — усмехнулся Чубатов. — Жаль, что мы встречаемся, капитан, вроде по необходимости.

— Такая служба у нас, Чубатов. Свидания наши случаются не по взаимной симпатии.

— Я надеюсь, что они происходят по недоразумению.

— Дай-то бог, как говаривал мой папаша. Вроде бы вас били? — спросил Коньков деловым тоном.

— Пустяки! — покривился Чубатов. — И здесь чистое недоразумение. Ребята не виноваты. Выпимши были.

— А кто же виноват?

— Очевидно, я, если плоты в тайге остались. Сели прочно...

— Где бы они не завязли, а рукам волю тоже давать нечего. Я не понимаю, к чему вы покрываете лесорубов?

— Все это мелочи. Погорячились ребята. Их тоже понять можно. Они с одним авансом остались.

— Сколько потратили на аванс?

— Восемь тысяч рублей. Остальные восемь тысяч рублей потрачены на продукты, такелаж, топляк... Там все записано, — Чубатов кивнул на папку.

— Видел я твои записки, — проворчал Коньков, открывая папку. — С ними только по нужде ходить, и то не очень они пригодны — невелики.

— Других не имеется. Впрочем, раньше и такие хороши были.

— То-то и оно, что раньше. Раньше вы лес сюда пригоняли, а теперь где он?

— Да что он, сгниет, что ли, до весны?! — взорвался Чубатов. — Здесь же будет.

— До весны тоже надо дожить.

— Кто собрался помирать, тому и лес мой не поможет.

— Лес нужен в хозяйствах, а хозяйство вести — не штанами трясти. Вон, нахозяйничал! — указал Коньков на бумаги в папке. Взял одну расписку. — Ну, что это такое? Полюбуйся на документ! — Прочел: — «Мною, бри-

гадиром Чубатовым, куплены за наличный расчет в магазине Потапьевского сельпо тросу оцинкованного 100 метров за 250 р., бухта каната просмоленного — за 100 р., проволоки сталистой за 50 р. В чем и расписываюсь — И. Чубатов. Товар продал Г. Пупкин...» Что это за Пупкин?

— Пупков, — ответил Чубатов, — продавец Потапьевского сельпо.

— И ты хочешь всерьез доказать, что цинковый трос и проволоку, да еще канат купил в сельпо? Смешно! Это одно и то же, что купить слона в посудной лавке. У кого купил канат и трос, ну?

— Вы лучше спросите, что бы я мог делать без того каната, без троса, без проволоки в лесу? Как лес трелевать? Чем? Мне ведь этого добра никто в районе не дал. Да и где они его возьмут?

— Между прочим, резонно. — Коньков помолчал. — Но, когда вас отправляли в тайгу, ведь знали же наши заказчики, что без такелажа вам не обойтись?

— Конечно! Что они, дети, что ли?

— Как же выходили из положения?

— Бумагу сочинили, — ответил Чубатов. — А что они еще могут придумать? — Он достал из бокового кармана бумажник, извлек оттуда сложенную вчетверо бумагу, развернул ее и подал Конькову. — Вот она. Это справка, то есть вроде оговорки, которая прикладывается к деньгам и выдается мне на руки. На под отчет! И наставление, и оправдание денежных затрат.

Коньков взял эту справку-памятку и прочел вслух:

— «В случае необеспеченности такелажем бригадир сам приобретает его за счет ремстройгруппы, но не выше установленных норм и существующих цен».

— Н-да. — Коньков повертел в руках эту диковинную бумажку, осмотрел, словно музейный экспонат, положил в папку. — Сколько положено было истратить вам на такелаж по нормативам?

— Дак нет никаких нормативов! На практике за прошлые годы установлено было, что на заготовку полутора тысяч кубов тратили на такелаж тысячи две рублей. Ну, примерно столько же и теперь затратили, а заготовили на полтыщи кубов больше.

— И вам их не списывают?

— Нет. И плюс к тому — четыре тысячи за подъем топляка. И даже те деньги, что на аванс израсходовал, тоже не списывают.

— Так, так! — Коньков взял из папки еще одну расписку. — А это что за такелаж купили вы у лесника Голованова?

— Это я сани купил у него и подсанки.

— Сани за четыреста рублей?

— А что ж вы хотите? Шесть саней да шесть подсанков. Сани по сорок рублей, подсанки по тридцать. Итого — четыреста двадцать.

— А какая им государственная цена?

— Не знаю. Их делал Голованов, он и цену установил.

— А лошадей где брали?

— В удэгейской артели у Кялундзиги.

— А где документы?

— Сгорели, и дыму не было! Какие документы, капитан? Охотники приезжали на зимовье, привозили продукты, пушнину отвозили, а лошадей давали нам в работу. И сами помогали. Мы им платили. У меня там записано. Они подтвердят. Не даром же работали! Но попробуй взять расписку с удэгейца! Он тут же сбежит.

— Все это очень мило. Но как вы докажете, что деньги эти, — Коньков ткнул в бумаги, — пошли на заготовку леса, а не куда-то еще?

— Дак лес-то заготовлен! Чего же мне доказывать?

— Вы как дите неразумное... — с досадой сказал Коньков. — Да за один этот трос, приобретенный на стороне!.. Ведь кто-то положил эти деньги в карман не по закону.

— Значит, если бы я пригнал лес, то все было бы по закону. А поскольку плоты сели, то и такелаж я не имел право покупать, и заготовлять лес. Плоты эти теперь, значит, незаконные?

— На все есть свои правила, — уклончиво ответил Коньков.

— Ну, тогда возьмите шестнадцать тысяч рублей, поезжайте в тайгу и заготовьте две тысячи кубометров по правилам. Поезжайте! Деляну отмерят. Все остальное добывайте где хотите... Ну?!

— Я заготовкой леса не занимаюсь.

— А мне зачем она? Мне нужен этот лес? Да в гробу я видел его, в белых тапочках! Но меня же просили. Христом-богом умоляли. Достань леса, привези! Задыхаемся! Для кого же я старался? Для себя, что ли?

— Но ведь не даром же.

— А вы еще хотели, чтоб я даром старался? Шкуру на

скулах обмораживал, руки в кровь сбивал, изворачивался, голодал... И все даром?

— А что у вас с Боборыкиным? — стараясь остудить не в меру распалявшегося Чубатова, спросил Коньков. — Почему он так зол на вас?

— Живодер он и сука! — зло сказал Чубатов. — Хотел продать мне свои излишки. А я ему дулю показал. Поднял у него под носом шестьсот кубов топляку. И по дешевке. Вот он и взбесился...

— Веселый вы человек, Иван Чубатов.

— На настроение не жалуюсь, капитан. Надеюсь, вы мне его не испортите?

— Не знаю... По крайней мере, не уверен. Одно могу сказать: мне не до смеху.

— Да вам по службе не положено. Ваша форма требует от вас строгости поведения. Это мы понимаем.

— А где хранятся лесные излишки у Боборыкина?

— Сгорели. А может быть, и сам поджег. Он — патентованный жулик.

— Вы можете это доказать?

— Нет. Этого никто не докажет.

— Н-да. Ну, ладно. Подпишитесь под протоколом и из района не выезжайте. Идет следствие.

— Всегда пожалуйста. До новых встреч!

Чубатов расписался и бодрой походкой вышел. Коньков проводил его до наружных дверей. Возвращаясь, он столкнулся в коридоре с прокурором. Тот коротко заметил:

— А я к тебе. — И, кивнув на дверь в кабинет Конькова, предложил: — Зайдем на минутку! Поговорить надо! Взял Чубатова под стражу? — спросил прокурор в кабинете.

— Нет. Отпустил под расписку.

— Почему?

— Потому что не считаю его опасным преступником.

— Сгорел склад... Возможно, куплен краденый лес. Потрачено более десяти тысяч рублей.

— Краденый лес Чубатов не покупал. Это я установил точно.

— Но расходы не подтверждены. Верить Чубатову нельзя. Он может помешать следствию. По закону его надо изолировать.

— Он не растратчик.

— Ты изучал его бумаги?

— Изучал.

— Можно установить документально, сколько и куда он потратил?

— Он сам охотно признается.

— Слово к делу не подошьешь, Леонид Семенович.

— У нас нет оснований не верить ему.

— Ты считаешь подобную трату государственных денег вполне законной?

— Нет, не считаю.

— Так виноват он или нет?

Коньков подумал и сказал:

— Выходит, так: не останься он за топляком, не задержись на месяц — плоты были бы доставлены по назначению. Такелажные расходы Чубатова и все прочие были бы списаны, то есть вошли бы в себестоимость леса. И все было бы в порядке. Все остались бы при своих интересах, и никто бы не предъявил Чубатову никаких обвинений. Значит, вина его в том, что он поднял бросовый лес и решил пустить его в дело? То есть наказывать его будем за инициативу. Вот и рассуди — по совести мы поступаем или нет?

— Не туда свернул, Леонид Семенович. Спору нет, порядок лесозаготовок в нашем районе скверный. Да его вовсе нет. Никаких плановых заготовок мы не имеем. Отсюда каждый мудрит да исхитряется как может. Но из этого не следует, что мы должны смотреть на подобные операции сквозь пальцы.

— А чего ж смотрели до сих пор?

Вопрос Конькова ничуть не поколебал убеждения Савельева:

— Люди, подобные Чубатову, пользуясь трудным положением, как новоявленные купчики, кидают на ветер государственные деньги. Есть определенный закон финансовой отчетности. Вот и потрудитесь соблюдать его, ежели взяли на себя ответственность распоряжаться финансами.

— Логика железная, что и говорить, — невесело усмехнулся Коньков. — Но не отобьем ли мы желание у людей смелых, предприимчивых рисковать для пользы общей, когда дело принимает непредвиденный оборот? Ведь легче уйти от решения, постоять в стороне, подождать. Авось кто-нибудь смелый вынырнет, подставит загорбок. Пусть себе тянет, а мы поглядим — не споткнется ли? А уж ежели споткнется, тогда мы ему покажем кузькину мать! Не ты ли мне говорил, что не было у нас леса в районе до Чубатова? И не будет, если мы его засудим.

— Философия, Леонид Семенович. Какая-то помесь делового меркантилизма с либеральной снисходительностью. Лесные вопросы меня сейчас не интересуют. Мы не снабженцы, а работники юстиции. Налицо есть серьезное нарушение закона.

— Есть буква закона, но есть еще и дух закона, — сказал, горячась, Коньков.

— Нет, капитан! И буква, и дух закона — все едино. Нельзя одно отрывать от другого. Закон не плащ с капюшоном — хочу капюшон накину, хочу голову непокрытой оставлю. Закон не должен зависеть ни от состояния погоды, ни от нашего благорасположения, ни от чего другого. Закон есть закон. И если закон нарушен, то нарушитель должен предстать перед судом, кто бы он ни был, хоть мой папа или ваша мама.

— Но бесспорных нарушений не бывает, кроме исключений. Это хоть ты не станешь отрицать?

— И не подумаю отрицать. На то у нас и суд имеется, чтобы решать споры. Пусть суд рассудит, какие сроки ему дать — условные или безусловные. Я не судья, я прокурор. Мой долг — стоять на страже закона. В данном случае финансовая дисциплина нарушена? Параграф закона нарушен? Ну, так вот: предлагаю вам задержать Чубатова. Если будете либеральничать, если не задержите растратчика, то дело будет у вас изъято.

— А я с вами не согласен.

— Как не согласен? — опешил прокурор.

— Вот так... Не согласен. Вина Чубатова относительная. Главные виновники — начфин, председатель райисполкома и все те, которые развели эту липовую отчетность с лесом. А еще мы с вами виноваты, потому что глядели на это дело сквозь пальцы.

— Разговоры на эту тему считаю исчерпанными. Возьмите под арест подследственного. А предварительное расследование сдайте нам.

— Я возьму его под стражу, но расследование буду продолжать.

— Вы будете наказаны.

— Поглядим.

17

Сразу же после ухода прокурора Коньков позвонил председателю райисполкома и сказал:

—Никита Александрович, мне необходимо поговорить с тобой насчет лесных дел. Когда? Да хоть сейчас же. А

лучше давай после обеда и пригласи к себе Завьялова. Обязательно!

Коньков чуял, что прокурор был раздражен неспроста; он и сам оказался в нелепой ситуации: уж кто-кто, а он, Савельев, был главным застрельщиком лесных заготовок после того, как вся его прокуратура и снаружи, и изнутри была обшита тесом. И вдруг — на тебе! Тес добывался по неписаным правилам. Прокурор хлопал ушами, а председатель исполкома знал, да помалкивал. Уж теперь-то между ними определенно черная кошка пробежала. Нельзя ли как-то раскачать председателя райисполкома, чтобы вопрос о нарушениях финансовой отчетности по лесозаготовкам решить как-то по совести, а не валить все на «стрелочника» Чубатова. Этот самый менестрель, как иронично обзывал его за глаза Коньков, понравился ему своей прямотой, вспыльчивостью и каким-то детским простодушием. Да и то немаловажный факт: и лесорубы, и сплавщики, и удэгейцы — все берут его под защиту. За проходимца не станут ратовать мужики, которые сами без денег остались. Так думал Коньков, идя к председателю райисполкома Стародубову.

Тот его встретил шумной речью — пиджак распахнут, лицо красное, ходит по кабинету и ораторствует. Завьялов сидел на диване и смотрел себе под ноги.

— Вот так, Леонид Семенович! Слыхал новость? — ринулся Стародубов к Конькову. — И я виноват, и Завьялов виноват, и Чубатов виноват... Только один Савельев у нас невинный. Он, видите ли, прокурор, он один радеет за соблюдение закона, а мы все сообща только и делаем, что нарушаем закон. — Он взял под руку Конькова и подвел к дивану. — А ты садись, садись!

Сам опять гоголем прошелся по кабинету — и пóлы вразлет.

— Вы знаете, что он мне вчера наговорил? — спросил останавливаясь перед ними, изображая на лице ужас и протест. — Мол, при нашем прямом попустительстве... Это надо понимать — при моем попустительстве! — ткнул себя пальцем в грудь Стародубов. — Из хозяйственных заготовок леса образовалась кормушка для коммивояжеров и проходимцев. Я ему — сперва еще надо доказать, что он коммивояжер и проходимец. А он кричит: весь город об этом знает, как он пятерки в ресторане разбрасывает направо и налево. Откуда-то они берутся? Понимаете, разбрасывает деньги Чубатов, а кричит на меня. Вы можете

себе это представить? — Его сочные пухлые губы обиженно дергались.

Коньков усмехнулся:

— Еще неделю назад он из кожи лез, доказывая мне, что Чубатов золотой работник, что до него весь район щепки завалящей не видел.

— Во, во! — радостно подхватил Никита Александрович. — Я ему так и сказал: ты же сам упрашивал меня подкинуть премию Чубатову, когда твою прокуратуру тесом обшили! А он мне — не путай, говорит, эмоции с финансовой отчетностью. Ты, говорит, на эту отчетность сквозь пальцы смотрел. Все на такелаж списывал. Но, вопервых, не я списывал, а председатели колхозов. — Стародубов указал грозно, как Вий, толстым пальцем на понуро сидевшего Завьялова, потом этим пальцем ткнул себя в грудь. — Если ж я и рекомендовал, то лишь потому, в первую голову, что лес обходился дешево. Понимаете?

— Никита Александрович, а тебе лично известен был этот заведенный порядок отчетности? — спросил в свою очередь Коньков.

— Что? — Стародубов с удивлением глянул на Конькова, словно спросонья, крякнул и пошел к себе за стол, сел в кресло.

Раскрыл какую-то папку, бумагами пошуршал, потом ответил нехотя:

— Известен. — И проворчал: — А кому он не известен?

— Значит, и начфин знал об этом заведенном порядке?

— Да, конечно, знал!

—Отчего же раньше не протестовал наш начфин? Да и ты тоже?

— Лично я считаю Чубатова честным человеком. Потому и не протестовал.

— Так виноват Чубатов или не виноват?

— Леонид Семенович, ты не упрощай! Что значит — виноват или нет? С точки зрения начфина, конечно, виноват — отчетность у него хромает. Но лес-то заготовлен. И лес хороший. В это я верю. И в личную честность бригадира тоже верю.

— Ну, тогда спишите его расходы на заготовленный лес, и дело с концом.

— Да как же списать? Кто же спишет? Я ведь не могу приказать председателю колхоза, вон тому же Завьялову, повесить до весны семь тысяч рублей к себе на баланс. Нет у меня таких прав. Не могу! А он принять их по своей во-

ле тоже не может. Был бы лес — тогда другой разговор. А лес-то вон он где. На Красном перекате.

— Лес-то на перекате, да человек тут. Что с ним делать, вот вопрос!

— Вопрос, как говорится, в вашей компетенции. Тут, знаете, ваше дело...

— Не только мое, но и ваше. И вы должны все взвесить и учесть. Он для вас не посторонний...

— Конечно, все надо учитывать, — поднял голову Завьялов. — Мужик он деловой, но и беспечный. В каждом деле, кроме выгоды, есть необходимая мера допуска, что ли, или дозволенного. Ты за выгодой гонись, но не забывайся. В этом смысле он виноват. Но...

— Да в чем его вина, конкретно? — спросил Коньков.

— Говорят, подымал топляк без наряда.

— А кто должен давать наряды на топляк, водяной, что ли?

Завьялов смущенно умолк.

— Топляк-то ничей, списанный, — говорил Коньков, накаляясь. — Другое дело — кто его утопил? Кто списал такой хороший лес? Вот бы чем заняться надо!

— Ну, я там не был и лесным делом не занимаюсь, — сказал Завьялов.

— Не был, не видал, а обвиняешь... Говоришь — виноватый Чубатов.

— Я знаю, что у него грешки по части такелажа. Трос покупал на стороне и прочее...

— Видел я твой ток, механизированный. Хороший ток! — восторгался неожиданно Коньков. — А какой навес над ним! Правильно! Крыша битумом залита, подъездные пути — гудроном. Ни пылинки, ни капельки влаги... А где же ты достал битум и гудрон? На нашей базе их нет.

—Леонид Семенович! Какое это имеет отношение к лесу? — Завьялов зарделся до ушей.

—Никакого. Просто интересуюсь, где ты купил битум? Может, Никита Александрович скажет?

— Я думаю, он сам вспомнит, — отозвался тот хмуро.

— Ездил в соседнюю область... на завод, — выдавил Завьялов.

— По наряду?

— Нет, — Завьялов тоже нахмурился, глядя в пол.

— Ну, чего ты устраиваешь представление? — сердито сказал Стародубов. — Что он тебе, подследственный? Не забывайся, понимаешь.

— Не нравится?

— Да, не нравится. Отчетность председателя колхоза не в твоей компетенции.

— Не надо сердиться, Никита Александрович. Я и не думаю ревизовать Завьялова, да и вас тоже. Вы правы — это дело не в моей компетенции. Хотя на каждый роток не накинешь платок. Это ведь не секрет, что порядки со снабжением в нашем районе лыковые: пока сухо — держится, где чуть подмочило — рвется. Достаем, где можем и как можем. А отчетность — пришей-пристебни. Концы с концами сошлись — все покрывается. Прореха появилась — стрелочник виноват. Вот и валим теперь на Чубатова.

— Что правда, то правда, — сказал Завьялов, закуривая. — И отчетность, и снабжение — все поставлено на русский авось.

— Так вы же сами хозяева! Вы и отчитывайтесь как следует! — вспылил Стародубов.

— Да я это не про нас, а вообще насчет снабжения. И не дай бог попасть впросак.

— Именно! — подхватил Коньков. — Вот и попал Чубатов впросак. Но лес-то заготовлен. Я видел своими глазами. Хороший лес.

— Не сомневаюсь, — согласился Завьялов. — Чубатов плохой лес не пригонит.

— А если не сомневаетесь... Почему бы вам вместе со Стародубовым не снарядить комиссию? Съездили бы, посмотрели, акт составили — что за лес? Сколько его? Да и положили бы к нам в дело. Авось поможет взвесить истину.

— Это дело реальное, — отозвался Стародубов. — Я свяжусь и с другими заказчиками. Думаю, они поддержат нас. Сообразим комиссию.

Завьялов оживился, положил руку на колено Конькову и тоном заговорщика спросил:

— Слушай, капитан, а ты, случаем, не перепутал свои обязанности?

— Какие обязанности?

— Те самые, следователя. Вроде бы ваше дело вину установить. А остальное — пусть адвокат собирает, — озорно допытывался Завьялов. — Не то ведь хлеб у людей отбираешь.

Коньков хмыкнул:

— Это я слыхал. Анекдот ходил в начале шестидесятых годов. Помнишь, когда все обязанности делили? При-

шла бабка в исполком и жалуется: родимые, говорит, приструните моего старика, он молотком дерется. А ей отвечают: ты, бабка, не туда жалуешься. Мы — сельский исполком. Вот если бы он серпом тебя, тогда к нам. А на тех, которые молотком дерутся, жалуйтесь вон туда, через дорогу. Там промышленный исполком.

Никита Александрович трубно захохотал, Завьялов криво усмехнулся:

— Ну и угостил ты меня, Леонид Семеныч, угостил.

— Кушайте на здоровье!

18

Дарья пришла в этот день пораньше с работы. Ее гнало нетерпение узнать — что было там, на допросе? Какие обвинения предъявили Ивану? Что грозит ему?

Но дома его не было, на столе лежала записка: «Ушел по вызову в райисполком».

«Ну, слава богу! — подумала она. — Если вызвали в райисполком, значит, не сажают». И на душе у нее отлегло.

Переодевшись в шелковый цветастый халат, она прошла на кухню и принялась чистить картошку. Иван придет голодный, да и сама проголодалась, или от волнения есть хочется. Замечала она за собой странную привычку — как начнет волноваться, так ест что под руку попадет.

В холодильнике лежала добрая половина свиного окорока, закопченного в бане, по-домашнему, — еще до ссоры с Иваном Завьялов привез, вместе с помидорами. Иван любил свиное сало с картошкой, прожаренной до красноты мелко нарезанными брикетиками, вроде лапши. Чтобы с хрустом!

Ах, как ей хотелось продлить это тревожное житие с ним с блаженством и страхом пополам! Каждое утро, уходя на работу, она с тайным ужасом спрашивала себя мысленно: «А вдруг это была последняя ночка? Вечером вернусь — а его нет и не будет...»

В дверь кто-то постучал. Дарья вздрогнула: кого это нелегкая несет? Иван ушел с ключом.

— Кто там? — спросила она с порога кухни.

— Даш, это я... Павел. Открой!

Она открыла дверь и спросила сердито:

— Ты зачем приехал?

— Пусти меня! Поговорить надо. Дело есть. Тебя касается и его...

Она вздрогнула, помедлила и уступила:

— Ладно, проходи.

В прихожей указала Боборыкину на вешалку.

— Раздевайся, раз вошел. Только имей в виду: лясы точить я с тобой не собираюсь. Выкладывай свое дело и сматывайся.

Боборыкин вошел в комнату, озираясь по сторонам — нет ли кого? Присел на диван, начал вкрадчиво:

— Даша, я прошу — выслушай спокойно и подумай.

— О чем ты?

— Я слышал, что ты замуж выходишь... Хочешь расписаться...

— А тебе-то что?

— Я, кажется, мужем тебе доводился, — хмыкнул Боборыкин.

— Вот именно: доводился. И меня чуть не довел до точки.

— Вон как ты мое добро вспоминаешь. Другая спасибо сказала бы.

— За что?

— Хотя бы за квартиру, которую я тебе оставил. — Он обвел руками вокруг себя. — Неплохая квартирка.

Квартира и в самом деле была неплохой — двухкомнатная, в кирпичном доме, с широкими окнами, с коврами на стенах, с большим зеркальным сервантом.

— Квартира государственная. Мы ее вместе получали.

Боборыкин усмехнулся:

— Извините, счетоводам таких квартир не дают. Она была закреплена за предом райпотребсоюза. А председателем был вроде бы я.

— Какое это имеет значение теперь?

— А такое, что я добра тебе желаю и сделал много добра. Вот хоть эту квартиру переписал на тебя. А когда у нас жизнь не сложилась, уехал добровольно.

— Ты уехал добровольно? Не ври! Ты следы заметал. Разоблачений боялся, после того как тебя сняли.

— Каких разоблачений?

— Таких. Сколько вы через сельповские магазины неоприходованного меху распродали?

— Чего ты мелешь? Откуда ты это взяла?

— Оттуда. Серафим, наш фининспектор, рассказывал

про эти махинации. Да я и сама кое-что теперь понимаю. Это я раньше была глупой, по молодости. А такие шашни, которые вел ты, не каждый поймет и раскусит.

— Это никем не доказано.

— Может, еще докажут. То-то вы и смотались вовремя. А мне сразу заливал, что едешь в тайгу на заработки, мол, приелись друг другу. Давай врозь поживем на отдалении. Авось соскучимся и все наладится. А сам прихватил с собой Маньку Лисицу из Синюхинского сельпо. И полгода с ней жил как с законной женой. И ее бросил. Думаешь, я про это не знаю? Подлец ты, Пашка, подлец!

— Насчет Маньки — это все наговоры. Пусть сперва докажут.

— Кому надо доказывать? Мне, что ли?

— Хотя бы. А может, зазря меня обвиняешь?

— Да господи! Живи как хочешь. Не обвиняю я тебя. Да и что нас связывает? Семеро детей по лавкам? И документы наши чистые. И слава богу, что я с тобой развелась. И тогда обманывал меня — все тянул... И слава богу!

— Развелась... И вот тебе мой совет: не расписывайся с Чубатовым.

— Какое тебе дело? Все мстишь ему, что лес у тебя не купил?

— Его гитара? — указал на висевшую на стене гитару, усмехнулся. — Доигрался. Его посадят, если уже не посадили.

— Врешь!

— Точно тебе говорю. В городе слыхал, от верного человека. Хочу помочь тебе, открыть глаза. Смотри не распишись с подсудным человеком.

— Негодяй! Мучитель!

— Глупая ты, Дашка. Я надеюсь, ты еще одумаешься. Помни — я всегда помогу.

— Пошел ты со своей помощью!

В дверях кто-то заскрежетал ключом. Боборыкин вздрогнул.

— Кто это?

Даша, не отвечая, вышла в прихожую, оттуда послышался голос Чубатова:

— Добрая весть, Дашок! Комиссию собирают в райисполкоме. Лес мой хотят оприходовать.

С порога, увидев Боборыкина, вопросительно глянул на Дашу.

Даша ответила:
— Пришел предупредить меня, чтобы я с тобой не расписывалась.
— Что это значит? — спросил Чубатов, переводя взгляд с Даши на Боборыкина и снова на нее; скулы его в один момент сделались багровыми, глаза заблестели.
И Даша порозовела, ноздри ее округлились и подрагивали; глядя с ненавистью на Боборыкина, она заговорила, чеканя слова:
— Он, видите ли, заботу проявляет о моем благополучии. Потому и наговаривает на тебя, и лесорубов натравливал.
— За этим и приехал сюда? — Чубатов, сощурив глаза и сжимая до белизны губы, грозно приближался к Боборыкину.
Тот встал, азартно и злобно произнес:
— Не только за этим... А еще хочу посмотреть, как посадят тебя.
— Меня-то когда еще посадят. А я тебя сейчас посажу...
Коротким и сильным ударом под дых Чубатов сбил Боборыкина. Тот, перегнувшись, ткнулся головой на диван.
— Встань! — Чубатов схватил его за грудки, приподнял левой рукой, притянул к себе, тот вдруг хватил его зубами за палец.
— Ах ты гад! С-собака! — И снова правой ударил Боборыкина в челюсть.
Боборыкин перевалился через диванный валик и сбил спиной стул. Чубатов поймал его за шиворот, опять поднял.
— Это тебе за Дарью. А теперь за меня получи!
Он снова ударил Боборыкина в лицо, тот пролетел в прихожую, спиной раскрыл дверь и упал на порог.
Чубатов взял его под мышки, вытащил на крыльцо и столкнул вниз. Потом снял его куртку с вешалки и выбросил из дверей. Боборыкин неожиданно резво вскочил на ноги, схватил куртку и отбежал на почтительное расстояние.
— Это все тебе приплюсуется, приплюсуется! — крикнул, грозя кулаком.
— Пошел вон! Мразь...
Чубатов закрыл дверь и вернулся в дом; из левой руки его текла кровь. Размазывая ее правой ладонью, сказал, кривя губы:

— Собака! Надо же — руку укусил.

— Дай я тебя платком перевяжу! — ринулась к нему Даша.

— Да пустяки!..

Она ловко и быстро перетянула платком его руку и завязала двумя узелками концы платка. Потом, тревожно заглядывая в глаза ему, спросила:

— Иван, это правда, что тебя посадят?

— Врет.

— Ваня, милый! Я так боюсь за тебя, так боюсь... — Она прильнула к нему на грудь и заплакала.

— Успокойся, успокойся. — Он гладил ее по голове, как ребенка. — Видишь — я у тебя. Мы очень мирно беседовали с капитаном и расстались друзьями. Он даже хлопотал за меня в райисполкоме.

— Я знаешь о чем подумала? — Она запрокинула голову и опять поглядела в лицо ему. — Если тебя посадят, я стану твоей женой.

— А если нет? — Он с ласковой насмешливостью глядел на нее. — Ну, чего молчишь? Будешь раздумывать? Тогда я попрошу капитана, чтобы меня посадили сегодня же.

— Типун тебе на язык! Что ты говоришь такое? — испуганно запричитала она. — Вот беду накличешь! Разве можно смеяться над судьбой?

— А я не смеюсь. Моя судьба — ты. Она в моих руках. — Он обнял ее и поцеловал.

Им помешал стук в дверь.

— Неужели ему мало? — сказал Чубатов, оставляя ее. — Погоди, я сейчас.

Даша оправила на себе одежду, причесала волосы, обернувшись к зеркалу, и с ужасом заметила в зеркале, как в комнату входил вместе с Чубатовым капитан Коньков. Она выронила гребешок; падая, он простучал каким-то странным сухим костяным стуком. Обернулась; все с минуту стояли как немые, глядя друг на друга.

— Иван Гаврилович, — сказал Коньков Чубатову, — я должен взять вас под стражу.

— Ваня! Ва-а-аня! — с душераздирающим криком Даша бросилась к Чубатову и зарыдала, затряслась у него на груди.

— Ну, будет, будет, — утешал ее тот и виновато Конькову: — Извините, капитан... женщина.

— Да я понимаю. Может, мне выйти на минуту?

— Нет, — твердо сказал Чубатов. — Когда болит зуб, его сразу надо дергать.

Даша умолкла внезапно и теперь смотрела во все глаза на Чубатова. Иван поцеловал ее как-то церемонно и обернулся к Конькову:

— Я готов, капитан, — хлопнул себя по животу: — У меня зипун — весь пожиток. — Потом Даше: — Чего понадобится, попрошу у тебя.

— Я все принесу, — пролепетала она.

— Да, вот еще! — Чубатов вскинул голову и как-то весело посмотрел на Конькова: — Капитан, а можно мне идти с гитарой?

— Можно... до самой камеры.

— Вот спасибо! — Чубатов снял со стены гитару, подошел к Даше, еще раз поцеловал ее: — Не горюй! — И потом капитану: — Пошли!

Чубатов шел рядом с Коньковым, как с приятелем, и пел под гитару:

Я поднялся к тебе на Большой перевал,
Я все ноги разбил, я все путы порвал...

Прохожие и подумать не могли, что один из этих двоих был арестованным, второй же — конвоиром.

А Даша стояла на крыльце, прислонившись к дверному косяку, и смотрела невидящими глазами прямо перед собой в темноту, откуда долетала к ней, все отдаляясь, негромкая песня Чубатова.

19

Коньков пришел домой поздно, в скверном настроении. Моросил дождь, и на сапоги налипла ковлагами придорожная глина. Обчищая об железную скобу сапоги, еще подумал: теперь бы выпить не грех с каким-нибудь приятелем. А Ленка разве компаньон в таком деле. Да еще и обругает, если предложишь.

Он постучал в оконный наличник. В сенях тотчас вспыхнул свет. Значит, ждала, с невольным одобрением подумал Коньков.

— Ты чего такой хмурый? — спросила она с порога. — Иль проголодался?

— С прокурором поцапался, — отвечал Коньков, снимая плащ. — Дело у меня забирает.

— Подумаешь, беда какая. Отдай, пусть потешится.

— А тебя, говорит, накажем.

— За что?

— Чубатова посадили... А я не согласен.

— Ах ты! Какая жалость! — всплеснула руками Лена. — Не везет этой Дашке, опять ей горе мыкать в одиночестве.

Коньков присел на лавку, снял мокрые сапоги, надел шлепанцы.

— Начфин его гробит. Но мы еще посмотрим.

— Лень, а у нас гость!

— Иди ты! — обрадовался Коньков.

— Пошли! Чего расселся?

— Идем, идем, — весело отозвался Коньков, потирая озябшие руки.

Посреди зала в красном креслице важно восседал Арсё и курил свою бронзовую трубочку. На нем были легкие бурые олочи, расшитый по бортам и вороту синий халат, а на голове покоилась старомодная, плетенная из черной соломы шляпа с вуалеткой. Сбоку над щекой свисал белый ярлык с указанием цены этой шляпы. Своя же заношенная кепка лежала на коленях.

— Арсё! Какими судьбами? — радостно приветствовал его Коньков.

— В город приезжал... шляпу купил. — Арсё мундштуком трубочки указал на голову.

— Шляпа-то дамская!

— Ну и что? Мне очень нравится. Красивая шляпа. Внуку подарю или внучке.

— Где ты ее раскопал? Таких уж не носят лет десять.

— Почему?

— На ней вуалетка.

— Какой вуалетка? — Арсё снял шляпу и с любопытством разглядывал ее.

— А вот вуалетка, — указал Коньков на вуалетку частого плетения с черными мушками.

— Это накомарник, понимаешь, — сказал Арсё, снова примеривая на себя шляпу.

Коньков засмеялся:

— Ты бы хоть ярлык с ценой срезал.

— Это? Зачем? Красиво... И все узнают, сколько деньги платил.

— У тебя, брат, все продумано.
— Конечно, — согласился Арсё.
— Мать! А ну-ка накрывай на стол, чего погорячее! — крикнул Коньков жене, хлопотавшей в прихожей, и снова Арсё: — Как ты меня нашел?
— Наши люди говорили.
— Откуда они знают, где я живу?
— Наши люди все знают.
— Пра-авильно, — усмехнулся Коньков, принимая от Елены тарелки и расставляя их на столе.
— Я приезжал тебе говорить: Гээнта не виноватый. Гээнта не поджигал лесной склад, — сказал, понизив голос, Арсё и подаваясь корпусом к Конькову.
— А кто же поджег его? — Коньков хоть и оживился, и блеснул огонек в глазах его, но губы кривились в чуть заметной усмешке.
— Боборыкин поджигал, — уверенно ответил Арсё.
— Кто тебе сказал?
— Никто не говорил... Сам знай.
Огонек любопытства, блеснувший было в глазах Конькова, снова угас, и он спросил скорее для приличия:
— Каким же образом ты узнал?
— Бабушка Одинка видел... Моя жена.
— Почему же она мне не сказала? — удивился Коньков.
— Она тебя боисси.
— Что же она видела?
— Она, понимаешь, дрова собирал... Там тайга, где лесной склад был. Вдруг лошадка едет, человек на ней, верхом, понимаешь. Бабушка смотри, смотри... Кто такой? Боборыкин, оказывается. Его слезал с лошадка, ходи юрта, где Гээнта спал. Бабушка за дерево прятался.
— А чего она спряталась?
— Она боисси. Боборыкин смотри кругом, никого не видал. Тогда он вынимай трубка из кармана, белый. Немножко поджигай. Дым ходил из трубка. Бабушка думал — его курить будет. Нет, понимаешь. Трубка отнес в юрту. Сам на лошадка садился, уехал тайга. Бабушка домой уходил. Может, полчаса, час проходил... Пожар! Юрта гори! Лесной склад гори! Вот какое дело, понимаешь.
— А кто докажет, что это был Боборыкин.
— Я могу доказать, такое дело.
— Каким образом?
— Я следы видел. Лошадка искал. Всю тайгу прошел.

Лошадь нашел. В ОРСе, оказывается, лошадка. Ну, где запань. Конюх мой друг. Мы выпивали немножко. Я давал ему свой нож. Хор-роший нож. Конюх давал мне писаку. Вот, такое дело. — Арсё вынул сложенную вчетверо бумажку, протянул ее Конькову.

Через плечо ему заглядывала Елена и зло цедила:

— Какая сволота! Какая сволота!

Коньков развернул бумажку и прочел вслух: «Конюху Коновалову. Выдать лошадь под седло подателю сего, Боборыкину. Завхоз Сметанкин. 20 сентября сего года...»

— Вот это бумага! — прихлопнул ладонью по записке Коньков и радостно подмигнул жене: — Ай да Арсё! Да ты прямо Шерлок Холмс...

— Конечно, — охотно согласился Арсё.

— За это и выпить не грех. — Коньков налил всем в рюмки водки.

— Можно, такое дело, выпить. — Арсё бережно приподнял рюмку и, кривясь, медленно цедил водку.

Коньков помолчал для приличия, ожидая, пока Арсё закусывал свиным салом, потом спросил:

— А что за трубку положил он в юрту?

— Вот его трубка. — Арсё вынул из кармана дюралевую трубку, из которой торчал остаток истлевшего фитиля. — Там нашел, где юрта Гээнта стояла.

Коньков взял трубку, стал разглядывать ее и вдруг вспомнил: это был тот самый обрезок, которым он расшвыривал пепел на месте сгоревшей юрты. Запоздалая досада на свою оплошность вызвала в душе его горькое сожаление — он только головой покачал:

— Как же я не обратил на нее внимания? Эх, лопух я, лопух! — выругал он себя вслух.

— А при чем тут трубка? — спросила Елена. — Какая связь этой железки с пожаром?

— Типичный самопал. — Коньков передал ей трубку. — Поджигают фитиль, заталкивают его в трубку, а на конце насаживают или коробку спичек, или бутылку с бензином. Пока фитиль тлеет в трубке, поджигатель успевает далеко уйти... Это вроде примитивного бикфордова шнура... Н-да. Откуда взял он эту трубку? — спросил Коньков скорее себя, а не Арсё.

— Я знай! — отозвался Арсё.

— Ну, ну!

— Его отрезал свое весло. Там валяется, на складе. Алюминевый весло. Я, такое дело, спрятал.

Коньков опять головой покачал.

— Арсё, тебе надо в следователи идти.

— А почему нет? — засмеялся тот.

— Одну минутку. — Коньков встал из-за стола и прошел в соседнюю комнату к телефону. Притворив дверь, он набрал номер дежурного по милиции и спросил: — Капитан Ребров? Послушай, Володь! Завтра утром вызови ко мне в кабинет Боборыкина. Тепленьким доставь его. Да! Пораньше, к девяти часам.

20

На другой день Боборыкин встретил Конькова в дежурном помещении и сердито спросил:

— С какой целью вы меня вызвали?

— Сейчас поясню. Пройдемте со мной, — приглашал его Коньков, пропуская впереди себя.

В своем кабинете он вынул из кармана закопченную алюминиевую трубку и положил на стол перед Боборыкиным:

— Узнаете?

— Что это? — спросил в свою очередь Боборыкин.

— Обрезок от вашего весла. Вспомните!

— Допустим... Ну и что?

— Он оказался на месте сгоревшей юрты Гээнты. Как он там оказался?

— Понятия не имею. — Боборыкин даже отвернулся и сделал обиженное лицо.

— Я вам напомню. Вы его зарядили фитилем, подожгли и положили в юрту спящего Гээнты.

Лицо Боборыкина покрылось пятнами, но он все еще пытался изобразить обиду и растерянно улыбался:

— Как бы я смог сделать это?.. Если во время пожара я был на запани.

—На лошади, например. От ОРСа до вашего склада по тайге не более двенадцати километров. Пока тлел фитиль, вы ехали галопом.

— Что вы на меня валите напраслину? Интересно, кто бы это дал мне лошадь? — Боборыкин побледнел, и на лбу его появилась испарина.

— Конюх ОРСа, по записке завхоза. Вот она. — Коньков вынул записку и показал ее из своих рук.

Боборыкин глядел на нее затравленно и молчал.

— Она? — насмешливо спросил Коньков.

— Не знаю, — выдавил из себя Боборыкин и отвернулся.

— Запираться дальше бессмысленно, Боборыкин. Лошадь, на которой вы ездили, видели удэгейцы. Они могут ее опознать. Построят всех лошадей ОРСа и спросят: которая? А весло, то самое, от которого вы отрезали эту трубку, хранится в надежном месте. Так что баста.

Коньков встал.

— Что вы от меня хотите? — со злобой спросил Боборыкин, вставая.

— Подумайте, все взвесьте и признайтесь... Мне ли, прокурору — не имеет значения. Это облегчит вашу участь. А пока я вас провожу в дежурку.

Оставив Боборыкина под надзором дежурного, Коньков вернулся в кабинет и позвонил Савельеву.

— Владимир Федорыч, здравствуйте! Коньков.

— Слышу, — помедлив, ответил Савельев. — В чем дело?

— Появились серьезные улики в виновности Боборыкина. Необходимо задержать его. Прошу вашей санкции.

— Кажется, я отстранил вас от дела. Так вот... Боборыкиным займется тот, кому следует.

На том конце положили трубку и послышались частые гудки.

— Ах, вот как! — воскликнул Коньков, придавливая рычаг трубкой. — Ну, ладно...

Злой и решительный вошел он в кабинет начальника милиции и спросил от порога:

— Почему прокурор не дает санкцию на арест Боборыкина? Я ему звоню по телефону, а он трубку бросает. Даже разговаривать не хочет. В чем дело?

— Ну, что ты кипятишься, капитан? Садись, и поговорим спокойно, — подполковник, грузный, с залысинами, кивнул на стул. — Боборыкин никуда не денется, возьмут его, успокойся. А указание прокурора следует исполнять.

— Я исполняю... задержал Чубатова. Но прокурор необъективен. И я с ним не согласен по ходу дела.

— Если прокурор берет следствие в свои руки, ты обязан отдать.

— Пожалуйста! Бумаги я отдам.

— И продолжаешь вести это самое расследование. Какое ты имеешь право?

— А если я не согласен с выводами прокурора?

— Ты обязан прекратить расследование. Если не согласен, пиши рапорт.

— Я напишу рапорт. Но к рапорту я добавлю кое-что другое. Я подробно изложу, что за порядки сложились у нас по заготовке леса. Что за отчетность! Что за снабжение! И все хотят из воды сухими выйти. На стрелочника свалить! Я попытаюсь разобраться в этом до конца.

Подполковник Колесов с долгим укором смотрел усталыми, отечными глазами на Конькова, выражение лица его было печальным и скучным, ему жаль было, что взрослый и вполне разумный человек порет горячку и не хочет считаться с элементарными правилами.

— Прокурор требует отстранить вас от дела, — произнес он наконец. — Я надеюсь на ваше благоразумие.

— Я буду проводить расследование, — сказал упрямо Коньков.

— В таком случае вы будете наказаны.

— Благодарю за предупреждение. — Коньков учтиво склонил голову и пошел к двери.

Подполковник встал и сердито сказал:

— Остановитесь, товарищ капитан!

Коньков остановился, развернулся по-военному, щелкнул каблуками.

— Слушаюсь, товарищ подполковник!

Тот подошел к Конькову.

— Леонид Степаныч, мы с тобой больше года проработали... Зачем же так открыто рвать? Зачем не уважать старших?

— Я вас уважаю, товарищ подполковник.

— Формально. А по существу не слушаешь. Ну, поверь моему опыту — нельзя лезть на рожон. Прокурор для тебя, для следователя, одно и то же, что ротный командир для отделенного. Хоть субординацию соблюдай.

— Чем же я нарушил субординацию?

— Ну, как же? Прокурор отдал приказ — арестовать подследственного. А ты что сделал? Мало того что целый день проманежил... только вечером взял его. Так еще и с гитарой вел через весь город!

— Мне совестно вести под конвоем невинного человека.

— Суд покажет, виновен он или нет.

— Вот именно. Будем готовиться к суду.

— Что это значит?

— А то, что я вам сказал. Буду жаловаться. Действовать, как сочту нужным.

— Ну что ж, вольному воля. — Подполковник насупился и сухо сказал: — Можете считать себя свободным. Я отстраняю вас от расследования. Ступайте.

Коньков вышел из милиции, свернул на тихую пустынную улочку и рассеянно побрел по узенькой бетонной ленточке тротуара. Стоял хороший денек ранней осени — ни жары, ни ветра; сочно зеленела на обочинах трава-мурава, светились чистые голубенькие заборчики из штакетника, палисадники с высоким малинником, яблоки на ветвях и тревожные пятна красной рябины. Но Конькову было невесело от этой благодати.

«Вот и повернулось все на круги своя, — думал он. — Пойду я опять околачивать пороги. Правду искать! Отчего это так получается? Или не везет мне? Или самолюбие заедает и я лезу в самом деле на рожон? Может, прав Савельев? Нарушение есть? Есть. А там пусть суд решает. Чего ж я бью тревогу? Или я вправду обязанности свои перепутал, вместо обвинителя хочу защитником выступать? Ведь будет же на суде и защитник, будет. А как же я? Дело свершили, я знаю, что причины этих нарушений не вскрыты, что виноваты не только заготовители, но и те, которые сами обвиняют, и промолчу? Дак ведь совесть замучает! Кто же я? Страж закона или исполнитель чужой воли? Если закон превыше всего, тогда что за беда, коли перепадет мне по шее. Надо терпеть, Леня...»

Его вывел из раздумья скрип тормозов на мостовой. Оглянулся — «газик». Из растворенной дверцы высунулся председатель райисполкома Стародубов и машет рукой.

— Капитан! Шагай сюда, подвезу!

Коньков свернул на мостовую.

— Здоров, Никита Александрович!

— Давай, давай! — Тот сидел за рулем, жестом указывая на место рядом с собой.

Коньков влез в машину.

— Тебе куда? — спросил Стародубов.

— Да ведь я к тебе...

— Иди ты! На ловца и зверь бежит.

Стародубов закрыл дверцу, «газик» тронулся.

— По какому делу?

— У меня есть идея. Давай позвоним в райком первому. Предложим бюро созвать. Разберемся, как у нас отчетность ведется. Снабжение и все такое прочее. — Он хлопнул по своей планшетке: — У меня тут собрался материалец: и

по лесным делам, и кое-что от председателей колхозов, от финансистов...

— И когда же появилась у тебя эта идея? — спросил иронически Стародубов. — После того как прокурор отобрал у тебя дело?

— А при чем тут мое дело?

— При том. Типичная логика обиженного человека: ах, меня сняли! Ну, так я вам докажу — один я прав, а вы все виноваты. Знакомо, Леонид Семеныч.

— Ну, ну... И мне знакома одна старая побасенка: что может толковое сказать человек, изгнанный из Назарета? Что ж, не хотите слушать здесь, так в области разберутся.

— А если и там охотников не найдешь? — ехидно спросил Стародубов.

— Пойду выше. Останови-ка!

Они остановились напротив красного двухэтажного особняка с вывеской на дверях — «Райком КПСС». Коньков вылез из машины.

— Ну, ступай! — сказал ему вслед Стародубов. — Только смотри, не ушибись о дверной косяк.

— Благодарю за внимание!

Коньков легким поскоком через две ступеньки поднялся на второй этаж и прошел в приемную к первому секретарю. Его встретила полная седая дама в черном костюме.

— Я вас слушаю.

— Я к Всеволоду Николаевичу, — сказал Коньков.

— Он будет в конце дня. Что передать? — Она сидела за столиком перед пишущей машинкой.

— Передайте вот это. — Коньков вынул из планшетки голубенькую папку, положил на стол, и сверх этого — еще листок бумаги, исписанный от руки. — Скажите Всеволоду Николаевичу, я буду ждать приема весь день сегодня и еще завтра, до вечера. В ночь на послезавтра уеду в область. Дело не терпит отлагательства. Впрочем, тут все написано.

— Хорошо. Я доложу, — сказала секретарша.

21

Елена поджидала Конькова в палисаднике, и потому, как смотрела на него тревожным и взыскующим взглядом, понял: все уже знает.

— Ну что, отстранили? Чего молчишь? — И губы поджаты, вытянуты в ниточку.

Он присел на лавочку под окном и сказал примирительно:

— Садись! В ногах правды нет.

Она присела на краешек лавки и затараторила:

— Я как чуяла... С четвертого урока сбежала. Мне завуч шепнул: Савельев, говорит, чернее тучи. Ваш законник в печенке у него сидит. Стоит ли ссориться, говорит, хорошим людям из-за какого-то заезжего гастролера? Я и помотала к тебе. Думаю, упрошу: надо помириться. Ты же упрямый, как осел. Торкнулась к тебе в кабинет — дверь заперта. Я к дежурному, к Реброву: Володь, говорю, где мой? А его, говорит, того... отстранили. Дак что, в самом деле?

— В самом деле, — ответил, не глядя на Елену.

— У начальника-то был?

— Был.

— И что он?

— Да что... Не лезь, говорит, на рожон.

— А я тебе что говорила? — подхватила Елена, всплеснув руками. — Да ведь ты уперся как бык. Все тебе надо правду доказать. Кому доказывать, начальнику, прокурору? А то они глупее тебя? Они что, не знают эту правду? Не знают, как лес добывали, как порядок нарушали? Да они сами этот порядок устанавливали. Пускай сами в этом и разбираются. Твое-то какое собачье дело? Ты же следователь. Вот и гоняйся за преступниками. А этих людей не трогай. Они тебе неподвластны.

— Не трогай, неподвластны... — Коньков покрутил головой и грустно усмехнулся. — Ну, чего ты расшумелась, голова — два уха! Мое дело установить — отчего так получается, что человек по натуре честный против своей воли становится нарушителем. В чем причина, когда добросовестные люди оказываются виноватыми? Понимаешь? Истинную причину вины вскрыть надо. Вот моя задача! Вскрыть причины, дабы изменить условия, от которых и дело страдает, и люди оказываются без вины виноватыми. А причина эта в бесхозяйственности, в безответственности, да еще в лицемерии. Запутали всякую отчетность. Знают, но делают вид, будто они ни при чем.

— Зато тебе больше всех надо, — с какой-то злой обидой сказала Елена.

— Да пойми ты, если я этого не сделаю, не скажу, мне будет стыдно людям в глаза смотреть.

— Смотри-ка, застыдился, бедный. За людей переживает... Вон, у людей и дома свои, и автомашины. А ты все на казенной квартире живешь. За сорок лет один мотоцикл нажил.

— Мотоцикл-то с коляской! Все ж таки у тебя есть свой выезд. Правее меня сидишь, как начальник. — Он ткнул ее шутливо в бок и захохотал.

— Да ну тебя! — Она приняла эту шутку, озорно блеснули ее темные быстрые глаза. И радость вспыхнула в них за мужицкую стойкость крутой и неуступчивой натуры своего благоверного, и помимо воли растянулись губы ее в игривой улыбке, но только на одно мгновение... Затем ее небольшое, по-детски округлое личико затуманилось и озабоченно опали книзу уголки губ. — Доездились! Что ж, опять в ассенизаторы пойдешь? В мусорщики?

— А что мусор? По двести восемьдесят рублей в месяц заколачивал! Мотоцикл купил.

— Эх, Леня!.. Ни самолюбия у тебя, ни гордости.

— По-твоему, самолюбие в том, чтобы идти на сделку с совестью?

— Да иди ты со своей совестью!.. Носишься с ней как с писаной торбой. Чего теперь делать будем?

— Живы будем — не помрем. Найду работенку. У нас безработицы не бывает.

— Поесть собрать?

— Нет. Молочка, пожалуй, выпью. Пойду в сарай, постругаю да дров поколю... А ты сиди дома, от телефона ни шагу.

— А что тебе телефон?

— Звонить будут, от «самого». Я ему все бумаги отнес и написал кое-что.

— Думаешь, примет? — усмехнулась недоверчиво.

— Примет, — уверенно сказал Коньков. — Он человек неглупый, поймет: не в его интересах выносить сор из избы. А я ведь на районном пороге не остановлюсь. Он меня знает.

До самой темноты провозился Коньков в своем сарайчике: то дрова колол, то протирал мотоцикл, то гнал стружку — новые доски шлифовал для кухонной перегородки, и все думал, как он войдет к секретарю, как поведет свою речь, издалека, по-умному, обложит Савельева, как медведя в берлоге; и такие доводы приходили на ум, и все так складно получалось, что он совсем успокоился и не заметил, как вечер подошел.

Елена пришла к нему в глубоких сумерках; он сидел на чурбаке, понуро свесив голову.

— Ты хоть бы свет включил. Темно.

— А? — отозвался тревожно. — Звонка не было?

— Нет. Ужинать пора.

— Хорошо. Я сейчас приду. — А сам ни с места.

Елена прижалась к нему грудью, запустила пальцы в мягкие волнистые волосы.

— Переживаешь! — потеребила губами кончики его ушей. — Наверное, не примет тебя.

— Ничего... завтра в ночь поеду в область.

— Эх ты, Аника-воин! Пойдем, хоть накормлю тебя. Не то отощаешь. Гляди — штаны спадут. — Она озорно оттянула резинку его лыжных брюк. — Еще опозоришься перед начальством.

— Хорошо, Ленок. Ступай! Я сейчас приду.

Она поднялась на заднее крыльцо, растворила дверь и вдруг крикнула с порога:

— Ле-оня! Телефон звонит!

Он бросился, как тигр из засады, одним махом заскочил на верхнюю ступеньку крыльца, опередил ее на пороге и первым схватил трубку.

— Ты чем занимаешься? — панибратски звучал в трубке знакомый басок первого секретаря.

— То есть как? В каком смысле? — насторожился Коньков.

— А в самом прямом. Ты свободен?

— Так точно!

— Тогда давай ко мне. Мы тебя ждем тут.

— Я — в один момент. Через десять минут буду.

— Смотри за порог не зацепись, — насмешливо заметил секретарь. — Ждем! — И положил трубку.

— Ну, что я тебе говорил? Крой тебя горой! — ликовал Коньков, потрясая поднятой рукой. — Нам нет преград на суше и на море...

— Рано веселишься... Смотри не прослезись. Как возьмут тебя в оборот...

— Меня?! Да я их за Можай загоню.

— Ну да... Заяц трепаться не любил. Поешь сперва, не то натощак-то голос сядет, — сказала, глядя, как он, не успев толком подпоясаться, уже китель натягивал.

— Ты что, не слыхала? Я же сказал: через десять минут буду у них.

— Господи! Не смеши хоть людей. Ты что ж, и побежишь, как пионер, через весь город?

— А мотоцикл на что?

— В райком, на мотоцикле?

— Только так.

— Дуракам закон не писан. Смешно.

— Смеяться будем потом.

22

В кабинете первого секретаря за столом уже сидели Стародумов и Савельев. Сам Всеволод Николаевич, поскрипывая протезом левой ноги, тяжелой развалистой походкой вышел из-за стола навстречу Конькову.

Это был сумрачный брюнет могучего сложения с густой седеющей щеткой коротко стриженных волос, в черном дорогом костюме и в белоснежной рубашке с откладным воротом.

— А вот и виновник торжества! Прошу к столу! — приглашал он Конькова, бережно ведя под локоток. — Ну, капитан, здорово разрисовал ты наши порядки по части лесозаготовок. Всем досталось, а мне больше всех. — Всеволод Николаевич сел на свое место и хитро подмигнул Конькову. — Только вот какая оказия: твой оппонент, прокурор Савельев, говорит, что спорить не о чем. Дело, которое он отобрал у тебя, освещается не с той стороны. Юридическое начало перепутал с хозяйственным.

— Давайте разберемся, — кто что перепутал? — Коньков вынул из кармана коробку спичек, погремел ею, поочередно глядя на каждого собеседника. — Вот вам коробка спичек. Чтобы спичка зажглась, ее нужно провести с нажимом по коробке. Тогда вспыхнет огонь. — Он вынул спичку, зажег ее и приподнял кверху. — От этого огня может сгореть и дом, и целый поселок. Причина зла — вот она — спичка. Ведь можно и так на вопрос ответить. А как же руки, которые пустили ее в дело? Они что же, значит, ни при чем?

— Да что ты нам здесь побасенки рассказываешь? — не выдержал Савельев, перебивая его.

— А то и рассказываю, что этими руками были мы с вами, — живо обернулся к нему Коньков и с выдержкой поглядел на него, потом на Стародубова. — Что скажешь, как он его заготавливает? Какими методами? С луны вам приходил этот лес? Вы его только по колхозам распреде-

ляли. А вы, товарищ прокурор, тоже не знали, каким образом добывают лес?

— Ты не путай божий дар с яичницей, — зло сказал Савельев. — Одно дело — промысел, а другое метод, которым он осуществляется.

— Ну, конечно, методы были скрыты за семью замками. Волшебник Чубатов проводил сеанс черной магии. Алле-хоп! — и бумажные ведомости превращались в кубометры чистого леса.

— Я прокурор. И какое мне дело, в конце концов, до заготовки леса?

— Как? Ты же присутствуешь на заседаниях исполкома? — вскинул удивленно голову Всеволод Николаевич и, обернувшись к председателю, спросил: — Никита Александрович, разве вы на исполкоме не решали вопрос о заготовках леса?

— Решали, — слегка конфузясь, ответил Стародубов.

— И что же, Савельева не приглашали на исполком?

— Был Савельев на исполкоме, — помедлив, ответил Стародубов.

— Ну, как же так, Владимир Федотыч? — с недоумением спросил Всеволод Николаевич, разводя руками и выпячивая нижнюю губу.

Чуть пригнув голову, Савельев с расстановкой сказал:

— Повторяю: я прокурор и моя обязанность следить за выполнением закона.

— Да, это ваша обязанность, — прихлопнул ладонью об стол Всеволод Николаевич. — Но никто нас с вами не отстранял и от другой обязанности: наведения порядка в районном хозяйстве... Я так думаю, товарищи, что вопрос о лесозаготовках надо поставить на бюро. И там хорошенько разобраться, кому давать пышки, а кому шишки. Твое мнение, Никита Александрович?

— Будем собирать бюро, — Стародубов шумно вздохнул и добавил: — Дело Чубатова — не частный вопрос.

— Вот именно, не частный вопрос! — Всеволод Николаевич поднял палец кверху. — Следователь прав, Савельев!

— Так что ж, прикажете дело прекращать? — спросил тот как бы с обидой и вызовом.

— Я не областной прокурор... — Всеволод Николаевич подался грудью на стол и пристально поглядел на Савельева.

Тот слегка смутился и сказал извинительно:

— Да не в том дело...

— Вот именно, — как бы согласился с ним, не требуя иных пояснений, первый секретарь. — Я не хочу исполнять чужие функции, но вижу: дело Чубатова в надежных руках, и отстранять Конькова не советую. — Последние слова произнес с нажимом.

— В самом деле, Владимир Федотович, тут что-то от недоразумения или от амбиций. Такие стычки бывают. Надо снисходить как-то, сообразуясь... — Стародубов запутался в словах, но смотрел на Савельева с затаенной надеждой.

— Да я не против, в общем-то... — Савельев поглядел себе на руки, похрустел пальцами. — Пусть работает... Но чтобы принципы не нарушались.

— Это само собой! — подхватил Коньков, вставая. — Разрешите идти?

— Идите и работайте. — Всеволод Николаевич встал и пожал ему руку.

— Премного благодарен!

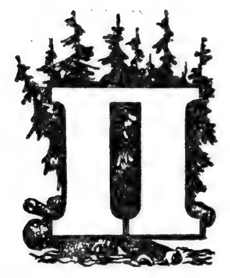
Коньков по-военному повернулся, щелкнул каблуками и вышел вон.

1972

ПОЛТОРА КВАДРАТНЫХ МЕТРА

Повесть-шутка в четырнадцати частях с эпилогом и сновидением

Глава I



авел Семенович Полубояринов, зубной техник и член домкома, проснувшись поутру, не смог выйти из своей квартиры: под их дверью спал пьяный сосед Чижёнок. А дверь открывалась в коридор.

— Марья, Марья! — позвал Павел Семенович.

— Чего тебе? — Мария Ивановна откликнулась не сразу; по хриплому еще спросонья голосу, по недовольному тону и встречному вопросу Павел Семенович понял, что звать ее не надо было — обругает.

— Так я, — смиренно ответил Павел Семенович.

— Таком не отделаешься. Разбудил — отвечай!

— Чижёнок опять под нашей дверью спит.

— Черт с ним. Проспится да встанет.

— Дак я, это самое... Горшок на дворе позабыл. А приспичило — мочи нет.

— Сходи в окно.

— Развиднело же! Ты что, ай не видишь!

На койке жалобно застонали пружины, потом отозвался Марьин голос:

— Ох ты господи! И в самом деле вставать пора.

Она свесила с кровати толстые, в синих бугристых венах ноги, развела в стороны мощные, борцовские руки и так зычно зевнула, что Павел Семенович вздрогнул.

Он стоял возле двери в одних трусах, мелко перебирая сухими жилистыми ногами. Одна нога была у него перебита в голени, вся исполосована застарело красными рубцами и заметно короче другой.

— Ну, чего ты камаринскую танцуешь? — сказала недовольно Мария Ивановна. — Толкни дверь!

— Пробовал... Он головой ее припер.

Мария Ивановна подошла к двери.

— А ну-ка!

Она с ходу двинула плечом дверь — в коридоре звонко бухнуло, словно там кто-то стукнул мутовкой в пустую деревянную чашку. Потом раздалось рычание, которое перешло в затяжной мат. Наконец оттуда спросили:

— Кого надо?

— Прочь от двери, пьяница! — крикнула Мария Ивановна.

В ответ донеслось протяжное пение, похожее скорее на мычание подавившейся коровы:

Мы плевать на тех хотели,
Кто нас пьяницей назвал:
На свои мы деньги пили,
Нам никто их не давал...

— Ну и дурак, — сказала Мария Ивановна.

— А вы катитесь все к эдакой матери!..

— А вот мы вызовем милицию. Тогда запоешь другим голосом.

— Плевать мне на милицию. Я лежу на своей территории.

— Дак нам выйти надо, — жалобно сказал Павел Семенович.

— Хочешь выйти — открывай дверь к себе. А ко мне не смей... Расшибу!

— Володя, она же в одну сторону открывается, дверь-то. В коридор... Ты бы встал, — мягко упрашивал Чижёнка Павел Семенович, высовывая нос в притвор.

— Я те встану...

— Дак выйти надо.

— А мне плевать. Раньше надо было думать. — И опять заревел: — В ос-трррa-а-ввах охотник целый день гу-ля-а-а-ает. Если неудача, сам себя руга-а-а-ет...

— Ну, что теперь делать? — жалобно вопрошал Павел Семенович, обернувшись к Марии Ивановне.

— У тебя всегда так: приспичит — что делать? Давно бы надо дверь перенести дальше в коридор да растворять ее в квартиру... чтоб ни от кого не зависеть. Долго ли до греха? А вдруг пожар? Что ж, мы с тобой и будем в окна нырять?

— Куда ж деваться?

— Вот, вот... Начни еще утешать меня.

— Дак выхода нет.

— И это не выход. Ну, что ты вытащишь в окно? Ответь! Да и ноги переломаешь. Вон оно на какой высоте... Прямо не дом, а скворечня.

Мария Ивановна растворила окно и посмотрела вниз, как будто и в самом деле хотела выпрыгнуть. До земли было далеко. Сначала стена рубленая — шесть венцов. И куда столько клали? Четырех венцов вполне хватило бы. А там еще фундамент не меньше метра. Вот и ныряй туда. Оступишься — дров наломаешь...

— Дурак был этот хозяин, чистый дурак. Провизор, одним словом.

Эдакой фразой обычно заканчивалась всякая размолвка, вызванная неудобством квартиры. Дом, в котором жили Полубояриновы, в стародавние годы принадлежал какому-то провизору. Никто толком не знал, чем занимался этот провизор, но все понимали, что слово это нехорошее, ругательское, сродни «эксплуататору». В одно время это прозвище прилепилось к самому Павлу Семеновичу за его ученость и некоторую заносчивость. И каково же было удивление, когда доктор Долбежов, самый старый в их поликлинике, пояснил Павлу Семеновичу, что провизор есть аптекарь. А в прежние годы жить по-провизорски считалось — подлаживаться при известной бедности под хороший тон. Ну, вроде бы со свиным рылом лезть в калашный ряд. Однако же ничего обидного в этом Павел Семенович не видел, на прозвище свое никак не отзывался, и

оно вскоре отлетело само по себе, как шелуха с присохшей болячки.

Старый провизорский дом когда-то был разделен на четыре части и заселен новыми жильцами, отчего и появилось известное неудобство. Во-первых, новые перегородки пропускали шум на чужую жилую площадь. Во-вторых, общий коридор мешал. Куда бы ты ни шел, а его не минуешь. Он был узкий, длинный да еще с загогулиной в виде глаголя. В нем обязательно на что-нибудь наткнешься — либо головой стукнешься о корыто, либо кошке хвост отдавишь, а то и помойное ведро сшибешь. А в последнее время самый тупик «глаголя» — двухметровый отросток, который вел в квартиру к Полубояриновым, — самовольно захватил сосед Чижёнок. По ночам, когда он возвращался выпивши, Зинка не открывала ему дверь. «Ступай туда, где пил». — «Врешь, баба! На работу пойдешь — откроешь. Уж я на тебе отосплюсь... Расшибу!»

Чижёнок ложился щекой на кепку и засыпал как убитый, загородив собой проход сразу в две квартиры. На счастье, у Зинки дверь открывалась в комнату. Она спокойно перешагивала спящего мужа и уходила на работу. А у Полубояриновых дверь открывалась в коридор...

Они бы рады повернуть ее, чтобы открывать в комнату, но притолока мешала — дымоход от соседней печки, значит, чтобы открывать дверь внутрь, надо отнести ее метра на полтора по коридору, то есть захватить полтора метра общей территории. А на это нужно было решение горсовета.

— Павло! Садись сейчас же, пиши заявление насчет двери, — сказала Мария Ивановна. — Ну-ка да Миша с Бертой приедут? Срамота! В уборную не выскочишь. А ведь Берта как-никак бывшая гражданка ГДР. Так и напиши в заявлении: здесь, мол, пахнет иностранным осложнением.

— Не знаю, как насчет иностранного осложнения, а у меня оно вот-вот появится, — отозвался Павел Семенович, перебегая от двери к окну.

— Чего ж ты тянешь? — уже с опаской глядя на пол, сказала Мария Ивановна. — В окно!

— Господи благослови! — Павел Семенович, втягивая воздух, как бы всхлипывая, стал вылезать в окно.

Глава II

Сноха Берта — хороший козырь, но пойти с него надо умеючи. В такой игре один раз продешевишь — и все карты биты. Жди нового захода. Когда он еще подвернется.

Правда, в последнее время Чижёнок ночевал в коридоре часто и матерился на весь дом. Но кто поручится, что его опять не посадят? Каждый год по осени он шел в тюрьму за «мелкое воровство». А по весне возвращался в Рожнов. «Мне, — говорит, — осенью скучно. Тянет меня в теплые страны. Оттого и ворую».

И в самом деле, посадят его — прощай переноска двери. Надо поторапливаться: осень уже на дворе. Так думал Павел Семенович, идя к домоуправу Фунтиковой.

Екатерина Тимофеевна встретила его приветливо; за свою долгую службу она хорошо усвоила главную заповедь просветителя — культура обхождения есть первый признак руководящего работника. И внешность свою она держала в порядке: красила в льняной цвет седеющие волосы, взбивала их коком на лбу, а на затылке стригла. Отчего в свои пятьдесят пять лет выглядела еще молодо.

— Вам, Екатерина Тимофеевна, только бы на портретах сниматься, — говорил ей плотник Судаков. — Весь постанов у вас представительный: и глаз бойкий и лицо круглое.

Бывало время, снималась и на портретах... в свою бытность председательницей колхоза. На всю область гремела. Смелая была... Любые обязательства брала с ходу, как хорошая скаковая лошадь берет барьеры. В районе появилась знаменитая шеренга сестер-председательниц. Колхоз Фунтиковой гремел. Бойкие глаза Катьки, как звали ее в те поры, вызывающе глядели с настенных плакатов и обязательств: «Ну, чего задумался? — спрашивали они. — Крой за нами! Не пропадешь».

В областной газете ее упоминали рядом с самим товарищем Овсовым, председателем Рожновского райисполкома. Бритоголовый, могучего сложения, диагоналевая гимнастерка, ремень командирский поперек живота. Есть на что поглядеть. А как он любил порядок и обхождение! Собирается, бывало, бюро — пожарник в медной каске в дверях стоит. Ждут... Появится Овсов в коридоре — пожарник как рявкнет:

— Внимание! Товарищ Овсов идет...

Все встанут, так и замрут.

— Вольно, товарищи! Садитесь. Вставать вовсе не обязательно. Мы же не в армии, — говаривал Овсов, улыбаясь.

И красоту ценил... Когда в колхозе Фунтиковой обнаружился волюнтаризм, то есть всех телочек порезали на мясозаготовки, Овсов перевел ее на культурный сектор. «Мы, — говорит, — ценим кадры по обхождению. Тут наша Катерина всем взяла — один ее вид вызывает культурное поведение».

Овсов же и погубил Фунтикову. Однажды через область проезжало на южное море высокое лицо. На границе области к нему в вагон сели секретарь обкома по заготовкам с председателем облисполкома. По дороге до Рожнова они выпросили у того лица две автоколонны из Москвы на уборочную. Вышли из вагона в Рожнове довольные. Овсов принял их по-братски. Пир закатил в совхозном саду. Фунтикову выделил им для сопровождения. Говорят, что в автомобиле она села прямо на колени к самому председателю. Куда они уехали, неизвестно. Только наутро председатель позвонил в райком и спросил: «Ничего я не поломал по пьянке?» — «Все, — говорят, — в порядке», — «Тогда вот что... Поблагодарите Фунтикову». Ну, Овсов взял да и вынес ей в приказе благодарность за «культурное обслуживание». Ее и подняли на смех. Медаль, говорят, ей надо за бытовые услуги. Было там обслуживание или нет, никто не знает. Но когда сняли Овсова за «перегиб в области животноводства», припомнили и Фунтиковой это «культурное обслуживание» — понизили ее до управдома.

Павел Семенович знавал и раньше Фунтикову: еще в бытность свою председательницей она попросила Павла Семеновича убрать ей щербину в передних зубах, из-за которой она слегка шепелявила. Павел Семенович надел ей коронку из червонного золота на здоровый зуб. За что Екатерина Тимофеевна привезла ему флягу гречишного меда пуда на три. И теперь, входя в ее кабинет, Павел Семенович пытался определить, помнит она о содеянном добре или нет?

Екатерина Тимофеевна сама вышла из-за стола, подала руку лодочкой, хоть целуй. Улыбка во весь рот, так что золотой зуб виден... И Павел Семенович решил — помнит.

— Зачем пожаловали, дорогой и уважаемый Павел Се-

менович? Садитесь, садитесь! — Она пристукнула своей ручкой о подлокотник дивана.

Павел Семенович тоже улыбался вовсю, а сам думал: издаля начать или с ходу пускать Берту? Уж больно она ласковая, эдак с улыбкой погладит по плечу и в два счета откажет.

— Как поживаем? На что жалуемся? — распевала из-за своего стола Екатерина Тимофеевна.

— В нашем деле спокойствие прежде всего, — начал издаля Павел Семенович. — Сами понимаете, работа моя кропотливая. Зубы — детали мелкие.

— Ну, как же, Павел Семенович! Не то важно, какая деталь, а важно, где она находится. Зубы у всех на виду, их не спрячешь. Их в порядке держать надо. Оттого и работа ваша почетная.

— Так-то оно так, — смиренно согласился Павел Семенович. — Но ответьте мне чистосердечно: можно в моем рабочем положении нервничать?

— Нельзя, Павел Семенович, категорически вам говорю.

— А я покой потерял за последние дни.

— Что за беда случилась?

— Вы знаете нашего соседа Чижёнка?

— Ну?!

— Он почти каждую ночь в пьяном виде ложится под нашими дверями. И не только что на работу, в уборную, простите за выражение, выйти не можем. Дверь-то у нас открывается в коридор!

— Так мы его оштрафуем.

— Не поможет. Он пьет на чужие деньги.

— Ну, вызовем на товарищеский суд.

— А!.. Его товарищи в тюрьме сидят. Что ему этот суд?

— Что же вы предлагаете?

— Я прошу дверь нам переставить так, чтобы она открывалась внутрь квартиры. Тогда мы будем просто перешагивать через него. И вся недолга.

— Так это пожалуйста.

— Вот и спасибо. Значит, чтобы дверь открывалась внутрь, надо перенести ее по коридору метра на полтора.

— Как то есть перенести? Прихватить полтора метра общей территории?

— Иначе ее не откроешь внутрь — притолока мешает, дымоход от соседки слева.

— Павел Семенович, вы же человек образованный и

культурный. — Екатерина Тимофеевна как бы пристукнула ручкой по столу, что выражало обычно ее крайнюю досаду. — Захватить общую площадь без согласия жильцов — это значит нарушить закон.

— Я не против закона. Но сами подумайте — вы тоже человек с образованием и культуру знаете... Ответьте на такой вопрос: что будет, если ко мне в гости приедет сноха Берта? Ведь она как-никак бывшая гражданка ГДР! А ей нельзя будет выйти по утрам из дома, извиняюсь, по нужде. Эдак мы с вами попадем в международное положение.

— Международного положения, конечно, допускать нельзя, — задумалась Екатерина Тимофеевна. — Иначе скажут, у нас все взаимно обусловано.

— Вот именно... Взаимно обусловано! — радостно подхватил Павел Семенович. — Как же, мол, они живут в своем Рожнове, если у них все взаимно обусловано?

— Чему вы удивляетесь, Павел Семенович! — горестно покачала головой Фунтикова. — Или мало на нас клевещут иностранные корреспонденты?

— Ну все ж таки в круговой поруке нас еще не обвиняли.

— Э-э, была бы шея, а ярлык повесят. Ладно уж... Поскольку положение у вас исключительное, я сама поговорю на исполкоме. Заявление написали?

— А как же! — Павел Семенович поспешно достал из кармана вчетверо сложенный тетрадный листок.

— Когда приедет ваша сноха?

— Ждем к осени.

— Постараемся решить оперативно, — и Екатерина Тимофеевна подала на прощание руку все так же лодочкой, пальчики вместе.

Глава III

Когда Чижёнок не пил, он работал дворником, подметал центральную площадь Рожнова. Впрочем, площадь в городе была только одна и дворник один. Подметал он ее по теплу, а в холода дворника сажали в тюрьму и площадь заносило снегом.

В Рожнове к такому дворницкому сезону привыкли и место за Чижёнком сохранялось уже несколько лет. Да и смешно было бы нанимать на зиму нового дворника. Что

делать? Обметать ступеньки да подъезды? Или дорожки мести в сквере, куда уж никто не ходил? А дорогу и стоянку перед Домом Советов расчищал бульдозер: трактор «Беларусь» приспособили.

Чижёнок на трезвую голову вставал рано, еще до свету, брал метлу, грабли, ведро поганое и уходил. Весь свой инструмент он прятал в кустах акации за доской Почета, а сам возвращался домой и, воровато озираясь, влезал в окно к соседке Елене Александровне. Она тихо и томно вскрикивала как бы со сна: «Ах, как ты меня напугал...» Но окна не запирала. «Думаю, не воры ли?» — «А я и есть вор», — ухмылялся Чижёнок, сымая сапоги. «Ну, Воля, не вульгарничай!»

Елена Александровна работала в редакции местной газеты корректором и любила переиначивать имена. Своего покойного мужа Соломона, старого, немощного бухгалтера больницы, она звала по-литературному — Мисюсь; Володьку Чижёнка — Волей; старуху Урожайкину, хмурую, как старообрядческая икона, — Матерью Марией. В свои пятьдесят лет она все еще обожала стихи и романсы, красила ногти, губы и даже веки. Когда она напевала «Наш уголок я убрала цветами...», то запрокидывала голову и прикрывала глаза; синие веки на ее белом рыхлом лице, растянутые страдальчески углами книзу губы делали ее похожей на воскресающего покойника. Ей посвящал стихи самый интеллигентный пенсионер Рожнова, бывший директор областного Дома народного творчества Аленкин. Но промеж них, говорят, пробежала черная кошка. Аленкин как-то осунулся, скупил весь пантокрин в аптеке и до самых холодов обтирался на дворе холодной водой и бегал в одних трусах по лесу.

В эту трудную пору одиночества и размолвки переступил порог покоев Елены Александровны Володька Чижёнок. Сказать точнее, не порог, а подоконник.

Чижёнок шел своей дорогой на работу. Вдруг растворилось окно и что-то упало с подоконника. Время было предрассветное, поди разбери, что там белеется. Чижёнок прошел бы мимо, кабы его не окликнули: «Воля, помогите мне поднять!»

Елена Александровна свесилась в окно; у нее были распущены волосы, обнажены плечи. Чижёнок подошел, поднял это что-то белое... Это оказался широкий пояс со шнурками и какими-то жесткими пластиночками. И пахло от него духами...

— Что это у меня упало? — спросила Елена Александровна.

— Вроде бы купальник... Но какой-то жесткий.

— Это же корсет.

— Куда его надевают?

— А вот сюда... Смотри!

Елена Александровна наложила корсет на ночную рубашку чуть пониже груди.

— А шнурки зачем? — спросил Чижёнок.

— Смешной ты, Воля... Их завязывают.

— Где?

— Вот здесь...

— А ну-ка! — Чижёнок ухватился за подоконник — прием знакомый — и в момент оказался в доме.

Так они сблизились...

Елена Александровна потихоньку пела ему и читала стихи. Чижёнок молчал.

— Ты не любишь стихи?

— Нет.

— Это потому, что ты не умеешь их сочинять.

— Нет, умею. Я однажды в тюрьме сочинил стишок.

— Про что?

— Про наш город.

— Прочти, пожалуйста!

Чижёнок помедлил немного, потом сказал:

— Рожнов — город окружной. Для народа он нужной. Здесь куда хошь можно пойтить, чего хошь можно купить. Рожнов — город лучший в мире по великой по Сибири...

Елена Александровна засмеялась:

— Какие это стихи! Это бессмыслица.

— Почему?

— Мы же не в Сибири живем.

— Ну и что?

— При чем же здесь Сибирь?

— Захотелось про Сибирь сочинить, вот и сочинил.

— Чепуха! Неправда! Вот ты говоришь: здесь чего хошь можно купить. Это где, в Рожнове-то?

— Дак я не говорю. Это ж я сочинил стихи. Одно дело, что в жизни, а другое — в стихах.

— Надо, чтобы все соответствовало.

— Зачем? И так скучно.

Елена Александровна сама не знала, зачем нужно, чтобы в стихах было все, как в жизни, и больше об этом с Чижёнком не говорила.

Уходил он от нее в дверь. Как только Зинка скрывалась за оградой, Чижёнок выходил, будто из своей квартиры — благо двери были рядом, — шел на зады и по Малиновому оврагу в момент добирался до площади. Уходя, он прихватывал с собой либо бутылку водки, либо портвейна — что припасала Елена Александровна — и, к великой досаде Зинки, к вечеру возвращался пьяным.

Это хорошо налаженная статья дохода Чижёнка закрылась совершенно неожиданно. В то утро Фунтикова привела к Полубояриновым техника-смотрителя — инженера Ломова и плотника Судакова. В доме начался истинный переполох: заскрипели половицы, застучали двери и в коридоре сошлись, как на митинг, все жильцы. Даже Елена Александровна вышла, накинув цветной халатик. И только Чижёнок остался в кровати, как в капкане.

Больше всех шумела Зинка:

— Это что за разбой при белом дне? Как это так? Общий коридор отобрать?! Знаете, как это называется? Конфис-кация! Кто вам дал право?

— Товарищи, все сделано по закону, — успокаивала Фунтикова.

— Это не закон, а кон-фис-кация!

— Вы что это называете конфискацией? Основной закон? — повысила голос Фунтикова.

— Что вы нам суете под нос свой закон! — не сдавалась Зинка.

— Он не мой, а наш общий!

— Знаем мы, какой он общий...

— Вы на что это намекаете? Да я вас могу привлечь за это.

— Мы сами вас привлечем. Пришли тут распоряжаться...

Павел Семенович скромненько стоял в дверях, которые нужно было переносить на новое место, и придирчиво осматривал обшарпанные стены коридора — через каких-нибудь полтора часа они станут не общими, а его личными, их сначала надо купоросить, шпаклевать и только потом уж красить. Мария Ивановна стояла за его спиной, напряженно слушая перепалку Зинки с Фунтиковой, готовая в любую минуту ринуться в атаку. Старуха Урожайкина слушала с удовольствием, празднично скрестив руки на груди, и на ее помолодевшем лице сияла задорная усмешка: «Неплохо ругаются, неплохо. Но я бы лучше смогла...».

— Конечно, интересы коллектива прежде всего, но вы с нами даже не посоветовались, — неожиданно поддержала Зинку Елена Александровна.

— Товарищи, это решение исполкома и обсуждению не подлежит. Хватит, —сказала Фунтикова и ушла.

За ней удалился и техник-смотритель — инженер Ломов. Остался один плотник Судаков, он неторопливо очинил карандаш топором и сказал:

— Известное дело. Представитель был? Был. Спорить не о чем. Расходись по домам.

— Ну, нет! Мы тоже законы знаем, — сказала Зинка. — Они у нас еще попляшут.

Она наскоро снарядила младшего Саньку в садик (старший уже в школу бегает) и, сердито хлопнув дверью, ушла. Чижёнок, поднявшись на локте, провожал ее взглядом с чужой кровати:

— Интересно, куда она помотала?

— На работу, — отозвалась Елена Александровна из-за ширмы.

— Ну, нет. Зинка так быстро на работу не ходит. Это она чтой-то задумала. Теперь она всю округу с жалобами обойдет. От нее и чертям станет тошно.

— А ты куда пойдешь, Воля?

— Я куда пойду? В окно сейчас не сунешься — в момент вся округа соберется. Скажут, с целью воровства. А в коридоре Судаков с Павлом Семеновичем орудуют. Мое дело залечь и не шевелиться.

Но отлежаться Чижёнку не удалось. Сдав младшего Саньку в детсад, Зинка пошла на площадь рассказать все мужу, посоветоваться: куда писать жалобу насчет коридора. Но, увы! На площади она не нашла его. И ведро, и грабли, и метла — все торчало в акации, дорожки не подметены, Чижёнок как сквозь землю провалился. «Где-то промышляет с утра пораньше, — подумала она. — Опять пьяным придет». И вдруг Зинка вспомнила, что в попыхах она, уходя, не заперла дверь еще и на второй замок, от которого ключей у Чижёнка не было. «Ввалится пьяным, дьявол, найдет мою зарплату — всю по ветру пустит...».

Торопливо подходя к дому, она увидела в растворенном окне у Елены Александровны нечто знакомое... Пригляделась. Ну да! На спинке стула висели штаны Чижёнка. Она их узнала по брючному ремню. Старый черкесский ремень с серебряными бляшками — подарок Зинкин. Еще

папашин ремешок... На нем когда-то висюльки длинные в виде кинжальчиков были. Подпоясывал папаша черную сатиновую рубашку этим ремешком только по праздникам. Серебряные кинжальчики Чижёнок отодрал и где-то пропил. А ремнем брюки подпоясывал. И вот этот ремень, вздетый в брюках, свешивался со спинки стула в самом окне Елены Александровны.

Зинка подошла к окну и тихонько влезла на подоконник.

В комнате за столом сидел в одних трусах Чижёнок и пил чай с булкой. Елена Александровна ушла на работу. Кровать была заправлена, кружевным покрывалом убрана — все честь честью. И только штаны Чижёнка да спутанные в редких пушинках волосы на голове выдавали сокровенную тайну грехопадения его.

— Ты чего здесь делаешь?

Булка, густо намазанная сливочным маслом да еще вишневым вареньем сверх того, так и застыла на полпути ко рту Чижёнка. Он и сообразить не успел, что ответить, как голова его, покорная выработанной привычке самосохранения, стала погружаться в плечи. Наконец он обернулся...

Все было наяву — Зинка сидела на подоконнике с зеленеющими от злости глазами.

— Я тебя спрашиваю или нет? Обормот!

— Тихо ты... Соседи услышат, — хрипло выдавил из себя наконец Чижёнок.

— А ты что думаешь? Свои полюбовные дела хочешь в тайне сохранить? — загремела Зинка.

— Тише, дура!

Чижёнок, видя, как Зинка влезла в окно, опасливо стал отступать к порогу.

— Какой я тебе полюбовник? Я же залез сюда... Поживиться! Ну!

— А штаны зачем снял? Чтобы вареньем не испачкаться? Так, что ли?!

— Дак я ж, это... Соломонов костюм примерял. Хотел переодеться.

— Где же он, костюм-то?

— В гардеробе... Тесноватый оказался.

— Ах ты, бесстыжая рожа! Хоть бы покраснел... — Зинка добралась до стола и схватила электрический чайник, пускавший пары. — Сейчас я тебя пристыжу кипятком-то.

— Стой, дура!..

Чижёнок так хватил задом дверь, что вышиб английский замок и в одних трусах сиганул в Малиновый овраг. Вслед за ним вылетел в двери и чайник; он стукнулся о стенку, и в одно мгновение в коридоре стало темно и душно — все утонуло в густых клубах пара.

— Что случилось? — Павел Семенович бросился в комнату Елены Александровны.

У дверного косяка стояла Зинка и плакала:

— Дура я, дура... В тюрьму передачи ему носила, как порядочному... Я думала, что он простой вор... А он полюбо-овник...

Глава IV

Все несчастья выпали из-за этой проклятой двери, думала Елена Александровна. Не случись раннего переполоха — Чижёнок преспокойно ушел бы от нее и все было бы шито-крыто. А теперь ходи и объясняй всем, что она с Чижёнком ни в каком сношении не участвовала. Мало ли к кому он лазает в окна. А если и залез к вдове, так что ж? Обязательно про любовные связи намекать? И чтобы не подумали, что она обиделась на Зинку, которая закатила ей в тот же день скандал прямо в коридоре, Елена Александровна подписалась под Зинкиной жалобой насчет незаконной переноски двери Полубояриновых.

К радости Павла Семеновича, под этим заявлением не подписалась старуха Урожайкина. «Как вы деретесь, так и разберетесь», — сказала она. И все-таки Павел Семенович сильно забеспокоился: а вдруг сработает жалоба и заставят перенести дверь на прежнее место? Смотря к кому попадет она: если к Павлинову, тот подмахнет, наложит резолюцию... Отомстит Павлу Семеновичу.

С председателем райисполкома Павлиновым у него была давнишняя размолвка — взглядами не сошлись насчет исторического прошлого Рожнова, а также современного процветания его.

Однажды Павлинов читал у них лекцию про «культурную революцию» в Китае. Павел Семенович задал вопрос: «Какой в Китае социализм?» — «Оппортунистический», — ответил Павлинов. «Но ведь оппортунизм есть отрицание социализма. Какой же он социализм?» — «А такой и социализм, что состоит из одних перегибов. Хорошо, поговорим после лекции...»

Они остались вдвоем в операционной, которая одно-

временно была и читальней, и приемным покоем, и местом собраний. Павлинов облокотился на толстую стопку газетной подшивки и долго разглядывал Павла Семеновича — выдержку делал. Но Павел Семенович сидел спокойно, не ерзал на стуле и даже не глядел себе под ноги. Павлинов наконец изрек:

— Значит, вы ничего так и не поняли.

— А что я должен понять?

— А то, что вы занимаетесь компроментацией и дискредитацией...

— Кого?

— Не кого, а чего. Вы сознательно принижаете наши достижения.

— Чем я их принижаю?

— Необдуманными высказываниями. И не только... У нас есть сведения о вашей деятельности. И я давно хотел с вами поговорить. Вы писали насчет железной дороги жалобу в Москву?

— Писал.

— Что же вы писали?

— А то, что чиновники из Московского совнархоза закрыли железную дорогу через Мещеру.

— А ежели она невыгодна?

— Как это невыгодна? Эта дорога соединяла две области. Проведена была в девяносто втором голодном году. Торопились, потому и проложили узкую колею. Хлеб от нас возили, а из Мещеры лес. И теперь она невыгодна стала? Чепуха! Закрыли потому, что моста через реку нет.

— Ну что вы смыслите в этом? Вы же зубной техник!

— А то я смыслю, Московскому совнархозу наплевать на нашу область.

— Из чего вы сделали такой вывод? Исходя из частного определения насчет дороги? Так, что ли?

— Не только... Когда-то была у нас порода коров — «красная мещерская». Где она теперь? А свиней сколько было? Овец? Гусей... Утки!.. Конопля росла... даже в Рожнове на огородах. Птица с конопляного семени жиреет. А теперь ни конопли, ни птицы. Дуй кукурузу, потому что совнархоз велел. А он где? В Москве!.. Что и требовалось доказать.

— Повторяю, ваши рассуждения сплошная компроментация. Общие слова.

— Ах, общие! Давайте говорить подробно. Возьмем тех же свиней. Их цельными днями пасли. В каждом селе по

триста, по пятьсот штук было в стаде. Питались они травой, разрывали ил, съедали различных ракушек, беззубок, водяную живность...

— Довольно! — не выдержал Павлинов. — Вы либо меня считаете за дурака, либо сами таковым прикидываетесь. Но предупреждаю: если и впредь будут поступать от вас подобные жалобы, примем санкции. Не те сведения собираете, товарищ Полубояринов.

С той поры Павел Семенович еще дважды сталкивался с Павлиновым. Года два спустя после размолвки он написал проект: как надо использовать в Рожнове свободных домохозяек. Павел Семенович советовал заставить их варить патоку из картошки, потому что картошка пропадает. На этом проекте Павлинов начертал: «Осудить на исполкоме за компроментацию женщин». Полубояринова вызывали, целый час продержали стоя, под перекрестным допросом. Ушел красный, потный, но не сдавшийся. И ухитрился-таки, лягнул Павлинова. В районной газете появилась заметка Павла Семеновича: «Обратите внимание!» В ней он писал: «Подрастающие сады Рожнова уже дают столько плодов, что их не сможет переработать консервный завод «Красный факел». Дело доходит до того, что одинокие пенсионерки запускают в свои сады общественного быка, который поедает опавшие яблоки. Поэтому надо привлечь местное население для варки повидла и патоки...» На что Павлинов якобы заметил: «Этому любителю сладкой жизни надо бы пилюлю горькую прописать, чтобы протрезвел...»

Вот почему Павел Семенович испытывал некоторое беспокойство насчет двери. Первым делом, думал он, надо разбить союз жалобщиков, то есть отколоть Елену Александровну от Зинки. Пока они жалуются вдвоем, они сильны, потому что представляют как бы коллектив. А с коллективом всяк считается. Иное дело, кабы в одиночку жаловались. Либо одна Зинка... Кто ее послушает?

И Павел Семенович решил вечеринку устроить да пригласить старуху Урожайкину с братом, плотником Судаковым, тем самым, который дверь переставлял. А Елену Александровну позвать как бы случайно, мол, праздник медработника и компания у нас позволяет. Собрались небором-собором, народ все свой — соседушки... Она пойдет — теперь она вроде бы одинокая: Чижёнок посрамлен. А тут солидный человек — плотник Судаков. Одевается он чисто, во все полувоенное (у него сын подполковник). Сестра,

старуха Урожайкина, лишнего в разговорах не позволяет себе. Держится строго. Так что клюнет Елена Александровна.

И Елена Александровна клюнула...

— Ах, Павел Семенович, я человек коллективный. Вас большинство. Как вы решили, так и будет.

Она вошла к Полубояриновым вся в розовом, как утренняя заря, на высокой груди колыхались волнистые рюши, коралловая нитка в два ряда обхватывала ее белую шею, и перстенек с зеленым камешком врезался в пухлый палец.

— Мать Мария, как это нелюбезно с вашей стороны, что не познакомили меня до сих пор с братом, — пропела она, сперва поклонившись хозяйке.

— Он сам не маленький, — сказала старуха Урожайкина.

Плотник Судаков, одетый в защитный китель, сухонький, горбоносый, с оттопыренной нижней губой, подал широкую костистую руку и хмыкнул:

— К вам, Лена Лександровна, и подходить-то боязно.

— Почему? — брови ее взметнулись.

— Вы человек ответственный.

— С какой стороны?

— Да с любой. Вы и одеты, как генеральша. И сами из себя очень представительны, и должность занимаете хорошую.

— И вас не примешь за простого человека, Матвей Спиридонович, — просияла Елена Александровна. — В этом кителе да еще в профиль... Вы прямо полковник в отставке.

— Полковник, по которому плачет уполовник, — усмехнулась старуха Урожайкина.

— А что? Меня в трамвае одна девушка так и попросила: «Товарищ полковник, подвиньтесь, я сяду», — сказал Судаков.

— Ну, соловья баснями не кормят. Вам что налить, беленького или красненького? — спросила хозяйка у Елены Александровны.

— Мне как всем.

Ее посадили рядом с Судаковым, налили полную стопку водки: она взяла ее двумя пальчиками и долго тянула, закрыв глаза.

— А что, с закрытыми глазами водка слаще? — спросил Павел Семенович.

— Просто не могу смотреть на нее, — ответила Елена Александровна, передергиваясь, как на морозе.

—И я не могу видеть ее, проклятую, — сказала хозяйка, — тоже зажмуркой пью.

— А иначе глаза вырвет, — отозвалась старуха Урожайкина.

— Бабы вы, бабы и есть, — Судаков усмехнулся и покачал головой. — На всякое серьезное дело у вас духу не хватает.

Сам он пил легко; ни один мускул не двигался на его лице, и если бы не судорожно трепетавший кадык на сухой шее, то можно было бы подумать, он ее и не глотает, водка сама льется в его утробу, как через просторный шланг.

— Говорят, вы поете хорошо, Матвей Спиридонович? — спросила Елена Александровна.

— Хорошо ли, плохо ли, но для вас спою, — решительно сказал Судаков.

— Для милого дружка хоть сережку из ушка, — ласково кивнул ему Павел Семенович.

Судаков сурово посмотрел на него, насупился и вдруг запел высоким легким голосом:

При бурной но-оченьки ненастной
Скрывался месяц в облаках...

Старуха Урожайкина враз посерьезнела и ждала нового куплета, глядя в пол; потом мотнула головой и с ходу влилась в песню, широко растягивая слова, играя переливами тоненьким чистым голосом, неведомо откуда взявшимся у этой плоскогрудой сумрачной старухи.

На ту-у-у зеле-е-о-о ну-ю могилку
При-и-шла краса-а-а-вица в слезах...

В это время кто-то сильно постучал в дверь.

— В чем дело? — спросил Павел Семенович.

— Довольно! Отпелись... — раздался за дверью пьяный голос Чижёнка. — Расходись по одному! Бить не стану... Или дверь изрублю, ну?

Он вынул топор из-за пазухи и несколько раз с силой провел лезвием по обшивке. Раздался сочный хруст раздираемого дерматина.

— Ой, не пускайте его! Не пускайте. Он зарубит меня! — вскрикивала Елена Александровна и стала делать так руками, вывернув ладони наружу, словно отталкивалась от кого-то.

— Отойдите от двери, или я вызову милицию, — сказал Павел Семенович.

— А я говорю, расходись! — и опять удар в дверь и треск дерматина.

— Ну-к, я пойду успокою его, — сказал, вставая из-за стола, Судаков.

— Он зарубит вас, Матвей Спиридонович! — ухватила его за руку Елена Александровна.

— Эй, обормот! У тебя что, денег много? — спросила Мария Ивановна, подойдя к двери.

— Все что ни есть пущу в оборот. Но и вам жизни не дам. Расходись, говорю! — кричал Чижёнок.

Судаков все-таки открыл дверь и вышел.

— Ну, чего топором-то размахался?

Чижёнок от неожиданности отступил шага на два:

— Га! Счастливая влюбленная пара... А ежели я по шее тебя топором? А?!

— Я вот вырву топор-то да тебя по шее.

— Ну, попробуй! Вырви... Давай! — Чижёнок подходил к Судакову, но топор держал за спиной.

— А ты попробуй вдарь?! Ну? — ярился и Судаков.

Так они с минуту стояли нос к носу, с брезгливой гримасой глядя друг на друга.

— Шшанок, — сказал Судаков.

— А ты кобель старый.

После чего дверь снова захлопнулась перед Чижёнком, и он с запоздалой яростью ударил в нее несколько раз топором.

— Ах, вот как! Ну теперь пеняй на себя. — Павел Семенович сорвался к телефону.

И пока позвякивало, раскручиваясь телефонное кольцо, Чижёнок стоял за дверью тихо, слушал.

— Але? Милиция? Милиция? Мне дежурного! Что? А где он? Куда звонить? Ах, черт... — кипятился Павел Семенович.

И когда опять заверещало телефонное кольцо, в дверь, забухало с новой силой:

— А я говорю, разойдись! Полюбовники, мать вашу...

Глава V

Дежурил по милиции в эту ночь участковый уполномоченный лейтенант Парфенов. С вечера к нему зашел пожарный инспектор капитан Стенин:

— Вась, приходи после ужина в пожарку — с бреднем полазаем по запруде. Ночь теплая.
— А где бредень взял?
— Дезертир принес.
— Сам-то он будет бродить?
— Ну! Мы с тобой в бредне-то запутаемся. Он у него что твой невод — одна мотня десять метров.
— Тогда приду.
Дезертир считался лучшим рыбаком на всю округу. Мастерству этому он обучался поневоле. Многие годы рыбалка по ночам была его главным доходом.
Сперва Дезертир пропал без вести. В сорок третьем году по нему уж и поминки справили. Потом объявился живым... через двадцать лет. Все эти годы просидел он в собственном подполе. Не так чтобы просидел — работал по ночам, дом ухетал, двор, сено косил, рыбачил... Детей нарожал. А уж напоследок, осмелев, стал ходить в отхожий промысел. Благо что паспортов у колхозников не было. Кем назовется — за того и сходит. Пристал к одной дальней тумской бригаде плотников, с ней и ходил по колхозам — дворы скотные строили, хранилища, избы... Жил он на хуторе Выкса. До войны там было всего десяток дворов, а к шестидесятому году один остался. «Как, Настасья Гунькина там и живет? — сокрушались бабы из дальних сел. — Лес кругом да луга. В озерах одни черти ночуют...» — «Она с чертями и снюхалась. Третьего ребенка в подоле от них принесла».
Выдал себя Дезертир сам. Умерла мать у него. Пока ее обмывали да отпевали, он все в подполе отсиживался. Но, когда понесли на кладбище, не выдержал. Бледный, без шапки, раздетый — время было осеннее, ветреное, — он шел за ее гробом, бормотал деревянным голосом: «Прости, мать родная! Простите, люди добрые!» И всю дорогу плакал.
С кладбища сам пошел в Рожнов, в милицию. Настасья вопила по нем пуще, чем по умершей... «Хоть бы на поминки вернулся! Посидел бы с детьми напоследок», — упрашивала его Настасья. Но он был безответен.
В милиции дежурил как раз участковый Парфенов.
— Берите меня... Я дезертир.
Гунькин так и пришел без шапки, раздетый, с размазанными потеками слез по щекам.
— Какой дезертир? Откуда? — спрашивал его молодой лейтенант. — С трудового фронта, что ли? С целины?

— Нет, с настоящего... с германского.

— Да ты что, друг, пьяный, что ли?

Пока посылали бумаги в высокие сферы, пока ждали указаний, как быть с этим дезертиром, куда его девать, Гунькин с топором да рубанком всю милицию обстроил: и полы перебрал, и двери выправил, и переплеты оконные сменил. И даже начальнику квартиру успел отремонтировать.

— А он деловой, этот дезертир, — сказал начальник. — Только в глаза не смотрит и мычит, как немой. Если помилуют, надо бы трудоустроить его.

Помилование пришло через два месяца. И участковый уполномоченный Парфенов водил его в райкомхоз:

— Отбился человек от жизни... Надо бы посодействовать насчет работы. А так он ничего, смирный. Работать умеет...

Приняли. Милиция авторитетом пользуется. Переехал Гунькин в Рожнов, построил себе пятистенок, разукрасил его резными наличниками и зажил не хуже иных прочих. Про его историю вскоре все позабыли, только и осталось одно прозвище — Дезертир, которое и к ребятишкам перешло. Но кто в Рожнове живет без прозвища? Поди раскопай — отчего так прозывают. Да вот, пожалуй, привычка скверная осталась — плохо спал по ночам Дезертир. Но и тут оборачивалось не без пользы — рыбачил.

Еще с вечера принес он в пожарку свой бредень, сам связал из капроновых ниток цвета лягушачьей икры, чтобы рыбий глаз сбить. Капитан Стенин опробовал его на прочность: двумя пальцами захватил ячейки и натянул их до глубокой рези в теле:

— Крепкий!

— Повеситься можно — нитка выдержит, — ответил Дезертир. — Она в химическом составе пропитана.

— Это что за состав?

— В готовом виде существует. Вроде дубильного порошка.

— А у нас батя сроду шкуры женской мочой выделывал, — сказал капитан.

— Женская моча мягкость придает, — согласился Дезертир. — И гнилушки тоже... А химия, она органичность съедает. Любой запах отобъет, хоть скотский, хоть псиный.

Когда пришел лейтенант Парфенов, Стенин и ему дал испробовать бредень на прочность.

— Больно мелкая ячея, — неожиданно сказал Парфенов. — Эдак мы всех головастиков выловим.

— А тебе не все равно? — спросил Стенин.

— Вроде бы неудобно. По закону охраны ячея дозволяется пятнадцать на пятнадцать.

— А тебе что? Ты его писал, этот закон?

— Вроде бы неудобно. На той неделе мы с егерем отобрали бредень у бреховских как раз за мелкую ячею.

— Дак егерь сам и ловит этим бреднем, — рассмеялся Стенин.

— Понятно. Чего ж ему без дела валяться?

Лейтенант Парфенов был сух и деловит, и на лице его лежала постоянная озабоченность — так я сделал или не так? А капитан Стенин лицо имел круглое, довольное и беззаботное: «Ну, чего ты думаешь? Плюнь! Как ни сделаешь — все будет хорошо», — написано было на его лице. А у Дезертира лицо было темное, плоское, и ничего на нем сроду не писалось и не читалось. Пока спорили насчет ячеи капитан с лейтенантом, он сидел на пороге и спокойно курил.

Пошли они на запруду затемно; капитан Стенин нес пустое ведро, а Парфенов с Дезертиром бредень. Возле пруда паслись две лошади, да хоронилась от собак у самого берега утиная стая. Увидев людей, утки дружно закрякали и поплыли прочь от берега, а лошади поочередно подымали головы, настороженно глядели, замерев, как истуканы, и, фыркая, снова пускались щипать траву.

— Чьи это лошади? — спросил Парфенов.

— А зачем тебе? — отозвался Стенин.

— Да придут поглядеть за ними и нас увидят. Неудобно.

— Ты чего, Шинкарева боишься? Он сам по ночам ловит.

— Дак он хозяин, — сказал Парфенов.

— Директор совхоза — лицо общественное. И рыба тоже есть общественное достояние, — уверенно рассуждал Стенин. — А перед обществом мы все равны. Стало быть, если директору можно ловить рыбу по ночам, то и нам не возбраняется.

— Так-то оно так. Но увидят — неудобно.

— А твое дело сторона. Я старший по званию, я и отвечу.

Размотали бредень, подивились его длине.

— А мотня-то, мотня какая! — восторгался Стенин. —

В ней и рыбу-то не найдешь, как блоху в ширинке у старого деда.

— Попалась бы... Небось прищучим, — сказал Дезертир.

Лейтенант стал снимать китель и брюки.

— А ты чего штаны снимаешь? Холодно, — сказал Стенин.

— Дак я ж на дежурстве. А вдруг кто вызовет?

— Куда тебя вызовут?

— Мало ли куда... Неудобно в мокрых штанах бежать.

— Неудобно только с пустым карманом в пивную заходить...

Дезертир взялся за водило и решительно пошел на глубину, пошел прямо в чем был: в рубахе, в брюках, сапогах.

— О, видал, какой водолаз! Правильно! Давай на заброд — тебя рыба не боится. От тебя вроде бы тиной пахнет, — командовал Стенин. — А ты, Вася, от берега заходи. В случае чего телефон принесут из пожарки — я тебе трубку протяну.

— Гляди не накаркай. — Парфенов остался в исподней рубахе и кальсонах, форменные брюки и китель аккуратно сложил, как в казарме по отбою, да еще фуражкой прикрыл их. А пистолет и планшетку отдал Стенину.

Только они погрузились в воду, как из пожарки прибежал дежурный пожарник:

— Товарищ лейтенант, вас срочно к телефону!

— Что такое? Кто зовет? — спросил Стенин.

— Полубояринов, зубной техник...

— Ах, этот писатель-утопист! Чего ему, жалобу не знает, на кого подать? Или новый проект строчит — как из лягушек патоку варить?

— Говорит, у них Чижёнок скандалит...

— Подумаешь! Словом стекла не вышибешь, — изрек Стенин. — Скажи ему — за язык милиция еще не привлекает. А ты давай, давай! Тяни! — крикнул он распрямившемуся было из воды Парфенову. — Постой! — остановил Стенин пожарника. — А откуда Полубояринов знает, что Парфенов у нас?

— Сторож сказал... Ну?

— А ты?

— Что я?

— Ты поди пояснил — рыбу ловит?

— Дак он спрашивает...

— Дурак! Ступай. Гунькин, держи водило ниже! Прижимай его ко дну! — крикнул он, обернувшись к рыбакам.

— И так уж подбородок на воде, — ответил Дезертир, отплевываясь.

— Окунай и голову, все равно в баню редко ходишь.

— Вода вонючая.

— Вода не дерьмо, не прилепится.

Первый заброд оказался удачным: в необъятной мотне, облепленной ослизкой ряской, затрепетали упругие карпы.

— Гунькин, заноси от воды-то! Поджимай мотню! — кричал и суетился с ведром Стенин. — Вась, слышишь? Встряхни сетку-то! А то ни черта не видно в этой слизи...

Парфенов и Дезертир кинули водила и, бросившись на колени, азартно хватали, прижимали ладонями к земле прохладных скользких рыбин.

— Вот это лапти, вот это ошметки, — приговаривал Стенин и тоже елозил на корточках, хватал трепетавших, белевших во тьме карпов.

Когда рыба была уложена в ведро, а бредень очищен от ряски и занесен для нового заброда, прибежал опять пожарник:

— Товарищ лейтенант, звонят! Просят вас и грозятся...

— Ну и что? А ты зачем пришел? Тебе что, делать нечего? — набросился на пожарника Стенин.

— Надо бы сходить... Неудобно, — сказал Парфенов.— Вдруг там что-нибудь случилось?

— Да что там случится? Ты что, не знаешь этого склочника? Давай заходи по второму заброду.

— Нет, надо все ж таки брюки надевать...

— Еще чего! А рыбалку бросить, да? Сходи в кальсонах, отматери его по телефону и — назад...

— Ну, ладно...

Парфенов так и пошел в мокрых кальсонах и в исподней рубахе к телефону.

— Что случилось? — строго спросил он в трубку.

— А кто со мной разговаривает? — донеслось с другого конца.

— Ну я, участковый Парфенов.

— Товарищ участковый уполномоченный, вы там рыбку в пруде ловите, а здесь смертоубийство готовится.

— Какое смертоубийство?

— С топором в руках... Чижёнок ломится ко мне в дверь, то есть к Полубояринову.

— Как ломится?
— Ну так... Топором грозится.
— А что, дверь попортил?
— Всю дерматиновую обшивку изрезал.
— А дверное полотно не изрубил.
— Нет... Только, говорит, выломлю дверь и головы порублю.
— Ну, за слова не привлечешь. А за то, что дерматин порезал, наутро оштрафуем. Так и передайте ему. А если дверное полотно изрубит, посадим на пятнадцать суток...
— Дак вы заберите его!
— Пока еще не имею права.
— А тогда поздно будет.
— Товарищ Полубояринов, не торопите события и не подстегивайте милицию. Мы сами знаем, что надо...
Когда лейтенант Парфенов вернулся на берег пруда, капитан Стенин уже раздувал костер, а Дезертир в одних кальсонах чистил рыбу. На кольях у костра были напялены его штаны и рубаха.

Глава VI

Рано утром Павел Семенович подал жалобу начальнику милиции: «В ночь с 19 августа на 20 наш сосед Чижёнок, будучи выпивши, при подстрекательстве своей жены, стал с угрозами посредством топора ломиться в нашу квартиру. Это продолжалось с 22 часов до трех часов ночи, пока он не уснул в коридоре.
Мы неоднократно вызывали по телефону с квартиры милицию, но ответственный дежурный тов. Парфенов не пожелал оказать помощь — вел себя как безответственный...»
Начальник милиции Абрамов вызвал капитана Стенина и приказал ему разобраться. Но Стенин сначала сходил к Парфенову договориться:
— Что сказать, Вась? Был ты в пожарке или не был?
— Не знаю, что и сказать, — ответил Парфенов.
— Скажи, что сторож вызывал. В совхозный сад... Мол, нападение было.
— Дак его предупредить надо, сторожа-то. А то вдруг спросят? Как-то неудобно.
— Пошли к нему в сад... Вот и предупредим, договоримся. И опохмелиться надо. Не то у меня с утра голова трещит. Кстати, с тебя положено. Ты же проштрафился.

Прихватили пол-литру и пошли в совхозный сад.

Сад был большой, с конца на конец кричать — не докричишься. С двух сторон стоял высокий забор из колючей проволоки, что твоя военная преграда. А со стороны реки и Малинового оврага ограда была старая, дырявая. Лазили в сад все, кому не лень. Сторож дед Иван по прозвищу Мурей жил в шалаше на высоком речном откосе с черным мохнатым кобелем Полканом. Когда ночью Полкан подымал тревогу, Мурей высовывал из шалаша ружье и палил в небо: «Бах-бах!» Если Полкан умолкал, дед ложился спать. Спал он, можно сказать, и днем и ночью. «Сон — дело божеское, — говаривал дед Иван, — только во сне человек не грешит». Был он добрый и приветливый — всех, кто ни заходил днем, угощал яблоками и медом.

— Чего ж ты ночью стреляешь, а днем привечаешь? — спрашивали его.

— Ночей я на службе, а днем сам по себе.

— Дед, это ты за казенный счет доброту проявляешь, — скажет иной ревнитель общественного добра.

А дед ему:

— Все мы казенные. Ешь, пока живой, а умрешь — самого тебя съедят.

Днем ходило в сад великое множество охотников до выпивки — благо что закуска даровая и природа располагала. Отчего же не выпить? Красота и спокойствие. Днем даже Полкан не лаял, лежал возле шалаша и хлопал на пришельцев сонными глазами.

Стенин и Парфенов не застали в шалаше деда Ивана; в изголовье стоял кованый сундук с посудой и харчем, над ним висело ружье, ватола полосатая валялась, шинель вместо одеяла и подушка... А на постели лежал Полкан и сумрачно хлопал глазами.

— А где хозяин? — спросил Стенин, заглядывая в шалаш.

— Р-р-р-ры...

— Ишь ты, какой заносчивый, — сказал Стенин, пятясь на карачках. — Давай покричим.

— Дед Ива-а-а-н! — заорали они в два горла. — А-а-ан!

Тишина.

— Вроде бы от Пескаревки дымком потягивает, — сказал Стенин, глядя в дальний конец сада, пропадавший в распадке.

— Вроде бы, — согласился Парфенов.

— Пошли туда!

Деда Ивана нашли они на берегу речушки Пескаревки, впадавшей в Прокошу. Он сидел у костра вместе с самым главным виновником — Чижёнком. Заметив блюстителей порядка, Чижёнок поспешно встал и начал быстро подбирать что-то белое возле костра. Это нечто белое оказалось куриными перьями, а в котелке варилась курица.

— Понятно, — сказал Стенин, заглядывая в котелок.— Божий промысел налажен.

Дед Иван спокойно покуривал, глядя в костер, а Чижёнок, сжав в кулаке перья, заложил руки за спину и вороватo поглядывал на начальство.

— Ну, чего уставился? — сказал ему Стенин. — Иль долго не виделись в наших номерах?

— Нет, я еще не соскучился, — ухмыльнулся Чижёнок.

— Ты что там ночью натворил? — строго спросил его Парфенов.

— Я? Я спал, ничего не помню.

— А кто дерматин на дверях порезал?

— На каких дверях?

— У Полубояриновых.

— Не знаю.

— А как сюда курица попала, ты, наверное, тоже не знаешь? — спросил Стенин.

— А может быть, это петух? — сказал Чижёнок.

— Видал? Он еще шутит, — обернулся Стенин к Парфенову.

— А вот я на него протокол составлю и на пятнадцать суток посажу, — сказал Парфенов.

— Было бы за что...

— Разберемся. Найдем на тебя статью. А теперь ступай домой и сиди жди, — приказал Стенин.

— Кого мне ждать?

— Обстоятельства выяснять будем... В присутствии свидетелей, — сказал Парфенов. — Остальных предупреди, чтоб никуда не уходили.

Чижёнок поглядел с тоской на курицу, потянул ноздрями воздух и, тяжело волоча ноги, пошел прочь.

— На дармовщину-то все охочи, — проворчал он.

— А ты поговори у меня! — крикнул ему вслед Стенин.

Домой пришел Чижёнок и злой и голодный.

Возле водозаборной колонки стояли с ведрами стару-

ха Урожайкина и Елена Александровна и о чем-то тараторили. Но, увидев Чижёнка, сразу умолкли.

— Ну, что пригорюнились, девицы красные? — спросил он, подходя к ним кошачьей походкой. — Вы же в два голоса пели... Дуетом!

— Ступай, ступай своей дорогой, — сказала Елена Александровна.

— Что ж ты меня на чай не приглашаешь? Или варенье кончилось?

— Много вас, любителей сладкого.

— Ага... Много, значит? Выходит, я из иных-протчих? Нечаянно попал к тебе, да?

— А может, и с целью, — усмехнулась Елена Александровна.

— Это с какой же целью? Уж не воровства ли?

— Тебе лучше знать. Ты же специалист по этому делу.

— А ты знаешь, что за клевету бьют и плакать не велят?

— Только попробуй... Тронь попробуй!

— А вот и попробую.

Чижёнок с маху ударил ее по уху.

— Ой-ой! Мать Мария, Мать Мария! — закричала Елена Александровна.

Но Мать Мария разом отвернулась к колонке и загремела ведрами.

— Злодей, злодей! — Елена Александровна схватилась за ухо и побежала домой. — Я сейчас же соберусь и в милицию! — кричала она из комнаты. — Тебе найдут там местечко.

— Нет, врешь! Я тебе сам гауптвахту устрою...

Чижёнок бросился домой, взял молоток и пару шестидюймовых гвоздей.

— Ты меня в окно зазывала? Да! — кричал он в коридоре. — Вот теперь сама попрыгай через окошко.

Хакая, с оттяжкой он стал молотить по гвоздям, заколачивая ими дверь Елены Александровны.

— На помощь! Ка-ра-ул! Сосед, помоги! — кричала она и стучала кулаками в стенку к Полубояриновым.

Но там ни одна половица не скрипнула.

— Павел Семенович, Павел Семенович, помогите-е!

Ни отзвука, ни шороха...

— Ах, будьте вы прокляты! Это все из-за вас... Из-за вашей двери. Я на всех напишу. На всех!

Чижёнок, заколотив дверь, постоял несколько минут с

молотком — не выйдет ли Полубояринов? Потом крикнул:

— Кто сунется к двери, молотком башку расшибу! — и ушел.

Елена Александровна заметалась по комнате, заламывая руки и восклицая:

— Это насилие над судьбой человека. Нет, я лучше умру, но не сдамся.

Она растворила окно и посмотрела вниз, как в колодец, наваливаясь грудью на подоконник. Никогда еще ей не казалась земля столь пугающе далекой. Под самыми окнами, словно часовой, прохаживался петух; он наклонял голову набок и глядел на нее круглым быстрым глазом, будто подмаргивая ей: не бойся, мол, сигай ко мне!

Елена Александровна прикинула — до земли ей не достать, если даже спуститься на руках и стать на цыпочки. Но до выступа фундамента она, пожалуй, дотянется... А там и спрыгнуть можно.

Она села на подоконник, свесила ноги — нет, далеко. Обернулась, грузно легла на живот и стала потихонечку спускаться вниз. Но вдруг она почувствовала, что юбка и комбинация ползут куда-то вверх к подбородку. Только тут она заметила, что зацепилась подолом за пробой; попробовала подтянуться на руках — не вышло. Поболтала ногами — далеко ли до фундамента? Не достала... Юбка врезалась ей в ляжки и натянулась, как барабан, стукни — забубнит. Елена Александровна будто надсела, надавила задом, юбка с треском разорвалась, и она облегченно почувствовала — летит.

Удара вроде бы и не было; Елена Александровна вскочила и с криком повалилась наземь — коленку будто прострелило.

Сначала приехала «скорая помощь» — Павел Семенович вызвал по телефону. Но Елена Александровна наотрез отказалась ехать в больницу, пока представитель милиции не составит акта на месте преступления. Наконец появился Парфенов и, словно поджидая его, откуда-то вынырнула Зинка, и даже Павел Семенович вышел на крыльцо.

— Во-первых, он меня ударил по уху, — начала свое показание Елена Александровна представителю закона.

— А я тебе еще и по другому заеду! — крикнула Зинка, продираясь сквозь толпу зевак.

— Попрошу соблюдать порядок, — сказал Парфенов.

— А ты меня не проси! — кричала Зинка. — Ты вон кого проси! Ее!

Елена Александровна лежала на носилках, как та Клеопатра на софе облокотясь, чуть запрокинув голову и прикрыв глаза.

— Она мужа моего спаивала... В постель к себе зазывала. — Зинка распахнула кофту, руками размахивала, как в драку лезла. — А у меня двое детей. Это как расценить?

— Тише, гражданка! Разберемся... Спокойно.

— Нет, товарищ участковый уполномоченный, спокойствия не будет! — торжественно, как с трибуны, произнес с крыльца Павел Семенович. — Вы ночью вместо дежурства рыбку ловили?

— Что такое?

— А то самое... Нам доподлинно известно. Вместо того чтобы откликнуться на призыв честных граждан, обуздать злостного хулигана, вы, товарищ Парфенов, личное удовольствие справляли. Вот к чему это попустительство привело... К увечью!

— Да перестаньте чепуху молоть!

— Нет уж, теперь-то я не перестану. Все инстанции пройду, но каждый получит по заслугам, свое. У нас демократия! — торжественно уперев палец в небо, Павел Семенович ушел.

Парфенов только головой покачал и начал составлять протокол.

Глава VII

На открытие охотничьего сезона собрался весь цвет районного охотсоюза. Для сбора, как всегда, выбрали Липовую гору — место сухое, открытое, с пчельником в липовой роще, на берегу озера Долгого, где в камышовых зарослях до самой осени хранились утиные выводки.

Директор совхоза, высокий пухлогрудый Шинкарев, приехал на «газике» и привез ведро яиц. Пожарный инспектор капитан Стенин и участковый уполномоченный Парфенов прикатили на мотоцикле с ружьем и малопулькой — для стрельбы по дальней сидячей утке, если она к берегу не станет подходить. Павлинов прихватил с собой бредень Дезертира, который принес ему капитан Стенин. Он выехал на «Волге» вместе с редактором районной газеты Федулеевым. Проезжая через Тимофеевку, последнее село к лугам, они решили завернуть на колхозный птичник.

«Там еще убьем утку или нет — вопрос с закорюкой. А домашние, они вернее...»

За Тимофеевкой, уже на лугах, перед самым птичником они увязли прямо на мосточке. Вернее, в осушительном канале, через который было брошено четыре бревна, омываемые со всех сторон мутной водицей. Сели прочно, всем брюхом — и колес по ступицу не видать. Бросили машину, бросили бредень, всякую домашнюю снедь, взяли только ружья да по две поллитровки и топали по лугам аж до самого вечера.

На Липовую гору поднялись уже затемно. Возле пчельника вовсю полыхал костер и охотнички восседали на корточках и потирали руки.

— Сейчас я их оглоушу, — сказал Павлинов.

Он снял ружье и шандарахнул по верхушкам деревьев сразу из двух стволов: «Бум-бах!»

Моментально вскочили люди, бросились с лаем собаки и захлопали крыльями, загалдели, сорвавшись с деревьев в небо, грачи.

— Что за шум, а драки нету? — заорал, выходя на освещенную поляну, Павлинов.

— Тьфу ты, мать твоя тетенька! — хлопнул себя по ляжкам Шинкарев.

— Ты чего, Семен, чертей пугаешь? — сказал Стенин.

— Салютую, мужики! Охотничий сезон открывается... Сесть на свои места, — гоготал Павлинов.

— Надо пощупать — все ли места сухие? Никто не обмочился с перепугу? — сказал от котла егерь в фуфайке; его, несмотря на молодость, все звали почтительно Николай Иванычем.

— А где бредень? Где утки? — спросил Стенин.

— Бреднем шофер на канале лягушек ловит, а пекинские утки в газету улетели. Вот у кого спроси, у редактора, — Павлинов хлопнул по плечу Федулеева и загоготал громче всех.

— В таком случае вы нам не родня, а мы вам не товарищи, — сказал Шинкарев.

— Ах, так! Да мы вас гранатами закидаем. Р-р-разойдись! — Павлинов выхватил два пол-литра, поднял их кверху донцами и страшно выкатил глаза.

Федулеев вынул тоже два пол-литра:

— Ну, как, принимаете?

— Дак с такой оснасткой не токмо в компанию, в рай можно проситься, — сказал капитан Стенин.

— Э-э, постой, мужики! А что вы варите? — Павлинов заглянул в котел и пошевелил ноздрями.

— Архиерейскую, — сказал Николай Иванович.

— Из чего? Из лягушек, что ли?

— А мы егерских подсадных уток ощипали, — ответил Стенин, и опять все загоготали.

— А рыба откуда?

— Из озера.

—Да вы ее чем, кальсонами, что ли, вытащили?

— Парфенов щук настрелял из малопульки.

— А может, из пистолета?

— Пистолет — оружие уставное. Не положено, — отозвался Парфенов, молчаливо стоявший в стороне.

— А ты чего такой снулый, как судак в болоте? — обернулся к нему Павлинов. — У тебя не вид, а компроментация охотничьего сезона.

— Ему выговор влепили, — сказал Стенин, — Полубояринов донос на него настрочил.

— Это который? Зубодер, что ли? — спросил Павлинов.

— А кто же.

— Энтот настрочит, — сказал Федулеев. — Он меня забомбил своими заметками. То черепицу почему не делают? Раньше делали — теперь нет. Пригласим, говорит, спецов из ГДР. Они знают толк в черепице...

— Ага. Выпиши ему из Америки клизму, а мы вставим, — сказал егерь.

— Уголь у нас перестали копать— опять заметка, — продолжал Федулеев, переждав хохот. — Он, мол, самый дешевый. У нас он в воде, а вон в Донбассе, говорит, с газом.

— Нанюхался газу-то от Марии Ивановны и очумел,— сказал Стенин.

— Сунул бы я ему вот это под нос и спросил: чем пахнет? — ввернул опять егерь, показывая кулак.

— Газ, мол, взрывается, а вода даже не горит, — рассказывал Федулеев. — И в Англии тоже, говорит, вода. Там копают уголь, а в нашей области нет. Почему? Я ему: Павел Семенович, это не в нашей компетенции. Мы же районная газета! А он мне — ты увиливаешь.

— Это все дискредитация и компроментация, — сказал Павлинов, закуривая.

— Нет, вы послушайте, — зарокотал Шинкарев. — Он меня учил, как удобрения доставать. В озерах у нас, го-

ворит, илу много под названием сопропель. Его раньше земство со дна черпало, как нечистоты из уборных. А вы, говорит, брезгуете.

— Окунуть бы его самого в этот сопропель да за ноги подержать — вся бы дурь вышла, —сказал от котла егерь, схлебывая с ложки горячую уху.

— А за что Парфенова наказали? — спросил Павлинов.

— Там у них лабуда вышла. Соседи подрались из-за коридора. А Парфенов виноватый, что вовремя не разнял, — сказал Стенин.

— Стеганул бы ты его через газету, — обернулся Павлинов к Федулееву. — Склочник, мол, спокойно работать не дает.

— Сложно... У меня жена его работает главбухом.

— Подумаешь, какая шишка, — усмехнулся Шинкарев.

— Как-то неудобно, — произнес Парфенов. — Ведь он инвалид.

— Чего?! — спросил егерь. — Подумаешь, хромой. Да еще без костыля ходит. Он поболе нас с тобой заколачивает.

— Ты на мотоцикле ездишь, и то на служебном. А он на личном автомобиле, — поднял палец Шинкарев.

— Постой, а на него вроде бы жалобу подали соседи, что он незаконно отхватил часть общего коридора, —сказал Стенин Павлинову. — Вот и прикажи ему перенести дверь обратно.

— В том-то и беда, что по закону. Дура Фунтикова успела провести через исполком это решение.

— Катька, что ль?

— Она. На старости лет за инвалидами ухлестывает.

— Сладкую жизнь с Овсовым вспоминает.

— Га-га-га!

— Уха готова!

— Мужики, хватит трепаться! За дело. Где кружки? Федя, Коля, позовите-ка пасечника! Пусть меду сюда тащит. Да ложек деревянных... А то железными рот обожжешь.

На другой день пополудни Федулеев вызвал к себе в кабинет сотрудника газеты Сморчкова и сунул ему жалобу, подписанную Зинкой и Еленой Александровной.

«Мы, нижеподписавшиеся, просим обуздать Полубоя-

ринова, поскольку он захватил общую территорию коридора путем переноски двери на полтора метра...»

— Но тут нет резолюции товарища Павлинова. А ведь жалоба ему адресована, — сказал Сморчков, кончив читать жалобу.

Федулеев, красный, одутловатый от вчерашней охоты, помотал головой и сделал губами эдакое «р-р-р», будто его только что стошнило, потом сердито, с недоумением поглядел на Сморчкова:

— А я тебе что, не авторитет? Понимаешь, склочника привести к порядку надо?!

— Дак я не против, — заморгал своими светлыми ресницами сотрудник редакции.

— Ну?! Сходишь к нему и осторожно, издалека, вроде бы с сочувствием расспроси его. И пошире окинь, пообъемнее! Чем недоволен? На кого претензии имеет? И тому подобное... А потом в захвате общей территории обвини. Ткни его в полтора квадратных метра. Мордой об пол. Понятно?

— Сообразим.

Витя Сморчков был человеком творческим, исполнительным. Его посылали на задание, когда нужно было из воровства, мошенничества или мордобойства извлечь высокую мораль насчет служения обществу... И с этой высоты горьким укором, призывом к совести, разуму поставить в строй паршивую овцу, отбившуюся от стада.

Сухонький, тихий, весь в коричневых конопатинках и в желтом пушке, очкастый и уши лопухами со спины, как у тушканчика, он сам вызывал к себе сострадание. «О чем тебе рассказывать, очкарик?» — спросит умиротворенно иной напроказивший бедолага. «А вы мне про себя, про свое прошлое. Случаем, не обижали ли вас?» Кого же не обижали на Руси? И кому не хочется поплакать в жилетку? Витя Сморчков охал, переживал, возмущался... Словом, настраивался на волну, а потом уж извлекал мораль.

Павел Семенович встретил Витю, как родного брата.

— Не обижали?

— Ну, что вы? Как без этого? Было, было...

Мария Ивановна как своему сотруднику — все-таки она главбух в редакции — поставила ему наливочки вишневой, грибочков маринованных:

— Кушайте! Не побрезгайте... И кто же вас надоумил зайти? — хлопотала она вокруг Вити. — Вы свой человек — перед вами как на духу. Вот она, видите, дверь?

На полтора метра перенесли. Дымоход мешал. А главное, Чижёнок одолевал.

Но Витя мало интересовался дверью. Он все на обиды напирал. Покопайтесь в памяти, вспомните! Павел Семенович вспомнил, что в каком-то сорок восьмом или девятом году его снять хотели. Сначала зубной кабинет перевели на хозрасчет, а потом добавили еще одного техника. А у него, Павла Семеновича, весь инструмент для себя приспособлен.

— Видите, я ж об одной ноге, да и рука левая не того — пальцы не гнутся. Вот я и перевел все оборудование на одну руку и ногу. А тут приказ: в две смены работать. Кому ж здоровому со мной захочется работать? Нашелся один умник из областного здравотдела — мы, говорит, на поток зубную технику должны поставить, а этот Полубояринов всю нашу сменную работу разбивает. Не можем мы отдать ему технику в частную собственность. На этом основании меня взяли да уволили. Но ЦК профсоюза медработников восстановил меня и за прогул приказал оплатить. Да я вам покажу выписку из решения. Хотите?

— Не надо! Верю, верю... — Витя приложил руки к груди и улыбнулся так сладко, словно ложку меду проглотил. — Я вот насчет вашего увечья интересуюсь: это что ж, от первой мировой войны или от второй?

— Ну что вы? В первую мировую я еще пацаном был, — сказал Павел Семенович. — В двадцатом году играл на дворе. Мне попалась ржавая граната. Вот она меня и особлила.

— Ах, какое несчастье! — Витя покачал головой и что-то записал в блокноте.

Потом он осмотрел комнату и кухню, спросил: работает ли голубой огонь, то есть газ? Не течет ли где? И площадь какая? Дерматиновую обшивку на двери пальцем потрогал и сосчитал, сколько порезов на ней.

— Жалобы есть какие? Или, может, претензии? — спросил под конец.

Отозвалась Мария Ивановна:

— Теперь, слава богу, нет. Милиционера наказали. Чижёнок сидит — пятнадцать суток дали.

— А вы больше ничего не писали? — обернулся он к Павлу Семеновичу.

Павел Семенович задумался:

— Писал я насчет торфоразработок в газету «Известия».

— Так, так... Это интересно!

— Наша область имеет богатейшие залежи торфа. До четырех метров достигает толщина пласта. И никто его не разрабатывает. А электроэнергией снабжают нас от Шатуры. Это ли не головотяпство?

— Кто же, по-вашему, виноват?

— Московский совнархоз и его планирование.

— Но ведь его уже нет. Он ликвидирован.

— Это не важно. Люди-то остались.

— Пра-авильно, — сказал Витя.

Расставались долго; Павел Семенович тряс Витину руку, а Мария Ивановна уговаривала:

— Вечерком заглянули бы как-нибудь. Вот осенью сын приедет с Бертой.

— Спасибо! Непременно воспользуюсь, — отвечал Витя.

Под конец Павел Семенович совсем расчувствовался, он обнял Сморчкова за плечи и пошел выдавать ему свои проекты:

— У меня есть идея! Давайте напишем вместе статью— как оживить город Рожнов? Перевести сюда из Московской области обувную или трикотажную фабрику? Вдохнуть в него пролетарскую струю. А? Да, вы знаете, на Пупковом болоте грязи лечебные! Построить бы грязелечебницу да гостиницу. Курорт в средней полосе? Это тебе не юг... Какая экономия на одних только поездках? И молодежь вся на месте останется... А то про фосфориты напишем? Розовые! Их свиньи раньше носами разрывали... Дайте мне денег сто тысяч и одну цилиндрическую мельницу. И чтоб я сам хозяин был. То есть кого хочу нанимаю и плачу сколько хочу. Через месяц суперфосфат выдам!

— Откуда вы все это берете? Какие мысли! — одобрил Витя.

— Исключительно от скуки... От нечего делать. В кабинете шесть часов отстою, и девать себя некуда. Энциклопедию читаю, Брокгауза и Ефрона.

— Где ж вы ее достаете?

— У доктора Долбежова. Вот у кого голова-то! Он знает все старые границы нашей губернии. Говорит, по три миллиона пудов одного сена вывозили с наших лугов только в Москву. Царские конюшни Петербурга на на-

шем сене жили. А теперь вот распахали, говорит, луга — а есть чего?

— Он что, сено ест, ваш доктор? — усмехнулся Сморчков.

— Это он к примеру. Так что вы не подумайте насчет иного прочего. Живем-то мы ноне хорошо... — рассыпчато, бисерком подхохотнул Павел Семенович.

Когда Витя Сморчков ушел, Мария Ивановна проворчала:

— Язык тебе мало оторвать. Ну чего ты ему насчет сена понес?

— А что? Он свой человек.

— Свой-то свой, но не забывайся. Он все ж таки сотрудник. Да не простой, а печатного органа.

Глава VIII

Статья в газете появилась через три дня. Мария Ивановна влетела в кабинет к Павлу Семеновичу и ткнула ему в нос сложенной газетой.

— Что я тебе говорила, пустобрех? На, читай! Нашел перед кем душу изливать, — она села в зубоврачебное кресло и схватилась за виски. — Что теперь делать? Что делать?

Павел Семенович надел очки, развернул газету «Красный Рожнов». Пальцы его слегка подрагивали. «Война за квадратный метр», — прочел он название большой заметки и сразу понял, это про него.

«От супругов Полубояриновых потоком идут жалобы и письма: то их обижают, то они чем-то недовольны...»

У Павла Семеновича запершило в горле; он взял стакан с водой, стоявший возле плевательницы на зубоврачебном кресле, и, отпив несколько глотков, сунул стакан на металлическую розетку, но не попал. Стакан грохнулся на пол. Мария Ивановна дернулась и обругала Павла Семеновича. Тот и бровью не повел. Он мельком пробежал начало статьи, где описывалась суть дела: как, с какой целью, каким методом Павел Семенович перенес дверь в коридор и захватил общую территорию. Что пострадали от этого невинные люди и что Фунтикова, к сожалению, пошла на поводу частнособственнических интересов Полубояриновых и сама ввела в заблуждение исполком депутатов трудящихся.

«Но кто же они, эти недовольные своим положением

граждане Полубояриновы?» — спрашивал автор, и тут Павел Семенович понял, что начинается самое главное.

«Хозяин квартиры на особом положении, он инвалид. И инвалид рассчитывает на заслуженное внимание общества. Были войны — были и ранения. Но Павлу Семеновичу, увы, не пришлось повоевать. Когда-то еще мальчиком, играя во дворе, он нашел ржавую гранату, стал разбирать ее... Произошел взрыв, и Павел Семенович стал калекой. Ну, что же? И такие инвалиды окружены у нас заботой. Товарищи относились к нему с участием, государство выплачивает ему пенсию — двадцать три рубля (после того как он стаж набрал).

Полубояринов понял это по-своему. Ему не по душе пришлось, что в зубной кабинет к нему прислали молодого специалиста, и он всяческими путями стал его выживать. Я, мол, инвалид, и условия мне нужны особые. Но, к его немалому удивлению, случилась осечка — молодого специалиста поддержали, а Полубояринова уволили.

Вскоре он еще раз убедился, что в социалистическом обществе не дадут пропасть человеку, не оставят его один на один со своей бедой. Из области, куда он послал жалобу, позвонили в больницу и, обратите внимание, не потребовали, ибо для этого не было никаких оснований, а попросили принять Полубояринова на работу. И его приняли.

Ненадолго он притих. Но вскоре опять принялся за старое. Прикидываясь неким правдолюбцем, Полубояринов строчит письма во все инстанции со своими бредовыми проектами и тем самым треплет государственным людям нервы. То ему, видите ли, мост понадобился через реку, то захотелось торф копать, то у нас луга не там распаханы, то он грязи лечебные открыл в Пупковом болоте. И всех обвиняет в том, что мы якобы не используем ресурсы. Послушаешь товарища Полубояринова, и можно подумать, что мы живем где-нибудь в отсталой Африке. А ведь у самого Полубояринова в квартиру проведен «голубой огонь», то есть газ. Более того, входная дверь по его первому требованию и вопреки существующему положению была обита дерматином за счет домоуправления. Будто и мелочь, а говорит о многом.

Не пора ли товарищу Полубояринову открыть глаза на нашу действительность и поглядеть воочию вокруг себя. Вы же, т. Полубояринов, обливаете все грязью... Что же касается вашего общественного лица и ваших целей,

то они вполне понятны каждому, после того как вы захватили полтора квадратных метра чужой жилплощади. Виктор Сморчков».

— Подлец! — сказал Павел Семенович, засовывая газету в карман.

— А ты дурак! Его же Федулеев к нам подослал. С целью!

— Откуда ты знаешь?

— Вона, секрет какой. Это он мне за приемник отомстил.

Надо сказать, что Федулеев три года назад отдыхал на Рижском взморье и купил там «Спидолу» за счет редакции. Но приемник оставил у себя. Этим летом он принес в редакцию паспорт и сказал, что приемник испортился, спишите, мол, его. Создали комиссию, акт составили, расписались. Федулеев утвердил его и передал Марии Ивановне. «Спишите с баланса». — «Не могу, срок не вышел». — «Он разбился». — «Извиняюсь, но акт на разбивку надо составлять отдельно. И разбитый приемник приложите...» Федулеев тяжко засопел. «Что ж я вам, черепки хранить буду?» — «Дак ведь порядок установлен».— «А мое указание для вас не порядок?» Мария Ивановна в тот раз уступила, но Федулеев долгое время был с ней сух и неразговорчив.

— И Федулеев твой подлец, — сказал Павел Семенович.

— Он и мотоцикл хочет присвоить таким же макаром. Но, будь спокоен, этот номер у него не пройдет.

— Плевать мне на ваш мотоцикл! Мне оправдаться надо, иначе жизни не будет.

— А я о чем говорю? — Мария Ивановна вскочила с кресла. — Иди сейчас же в местком к себе и проси, чтоб опровержение дали.

Председателем больничного месткома был старый доктор Долбежов. Он принимал больных в амбулатории.

— Николай Илларионович, помогите! Меня оклеветали, — сказал, входя в кабинет доктора, Павел Семенович.

— Вота, вота, нашел чему дивиться, — забубнил глуховатым баском Долбежов. — Собака лает — ветер уносит.

— Меня не просто так, а через газету.

— Эка невидаль твоя газета. Где она?

Павел Семенович отчеркнул карандашом то место, где

было написано про его увольнение из больницы. Долбежов прочел:

— Ничего особенного. Обыкновенная брехня.

— Брехня-то на мою личность, Николай Илларионович.

— Э-э, голубчик! Мало ли что вынесли наши личности. А это сущие пустяки.

— Ну, этого я не ожидал от вас! — Павел Семенович как-то оторопело глядел на старого доктора. — Вы не хотите мне помочь?

— Чем я могу вам помочь? — с огорчением сказал доктор.

— Как чем? Пойдем к редактору, скажем, что это ложь. Потребуем опровержения.

— И вы полагаете, нас послушают?

— Мы докажем! Документы с собой возьмем. Ну, я прошу вас, Николай Илларионович!

Доктор как-то грустно улыбнулся, снял халат, надел серый полотняный пиджачок с мятыми лацканами, натянул старомодный белый картуз с высоким околышем, палку суковатую взял.

— Пошли!

Они прихватили с собой старую выписку из решения ЦК профсоюза медработников о восстановлении Полубояринова на работе и двинулись в редакцию. Доктор шел насупившись — козырек на глаза, палку ставил твердо, прямой, как аршин проглотил. Сбоку, чуть поодаль, вихлял плечами, припадая на левую ногу, Павел Семенович и говорил, говорил без умолку:

— Тут главное дело не в том, большая обида или малая. Спуску давать нельзя, вот в чем принцип. Ежели ты видишь несправедливость и миришься в душе своей, ты как бы в роли некоего соучастника находишься. Это вроде греха: не страшен грех, совершенный перед богом, а страшно, когда не замечают его. Грешить греши, да раскаивайся. Ведь дурной пример заразителен. Иной начнет дубье ломать и вот похваляется перед честным народом: «Сторонись, не то голоса лишу!» Тут бы сгрудиться всем, цап-царап его, милака! Да на видное местечко, за ушко, за ушко: «А ну-ка, держи ответ перед народом. Почто превышаешь?» Но не тут-то было... Он за дубину, а мы в кусты. Иной любитель, глядя на эту разгульную картину, возьмет дубину еще потяжельше. «Ты так их глушишь а я эдак умею. Еще похлеще тебя...» А мы возле подво-

ротни да под забором про закон толкуем — превышают, мол. Эх, наро-од!

Когда Федулееву доложила секретарша, что в приемную Колтун привел доктора (Колтуном Павла Семеновича прозывали), тот сердито крикнул, чтобы за дверью слышали:

— Я «скорую помощь» не вызывал. У нас все здоровы.

Но принять принял.

Он сидел за столом и будто бы читал свежую полосу, склонив свою крупную лысеющую голову. В таком положении он и встретил их — не в силах оторваться, чтоб почуяли, уж до чего важным делом занят был. Доктор Долбежов и Павел Семенович стояли у двери, ждали.

— По какому поводу? — спросил наконец Федулеев и повел бровью; мутный серый глаз его округлился, второй, прикрытый сонным веком, все еще косился на газету. Федулеев гордился, что может смотреть эдак вразлет.

Долбежов держал картуз в полусогнутой руке, словно каску:

— У нас не минутная просьба, — доктор не хотел говорить от порога.

— К сожалению, я занят, — все еще не соглашался Федулеев.

— Мы сможем подождать, — смиренно, но и твердо стоял на своем доктор.

Второй глаз Федулеева тоже приоткрылся и уперся в доктора:

— Хорошо, садитесь.

Федулеев указал на стандартный диван с высокой спинкой, обтянутый черным дерматином. Они сели. Долбежов поставил палку промеж колен, картуз на нее повесил. Павел Семенович как-то осел головой в плечи и — спина дугой, будто из него пружину вынули.

— Ну, я вас слушаю, — сказал Федулеев.

— Мы пришли выразить свой протест по поводу заметки, опубликованной в сегодняшнем номере вашей газеты, — отчеканивая каждое слово, начал доктор.

— Личные протесты не принимаются, — оборвал его Федулеев.

— Заметка называется: «Война за квадратный метр» и касается личности работника нашей больницы Полубояринова.

— А вам лично какое до этого дело? — пытался опять сбить его Федулеев.

— Там, по крайней мере, в одном пункте допущено грубое искажение истины. Вот оно, отчеркнуто карандашом, — доктор положил газету перед Федулеевым.

Тот одним глазом покосился на газету, но читать не стал.

— Речь идет о сознательном искажении фактов, то есть клевете. Вот вам выписка из постановления профсоюза медработников, опровергающая эту ложь, — доктор вынул выписку и положил ее перед Федулеевым. — На этом основании вы должны дать опровержение.

Доктор обе руки наложил на картуз, висевший на палке, и, вскинув острый подбородок, умолк.

Федулеев повертел в руках эту выписку, как китайскую грамоту, и отложил на конец стола:

— Разберемся! Я только не понимаю, что нужно вам лично? Почему вы вмешиваетесь в это дело? — спросил он доктора. На Павла Семеновича даже не глядел.

— Я председатель месткома больницы. Считайте мое заявление не личным, а от коллектива.

— Коллектива? Кто же это утвердил вам коллектив для расследования фактов печати?

— Мы уж как-нибудь сами назначим и утвердим.

— Сами? Ну так и занимайтесь своей больницей. А печать — дело общественное. Газета — районный орган. Так вот, в райкоме есть бюро. Обратитесь туда. Если нужно, соберут и утвердят такую комиссию. Но, включат вас туда или нет, не знаю.

— Это все, что вы сможете нам сказать? — доктор встал.

— Вопрос исчерпан, — Федулеев погрузился в свою газету; голова и плечи — все объемно, внушительно: шеи, как ненужной детали, совсем нет.

Доктор напялил картуз по самые уши и, грохая палкой, пошел вон.

Глава IX

На другой день Павел Семенович с Марией Ивановной поехали в область. Поехали на ночь глядя, чтобы утром быть в облисполкоме, а к вечеру обернуться в Рожнов. Автобусом добрались до Стародубова, чтобы пересесть на поезд местного значения, который прозывался «Малашкой». Приходил он в Вышгород утром — удобно и за ночлег платить не надо. И билет на «Малашку» стоил вдвое дешевле, чем на обычный пассажирский поезд.

Каждый раз, когда они попадали в Стародубово, на большую дорогу, они испытывали странное чувство облегчения и потерянности. Будто их раньше на приколе держали, как лошадей; и вот сорвались они на свободу, зашли бог знает куда — и радостно вроде бы и, что делать, не знают.

Поначалу любовались, как всегда, кирпичными корпусами старого конезавода, высокими резными башнями по углам, зубчатым карнизом, затейливо сплющенными фигурными оконцами, острыми гранеными шпилями... Ну, что за диво! Дворец, да и только... И зачем тому барину понадобилось возводить такие хоромы для лошадей? Чудак. Санаторий бы здесь открыть.

Ужинали в высокой бревенчатой чайной. Народ за столиками гудел, — больше все шофера в черных замасленных пиджачках да фуфайках, пили только перцовую — от нее не пахнет. Два мотоциклиста с белыми шлемами на коленях, в коротеньких курточках под черную кожу угощали за столиком красным вином кудрявых девиц; те слушали их, прыскали в сторону, потом откидывались на стуле и заливались звонким смехом. А мотоциклисты в такие минуты все перемигивались.

«Дуры вы, дуры! — хотелось сказать Марии Ивановне. — Или вы не видите, что они замышляют?»

— А не выпить ли нам по маленькой? — спросил Павел Семенович, тоже поглядывавший на этих развеселых девиц.

Мария Ивановна ажно вздрогнула:

— С каких это доходов? И что за веселье приспичило?

— Эх, Маша! Однова живем. Как говорится — проверяй жизнь радостью. Ежели ты прав, тебе должно быть радостно. Вот веришь или нет, а мне сейчас радостно!

— Его на смех, дурака, подняли, а он радуется.

— Да не в этом дело... Я своего добиваюсь, вот что главное-то. Пока я отстаиваю свою правду, я уважаю себя.

— Вот завтра приедем к начальству, получишь по морде и радуйся.

— Опять двадцать пять! Ну и получу, а дальше что?

— Утрешься, и больше ничего, — сказала Мария Ивановна с какой-то злорадной усмешкой.

— А уверенность моя пошатнется? Нет! Укрепится только... Пойду дальше, выше! Пусть, пусть бьют... Но кто будет прав? Вот в чем закорюка.

— Кому нужна твоя правота?
— Да мне же самому.
— Ну и дурак.
— Нет, Маша, ты меня должна понять, должна. Правде нужно, чтобы в нее верили.
Павел Семенович поймал за руку официантку и попросил чекушку водки.
Мария Ивановна сперва отнекивалась пить: «Кабы изжога не замучила?» А выпив стопку, раскраснелась и повеселела:
— Ты какой-то бесчувственный. Его бьют, а он говорит: мало. Недаром тебя Колтуном прозвали.
— Подумаешь, беда какая! Но главное, Маша, главное! Ничего они из меня не выбьют. На своем стоял и стоять буду. — Павел Семенович широко размахнулся и погрозил кому-то пальцем.
— Пошли на волю, а то тарелки побьешь. — Мария Ивановна взяла его под руку, и они заковыляли к дверям.
Вечер был теплый, тихий, с тем ранним дремотно-синим туманом, который загодя до полного заката повисает над землей только ранней осенью. Небо было еще светлым, но деревья уже потемнели. Посреди старинного изреженного парка, на самом юру, в окружении четырех искалеченных лип стояла церквушка с пятью куполами без крестов, крытыми черным рубероидом. Оттуда доносился торопливый и тупой перестук мукомольного двигателя да гортанный галдеж галочьей стаи, летавшей над липами.
— Пойдем-ка, мать, полюбуемся на красоту божью,— сказал Павел Семенович.
— Там любоваться-то нечем. Все уж давно растащено.
— На травке посидим, молодость вспомним. Все равно идти некуда. До поезда еще далеко.
— Так-то оно так, — вроде бы и соглашалась Мария Ивановна.
— Вот и хорошо. Пошли, мать! — Он обнял ее за плечи.
— А может быть, в Дом культуры сходим? Там, говорят, картинная галерея открылась,— сказала Мария Ивановна в некоторой нерешительности.
— Лучше этой картины не нарисуешь. — Павел Семенович указал рукой на заброшенный парк. — В клубе народ, а тут мы одни. Устал я, Маша.
— Ну, пойдем, пойдем... — Мария Ивановна обняла

за талию обмякшего Павла Семеновича и повела его по старой выщербленной аллее.

Они сели возле церкви на потемневшую от времени и дождей лавочку заломанного чахлого куста сирени. Перед ними широким распадком протянулся до самой речки пустырь. Когда-то здесь были пруды с водопадами, лодками... Посреди каждого пруда возвышался остров с беседкой в цветущей кипени сирени да жасмина.

Мария Ивановна вспомнила, как она в тридцатом году, тогда еще комсомолка, приезжала сюда на кустовой слет активистов-избачей. «Даешь темп коллективизации!», «Вырвем жало у кулака!» — кричали они и подымали кверху руки. А потом катались на этих прудах в лодках и пели. Им надели красные нарукавные повязки и кормили в столовой по талонам... Как давно это было!

Павел Семенович курил и покашливал. Потом, загасив о подошву папироску, сказал:

— Я вот о чем подумал: живем мы вроде понарошке. В игру какую-то играем. И все ждем чего-то другого. Будто она, эта разумная жизнь, за дверью стоит. Вот-вот постучится и войдет.

— Ждешь-пождешь, да с тем и подохнешь, — сказала Мария Ивановна. — Видать, наша суета и есть жизнь. Другой, Паша, наверно, не бывает.

Подошел от мукомолки сторож, древний старичок в опрятном сереньком пиджачке и в синей косоворотке, застегнутой на все пуговицы:

— Покурить, извиняюсь, у вас не найдется?

Павел Семенович вынул пачку «Беломорканала». Старичок закурил, присел на лавочку.

— Дальние? — спросил он.

— Из Рожнова, — ответил Павел Семенович.

— По делу или к родственникам отдохнуть?

— В область едем. «Малашку» ждем. А тут места знакомые. Сидим вот, пруды вспоминаем, — сказал Павел Семенович.

— Да что вы помните!

— Мы-то? — оживилась Мария Ивановна. — Даже острова помним. На котором острове сирень росла, на котором жасмин.

— Было, было, — закивал старичок. — Да что пруды?! Фанталы били. Белые лебеди плавали... Какие же были аллеи! Перекрещенные и так, и эдак. И кирпичом выстланы. На ребро клали кирпич-то.

— А вы что, работали в саду? — спросила Мария Ивановна.

— Всякое случалось, — уклончиво ответил старичок.— Сад был бога-атый. Дерева все заграничные посажены. Вот, бывало, начнет снег выпадать — они и зацветут.

— Зачем же они в такую пору зацветали? — спросил Павел Семенович. — Цвет померзнет.

— На то они и заграничные. Им своя задача дадена от земли. А по нашей природе несовпадение, значит. Но поскольку диковинка — ценность имеет.

— Вы, случаем, не здесь живете? — спросил Павел Семенович.

— Здесь, при церкви, то есть при мукомолке. А что?

— Попить захотелось.

— Пойдемте.

Старичок провел их к тыльной стороне церкви, где к беломраморному высокому полукружью прилепилась кирпичная сторожка о двух окнах. Они вошли в нее; там, в глубине, оказалась еще и железная кованая дверь, ведущая в церковь. Старичок отворил ее и нырнул за высокий тесаный порог.

— Идите сюда! — позвал он, как из колодца.

Они вошли в темную сводчатую комнату.

— Это кадильня, — сказал старичок. — А сюда батюшка в ялтарь ходил, — указал он на мраморную лестницу, сворачивавшую винтом за округлую мощную колонну. На лестнице стоял у него бачок с водой и кружка. — Пейте на здоровье!

Вода была холодная до ломоты в зубах.

— У вас здесь прямо как в погребе, — сказала Мария Ивановна.

— Я зимой живу в пристройке. «Буржуйку» ставлю там.

Стук мукомольного движка доносился сюда совсем глухо, как из подпола.

— И стены и перегородки толстые. Смотри-ка, в одном конце работают, в другом не слыхать. Ну и церковь! — сказала Мария Ивановна.

— На века ставилась! Верите или нет, с одних кумполов взяли пятнадцать пудов золота. А теперь вот крыша течет, — сказал старичок.

Они просидели на пороге сторожки до самой темноты. Старичок все рассказывал и головой качал:

— А вот тут стояло дерево — азовские орехи по кула-

ку на нем росли. Вон там клуб был. У-у! Замечательный. Со всех держав приезжали сюда смотреть. Такой постройки мы, говорят, боле нигде не видали.

— Куда ж он делся?

— Хрестьяне растащили. Да что там клуб! Все яблони в коллефтивизацию перепилили, скамейки поломали... Ограды железные с могил и те порастащили.

— А барин откуда все это взял? — с неожиданной ненавистью спросила Мария Ивановна. — Тоже награбил!

— Известно, — согласился старичок. — Но вы на это еще взгляните: ведь его самого не потревожили. Он поженился на учительнице и работал до самой коллефтивизации. А жена настоящая от него отшатнулась.

— Где же он работал при Советской власти? — спросила Мария Ивановна, которую все более завлекала судьба этого необычного барина.

— В Пронске. Он там построил прогимназию и еще до революции ездил туда учить. Охотник был до этого дела. Он ведь при думе состоял. Однова сказал там: «Зачем нам столько земли? Давайте ее раздадим по хрестьянам». Баре так рассердились на него, что отлили ему чугунную шляпу и калоши.

— Чудно, — усмехнулась Мария Ивановна. — Что ж он, выходит, твой барин-то, революционером был?

— А кто его знает! Мужичонко он был гундосенький, немудрящий, тощой. Вот главный управляющий был у него мужчина видный. На что вам, говорит, все это строить? Вы на одни процентá проживете. А он ему: а люди на что жить будут?

— Ха! Он что ж, о крестьянах заботился? — спросила опять с недоверием и злостью Мария Ивановна.

— Известно. А то о ком же? Ежели у вас, к примеру, лошадь пала, то справку принеси ему из волости — он тебе денег на лошадь дасть. Вот ковда революция случилась и запрос сделали: как с ним быть, при этой волости оставить его или унистожить, то все селения дали на него одобрение.

— Я чего-то не пойму никак. Вы довольны, что революция произошла, или нет? — в упор спросила Мария Ивановна.

— Ты в себе, Марья? — сказал Павел Семенович как бы с испугом.

— Отчего ж недоволен, — невозмутимо ответил старичок. — Тут нам землю дали. Мы в двадцатых годах ва-

жили куды с добром. Вот меня считали раньше лодырем? А как мне землю дали, я их же обгонять стал.

— Подожди ты, не горячись! — Павел Семенович тронул за плечо Марию Ивановну и к старику: — Вы мне вот что ответьте. Должен человек знать или нет, для чего он живет?

Блеклые, как стираная сарпинка, глазки старика оживились, заблестели:

— Раньше говорили: не спрашивай. Служи богу и обрящешь покой.

— А что есть бог? Вы-то как понимаете?

— Бог есть согласие жить по любви.

— Это верно! — Павел Семенович даже по коленке прихлопнул. — Именно все дело в согласии. Не то иной выдумает счастье и толкает тебе в рот его, как жвачку ребенку. На, пососи и ни о чем не проси! А если я не хочу такого счастья? Тогда что?

— Ну хватит тебе! Ты чего разошелся?! — Мария Ивановна сама стала одергивать Павла Семеновича. — Пойдем! Уже поздно.

— Так что тогда? — опять спросил Павел Семенович, вставая с крылечка.

— Господь поможет, — сказал старичок, прощаясь.

Глава X

Наутро им повезло — их приняли первыми.

Облисполком занимал старинное серое здание с высокими циркульными окнами. Говорят, что раньше здесь помещалась городская управа, а напротив , в теперешнем обкоме, губернская управа. Там, возле парадной двери, висела медная дощечка: «В этом здании работал великий русский писатель-сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин».

Когда бы ни проходил мимо этого здания Павел Семенович, он непременно останавливался, смотрел на медную доску и всегда удивленно отмечал про себя:

«Вице-губернатор, генерал! А какую критику наводил?»

Он и теперь невольно задержался возле бывшей губернской управы и сказал:

— Видела, Марья, доску-то? Генералом был и то критиковал. А ты на меня орешь.

— Ну и дурак твой генерал! Чего ему не хватало?

— Дак разве критику для себя наводят?

— А для кого же?

— Для общества, голова! Чтобы всем хорошо жилось.
— Всем хорошо никогда не будет.
В это время из растворенной двери на них строго посмотрел постовой милиционер.
— Ну, пошли, пошли! Чего рот разинул? — Мария Ивановна потянула за рукав Павла Семеновича. — А то попадешь не в то место. Критик!
В вестибюле облисполкома тоже стоял милиционер, но чином поменьше и не такой строгий. Они остановились возле его тумбочки и стали рыться в карманах — паспорта искать. Постовой вежливо взял под козырек:
— Вам куда?
— К председателю или к любому заместителю.
— Пожалуйста, по лестнице на второй этаж.
Лестница была широкая, из белого мрамора с затейливыми балясинами в виде двух бутылок, приставленных друг к дружке донцами.
В большой приемной самого главного председателя им сказали, что Александра Тимофеевича нет и что он сегодня не принимает. Если хотят, то пусть обратятся к секретарю товарищу Лаптеву. Он разберется.
Секретарь облисполкома Лаптев оказался на редкость приветливым человеком; невысокий, плотный, с твердокаменной ладонью, но с лицом округлым, белым и мягким. Одет он был в серый костюм из плотной дорогой ткани, но уж сильно поношенный, застиранный на широких, как шинельные отвороты, лацканах. Он усадил Павла Семеновича и Марию Ивановну поближе к своему столу и все улыбался, словно на чай пригласил.
— Чем могу быть полезен? — спрашивал он, переводя ласковый взгляд с одного на другого.
— Дело-то у нас пустяковое, — сказала Мария Ивановна.
— Это как посмотреть, — перебил ее Павел Семенович. — Ежели со стороны оскорбления личности подойти, то здесь судом пахнет! — Павел Семенович вскинул голову, сердито поглядывая на Марию Ивановну.
— Да что случилось-то? — проявляя слегка нетерпеливость, спросил Лаптев.
— Меня оскорбили публично, в печати! Исказили факты... И не хотят давать опровержения.
— Да ты не с того начал. Помолчи! — остановила Мария Ивановна Павла Семеновича и обернулась к Лаптеву. — У нас дверь в общем коридоре... Отворялась на-

ружу — внутрь притолока мешала. Возле нее спал пьяный сосед Чижёнок. Ну вот...

— Ничего не понимаю, — Лаптев затряс головой и развел руками.

— Да при чем тут дверь? — раздраженно сказал Павел Семенович. — Дверь мы перенесли правильно, по законному постановлению исполкома. Ну? И в статье никто этого не оспаривает. Речь идет об искажении фактов, об умышленной клевете.

— Дурак ты! — вспыхнула Мария Ивановна. — Завтра перенесут дверь на старое место и Берта приедет... Что будем делать?

— Товарищи, товарищи, давайте спокойно! — Лаптев поднял руки и растопырил пальцы. — Вещественные доказательства, документы при вас?

— Все, все имеется, — ответила Мария Ивановна.

— Кладите на стол, и все разберем по порядку.

Они положили выписку из постановления райисполкома о переноске двери, заверенную Фунтиковой, выписку из решения ЦК профсоюза медработников, потом газету «Красный Рожнов» с отчеркнутыми местами в заметке Вити Сморчкова.

Лаптев надел очки и наклонил свою лобастую голову. Выражение лица его стало меняться — щеки отвисли, нос сперва покраснел, а потом расцвел эдаким лиловым бутоном. Перед ними сидел старый и очень уставший человек.

— Все законно, — сказал он, посмотрев бумаги. — Дверь правильно перенесли. Никто не имеет права заставить вас переставить ее на прежнее место. В газете допущены искажения. Добивайтесь опровержения.

— Легко сказать, добивайтесь, — Павел Семенович заерзал на стуле. — Мы сунулись было к редактору с нашим председателем месткома, а тот и не глядит.

— Хорошо, я позвоню Павлинову. Поезжайте домой.

Когда вышли на улицу, Павел Семенович удовлетворенно хмыкнул:

— Видала, Марья! Вот оно как все обернулось-то, а? Ну, теперь я этому Федулееву поднесу дулю под нос.

— Погоди хорохориться. Что еще Павлинов скажет?

— Да плевал я теперь на Павлинова.

Ехали обратно на скором поезде. В Стародубово угодили прямо к автобусу. Так что после обеда были уже дома.

— Убирайся тут, а я схожу к Павлинову, полюбуюсь на его самочувствие, — сказал в радостном нетерпении Павел Семенович.

Он помылся, побрился, свежую рубашку надел и пошел, как на банкет.

Павлинов встретил его без особого удивления и даже негодования. «Значит, звонил Лаптев. Накрутил хвостато», — отметил Павел Семенович.

В кабинете, развалясь на диване, сидел капитан Стенин. Они с Павлиновым собирались съездить вечерком на охоту, уток попугать, и настроены были благодушно. Чернобровый, чубатый Павлинов, еще по-молодому крепкий, загорелый, с закатанными рукавами белой рубашки, с распахнутым воротником (пиджак его висел на стуле), был похож на инструктора по физкультуре.

— Вот и хорошо, что сами пришли, — сказал Павлинов, здороваясь с Павлом Семеновичем, но не подавая руки. — Значит, поняли. Садитесь! — указал он на стул.

— А что я должен понять? — спросил Павел Семенович, настораживаясь.

— А то, что вашим поведением возмущена общественность. Это нашло свое отражение и в прессе. Надо кончать с этими кляузами. И дверь перенесите на старое место.

— То есть как?! — опешил Павел Семенович.

— А вот так. И соседи перестанут жалобы писать, и пресса успокоится. И нечего вам разъезжать по области. Сами виноваты.

— Во-первых, в прессе опубликована клевета на нас,— Павел Семенович от неожиданного оборота слегка заикался, — з-за которую товарищи Сморчков и Федулеев должны отвечать. Не меня, а их выступление надо считать кляузным. В подтверждение моих показаний вот вам выписка ЦК профсоюза медработников, заверенная товарищем Долбежовым. — Павел Семенович положил бумагу прямо перед Павлиновым да еще ладонью прихлопнул по ней.

— Вы мне не суйте ваши медицинские бумажки. Если нужно будет, мы самого Долбежова вызовем и спросим: с какой целью он пытается покрывать всяких очернителей? — Павлинов отшвырнул бумажку так, что она полетела со стола.

— Это я очернитель? — так же сердито спросил Павел Семенович, подымая свою выписку.

— А то кто же? Стенин, что ли? — усмехнулся Павлинов.

Капитан Стенин захрустел пружинами и тоже улыбнулся.

— Вам известно мнение товарища Лаптева, секретаря облисполкома? — еще строже спросил Павел Семенович, вскидывая голову.

— Ну-ну, удиви! — опять усмехнулся Павлинов.

— Товарищ Лаптев заверил, что решение исполкома насчет двери правильное... И что...

— А я говорю, Фунтикова ввела исполком в заблуждение, — перебил его Павлинов.

— И что газета исказила факты. И Федулеев должен опубликовать опровержение. Да вы знаете об этом сами, но только прикрываетесь передо мной некоей игрой, — повысил голос Павел Семенович.

— Это вы у нас мастер до всяких антиобщественных игр! — загремел Павлинов. — Кто подсовывает дурацкие проекты? Я, что ли? Пораспустились!.. — Павлинов встал, громыхнул стулом и с минуту молча ходил вдоль стола, остывая. Потом сказал спокойно: — А что касается Лаптева, то он мне звонил и сказал только одно: пусть Полубояринов подает в суд на Сморчкова, если он считает себя правым. Вот и выполняй это.

— Я пришел не в суд, а к вам, чтобы вы наказали виновных. Ведь не суд разрешил мне дверь перенести.

— Опять двадцать пять! — Павлинов сел за стол и стал терпеливо втолковывать Полубояринову: — Поймите же, вы недостойно себя ведете. Вы рассылаете во все инстанции непроверенную информацию, подрываете порядок. Вы ввели в заблуждение Фунтикову, а та исполком. Вы тем самым воспользовались и захватили себе полкоридора. Общественного! Вы, люди широко живущие, имеете комнату и кухню — целую отдельную квартиру на двух человек... В то время как другие живут тесно и даже в подвалах. Вместо того чтобы осознать это, вы повально всех вините, требуете наказаний... Чуть ли не суда! Нескромно, товарищ Полубояринов.

— Спасибо за такое наставление. Но лучше бы вы не мне лекцию прочли, а себе о своем вообще некрасивом поведении. Как вы, переезжая к нам в Рожнов из Стародубова, захватили у рабочих консервного завода квартиру из трех комнат в пятьдесят три квадратных метра. Со всеми удобствами!.. И все это на семью в четыре человека.

Да мало того, вы не сдали квартиру в Стародубове. Поселили в ней своих родственников.

Павлинов поглядел на Стенина и густо покраснел:

— Видали? Ревизор из народного контроля нашелся...

— Да о чем с ним говорить? — отозвался Стенин. — Его самого привлекать надо за клевету...

— Я могу доказать, — ринулся к Стенину Павел Семенович.

— Ну, хватит! Поговорили... — властно сказал Павлинов. — Видно, ты не из тех, которым на пользу наставления. Скажем по-другому: вот вам недельный срок — и чтобы дверь в коридоре была поставлена на место. Понятно?

— Нет, не понятно. Дверь останется там, куда ее перенес горисполком.

— Тогда я сам пойду к вам. Вон возьму милиционера, — кивнул он в сторону Стенина. — И поломаю вашу дверь.

— Попробуйте...

— Семен Ермолаевич, я вам не одного милиционера, а двух выделю, — сказал Стенин. — Чтоб они подержали его. Не то еще и сопротивление окажет.

— От него все можно ожидать. Он и за топор схватится, — криво усмехнулся Павлинов.

— Я хочу знать — на каком основании вы будете дверь ломать? — спросил Павел Семенович.

— А на таком! — Павлинов поглядел на Стенина. — На основании правил пожарной безопасности. Вы стеснили общие проходы.

— Наоборот! У меня притолока раньше угрожала пожаром. Вот, поглядите. У меня чертеж есть, — Павел Семенович достал из кармана еще одну бумажку.

Но Павлинов только рукой повел, так, от себя, как сбрасывают со стола мусор:

— Все твои документы липа. Я и смотреть их не стану. Даю тебе недельный срок: не перенесешь дверь — пеняй на себя.

— И не подумаю.

— Ступай!

Глава XI

Павел Семенович, весь избитый красными пятнами, пришел от Павлинова и бросил в лицо Марии Ивановне:

— Можешь радоваться: опровержения не будет! Все они заодно... И ты вместе с ними.

Мария Ивановна решилась: раз Федулеев пошел на нее в открытую, то и ей не пристало прятаться за сутулую спину своего благоверного.

— Ты чего орешь? — развернула она плечи, и гневом задышало ее лицо от мужнего оскорбления. — Я тебе кто?

— Сотрудник Сморчкова, вот кто...

— Сам ты сморчок. За правду постоять не сумеешь? Так погляди, как поступают взрослые люди.

Она надела свою черную выходную шляпу, похожую на валенок, взяла черный зонт с костяным набалдашником и, несмотря на позднее время, пошла в редакцию.

Федулеев сидел в своем кабинете и вычитывал полосу; кроме него да секретарши Ирочки, в редакции никого. «Жаль, что нет сотрудников, — подумала Мария Ивановна. — Его хахуля не в счет. А без свидетелей что за скандал?»

Она презирала секретаршу за то, что в давнее время— еще года четыре назад — поймала ее с поличным в кассе горводснаба. Мария Ивановна работала тогда инспектором райфо. Ирочка воровала квитанции, подделывала их и получала чистые денежки. Ее осудили по статье 92 (часть вторая) за присвоение государственных средств. Но в ту пору в газетах писали насчет перевоспитания... И взяли Ирочку на поруки...

Ирочка встретила Марию Ивановну с издевательской вежливостью, как провинившуюся школьницу:

— Ваш рабочий день уже кончился. Или вы позабыли чего?

— Тебя позабыла спросить: работать мне или отдыхать.

Мария Ивановна с ходу пошла к редакторской двери, обитой черным дерматином.

— Петр Иванович очень занят! — Ирочка с кошачьей проворностью подскочила к двери.

— А я что, дурака пришла валять? Прочь с дороги!

Но не тут-то было. Ирочка прислонилась спиной к двери и продолжала вежливый разговор:

— Вы же не посторонний человек, Мария Ивановна. Вам известно, что Петр Иванович в эти часы вычитывает газету. Зачем же отвлекаете?

— А я говорю, отойди от двери! У меня дело поважнее — закон пришла выверить.

Дверь наконец открылась изнутри. Федулеев стоял у порога удоволенный:

— Представителям закона здесь всегда рады. Прошу, Мария Ивановна! — даже лысую голову чуть наклонил, а лицо так и готово лопнуть от смеха.

Ирочка приняла такую же почтительную шутовскую позу и сказала нараспев, в тон редактору:

— Пож-жалуйста! Только зонтик оставьте. У нас в кабинете не течет.

— А сколько это вас в кабинете? — съязвила и Мария Ивановна.

— Да вы и впрямь как ревизор, — усмехнулся Федулеев. — С каким мандатом?

— С государственным как бухгалтер... Да еще с партийным как коммунист. С вас довольно?

— Ба-альшой вы человек, — сказал Федулеев.

Мария Ивановна прошла в кабинет, села в кресло, а зонтик положила на редакторский стол.

Ирочка оставила дверь растворенной, удалилась к своему маленькому столику с пишущей машинкой, а Федулеев стал прохаживаться по кабинету.

— Может быть, вы все-таки закроете дверь и выслушаете меня? — сказала Мария Ивановна.

— Говорите, говорите. Здесь у нас секретов не бывает. Мы публичная печать. Живем открыто, — весело отозвался Федулеев.

— Ладно, публичная так публичная. Вы опровержение давать будете?

— Мария Ивановна, вы меня удивляете. Вы сколько у нас работаете? Третий год? Скажите, давали мы хоть раз опровержение? Никогда, — отчеканил Федулеев. — Потому что мы — печать. А в печати факты помещаются только проверенные. Вы когда-нибудь читали опровержение?

— Вы мне печать в нос не суйте. Я знаю, какая правда у нас в редакции.

— На что вы намекаете?

— На то самое... Вы нарушаете постановление правительства.

— Какое?

— Декрет СНК СССР от двадцать первого декабря тысяча девятьсот двадцать второго года, параграф второй. Вы его читали?

— Ну?

— Вот тебе и ну... По этому декрету запрещается держать на работе в качестве подчиненных прямых родственников. А у вас не кто-нибудь из прямых родственников, а собственная жена работает. Да еще не имеет на то образования. Вот она, ваша правда.

Федулеев оглянулся на Ирочку и остановился:

— Образование у нее в пределах педучилища.

— Это как в пределах? По коридорам прошлась, а в классы не пустили?

Федулеев печально вздохнул и сел за стол.

— Мария Ивановна, третий год вы у нас работаете и ни разу даже не упомянули о таком серьезном декрете. Скажу вам честно, я не юрист и не знал о существовании такого декрета. И более того, сожалею, что мой ответственный финансовый работник не информировал меня об этом. Я допускаю, что вы совершили такой промах неумышленно. Наверно, память вас подвела. Да ведь и неудивительно — возраст у вас преклонный. Пора вам, Мария Ивановна, уходить на пенсию. Давно пора.

— Я подожду, пока ваша жена уйдет отсюда.

— Ждать не придется, Мария Ивановна... коллектив редакции не потерпит. Вы же знаете, как это делается: сперва один выговор, потом другой. А там приказ об увольнении, и точка. Ну, зачем вам доводить дело до точки?

— У меня, слава богу, ни одного выговора не бывало.

— Есть уже один, есть, — Федулеев только руками развел и с таким огорчением на лице, будто сам и страдал больше всех от этого выговора. — Ирина, принесите книгу приказов!

И не успела Мария Ивановна дух перевести, как перед ее носом уже лежала книга редакционных приказов, раскрытая на нужной странице.

Приказ № 44
по редакции «Красный Рожнов»

от 27 августа

Ввиду невыхода на работу 27 августа сего года бухгалтера редакции Полубояриновой М. И. без уважительных на то причин этот день считать прогулом и не оплачивать, а за невыход на работу **объявить выговор.**

Редактор газеты «Красный Рожнов»
Федулеев.

«Так вот оно что! — сообразила Мария Ивановна. — Вот почему они так нагло со мной любезничали».

— Это ложь! Фальсификация! — Мария Ивановна хлопнула рукой по раскрытой книге, словно муху убила.

— Книга приказов тут ни при чем. Ведите себя культурно. — Ирочка взяла книгу и выскользнула из кабинета.

— Какая же фальсификация? — спросил Федулеев.

— Злостная! Я ездила в облисполком жаловаться на вашу клевету. Я заходила в управление по печати — месячный отчет выверяла... А вы мне прогул?

— В область ездят в командировку, не так ли? — строго спрашивал Федулеев.

— Командировочные я ей не выписывала, — отозвалась из своего предбанника Ирочка.

— Правильно, — кивнул головой Федулеев, — потому что я и приказа не отдавал считать вас в командировке. Да вы и не отпрашивались у меня. Так ведь, Мария Ивановна?

— Дак я же с отчетом ездила!

— Ну и что? Отчет не исключение из правил.

— Да не впервой же я так ездила.

— Не знаю... Может быть, вы и раньше ездили жаловаться... Но я этого не знаю, — Федулеев оставался невозмутимым.

— Это же произвол! — все еще не сдавалась Мария Ивановна.

— Какой произвол? Я просто довожу до вашего сведения: один выговор вы получили и второй на подходе.

— Да вы что, издеваетесь? Или в представление играете? Это что еще за второй выговор?!

— Он пока только в проекте... Появится он или нет — все зависит от вас. Сегодня, кажется, двадцать седьмое число? А когда авторский гонорар внештатным корреспондентам перечисляется? В третьей декаде месяца, так?

— Это при наличии денег. А когда их нет, мы перечисляем в начале следующего месяца.

— У нас есть деньги на расчетном счете.

— Всего семьдесят пять рублей, а гонорара надо перевести сто девяносто.

Федулеев опять печально усмехнулся:

— Свою зарплату вы получаете дважды в месяц... Аванс берете. А вот авторам выслать по частям считаете за труд. Инструкцию нарушаете. Нехорошо.

— Дак мы ж каждый месяц так делали!..

— Вот и худо, что так делали. За задержку гонорара получите взыскание.

— Вы просто мерзавец и негодяй! — Мария Ивановна схватила зонтик, стукнула им об пол и встала. — Но имейте в виду, в райкоме союза вам не удастся меня ошельмовать. Я член бюро!

— Вы усугубляете свое дело, — Федулеев и голоса не повысил. — Зачем вы оскорбили меня? Да еще в присутствии председателя месткома, — он кивнул в сторону Ирочки. — Прежде чем выносить ваше дело на райком союза, мы здесь решим, на месткоме... Я говорю из сочувствия к вам: подавайте заявление. Уходите добровольно.

— Разбойники! Вы что ж, хотите чтоб я в гроб добровольно легла?

— Зачем же? Живите на здоровье. Пенсия у вас будет вполне приличной.

— Спокойной жизни захотелось, да? Не выйдет. Сама жить не буду, но и вам не дам.

— Вольному воля.

Глава XII

На другой день Павлинов позвонил Федулееву:

— Ну, как там ваша собственница? Не прихватила еще к своему кабинету лишних полтора метра?

— Замышляет новую кампанию с книгой жалоб и предложений, — весело ответил Федулеев.

— Куда же она собирается жаловаться?

— В Москву отпрашивается.

— Ах, вон как! Ну, ты ее домой отправь. Скажи, что комиссия придет из райисполкома.

— Кто к ней собирается?

— Я сам пойду. Прихвачу с собой Стенина и проведу беседу на тему: не суйся, Матрена, в божий рай, когда хвост подмочен.

— Попробуй. Я тоже пытался вчера вразумить ее: не шуми, говорю, бабуся, когда тебя мешком накрыли.

— А она что?

— Я, говорит, сама вас подолом накрою.

Павлинов помолчал...

— Распущенность, понимаешь. А ты что?

— Предложил ей уйти на пенсию, — хохотнул Федулеев.

— Правильно! А она?

— Отбрыкивается.

— Не хочет по-доброму? Сунь ей два выговора...

— Это мы уж сообразили. Но она рассчитывает на поддержку в райкомсоюзе.

— А зачем тебе с союзом связываться? Проводи ее через собрание. Учти, решение собрания юридическому обжалованию не подлежит.

— Правильно!

— Ну, так посылай ее домой...

Павлинов с капитаном Стениным пожаловали к обеду. Мария Ивановна и Павел Семенович сидели на кухне, ждали. Не обедалось. Мария Ивановна разлила было суп по тарелкам, каждый схлебнул по ложке, да и задумался, как на поминках. И суп остыл.

Когда застучали в двери, они словно очнулись — Павел Семенович побежал, вихляя плечами, отпирать двери, а Мария Ивановна выплеснула из тарелок суп обратно в кастрюлю.

Увидев мокрые тарелки на столе, Павлинов усмехнулся:

— К обеду угодили... значит, кому-то из нас с вами повезет.

— Может, к столу присядете?.. У нас и выпить найдется, — сказала Мария Ивановна, как-то жалко улыбаясь.

— Ну, мы к вам не гулять пришли, — ответил Павлинов, решительно отметая всякое беспринципное примирение. — И вообще я бы вам не советовал заниматься такими дешевыми методами компроментации власти.

— Кого мы компрометируем? — огрызнулся Павел Семенович. — Это вы начали завлекать любезностью.

— Поговорили, и будет, — остановил его Павлинов.— Стенин, приступай к осмотру двери на предмет пожарной безопасности.

Капитан Стенин сперва отмерил четвертями по стене от кухонного дымохода до дверной притолоки, потом растворил дверь, поковырял пальцем изрезанную дерматиновую обшивку, шагами измерил оставшийся коридорный закуток и сказал Павлинову:

— Общая коридорная площадь уменьшилась на полтора квадратных метра.

— Ну? — спросил Павлинов.
— Значит, во время пожара эвакуация будет стеснена, — заключил капитан.
— Ну вот, — удовлетворенно заключил Павлинов.
— Как же так? — спросила Мария Ивановна. — Или во время пожара будут бежать не на улицу, а к нам?
— Вот именно! — обрадовался Павел Семенович этому доводу. — Ведь наша дверь стоит не по пути соседям на улицу!
— А ежели у вас пожар случится? — огорошил их вопросом Стенин.
— Дак за свой пожар мы сами ответим, — сказала Мария Ивановна.
— Извиняюсь, за любой пожар отвечаем прежде всего мы, район! И за вас в том числе, — вступился Павлинов.
— А почему же вы не отвечали, когда дверь стояла у дымохода? Или вы на это глаза закрывали? — спросила Мария Ивановна.
— Дымоход заштукатурен. Не в нем дело. Тут у вас получился закуток, в котором вы держите баллоны с газом, — сказал Стенин.
— А если это ложь?
— У нас есть сведения...
— А если это ложь? — повторил Павел Семенович.
— А чем вы докажете, что это ложь? — спросил Стенин.
— Как чем? Где вы видите баллон? Ну? Здесь же нет его.
— Ну и что? — сказал Павлинов. — Вы его убрали, потому что ждали нас.
— Это не доказательство пожарной опасности, — сказал Павел Семенович.
— Ах, вам этого мало! — сказал Стенин. — Хорошо, пойдем дальше.
Он прошел в кухню и величественным жестом указал на посудную полку и хлебный шкаф, висевшие на стене над кухонной плитой:
— А это что?
— Как что? Кухонная полка, — сказала Мария Ивановна.
— Я спрашиваю в противопожарном отношении.
— Дак полка, она полка и есть.
— Нет, извиняюсь... Во-первых, она деревянная, во-

вторых, висит над газовой плитой. Может воспламениться.

— От чего?

— От газа.

— До нее не только что газом, рукой не дотянешься,— сказала Мария Ивановна.

— А это не важно. Раз не положено, значит, не положено. Полку и шкаф перевесить на другую стенку либо обить их жестью. Даю сроку два дня, иначе оштрафую. Так... пойдем дальше. Покажите мне газовый ящик!

Они вышли вчетвером из дома.

— Вон он, — указал Павел Семенович на длинный и черный ящик, словно гроб, приставленный к кирпичному цоколю.

— А почему он не обит жестью? — спросил капитан Стенин, с удивлением глядя на Павлинова.

— Дак у всех в Рожнове такие. Все ящики Дезертир сбивал, — ответил Павел Семенович.

— Я не Дезертира спрашиваю, а вас! — строго сказал Стенин. — Почему ящик не обит жестью?

— А вон у соседей обиты? Поглядите, ну!

— Вы не кивайте на соседей. Дойдет и до них очередь. Я хочу выяснить: вы сознательно уклоняетесь от выполнения правил пожарной безопасности или нет?

— Интересно, в чем же выражается моя сознательность? — спросил Павел Семенович.

— А в том, что вы ссылаетесь то на Дезертира, то на соседей. Если бы не знали, вы бы так просто и сказали— виноват.

— Да в чем же я виноват?

— Не прикидывайтесь невменяемым, — сказал Павлинов.

— А вы мне не угрожайте! — повысил голос Павел Семенович.

— Тише, товарищ Полубояринов, тише! Пока вам говорят вежливо: замените деревянный ящик на железный,— сказал Стенин, постукивая по доскам. — Этим ящиком пользоваться нельзя. Я запрещаю. Даю вам сроку два дня.

— Это произвол! — крикнула Мария Ивановна.

— Какой произвол? Мы акт составим, сами распишемся и вам дадим расписаться. Все по науке. Можете обжаловать, — сказал Стенин. — Но газ отключим... временно.

— Может быть, вы и квартиру нашу закроете? — нервно усмехнулся Павел Семенович.

— А это что у вас? — спросил Стенин, указывая на деревянную пристройку к дровяному сараю.

— Гараж.

— Деревянный гараж и рядом с домом? — удивленно обернулся Стенин к Павлинову. — Ну, знаете ли!

— Кто вам разрешил здесь строить деревянный гараж? — строго спросил Павлинов.

— Как кто? Горисполком, — Павел Семенович глядел в недоумении то на Павлинова, то на Стенина.

— Я вам такого разрешения не выдавал, — сказал Павлинов.

— Это еще до вас было... Десять лет тому назад.

— Покажите право на застройку!

— Да где же я его теперь возьму? Это ж когда было? — Павел Семенович покрылся потом, руки его мелко подрагивали, он быстро озирался по сторонам, словно хотел дать стрекача.

— Дело серьезное. Если вы не представите документальное подтверждение, гараж снесем, а вас накажем, — сказал Павлинов.

— Нам Халдеев разрешил, — вступилась Мария Ивановна. — Он, слава богу, жив и живет напротив нас. Зайдем к нему и выясним.

Павлинов весь перекосился и так посмотрел на Марию Ивановну, словно ему жареную лягушку предложили:

— Да вы что? Законное постановление хотите подменить словесным показанием? Ну, Полубояринова! Кто вас только и на работе держит? А ведь вы бухгалтер!

— А что я бухгалтер?

— Вы так вот и подшиваете словесные показания в книгу отчетов? — Павлинов обернулся к Стенину и удивленно поднял брови.

Капитан Стенин засмеялся:

— Просто она нас за дурачков принимает.

— Это вы из нас делаете дураков. Не выйдет!

— Ну, поговорили, — властно сказал Павлинов. — А теперь получите приказ: в недельный срок незаконно построенный гараж снести.

— А куда я машину дену? — спросил Павел Семенович.

— Получите в горисполкоме право на застройку законным путем.

— Ну, дайте мне разрешение! Вы же председатель. Вам все подчиняются.

— У меня есть, между прочим, приемные часы. Запишитесь на прием в порядке живой очереди. Но предварительно могу сказать вам: под строительство гаражей у нас отведено место за городом, возле Пупкова болота.

— Дак я же инвалид! Я и буду прыгать на одной ноге до Пупкова болота.

— Это нас не касается.

— Мне же машину профсоюз медработников бесплатно дал. Для инвалида машина — это ноги! А вы гараж у меня отбираете?

— Я вам даю недельный срок, — холодно ответил Павлинов.

— А я, извиняюсь, должен обследовать этот гараж, — сказал Стенин. — Можно ли еще им пользоваться неделю-то.

— Вот именно, — согласился Павлинов. — А ну-ка, откройте!

Павел Семенович долго путался в карманах — ключ никак не мог найти.

— Дак он же открытый... Гараж-то, — сказала Мария Ивановна.

— Да, да. Я только что приехал с работы. Ключ-то в замке, замок там, в пробое, — деревянно пробормотал Павел Семенович, и все пошли осматривать гараж.

Ворота, словно чуя свою скорую гибель, визгливо заскрипели.

— Хозяин! Ворота смазать не может, — усмехнулся Павлинов.

— Это он с целью, — сказал Стенин. — Средство от воров: кто вздумает машину угнать, сразу всю улицу разбудит. Ну, вот вам, глядите! — Стенин указал на масляную тряпку, валявшуюся возле брезента. — Масляный предмет рядом с материалом — грубейшее нарушение правил. А вот еще! Открытая банка с маслом возле деревянной стенки. Нет уж, извиняюсь, здесь надо акт составлять.

Стенин полез в планшетку и вынул актовую книгу.

— Так с чего начнем? — он приложился было писать на планшетке, опершись на кузов машины, и вдруг обрадованно воспрянул: — Да вы только поглядите, поглядите на проводку! «Лапша» набита прямо на доски. Ни изоляторов, ни прокладки огнеупорной! Да это же просто

бикфордов шнур на пороховой бочке, — тыкал он в электропроводку.

— Она же у меня не подключена, — сказал Павел Семенович. — Света у меня в гараже нет.

— А откуда мы знаем? Может быть, ты его только что отключил? Перед нашим приходом! А? Нет, за такое дело надо штрафовать, — Стенин опять обернулся к Павлинову.

— И я так думаю, — кивнул тот.

Пока капитан Стенин составлял акт, Павел Семенович убирал банку с маслом, тряпки, брезент; все это он совал в смотровую яму, обделанную бетоном, и виновато бормотал:

— Надо же, как все обернулось. Они всегда лежали у меня в смотровой яме... бетонной! Это я с работы заспешил, не успел прибраться.

— Ну, чего ты хлопочешь? Иль не видишь — они с целью пришли, — сказала Мария Ивановна.

— Правильно. Напрасно беспокоитесь, — согласился Павлинов. — Гаражом пользоваться все равно не разрешим.

— Вот, подпишите, — Стенин протянул акт Павлу Семеновичу.

— Я ни в чем не виноват и подписывать не стану.

— Если вы подпишете акт, то заплатите штраф и получите недельный срок на пользование гаражом. Если акт не подпишете, мы сейчас же опечатаем гараж вместе с машиной. — Стенин вынул коробочку с печатью, — печать была на цепочке да еще с брелоком в виде эмалированной мартышки; и пока Павел Семенович вытирал масляные руки, Стенин поигрывал брелоком с печатью.

Все притихли. Наконец Павел Семенович вынул ручку и поставил подпись там, где сделал ногтем отметку Стенин. После этого он ни на кого не смотрел, будто ему стыдно стало, поспешно открыл капот и уткнулся в мотор.

Когда Павлинов со Стениным ушли, Мария Ивановна окликнула его:

— Ну, чего ты там копаешься? Пошли обедать!

Павел Семенович не отозвался. Мария Ивановна зашла от капота и увидела, как у него подрагивают плечи.

— Да что ты, господь с тобой? Что ты, Павлуша? Разве так можно? Вот погоди, мы в Москву съездим. Найдем на них управу...

Она обняла его одной рукой за плечи, а второй, как маленькому, прижимала голову к своей груди.

— Мне, Маша, то обидно, что я своей рукой подписал их фальшивую бумажку. Выдержки не хватило, — всхлипывал Павел Семенович.

Глава XIII

И приснился Павлу Семеновичу чудный сон: будто бы попал он на прием к самому главному богу Саваофу.

Подошел он к тому зданию, где висит дощечка медная с надписью про писателя Салтыкова-Щедрина. Не успел толком постоять, надпись разглядеть, как толстые двери с бронзовыми ручками сами растворяются перед Павлом Семеновичем и милиционер (тот самый, что на них с Марьей строго посмотрел в первый наезд) теперь сам зазывает его, фуражку снял и кланяется через порог — заходите, мол, Павел Семенович. Давно вас поджидает сам хозяин.

Ладно. Вошел Павел Семенович, а перед ним вырос секретарь Лаптев, своей твердокаменной ладонью берет Павла Семеновича под локоток и ведет по широкой беломраморной лестнице, застланной красным ковром. Поднимаются они на второй этаж, а там народу, народу — пушкой не пробьешь. И все сидят чинно вдоль стен и ждут своей очереди. И тишина, как в церкви. Только что службы нету. А посреди большой залы стол, сидит за ним тот самый старичок, сторож с мукомольни из Стародубова. Как увидел он Павла Семеновича, так сразу вскочил и — к нему. Берет его под второй локоток и говорит:

— Пожалуйста, Павел Семенович, вас ждет Сам.

— Это с какой стати?

— Он же без очереди!

— Запишите его в список на общем основании! — закричали, заволновались посетители.

— Товарищи, товарищи! Нельзя его на общем основании, — сказал старичок. — Все ж таки у него сноха бывшая гражданка ГДР. Не шумите. Не то она сама придет— хуже будет.

— Почему? — спросил кто-то детским голоском.

— Потому как мы — особь статья, а граждане ГДР — особь статья. Всех мешать в одну кучу нельзя. Давление может произойти от непонимания языков.

И сразу все затихли, а дверь в другую залу сама рас-

творилась, в проеме нет никого — глухая темнота. Павлу Семеновичу жутко стало, он даже остановился.

— Ступай, ступай... Господь поможет, — сказал старичок и затворил за ним дверь.

И вроде бы свет вспыхнул. Эта зала была еще больше той, в которой сидели посетители. И стол стоял посредине длинный-предлинный, под зеленым сукном, обставленный со всех сторон стульями. А в самом конце сидел в дубовом кресле сам бог, очень похожий на писателя Салтыкова-Щедрина, с бородой и с лысиной; сидел, строго смотрел на Павла Семеновича и даже не моргал. Павел Семенович совсем оробел, и ноги у него сделались ватными, поглядел было по сторонам на стулья, но приглашения сесть не получил, а сам сесть побоялся.

— Ты зачем пришел? — спросил его бог голосом доктора Долбежова.

— Хочу вас спросить: должен человек знать или нет, для чего он живет?

— Тайна сия великая есть... — ответил бог опять голосом Долбежова. — А зачем тебе знать это?

— Чтобы поступить по совести, — ответил Павел Семенович. — Допустим, меня обидели. Что мне делать? Отомстить обидчику? Но тогда придется плюнуть на общественную обязанность, потому что мстительность отнимет у меня все силы и время.

— А для чего тебе дадены сила и время? — спросил бог.

— Чтобы людям пользу делать, — ответил Павел Семенович.

— Как же ты делаешь эту пользу? — грозно спросил бог голосом Долбежова, поднял верхнюю губу и ткнул себе пальцем в зубы. — Ты ставил мне коронку? А она стерлась всего за два года.

— Николай Илларионович, это ж я без цели! Золото оказалось квелым. Прости меня, — и Павел Семенович повалился на колени.

— Врешь! Золото было червонное, девяносто шестой пробы... Ты слишком тонкую пластинку раскатал. Сэкономил! Кого ты хочешь обмануть?

— Грешен, Николай Илларионович... Прости! Не для себя я, не из корысти. Берте щербину залатал. Ей из плохого золота коронку не поставишь.

— Ну, ежели для иностранки сэкономил, тогда встань. Значит, не для себя, для ближнего своего старался.

Павел Семенович удивился, что и тут имя Берты сра-

ботало. Скажи ты, какая сила во всяком иностранном слове имеется. И осмелел:

— Так для чего же человек живет? Для того, чтобы пользу делать, или добиваться своего, то есть правду отстаивать? — спросил он.

— Не спрашивай. Служи богу и обрящешь покой, — торжественно ответил бог.

— А что есть бог?

— У тебя что, глаза на лоб повылазили? Ослеп ты, что ли? — сказал бог голосом Марии Ивановны, и Павел Семенович в страхе очнулся.

Мария Ивановна спала рядом, и не было у нее ни бороды, ни лысины.

Павел Семенович растолкал ее и пересказал весь свой чудный сон.

— А сон-то в руку, Павлуша. Надо стучаться, идти до самой верховной власти. И дело выиграем, и покой обрящем.

— Дак ведь легко сказать — до верховной власти. А сколько сил положим? Сколько времени уйдет... Эдак и работу запустишь.

— Наплевать. А иначе досада заест.

И пришлось Павлу Семеновичу на время от общего дела отступить и взяться за личную линию. Забросил он свои научные проекты насчет торфа, патоки, сопропеля, бурого угля и даже про черепичных специалистов из ГДР позабыл; а пошел он по инстанциям искать свою узкую, голую правду, в глубине души досадуя на это временное уклонение от борьбы за всеобщее счастье.

И понесло его, и закружило...

— Это как езда в санях в зимнюю пору, — признавался Павел Семенович впоследствии, — когда ехать не знаешь куда, дорога заметена, кругом тебя все кипит, вертится, в лицо плюет, будто тысяча чертей балует, а тебя несет куда-то во тьму, и ты ничего не видишь, окромя лошадиного зада, и слезть не в силах.

Так он и мчался в этой отчаянной погоне с яростью изголодавшегося человека утолить свою жажду, насытиться — лично доказать свою правоту.

Из жалобы Павла Семеновича в высокие инстанции:

«В прошлом году в августе месяце мы обратились в домоуправление с просьбой перенести входную дверь в нашей квартире с тем, чтобы она открывалась внутрь квартиры для удобства и в противопожарном отношении.

Горисполком разрешил перенести дверь. В соответствии с этим ремстройучасток по заявке домоуправления перенес дверь на один метр с разделкой от дымохода на 35 см и плюс прокладка войлока.

Однако проживающая рядом с нами гражданка Чижёнок категорически стала возражать, ссылаясь на то, что ей негде ставить ведро с углем и золой, класть дрова, тряпки, летом керосинку (около нашей двери). Ширина коридора полтора метра, длина после переноски двери семь метров.

В связи с этим гражданка Чижёнок стала писать жалобы и письма в советские и партийные органы, от которых требовала переставить дверь на старое место.

Вместо того чтобы призвать ее к порядку, председатель Рожновского райисполкома тов. Павлинов по непонятным для нас причинам стал на ее сторону и принялся выискивать пути и способы к тому, чтобы заставить нас перенести дверь на старое место (опасное в пожарном отношении).

Притом Павлинов угрожал нам судом, милицией и заявил: что если бы у него было свободное от работы время, то сам пришел бы руководить взломом двери.

Я, как инвалид, имею автомашину, которая находилась до августа прошлого года в деревянном гараже, построенном мною с разрешения горисполкома в 1958 году. В ответ на наш отказ перенести дверь Павлинов приказал пожарному инспектору опечатать гараж, запретить им пользоваться, а затем потребовал от начальника городской пожарной команды разобрать мой гараж. Для постройки нового кирпичного гаража Павлинов выделил мне место на Пупковом болоте, за городской чертой. Спрашивается, как же мне, инвалиду, на одной ноге прыгать туда? Может, мне летать? Но где достать крылья?

Вот такой ультиматум поставил перед нами Павлинов. Хочешь, смейся, а хочешь, плачь.

С 29 августа по 1 сентября 196... года мы с женой находились в Москве, искали защиту у прокурора. И вот в это самое время, узнав, что мы уехали жаловаться, Павлинов приказал взломать дверь в нашей квартире и поставить ее на старое место.

Таким образом, было совершено уголовное преступление — нарушение статьи 128 закона.

Решения суда и санкции прокурора на взлом двери не было.

Между прочим, ставим вас в известность, что управдом Фунтикова по приказанию того же Павлинова подавала

до этого на нас в суд, чтобы приказать нам перенести дверь на старое место. Но суд вернул ей дело, так как судья выяснил, что она сама же, то есть Фунтикова, переносила нашу дверь.

Впоследствии она объяснила нам факт взлома двери так: вызвали, говорит, нас в горисполком, сидим ждем. Вот тебе приходит туда Павлинов, расселся в кабинете и сказал: «До тех пор буду здесь сидеть, пока дверь у этих захватчиков не сломаешь. Не то выгоню с работы».

Мне, говорит Фунтикова, тоже нужен кусок хлеба. Взяла я с собой Судакова и Дезертира (это наши плотники из райкомхоза) и пошла ломать. Вот и все, из чего исходит совесть нашего домоуправа. А остальные взломщики чем лучше ее? Но все они теперь молчат.

Молчит и лейтенант милиции Парфенов — блюститель порядка и покоя, который тоже ходил ломать. А вот когда пришла пора подписывать акт о хищении вещей и денег, он малодушно сбежал. Я, говорит, человек бывалый и опытный в таких делах. И сам не подпишу, и другим не советую.

А ведь у нас в квартире кроме наших вещей находятся вещи сына и снохи, бывшей гражданки ГДР. Они до сих пор живут за границей в командировке, и мы еще не знаем, что у них в целости, а чего недостает.

31 августа, вечером позвонили нам в Москву знакомые и якобы сказали, что наша квартира взломана, а дверь перенесена на старое место. Мы немедленно позвонили в Рожнов, в домоуправление Фунтиковой: правда или нет, что взломана без нас дверь? Она подтвердила это и сказала, что Павлинов приказал и они взломали.

На другой день, то есть первого сентября, мы поехали в областную прокуратуру на прием. Рассказали там, что в наше отсутствие в квартире взломали дверь и перенесли на другое место. Принимавший нас служащий сказал, что этого не может быть. Поезжайте, мол, на место и выясните суть дела. А уж если такое и в самом деле случилось, то обратитесь к властям на месте.

Потом мы пошли в областную газету «Зареченская правда» и рассказали все заведующему отделом писем трудящихся тов. Сыроежкину. Он возмутился на этот факт безобразия и не поверил нам. Мы поинтересовались: как насчет нашего письма в ответ на клеветническую заметку в «Красном Рожнове»? Кроме письма мы послали еще справку месткома больницы, где сообщалось, что в заметке по-

мещена неправда. Тов. Сыроежкин сказал, что Федулееву позвонили и рекомендовали ему извиниться в личной беседе. На что мы выразили свое несогласие раз уж оскорбили нас публично, то пусть в газете и заявят публично — кто прав, а кто виноват.

Тов. Сыроежкин ответил: «Выступать мы в своей газете против Федулеева не будем. Если вы недовольны его поведением, то можете подавать в суд». И потом подчеркнул: «Но тогда учтите — он может опять выступить против вас в газете».

Второго сентября вечером приехали мы в Рожнов. Не заходя домой, пошли ночевать в гостиницу, а утром обратились с жалобой к прокурору Пыляеву. По его распоряжению была создана комиссия, чтобы впустить нас в квартиру. В эту комиссию вписали всех лиц, которые взламывали дверь. Но ушло три часа времени на то, чтобы заставить этих людей собраться к месту происшествия, то есть преступления.

Особенно не хотели идти управдом Фунтикова и милиционер — лейтенант Парфенов.

Начальник милиции Абрамов долго спорил с прокурором Пыляевым и согласился послать Парфенова только после письменного распоряжения из прокуратуры. А вот ломать дверь Абрамов послал Парфенова, не спрашивая санкции прокурора.

Пока собиралась комиссия, нам в горисполкоме сняли копию акта насчет взлома дверей и заверили ее круглой печатью. Вот кто присутствовал при взломе двери:

1. Управдом Фунтикова,
2. Техник-смотритель — инженер Ломов,
3. Квартиросъемщик Чижёнок Зинаида,
4. Участковый уполномоченный Парфенов,
5. Плотник Гунькин (он же Дезертир).

Примечание: одновременно Фунтикова сказала нам, что плотников было двое, но в акте почему-то записан один и подпись одна.

Впускали нас в квартиру только вчетвером. Плотник Гунькин (он же Дезертир) по пути следования к нашему дому незаметно исчез.

Придя с комиссией к квартире, мы обнаружили, что дверь поставлена на старое место в перевернутом виде, то есть кверху ногами, и к тому же комнатной стороной в коридор (см. приложенное фото). Петли прибиты снаружи, как ремешки в собачьей конуре, да и то по одному, по два

шурупчика на петлю. Их можно легко вывернуть и входить в квартиру, не открывая замка.

Из фотографии видно, что дверь двустворчатая. Французский замок уже теперь роли не играл, поскольку был снаружи, да и дверь открывалась в другую сторону и шпингалеты, защелки оказались снаружи. Зато уж из квартиры дверь нельзя было открыть без ключа. Второй замок, висячий (велосипедный), был повешен на две петли, и каждая петля пришпилена одним шурупом, которые легко вынимались невооруженной рукой. Эти петли были вырваны из двери во время взлома ее, а после того как дверь перевернули, петли поставили в старые гнезда и воткнули в них по шурупу вроде бы на смех.

Даже при таком, «запертом» состоянии дверь свободно раскрывалась на 10 сантиметров — в эту щель вся квартира видна. Смотри, выбирай, что хочешь, и входи свободно.

Маленькое добавление: когда переносили дверь на старое место, без лишней надобности поломали притолоку у дверей, перегородку при входе на кухню и настенную полку.

Когда вошли в квартиру, то мы сразу же не обнаружили:

1) Нет двух крашеных тесин, которые я приготовил, чтобы сделать новую полку взамен запрещенной над газовой плитой пожарным инспектором.

Между прочим, лейтенант Парфенов удивленно сказал: «Куда они делись? Я хорошо помню, что они стояли на кухне, когда мы дверь переносили».

2) В кармане жакета, висевшего в раздевальном шкафу на кухне, не оказалось 90 рублей. Эти деньги были приготовлены женой для поездки в Москву и по ошибке остались в жакете (другой жакет надела). Мы спохватились только в Стародубове. Ехать домой — обидно. Мы заняли 50 рублей у племянницы жены Костиковой Светланы Евсеевны. Она сможет подтвердить.

3) Не оказалось китайского свитера, шерстяного, темно-коричневого цвета.

4) Исчез отрез темно-синего бостона длиной три с половиной метра.

Примечание: эти вещи лежали в самодельном шифоньере в спальне.

Может быть, нет и еще каких-то вещей из принадлежащего добра сыну. Но выяснить нам это до сих пор не уда-

лось, повторяем, они находятся за границей (живут в длительной командировке).

Члены комиссии составлять акт на эти безобразия не стали, якобы мотивируя тем, что устали. Составили акт мы с женой. Но члены комиссии подписывать его не стали. Парфенов сказал тогда свою знаменитую фразу: «Я человек бывалый и опытный в таких делах. Акт не подпишу и вам не советую. Вот если они про вещи не станут писать, тогда поглядим...»

В тот же день я позвонил районному прокурору. Тов. Пыляев сказал: «Ну, что ж, силом их не заставишь подписывать. Подпишите один и сделайте оговорку, что они от подписи отказались. И немедленно сделайте заявление начальнику милиции о пропаже вещей и денег. Не забудьте просьбу написать, чтобы привлекли виновных».

Мы тут же написали заявление и подали их в милицию и в прокуратуру. Да, нам еще в областной прокуратуре посоветовали: пригласите общественность с места работы. Пригласили. К нам пришли рентгенотехник больницы Орлов и медсестра Глухова. Тов. Орлов даже сфотографировал дверь, замки, петли, да еще в разных вариантах. Вспышку магния использовал... Вот кто проявил настоящую заботу о нас.

А члены комиссии, почуяв недоброе, разбежались. Правда, лейтенант Парфенов привел с собой плотника Гунькина и приказал ему сделать дверь по-настоящему (чтобы следы замести). Но мы плотника к работе не допустили, сказав: «До прихода оперуполномоченного и составления им протокола к дверям прикасаться не позволим».

Так нам по телефону советовал поступить работник областной прокуратуры. Он добавил еще: «Будут не только фотографировать, но, возможно, снимать и отпечатки пальцев».

5 сентября подали в милицию второе заявление, просили ускорить осмотр двери оперуполномоченным, так как ее надо отремонтировать, чтобы закрывать и уходить на работу. А то нам пришлось поочередно дежурить в квартире, отчего у жены моей произошло осложнение на работе и ей пришлось уйти на пенсию по старости.

Это второе заявление было отдано заместителю начальника милиции тов. Помозову при свидетелях: сотрудниках больницы Глуховой и Орлове. Тов. Помозов очень недовольно сказал:

«Меньше надо разъезжать и скрываться от властей. А

то, видите ли, понадеялись на замки. Оставили бы кого-нибудь за себя, и кражи не было бы. Нечего на замки надеяться».

Но я возразил, что надеялся не только на замки, но и на милицию и не предполагал, что есть такие начальники, которые способны посылать своих подчиненных ломать двери в квартиру, не имея на то права.

На что Помозов ответил: «Кто посылал, тот и найдет право».

Наше заявление со своей резолюцией он отослал оперуполномоченному Жуликову, у которого уже третий день лежало наше первое заявление.

Наконец-то прибыл тов. Жуликов к нам, то есть на место происшествия, 15 сентября с Ломовым, с двумя понятыми и милицейским фотографом. Тов. Ломов в присутствии понятых подтвердил, что дверные замки и петли находятся в таком же состоянии, в котором были оставлены 29 августа, то есть в день взлома. Было также установлено, что в квартиру можно легко войти, не ломая дверей.

Надо бы акт составлять, но тов. Жуликов сказал, что потом оформит и, когда надо, пригласит нас на подпись.

Фотограф начал фотографировать дверь. Но странно — осветительной аппаратуры у него не было, а в нашем коридоре сумеречно и даже лампочки нет. Они, видимо, считали нас за простачков и решили разыграть перед нами инсценировку расследования. То есть чтобы мы после их «фотографирования» сейчас же приступили к ремонту двери и заметали следы их преступления.

Я тогда повернулся к жене и сказал во всеуслышание: «Маша, эти оперативные работники, наверное, никогда не фотографировали в темноте. Принеси им наши снимки, пусть сличат».

Мария Ивановна принесла снимки Орлова, и я передал их тов. Жуликову. Он недовольно заметил: «Больно много берете на себя. У нас пленка высокой чувствительности». Но снимки мои взял с собой.

Через час в тот же день приходил плотник Гунькин, но дверь переделывать мы не разрешили. Так мы и жили при раскрытых дверях еще две недели. Наконец второго октября майор Жуликов пригласил меня на подпись акта. Он, может быть, и еще протянул бы, но мы ему звонили каждый день по шесть раз — с утра Мария Ивановна, а после обеда я.

А еще через день приехал из областной прокуратуры

Савушкин. При снятии с нас допроса Савушкин уделял внимание только тому, кто и как переставлял дверь, а тот факт, что дверь взломали и что пропали вещи из квартиры, он как бы отметал от себя.

Тогда мы сказали ему: «Очень странно! Почему это вы все преступление разбиваете на два отдельных дела — на переноску двери, причем игнорируете, что она была взломана, и на кражу вещей?» Он ответил мне: «Взломом двери и кражей вещей пусть занимается милиция. А наше дело выяснить — по закону вы перенесли дверь или нет?» — «Как же так? Ведь дверь ломали и переносили одни и те же люди. И кража произошла по их вине. Пусть они и заплатят за это сполна».

Мы сказали ему, что если он не впишет в допрос насчет пропажи вещей, то протокол мы подписывать не станем. Он нехотя вписал показания насчет пропажи вещей и денег, и то в самом конце.

Через три дня начальник милиции Абрамов уведомил нас об отказе в возбуждении уголовного дела по поводу взлома двери и кражи и выдал нам на руки постановление, подписанное Жуликовым.

Это постановление, утвержденное самим Абрамовым, проливает свет на блюстителей порядка, то есть они заинтересованы не в том, чтобы привлечь к ответственности своего же сотрудника, а в том, чтобы заметать следы. В нем, например, сказано, что дверь была заперта на два замка и в квартиру попасть нельзя. Но ведь сам Жуликов, не трогая замков, открывал при нас дверь! И Ломов проделал это в присутствии понятых. Зачем же писать такую чепуху?

Или вот еще одна запятая в этом постановлении: «Свидетели — соседи по коридору подтверждают, что никто из посторонних лиц в отсутствие Полубояриновых к ним к квартиру не входил».

Очень интересно! Один из этих свидетелей — Чижёнок в декабре того же года украл из совхозного магазина кусок панбархата и пропил его. Это было обнаружено той же милицией. Но чем дело кончилось, не знаем.

Да и вообще насчет соседей это выдумка: когда был у нас тов. Жуликов с понятыми, никаких соседей он и в глаза не видал.

Мы обращались к прокурору Рожновского района с просьбой отменить это постановление. Но тов. Пыляев отказал нам.

С той поры куда мы только ни посылали жалобы, но все они возвращаются к нам же ни с чем. Тов. Пыляев сказал нам: «Так оно и будет тянуться. Мы не в силах вести это дело и не знаем, для чего из областной прокуратуры пересылают к нам ваши жалобы. Ведь пока Павлинов не будет наказан, а это может сделать только областной прокурор, никаких сдвигов по вашему делу не будет».

«А разве другие не виноваты?» — спросили мы.

Он ответил: «Конечно, и другие виноваты, но Павлинов их изнасиловал на это дело».

Потом он признался чистосердечно: я, говорит, сам удивлен — вы в своих жалобах пишите о взломе двери и краже вещей, а они вам отписывают о ремонте и переноске дверей. Это они делают с целью.

С той поры много месяцев ведем мы такую бесполезную переписку. И конца ей не видать.

К сему П. Полубояринов».

Глава XIV

И грянул гром... В одно прекрасное утро Полубояриновым принесли с курьером сразу два конверта — один из милиции, второй из прокуратуры.

В одном документе значилось:

«29 августа 196... года комиссия из Рожновского горисполкома в присутствии участкового уполномоченного Парфенова в момент Вашего отсутствия произвела перестановку входной двери Вашей квартиры.

Присутствие т. Парфенова не вызывалось никакой необходимостью, за что он мною наказан в дисциплинарном порядке.

Нач. Рожновского ГОМ
подполковник милиции Абрамов».

— Слыхала, Марья? Один получил по шее, — радостно воскликнул Павел Семенович.

— Читай дальше! — сердито приказала Мария Ивановна.

В другом документе младший советник юстиции Пыляев писал:

«...Вам уже сообщалось устно, что непосредственный виновник в нарушении неприкосновенности Вашего жилища, участковый уполномоченный Парфенов привлечен к ответственности...»

— Когда же это сообщалось нам? — поднял в удивлении глаза Павел Семенович.

— Тебе говорят, читай! — грозно повторила жена.

— Дак что, и спросить нельзя? — обиделся Павел Семенович и продолжал читать:

«Домоуправ Фунтикова Е. Т., допустившая проникновение в Вашу квартиру комиссии, так же привлечена к дисциплинарной ответственности по постановлению прокурора».

— Ага, и эта достукалась, — сказал Павел Семенович.

— Ну уж нет, голубчики! От меня так дешево не отделаетесь. Пока не накажут Федулеева и Павлинова, я и сама сна лишусь и другим не дам. Поехали в облисполком! Сейчас же.

— Чего мы там не видали?

— Дурак! Значит, туда ответ пришел на жалобу. Иначе она бы не сработала сразу в двух заведениях. Поехали! Пусть нам дадут решение Верховного Совета на руки. Тогда поглядим, кто запляшет камаринскую, а кто «Вдоль по Питерской...»

Мария Ивановна оказалась права, хотя получить решение Верховного Совета на руки ей и не удалось.

В приемной самого председателя исполкома областного Совета они спросили молодую интересную девушку:

— Александр Тимофеевич у себя или нет?

— А по какому вопросу? — спросила в свою очередь девушка.

— Мы посылали жалобу в Верховный Совет, и нам доподлинно известно, что ответ на нее находится здесь, — твердо сказала Мария Ивановна.

— А как ваша фамилия? — очень вежливо и как бы с испугом спросила девушка.

— Мы Полубояриновы из Рожнова.

— Минуточку! — девушка выпорхнула из-за стола и скрылась за дверью не самого Александра Тимофеевича, а в кабинете напротив, на дверях которого была дощечка с надписью «Заместитель председателя И. В. Акулинов». Через минуту вышел Акулинов.

— Что вы хотите?

— Во-первых, ознакомьте меня с ответом Президиума Верховного Совета на мою жалобу; во-вторых, очень прошу, чтоб меня принял сам Александр Тимофеевич, то есть председатель.

Акулинов хоть и был человеком в годах, но будто бы тоже чего-то стеснялся:

— Александра Тимофеевича нет в кабинете, поэтому прошу проследовать ко мне. Лёся! — сказал он секретарше. — Принесите мне нужную папку.

Лёся принесла нужную папку, Акулинов раскрыл ее, немного полистал и спросил:

— Откуда вы, товарищ Полубояринов, достали номера телефонов в отдел ЦК? И почему надоедаете им с какой-то дверью? — спрашивал строго, но сам улыбался.

— Номера телефонов в нашей стране являются не секретом, и странно, товарищ Акулинов, что вам это неизвестно! — ответил Павел Семенович. — А звонил я не из-за двери, а потому, что полгода не разбирали мои жалобы, где затронуты мной очень важные вопросы, то есть нарушение закона об уголовном преступлении, об издевательствах, глумлении, совершенных так называемыми членами партии, которые занимают даже ответственные посты.

— Я вас предупреждаю, выражайтесь осторожнее, — сказал Акулинов. Он уже не улыбался.

— А то что будет? — спросила Мария Ивановна.

— Я просто сообщу куда следует.

— Интересно, а куда же это следует сообщать? — усмехнулся Павел Семенович.

— Вы зачем пришли? Жалобу разбирать или чернить многих ответработников?

— Дайте мне прочесть решение, — сказала Мария Ивановна.

— Решения нет. Есть письмо, адресованное исполкому.

— Дайте прочесть это письмо.

— Не имею права. Это всего лишь внутренняя переписка.

— В таком случае пусть примет нас Александр Тимофеевич.

— Говорят вам, он очень занят и в отъезде!

Акулинов, отвечая на эти вопросы, поглядывал в папку — прочтет один-два пункта, что-то скажет, потом опять глаза косит туда.

Мария Ивановна подтолкнула Павла Семеновича, тот смекнул, в чем дело, и давай по стульям передвигаться к столу.

— Поскольку жалоба наша, и ответ положено читать нам, а не кому-нибудь, — говорил Павел Семенович, передвигаясь по стульям.

— Неужели с вас недостаточно, что их наказали? — спросил Акулинов, оторвавшись от чтения.

— Кого их?

— Ну, Парфенова и Фунтикову.

— Дак нас вон как наказали! Жена работы лишилась,— говорил Павел Семенович, опираясь локтями уже на стол и пытаясь заглянуть в папку. — А сколько вещей пропало!

Акулинов закрыл перед носом Павла Семеновича папку и сказал:

— Нам часто говорят о пропажах куда более ценных. Даже о золотых часах. Да не всему надо верить.

— Дак мы же не имеем цели воспользоваться случаем, — ответила Мария Ивановна. — Мы не написали, что у нас пропало 200 рублей. Сколько пропало, столько и пропало. Пусть Павлинов заплатит нам из своего кармана.

— Интересно вы смотрите на чужой карман, — сказал Акулинов.

— А как смотрят на наш карман? Залезли да вынули. Сколько хотели...

— Я вам советую обратить внимание на такой факт — из-за какой-то двери вы можете потерять здоровье, — с укором поглядел Акулинов на них. — И не надо писать жалобы выше своей головы.

На что Павел Семенович с достоинством ответил:

— Я знаю только одно — любой произвол, малейшее нарушение социалистической законности у нас недопустимы. Никому не позволено нарушать закон.

— Между прочим, ставлю вас в известность, — ответил Акулинов, — горисполком может вынести решение о переноске двери вашей квартиры и без приглашения вас на заседание...

Павел Семенович опять встал, опираясь руками о стол:

— Это что, закон такой? Или в ответе так написано?

— Успокойтесь, пожалуйста. Это мое личное мнение.

— Мнений может быть много, а закон один. Я деньги на поезда тратил, время, здоровье... не ради какого-то мнения, а чтобы закон найти!.. — распалялся Павел Семенович, стуча кулаком по столу.

Мария Ивановна встала и тоже закричала:

— Павел, успокойся! Слышишь? Добром говорю!

Павел Семенович даже и не поглядел на нее:

— Хорошо! Если вы считаете, что горисполком за моей спиной может вынести решение и взломать двери в моей

квартире, напишите мне это на вашем бланке. И чтоб с личной росписью!

— Закон такой письменно подтвердить не могу, но от слов своих не отказываюсь, — ответил Акулинов, тоже весь красный, словно ошпаренный.

— Да видал я ваши слова в гробу, в белых тапочках...

— Замолчи ты наконец, чертова фистулька! — крикнула еще громче Мария Ивановна и от нервности тоже покрылась пятнами.

Тут вошел в кабинет незнакомый товарищ и, увидев, как покрасневшая Мария Ивановна, размахивая руками, грозилась на стол, где сидел такой же красный Акулинов, сказал строго:

— Вы, гражданочка, не рисуйтесь своими картинками истерик. Здесь вам не базар, а официальное учреждение. Нас ничем не удивишь. Много я их видывал...

— Не надо, гражданин, так грубить пожилому человеку. У нее голова седая, нервы больные, повышенное кровяное давление, — распекал вошедшего Павел Семенович. — Она оперирована по поводу разрыва сетчатки глаза.

— А вы чего стоите не на своем месте? — набросился на него вошедший. — Развалился тут на столе начальника. Выйди сейчас же оттуда! И сядь где положено... Вон там! — указал на стул у порога.

— Иван, ты что, опупел, что ли? — сказал ему Акулинов. — Он же инвалид.

— Ну и что? Посади его на шею. Он еще и ножки свесит.

— Может, мне штаны задрать? Показать, что одна нога короче? Я опираюсь на стол по стечению несчастных обстоятельств...

В это время загремели стулья, и Мария Ивановна навзничь повалилась на пол.

— Воды! — крикнул Павел Семенович.

— Воды скорее. Воды! — закричал и Акулинов, выбегая из-за стола. — Иван, пойди вон!

— Ну да, у них нервы, понимаешь, а у нас веревки, канаты... — ворчал Иван, уходя. — Посидел бы на моем месте. Небось запел бы другим голосом...

Вбежала Лёся с графином воды.

Павел Семенович стал лить воду Марии Ивановне на виски и на грудь. Она сперва глубоко вздохнула, словно

спросонья, и Павел Семенович, боясь, как бы она не заругалась в забытьи, опередил ее:

— Маша, а вот товарищ Акулинов сейчас нам прочтет все решение. Ты вставай потихоньку, вставай!..

Мария Ивановна открыла глаза, с удивлением поглядела на Лёсю, на графин с водой и все поняла. Прикрыв одной рукой расстегнутый ворот, другую подала Павлу Семеновичу:

— Ну-ка, помоги мне!

Павел Семенович приподнял ее, и она встала.

В кабинете Акулинова не было, а на его месте сидел знакомый им секретарь исполкома Лаптев и любезно приглашал к столу:

— Мария Ивановна, Павел Семенович, давайте сюда, к столу поближе...

В руках у него была все та же папка. Он раскрыл ее и сказал:

— Товарищ Акулинов не в курсе. Надо было ко мне зайти. Дело в том, что по вашей жалобе принято решение пленума исполкома, — он поднял бумагу. — Вот, пожалуйста, выписка из постановления пленума. Хотите, я вам зачту ее? Так, так, значит, по поводу разбора жалобы, — бормотал он, поводя глазами. — Вот здесь, смотрите! Пленум решил: «Первое: отметить, что т. Полубояринов правильно обратился с заявлением об улучшении жилищных условий. Так, второе: отметить, что домоуправ т. Фунтикова неправильно, самолично сделала ремонт, не спросив соседей, чем нарушила закон и принцип народной демократии. Третье: работники домоуправления и иные лица в отношении перестановки дверей действовали в исполнение решения горисполкома, то есть правильно. Уголовно наказуемого деяния нет. Так. Пленум постановил. Первое: осудить неправильное действие работников домоуправления, которые не обеспечили охрану квартиры Полубояринова. Второе: принять к сведению заявление горисполкома, что Фунтикова и Ломов наказаны. Третье: принять к сведению заявление прокурора Пыляева, что участковый уполномоченный Парфенов наказан. Четвертое: редактору газеты «Красный Рожнов» Федулееву извиниться перед Полубояриновыми в приемлемой форме. И пятое: поставить вопрос перед облисполкомом о привлечении т. Павлинова, когда он приедет с учебы». Вот так... Тут моя подпись. По подлинному верно: Лаптев. Пожалуйста, — он подал Полубояриновым выписку.

— А как же насчет пропажи? — спросила Мария Ивановна. — Кто за нее заплатит?

— Есть и на этот счет решение... — Лаптев достал из папки еще бумагу. — Вот постановление областного прокурора: вычесть из зарплаты Павлинова в течение одного года триста восемьдесят девять рублей в пользу гражданина Полубояринова Павла Семеновича. Решение окончательное, обжалованию не подлежит.

— Что ж, выходит, он деньгами отделался? — недовольно спросила Мария Ивановна.

— Товарищи, насчет привлечения в дисциплинарном порядке вы не беспокойтесь. Как только вернется, так получит что следует.

— А как же насчет опровержения в печати? — спросил Павел Семенович. — Извинения редакции то есть.

— Есть и на этот счет бумага. Вот, пожалуйста.

Лаптев положил на стол еще один листок, и Павел Семенович с Марией Ивановной прочли:

«Тов. Полубояринов!

Как выяснилось, редакция газеты «Красный Рожнов» была введена в заблуждение, публикуя материал по поводу Ваших жалоб. Автор корреспонденции односторонне подошел к этому вопросу, не придал значения тому, что в райисполкоме к рассмотрению Ваших жалоб проявлялось невнимательное отношение.

В связи с этим к автору корреспонденции Сморчкову приняты соответствующие меры. Редакция приносит Вам извинения за ошибочно опубликованный материал. Что же касается публикации в газете опровержения, на котором Вы настаиваете, то оно будет расцениваться нами как новый материал на решенную тему. Мы считаем такую публикацию нецелесообразной, так как в данном случае пришлось бы снова публично возвращаться ко всей неприглядной истории Вашей тяжбы с соседями.

С уважением
редактор Федулеев».

Эпилог

Прошлым летом я побывал в Рожнове. Заходил к Павлу Семеновичу. Он постарел, сгорбился — ходит с палочкой. «Москвич» его стоит под окном и зимой и летом, на-

крытый брезентом. Павел Семенович никуда уже не ездит — незачем: сам он теперь на пенсии, а Мария Ивановна с весны уехала к сыну нянчить внучат.

На месте гаража стоит открытый с боков навес, под ним поленница дров и аккуратный штабель из торфяных брикетов.

— Видал, торф с Пупкова болота, — сказал мне Павел Семенович. — Сколько я писал про это! Торф у нас под боком, берите, не ленитесь... Не послушались. А теперь вот сами дошли до сознания.

И мост через Прокошу, к радости Павла Семеновича, наконец-то строят. Даже дорогу асфальтированную ведут к Рожнову, а щебень возят из Касимовского карьера кружным путем, на баржах: сначала по Оке, потом Прокошей до Сухого переката, там сгружают на берег — дальше на машинах пятнадцать километров по лугам... если сухо. А в дожди на луга и не сунешься — дороги разбиты. Павел Семенович и тут не выдержал, написал проект: «Насчет использования каменного карьера на Лысой горе под г. Рожновым». И отослал его в обком. Проект вернулся в Рожновский райком с резолюцией: «Разобраться на месте».

— Первый секретарь вызвал меня. Молодой человек, обходительный, — рассказывал Павел Семенович. — Я ему: щебенку за полтораста верст возим, а возле дороги под Рожновым целая каменная гора. Весь Рожнов из нее построен. Ставь дробилку и молоти. Тут щебня на дорогу-то хватит аж до глухой Сибири.

— А он что?

— Согласен, говорит, Павел Семенович. Но учтите такую, говорит, позицию — дорога-то республиканского значения, карьер местный. На него плана нет. А у нас самих ни денег, ни оборудования. Да ведь и не больно возьмут они нашу щебенку: у них по смете проходит касимовская.

Про историю с дверью у Павла Семеновича заведено целое дело: все жалобы и ответы на них, фотографии, акты — все аккуратно подшиты и пронумерованы; хранятся почтовые квитанции, железнодорожные билеты, автобусные и даже квитанции телефонных разговоров, связанных с разбором жалоб. На каждом ответе на жалобу рукой Павла Семеновича и красными чернилами либо размашисто начертана резолюция — «согласен», либо бисерным почерком нанизано возражение. Например, на

ответе Федулеева Павел Семенович написал: «Возражаю. Добиться публичного опровержения, и притом в газете».

Последнюю жалобу он написал в соседнюю область, где теперь работает Павлинов. «Какое наказание получил Павлинов за проявление волюнтаризма, т. е. хулиганства, в г. Рожнове?»

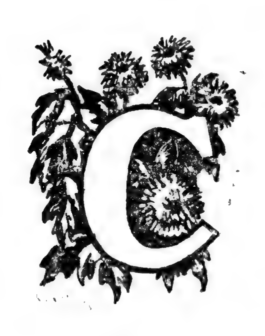
На эту жалобу ответа пока нет.

1970

ДЕНЬ БЕЗ КОНЦА И БЕЗ КРАЯ

Киноповесть

Часть первая



елекционный участок одной из опытных станций в Сибири — два-три приземистых длинных дома в окружении мелких стелющихся яблонь и вишен, Заборик из белого штакетника да открытая метеоплощадка с флюгером и с невысоким настилом для приборов, похожим на ветхую трибуну.

Возле штакетника остановился «газик», из него вышла молодая женщина и крикнула в растворенное окно:

— Мама, где ты?

В окне появилась постная сухая личность — старик лет семидесяти, он строго поглядел на приехавшую, но, узнав ее, сразу подобрел:

— Ты откуда, Наташа?

— Из Батана. Где мама?

— Да здесь она, на ближней делянке, — сказал старик.

Наташа бегом огибает дом и вот, раскрыв руки, бежит навстречу матери, стоящей в колосках с пинцетом в руке. Обнялись.

— Здравствуй, мама!

— Здравствуй, дочь! Ты чего такая взволнованная?

— Сегодня же вечер... Твой вечер!

— Ну да... юбилей, — улыбается Мария Ивановна. — За уши таскать дуру старую.

— Я за тобой прилетела. Самолет через час уходит.

— Ты уж лети. Сама там хозяйничай. А я к вечеру подъеду.

— Да ты что, собственному празднику не рада?

— Я-то рада. — Она смотрит на подходящих к ней баб, напарниц ее, их пятеро. — Но есть дело поважнее юбилея.

— Летите, Мария Ивановна, летите! — разноголосо загомонили бабы. — Мы тут и без вас дотемна постараемся.

— А то! Семьдесят лет не каждый день бывает... Летите!

— Нет, бабы! Пока я буду веселиться, нас с вами закроют и распустят.

— Как закроют?

— А так... Одним наши цеха понадобились под конторы. А другие экономию наводят. Де, мол, невыгодно держать отдельный селекционный участок. Надо объединить его с Тургинской станцией.

— Она ж за тыщу верст! Питомники туда не перекинешь.

— Они ж пропадут... — загомонили бабы.

— А им ништо. Они их не закладывали. Они экономию наводят.

— Но мама! Северин же обещал — не трогать вас.

— Приехали из области. Сегодня в двенадцать совещание в горкоме. Будут решать судьбу нашу.

— Ладно! — не сдается Наташа. — Я упрошу пилота, он задержится. Только ты из горкома давай прямо на аэродром.

— Нет, Наталья, — твердо отвечает Мария Ивановна. — Я в Черный Яр, в Высокое съезжу. На могилу к отцу.

— Но мама, это ж далеко! Такой крюк делать...

— Подумаешь — две сотни километров. К вечеру приеду, не беспокойся. А вы, бабы, трудитесь. После обеда помощников вам пришлю.

Обняв дочь, она двинулась с поля.

— Петя, у тебя все готово? — спросила у шофера «газика» Мария Ивановна. — Минут через десять поедем.

— Все в порядке, Мария Ивановна!

Из дома вышел давешний сухонький старичок, в руках у него стопка журналов, газет и букет полевых цветов.

— Маша, я слыхал, ты к Ивану Николаевичу завернуть хочешь?

— Хочу.

— Положи ему на могилу от меня... — старик подал ей цветы. — А это тебе, — он положил на выносной столик газеты и журналы. — Целый месяц собирал. Это все о тебе... И об Иване Николаевиче, — говорил старик, перебирая газеты и журналы с портретами Марии Ивановны.

— Мама, у тебя лицо усталое. Ты когда встала? — спросила Наташа.

— Встала? Ты спроси у нее, когда она ложилась! — проворчал старик. — Последние ночи почти не спит... С темна до темна на поле, даже почту не трогала.

— Ничего, пустяки, — ответила Мария Ивановна. — Вот поеду — и все прочту.

Газеты веером ложились на столик, все открытые на нужной странице, и смотрела с них Мария Ивановна — все то же утомленное, спокойное и хмурое лицо. А над этими портретами газетные заголовки — броскими шапками: «Сибирский селекционер — народный агроном республики», «Создателю знаменитой «тверди» — неполегаемой сибирской пшеницы — 70 лет», «Присвоение доктора наук без защиты диссертации»...

А потом рядом на тот же столик легли два журнала, открытые где-то на середине, но на этих страницах была иная фотография — дерзко и строго глядел пожилой господин с высокими залысинами, с пышными темными усами, с седеющей бородой. И заглавие: «100-летие со дня рождения пионера сибирской селекции». И еще статья: «Иван Твердохлебов — ученый и гражданин»...

— Вот вы и встретились, — говорил старик, радостно поглядывая на Марию Ивановну.

— Спасибо! — Она с чувством пожала ему руку.

— Да, вот еще телеграммы... — Он вынул из кармана пачку телеграмм, выбрал одну из них. — И ты знаешь, от кого есть? От Лясоты.

— От Лясоты? С чего бы это? — удивилась Мария Ивановна.

— Время подошло такое, Мария Ивановна. Время обнимать — и время уклоняться от объятий, — лукаво сказал старик. — Кстати, ведь вы с ним одного выпуска?

— Нет... Когда я училась, он был аспирантом.

— Где?

— Там же, в Петровской академии.

По пустынной лиственничной аллее Тимирязевской академии бесшумно катится, словно плывет по воздуху, крылатая пролетка; вожжи в свободном провисе покачиваются над облучком, их никто не держит. Кучера нет. Седок с кожаной подушки безмолвно смотрит на нас. Мы узнаем в нем знакомого по фотографии Ивана Николаевича Твердохлебова. А чуть поодаль, посреди лиственничной аллеи, стоит тот самый столик с газетами, возле которого Мария Ивановна, одна.

Твердохлебов оглядывается, вынимает из кармана жилетки серебряные часы, открывает крышку и произносит:

— Маша, тебе пора!

Мария Ивановна хочет что-то сказать ему, жестом задержать его, остановить, но... пролетка медленно удаляется, растворяясь в трепетно-зыбкой куще.

Мария Ивановна как бы машинально кинулась за пролеткой и... вдруг очутилась в людной многоярусной аудитории, где возбужденно спорили Макарьев и Лясота.

— Дети продолжают жизнь, заложенную ранее в их родителей, — говорит Макарьев. —Ибо и дети и родители являются продуктом одного и того же наследственного вещества.

— Это схоластика, средневековая ложь! — кричит Лясота. — Мы поломаем вашу мистическую наследственность и будем управлять ею в интересах нашего хозяйства и общества.

— Вам не хватит жизни для этого.

— Мы начнем, а дети завершат!

— К счастью, у горбатых родителей рождаются нормальные дети.

— Овес рождается от овса, а пес от пса! — крикнул кто-то из студентов, и аудитория загрохотала...

— Когда это было? — спросил тот самый старик.

— Всю жизнь так было, — ответила Мария Ивановна.

— Всю жизнь Лясота был аспирантом? Маша, ты о чем говоришь?

Мария Ивановна и в самом деле как бы очнулась, смотрит с удивлением на старика. Она все еще стоит возле столика, рука ее по привычке перебирает журналы и газеты.

— Ты меня совсем не слушаешь, — продолжал старик. — Здорова ли ты?

— Я, как старая лошадь, вроде бы стоя задремала, — усмехнулась Мария Ивановна и другим голосом: — Наташа, где ты?

— Тут я! — донеслось из дому. — Плащ твой ищу.

— Он на вешалке, за шкафом. Не забудь мою сумку на столе! В ней часы, — крикнула Мария Ивановна и старику: — Спасибо, друг мой. До свидания!

Мария Ивановна забрала газеты и журналы и направилась к машине. Наташа тем временем вынесла ей из дому плащ и портфель. Мария Ивановна раскрыла портфель-сумку, достала серебряные часы-луковицу (те же самые, отцовские), раскрыла крышку. Было ровно восемь утра. Послушала еще — часы тикают.

— Ну, мы поехали.

Она села в машину, махнула рукой, и «газик» сорвался с места. Мария Ивановна смотрит сквозь лобовое стекло на убегающую дорогу, на пшеничные поля и произносит про себя:

— Овес от овса, а пес от пса...

— А я вам говорю — наша наука оторвана от практики. Она преклоняется перед стойкостью видов и забывает о конкуренции, — звенит высокий голос Лясоты.

Стоит он за трибуной; сбоку стол с президиумом, в зале полно народу, не студентов, а пожилых людей: председателей колхозов, агрономов, партработников. Среди них мы видим Марию Ивановну. Идет областное совещание.

— Биология не капиталистический рынок! — крикнула Мария Ивановна. — Вы отрицаете основное положение генетики.

— Ваша генетика — предрассудок. И притом буржуазный. Нам каждый год надо пахать и сеять. Весной мы с севом запаздываем. Наука должна помогать — как справиться с этой задачей. Вот мы и предлагаем: давайте сеять осенью. Некоторые так называемые ученые поучают нас —

де, мол, нет стойких озимых сортов. А мы им говорим: обойдемся и теми, что есть. И более того, будем превращать, перевоспитывать твердую пшеницу в мягкую, то есть в озимую. Для сибирских полей это будет революционным актом.

— Надо выращивать новые сорта, а не манипулировать старыми! — крикнула опять Мария Ивановна.

— Видимо, товарищу Твердохлебовой с ее высокой научной колокольни наплевать на наши хозяйственные нужды. Поэтому она и пытается вставить нам палки в колеса. Я предлагаю, по замечательному почину нашего опытного хозяйства, которое возглавляет товарищ Колотов, — кивок в президиум, где один из сидящих склонил голову в ответном поклоне, — посеять по стерне пшеницу во всем крае. Какая экономия выйдет на одной пашне!

Лясота под аплодисменты сходит с трибуны. На трибуну подымается Мария Ивановна, в руках у нее небольшой сверток; она распаковывает его — это оказались свежие зеленя пшеницы.

— Товарищи, эти зеленя я привезла с того самого опытного поля Колотова, где была посеяна твердая пшеница без пахоты, по стерне. Всходы есть, но изреженные, слабые. Вот они (она подняла зеленя), полюбуйтесь! Это же не твердая пшеница, не мильтурум, а обыкновенная, вульгарная красноколоска. Откуда она взялась? Да оттуда же, от стерни. Когда ее жали, произошло самовысевание. Явление это известно тысячу лет. Конечно, можно вместо пахоты применить культивацию. Это еще в начале века Овсинский предлагал. Но такой метод посева требует постоянного поддержания рыхлости почвы, то есть больших усилий, иначе все сорняками зарастет. Сеять кое-чем и кое-как, лишь бы отсеяться — значит обманывать себя и других.

Она сошла с трибуны и стала раздавать зеленя — один пучок положила на стол президиума, другие раздала по рядам в зале.

Лясота отшвырнул зеленя и поднялся над столом грозной тучей:

— Вы тут, товарищ Твердохлебова, давно занимаетесь антигосударственной практикой.

— В чем она заключается? — обернулась Мария Ивановна.

— В том, что на вашей так называемой научной станции вместо кукурузы культивируются клеверища!

— Это единственные семенники во всем крае. И вы об этом отлично знаете! — крикнула Мария Ивановна.

— Травопольная система нанесла огромный ущерб государству. Надеюсь, вы это тоже знаете?

— Нет, не знаю!

— Понятно... Значит, умышленно бережете очаг травопольной системы на всякий случай! Я полагаю, что в интересах всего края ликвидировать последние очаги травополья как опасную заразу для наших полей. Видимо, найдутся решительные люди, которые распашут эти клеверища, а на их месте товарищ Колотов посеет кукурузу. Для пользы дела. Вот так.

Шум, хлопанье откидных сидений, громыхание стульев. Публика в зале поднялась и двинулась на выход. Все члены президиума сгрудились за сценой. Массивный человек, сидевший рядом с Лясотой, говорит одному из членов президиума:

— Северин, подготовьте приказ о распашке клеверища на опытной станции.

— Я как областной агроном считаю эту акцию вредной, — отвечает Северин. — И решительно отказываюсь подписать такой документ.

— Хорошо, обойдемся без вас, — раздраженно бросил ему Лясота и массивному: — Василий Михайлович, поручите это Колотову. Он исполнит аккуратно.

На краю обширного клеверного поля урчит трактор с трехлемешным плугом. К нему по целине подъезжает «газик». Тракторист, заметив машину, вылез из кабины. Колотов, приоткрыв дверцу, кричит ему из «газика»:

— Чего ты волынишь? Начинай!

— Дак, Семен Семенович, клеверища больно богатые. Как-то не знаю.

— Чего не знаешь? Пахать разучился?!

— С какого бока начинать то есть?

— Заваливай прямо отсюда! — Колотов вылез из машины, вошел в хромовых сапогах в клеверище, потоптался. — Давай! Приканчивай эту кабинетную науку.

Несмотря на осеннюю пору, клевер стоял молодым, зеленым и ровным, как бархат. Тракторист взлез на сиденье, двинул рычагом управления — трактор всхрапнул, как норовистая лошадь, крутнулся на месте и, опустив в землю черные плуги, ходко двинулся по зеленому полю.

— Вот так! — ухмыльнулся Колотов, глядя на развалистую черную полосу, словно траурной прошвой отбившую зеленое поле клеверища.

Между тем от дальнего строения опытной станции бежала на клевер Мария Ивановна; она часто спотыкалась, размахивала руками и что-то кричала. Когда она подбежала к Колотову, трактор уже сделал разворот и приближался вторым ходом.

— Стойте! Что вы делаете? Варвары! — кричала она.

— Нет, это вы варвары. А мы искореняем предрассудки от науки, — сказал Колотов. — Так будет точнее, товарищ Твердохлебова.

— Вы — бандиты! Разбойники!!

— Поосторожнее... Все ж таки я при исполнении служебных обязанностей.

— Вы не имеете права!

— Имеем. Все права наши. Вот — приказ подписан. — Колотов вынул из кармана бумагу и протянул ей.

Мария Ивановна не стала читать, она бросилась навстречу трактору.

— Стой! Остановитесь!! — подымая руки, кричала она.

Тракторист, с опаской выглядывая из кабины, правил прямо на Марию Ивановну. Она так и остановилась с поднятыми руками, с округленными от негодования и ужаса глазами. Но трактор черной глыбой наезжал на нее, заслоняя небо.

— Дави, мерзавец! — Вдруг Мария Ивановна упала ничком в борозду навстречу трактору.

Тракторист простынно побелел, резко потянул рычаги и с трудом остановил гусеницы перед лежащей Марией Ивановной. Потом, как-то неестественно задирая ноги, он вылез из кабины и бросился бежать. Мария Ивановна все еще лежала ничком в черной борозде, лежала недвижно, и только плечи ее вздрагивали от глухого рыдания.

Колотов, не сводя с нее глаз, пятился задом к машине, нащупал дрожащей рукой дверцу и юркнул в нее, как в нору.

— Гони!

«Газик» резко тряхнуло и занесло в глубокий кювет. Мария Ивановна схватилась за держальную скобу и с удивлением поглядела на Петю:

— Что случилось?
— Сейчас узнаем.
Петя потянул на себя рычаг ручного тормоза и вылез из «газика». Сперва он поглядел под колеса сзади, присел на корточки, постучал по скатам, потом зашел спереди — опять присел и поглядел.
— Не могу определить. Вроде все на месте — и колеса, и хвостовик.
— А почему же нас в канаву занесло?
— Не знаю. Мария Ивановна, а ну-ка, покрутите руль!
Мария Ивановна попробовала крутить баранку. Петя глядел под колеса.
— Не могу, — сказала Мария Ивановна.
— Вот и я не мог свернуть. Заело.
— Почему?
— Сейчас определим. — Петя бросился наперерез идущему самосвалу с гравием, поднял руку.
Грузовик остановился на обочине, из кабины высунулся цыганистый парень в майке.
— Тебе чего?
— Помоги, друг... Руль заело. Не могу определить.
Парень спрыгнул наземь, пошел к «газику».
— Куда едешь? — спросил на ходу.
— В город.
— Зачем?
— Ученого везу.
— Не ври!
Парень в майке заглянул в «газик», посмотрел на сумку с едой, подмигнул Марии Ивановне, потом дернул стопор — капот открылся. Парень и Петя подошли к передку.
— Пенсионерка? Мать начальника? — спросил парень Петю, заглядывая в мотор.
— Говорю — ученый.
— Не ври. По сумкам вижу — на базар едете. Так... Головку рулевого управления осмотрел? Нет?! Дай разводной ключ!
Петя быстро достал разводной ключ, и оба они уткнулись в мотор. А Мария Ивановна поглядела в боковое окно и вдруг увидела странно одетого мужчину — галстук бабочкой, старомодная соломенная шляпа с низкой тульей, с прямыми полями. Усы, бородка клинышком...
— Папа!
— Пойдем со мной, Маша! Я хочу тебе что-то сказать. — Он поманил ее.

— Но как же я пойду? У меня машина. Входи сюда, садись!

— Вы меня, что ли, Мария Ивановна? — Петя поднял голову от мотора.

Видение исчезло. Мария Ивановна провела ладонью по лбу, поглядела на Петю.

— Это я про себя, Петя... Так просто.

— А-а! — Петя опять уткнулся в мотор.

Парень меж тем отвинтил гайку на головке рулевого управления.

— Ну, как в лагун глядел. Червяк затянут. Давай крути руль!

Петя стал крутить баранку, парень кряхтел и завинчивал гайку.

— Ну как?

— Порядок, — сказал Петя.

— И колесо перетяни. Видишь, спицы разболтались? — Парень ударил сапогом по колесу, потом с маху закрыл капот, передал ключ Пете и кивнул Марии Ивановне: — С пустыми руками не возвращайтесь. Привет начальнику!

И пошел вразвалочку.

— Чего это он? — спросила Мария Ивановна.

— Узнал вас по портретам... Говорит, для большого ученого и я постараюсь. Мария Ивановна, вот вам подушечка. Располагайтесь! А я подшипники подтяну. —Петя взял подушечку с заднего сиденья и подал ее Марии Ивановне.

— Я и в самом деле вздремну. — Мария Ивановна откинулась на подушечку, раскрыла журнал с портретом отца.

Этот же портрет, но сильно увеличенный, висит в овальной раме в гостиной. Рядом в таких же рамах висят портреты Анны Михайловны и самой Марии Ивановны — она молодая, еще студентка, и звали ее Мусей. Она только что вошла в квартиру. В ней трудно было узнать теперешнюю старую, усталую женщину: это была рослая статная девушка со спокойным взглядом пристальных глаз, с короткой стрижкой, в сером костюме, в туфлях на низком каблуке. Было в ней что-то от исполнительного, подчеркнуто опрощенного комсомольского активиста 20-х годов. Она снимала в прихожей туфли и прислушивалась к голосам — мужскому и женскому —

доносившимся из гостиной, где висели видные через дверной проем портреты.

— Понимаешь, вызывают меня в одно заведение и говорят: «Уважаемый товарищ Лясота, ваша селекция может подождать. Сейчас нам нужно разобраться в художественном наследии проклятого прошлого, то есть определить: что ценно для рабочих и крестьян в качестве произведений искусства, а что есть простые предметы роскоши, которые надо пустить в дело. Поскольку вы бывший художник и активист, ваша помощь тут необходима». И бросили меня как специалиста по искусству на эти коллекции. Ну, скажу тебе — настоящий завал! — рокочет мужской басок.

— Побольше бы таких завалов, — отвечает весело женский голос.

Муся входит в гостиную. За столом сидят мать и Филипп Лясота. Он худ и важен — в модных широких галифе, в сверкающих сапогах, с редкой рыжей бороденкой и сухим, высоким, чуть свалившимся набок носом. На столе вино, закуски.

— Добрый вечер, — говорит Муся.

— Рад приветствовать надежду семьи и науки, — кривляется Филипп.

— Муся, самовар на кухне. Горячий еще, — говорит мать. — Нет, ты только подумай, что выкинул Филипп? — обращается к Мусе.

Муся молча проходит на кухню.

— Он зачислил нас в свои родственники. И бумаги выписал.

— Какие бумаги? Что за родственники?

— Поставил вас в свой распределитель на довольствие, — лениво, с победной ухмылкой ответил Филипп.

— Какое еще довольствие? — с раздражением спросила Муся.

— Не беспокойся, за картошкой тебя не пошлют, — сказала Анна Михайловна. — Иди сюда, погляди.

Муся подошла к столу.

— Смотри, что он подарил нам! — Анна Михайловна приставляет к груди сапфировый кулон. Потом раскрыла красную коробочку и вынула широкий, крупного плетения, золотой браслет. — Это тебе.

— Что это значит? — Муся требовательно смотрит на Филиппа.

— Да сущий пустяк... Служебный паек, так сказать.

— Что?!

— Филипп, не ёрничай. Я ей все поясню, — сказала Анна Михайловна. — Понимаешь, Филипп сейчас работает в разборе конфискованных коллекций. И в качестве оплаты за труд они имеют право получить по одной вещи на каждого члена семьи.

— Это кем же вы изволили меня зачислить? — свирепея, спросила Муся. — Сестричкой? Или, может быть, кем-то другим?

— А в нашем департаменте полное равноправие и сестер, и братьев, и жен, и матерей.

— Я не имею чести принадлежать к вашему департаменту. И паек мне ваш не нужен.

Она бросила браслет на стол.

— Пардон, — сказал Филипп и с огорчением: — Ничего лучшего я изобрести не мог, чтобы помочь семье моего учителя.

— Папу оставьте в покое!

— Ну, чего ты взбеленилась? — набросилась на нее Анна Михайловна. — Ты что, не понимаешь? Это ж проформа. Служебная игра! И больше ничего... Не все ли равно, чем платить — деньгами или пайком?

— Ты можешь получать паек чем угодно и жить как угодно. А меня увольте! — Муся пошла к себе в комнату.

— Вот вам и благодарность! — обиженно развела руками Анна Михайловна. Но браслет взяла и спрятала вместе с сапфировым кулоном в складках платья.

— Но любимую вашу книгу... «Дон-Кихот» с рисунками Дорэ, может, примите? — спросил Филипп и взял с дивана роскошное издание.

— Краденого мне не нужно, — сказала Муся с порога.

— Глупенькая, книги не крадут — их умыкают, как девушек.

Утро. Муся сидит за столом, пишет. Входит Анна Михайловна в каком-то странном халате, смахивающем на японское кимоно.

— Надо все-таки объясниться, — говорит она, присаживаясь на стул.

— В чем? — неохотно спрашивает Муся.

— Ты подозреваешь Филиппа бог знает в каких грехах.

— Подозрениями я не занимаюсь. Я не сыщик.

— Послушай, Филипп обыкновенный честный селекционер и по совместительству общественный работник культурного фронта.

— Вот как ты научилась! А еще на каком фронте он был?

— Война — это не его стихия.

— Потому что он — талант? — насмешливо спросила Муся.

— А ты не смейся! Может быть, война как раз и помешала нормальному развитию его таланта.

— Зато теперь он развивается во всем блеске.

— Ты не смеешь так! Он искренне верит в построение новой культуры.

— И присваивает чужие вещи?

— Это же так примитивно... Упрощаешь.

— Ах, ты хочешь обстоятельней? Пожалуйста. Ни в какую новую культуру он не верит. И вообще, новую культуру надо делать чистыми руками. А он служит только одному богу — собственному удовольствию. Сначала в живопись играл — таланта не хватило. Потом в селекцию — терпения нет. Теперь играет в культуру. Решил, что выгодней. Пойми ты, все эти несостоявшиеся таланты идут либо в сыщики, либо в шулера. И твой Филипп шулер. Рано или поздно он проиграется!

— Какой же ты жестокий человек. Ты всех душишь своей слепой принципиальностью. Отцу подражаешь? Но, между прочим, он сам жил и других не стеснял.

— Ну, я твою жизнь стеснять не буду. Я ухожу в общежитие.

— Неблагодарная! — Анна Михайловна гневно вышла.

Общежитие студентов Тимирязевки. Муся сбегает по лестнице в вестибюль, на руке у нее полотенце. Навстречу ей Василий Силантьев. Черноволосый смуглый парень лет под тридцать.

— Здравствуйте! Вы что здесь делаете?

— Живу.

— Вы удивительный человек — что не явление, то новая роль. А как же мать?

— Вы слишком любопытный зритель.

— Ага. А полотенце зачем?

— Купаться иду. На пруд.

— Вода холодная. Еще только яблоня зацвела.

— Пока цветет яблоня, пруд чистый. А потом зацветет вода — не искупаешься.

— Разумно. А мне можно с вами?

— Так вода же холодная!

— А что мне, дикому тунгусу, холодная вода? Я с моржами купался.

— А с акулами не пробовали?

— Я могу только с разрешения. Но акулы не моржи, по-тунгусски не понимают, — улыбается Василий.

— Это намек?

— Ну, что вы? Так уж с ходу намекать на ваши зубы? Вы можете когти выпустить.

— Выходит состязание в глупости, — Муся улыбнулась. — Пойдемте лучше купаться.

Яркий солнечный день. Муся и Василий идут по тропинке цветущим садом. Они выходят на берег пруда, поросший раскидистыми ветлами, наклоненными над водой. Муся мгновенно скинула сарафан, и не успел Василий стянуть сапоги, как она уже ласточкой полетела с берега в воду и поплыла по-мужски саженками, потряхивая блестевшей от воды головой.

Василий ловко вскарабкался на наклонную ветлу, стал на толстый сук, балансируя руками, выбрал момент равновесия и, сильно оттолкнувшись, полетел вниз головой. Бух! И надолго пропал под водой.

Муся уже тревожно поглядывала по сторонам, когда он с шумным выдохом, словно кит, вынырнул перед ее лицом.

— Ай! — вскрикнула она от неожиданности.

— Не бойтесь, я не морж.

— Да ну вас! — надула она губы. — Я уж бог знает что подумала.

— Неужели обо мне?

— Да ну вас! — и, резко выкидывая руки, поплыла к берегу.

Василий плыл за ней. Она вышла первой, легла на полотенце, подставив лицо, шею, грудь полуденному солнцу. Он лег рядом.

— Скажите, Василий, может ли талант переродиться под воздействием так называемой среды? И превратиться в обыкновенную серость... приспособленца. Нет, хуже — в пиявку!

— Как вы хотите, чтоб я ответил? По-научному или попросту?

— Как угодно.

— Если человек с умом и честью, то никакая среда его не испортит. А если у него чести нет, то нет и не было та-

ланта. Потому что талант — это прежде всего искреннее и честное отношение к жизни. Иначе он не сможет верно отразить явления жизни. Какой же это талант?

— Но ведь говорят же — злой гений?!

— Там в основе не талант, а изворотливость.

Муся надела сарафан, но оставалась сидеть, глядя в воду. И Василий сидел. Помолчали.

— Кто-то перед вами оправдывался? На среду сваливал? — спросил Василий.

— Ну, не так чтобы оправдывался... Но намекал.

— Вся штука в том, из чего человек вырос. На какой закваске? Из каких убеждений? Я шесть лет провоевал. Всякое видывал. Но такое, чтобы честный человек да еще талантливый превращался в подлеца — не видел. Такие люди либо ломаются, гибнут, либо выбывают из игры.

— Да. По крайней мере, надо, чтобы так было.

— Именно! Ведь вся ваша селекция построена на этой закономерности — выращивать такие разновидности, такие сорта, которые сопротивлялись бы окружающей среде, смогли бы выдержать ее напор. А для этого что берется? — спрашивает, улыбаясь, Василий.

— Элита.

— Но не по видовому родству, а по качеству. — Он поднял палец.

— С такой биологической аналогией можно далеко зайти, — усмехнулась и Муся. — Яблоко не далеко падает от яблони. Или — овес рождается от овса, а пес от пса.

— Кстати, мы готовим комплексную экспедицию в Якутию. На целое лето! Ботаники нужны. Поедем с нами? — предложил Василий.

— Попасть в такую экспедицию не просто.

— Я знаком с Вольновым. Хотите, поговорю?

— Я сама с ним знакома...

Он усмехнулся как-то извиняюще:

— Вы все такая же... несговорчивая. Отцовский характер.

— А вы все еще любите в тунгуса играть? Как у отца на практике. У костра потешаться?

Он опять невесело усмехнулся:

— Да нет, я уж натешился. Шесть лет из фронтовой шинели не вылезал.

— У каждого своя война, — сказала она серьезно. — Сколько всего накопилось — и слез, и злобы.

— А я вот встретился с вами и словно в другой век перелетел, в старую жизнь.

— Туда пути заказаны.

Они встали и пошли опять садом. Возле общежития Муся подала ему руку:

— До свидания!

— Подумайте насчет экспедиции.

— Мне думать нечего. Все зависит от начальства.

— Тогда считайте, что вы зачислены.

Муся усмехнулась:

— Значит, до встречи в Якутии.

Ржаное поле в Якутии. Рожь невысокая, но колосья полные, как говорится — на подходе. Муся перебирает колоски, срывает изредка и кладет их в мешочек. Рядом с ней стоит крестьянин средних лет, видимо, хозяин поля.

— Да ты рви смелее! Чать, не обедняем, — говорит мужик.

— Мне много не надо. Я выбираю только ярко выраженные колоски.

— А чего их выбирать? Они все хорошо уродились. У меня рука верная — где кину, там и вырастет. Значит, для науки собираешь? Что ж там у вас, в Москве, ай ржи не хватает?

— Там есть, да не такая.

— А какая же? Рожь, она рожь и есть.

— Ну, не скажите. Московская рожь тут не вызреет.

— Во-он что! Видать, у московской ржи корень тугой.

— Что? Что?!

— Значит, не способен быстрый оборот давать. Влагу плохо гонит. Она и не успевает напиваться. Вроде пашеницы.

По ручью проходит Василий с ящиком на ремне через плечо.

— А пшеница у вас вызревает? — спрашивает Муся мужика.

— Здесь нет, а на заимке поспевает.

— Далеко ваша заимка?

— В тайге, верст пять по ручью.

— Можно там взять колоски?

— Берите. Я сейчас лошадку запрягу, отвезу.

— Не надо. Мы пешком пройдем, — говорит Василий.

Муся только теперь заметила его, смотрит вопросительно.

— Я уже взял в низовьях образцы почвы, — ответил он как бы на ее безмолвный вопрос и качнул своим фанерным ящиком. — А теперь там, наверху, возьму. Так что по пути.

Они идут по лесному берегу ручья; чем дальше, тем все гуще тайга, все таинственнее ее темные чащобы, все заманчивее ее незнакомая глубь. Тоненько, скрипуче посвистывают рябчики. Василий свернул в трубочку листок жимолости, положил на язык и засвистел, как рябчик. Вдруг совсем рядом ухнула и заулюлюкала полярная сова.

— Ой, что это? — вздрогнула Муся.

— Леший. Давай руку! Ну?! — Он притянул ее к себе, хотел обнять.

— Не надо! — она вырвалась и пошла впереди.

Василий приотстал, спрятался за толстую сосну и вдруг затянул высоким срывающимся волчьим воем. Муся замерла на ходу, обернулась и, не увидев Василия, пронзительно закричала:

— Ва-а-ся!

— Ай-я-яй-а! — ответил он тихонько, так, словно голос его доносился издалека.

— Ва-а-ся! — закричала она сильнее и помчалась в ту сторону, откуда слышался его слабый голос.

— Вот он я! — Василий вынырнул перед ней из-за ствола сосны, озорной, смеющийся, и поймал ее в объятия.

— Дурак! Идиот!! — чуть не плача, она пыталась вырваться.

— Будешь от меня уходить? А? Будешь? — Он все крепче и крепче прижимал ее к себе.

Она долго и упорно держала его на отдалении, упершись ему в грудь прямыми руками. Наконец не выдержала напряжения, уткнулась лицом в его плечо.

Показалась заимка. Они шли теперь взявшись за руки.

— Уже? — спросила она, глядя на просвет в деревьях.

Залились хриплым утробным брехом собаки. Василий тотчас стал передразнивать их.

— Господи! Какой ты еще ребенок! — сказала она.

— А ты бука.

Возле длинной приземистой избы их встретил очень похожий на того мужика во ржи седой, как лунь, старик. И

одет совершенно так же: на нем длинная полотняная рубаха, на ногах желтые улы из рыбьей кожи.

— Здравствуйте, дедушка!

— Здорово живетя! Проходите в избу.

— Мы на часок за колосками пшеницы. — Муся показала мешочек. — Нам хозяин разрешил.

— Рвитя, рвитя, — сказал дед.

Поле было тут же. Пока Муся и Василий собирали колоски, старик сходил в избу и принес глиняный кувшин медовухи, берестяную кружечку-чумашку да большой кусок копченой медвежатины.

— Подкрепитесь на дорожку-то. Вот медовуха да шматок медвежатины, — сказал старик.

— Нам, право, как-то неудобно...

— Спасибо, дед! — сказал Василий, перебивая Мусю и принимая его дары.

— Право же, неудобно, — пыталась урезонить своего напарника Муся.

— А чего ж неудобного? Вон там гумно с навесом, сенцо свежее. И располагайтесь как дома, — сказал старик.

Гумно на лесной опушке — сарай плетневый, молотильный ток, еще не чищенный с прошлогодней поры, омет старой соломы. Василий расстилает в сарае на свежем сене брезентовые куртки, нарезает мясо.

— Ну, как тебе наши якуты-тунгусы?

— Пока мы имеем дело больше все с кержаками, — ответила Муся.

— Они уже вполне объякутились. Смотри — чей продукт? — указывает Василий на медвежатину. Наш, якутский.

— Ну, такого добра и в России хватает.

— Погоди, вот заберемся в низовья — я тебя там олениной накормлю. Ну, давай за Якутию!

Муся выпила.

— Божественно!

Василий налил себе.

— Во имя твое! — и выпил.

Они потянулись к медвежатине. Василий поймал ее руку, крепко сжал пальцы и притянул к своим губам. Она глядела на него широко открытыми глазами.

— Милая, милая!..

Он стал целовать ее руку, плечо, шею мелкими быстрыми поцелуями. И обнял, сграбастал всю ее и заслонил плечами, спиной, всем телом своим.

И мы видим соломенную крышу, всю в решетниках и в неошкуренных слегах. На краю стрехи сидит пегий зяблик с кирпичной грудкой и заливается:

чо-чо-чо-чок, тур-турс-во-во!
чо-чо-чо-чок, тур-турс-во-во!

Лагерь биологов на берегу Лены, возле самой тайги. Натянуто две палатки: маленькая, двуспальная, для Муси и большая для мужчин. Все биологи заросли бородой, на них сапоги и брезентовые куртки с капюшонами. Они похожи скорее на рыбаков, чем на ученых.

Среди биологов выделяется своим ростом худой и важный начальник экспедиции Филипп Лясота. Он, как заправский рыбак, курит трубку. Коренастый светлобородый Макарьев лежит, опершись на локоть возле костра. На подошедших Мусю и Василия никто не обратил внимания. Муся прошла к себе в малую палатку, а Василий стал помогать завхозу кашеварить.

— Просто многие из наших злаков под воздействием культуры претерпели глубокие изменения, — возбужденно говорил Лясота.

— Я чую, куда ты метишь, — сказал Макарьев.

— Куда?

— В дешевую социологию, — ответил Макарьев. — Причеши, мол, идиота или хама, поставь его в культурные условия, и он прямо на глазах переродится.

— Да, переродится! — крикнул Лясота.

— И станет мудрым, чистеньким да гуманным? — язвил Макарьев.

— Ты просто не веришь в творчество масс! — горячился Лясота.

— Брось ты эти громкие фразы. Меня демагогией не возьмешь. В каждой массе есть и порядочные и хамы. Давай уж оставим массы политикам да философам. Займемся нашими баранами: ты ведь чего хочешь? Блеснуть и подскочить, да? Новые сорта пшеницы трудно выводить, да и долго. А тебе бы что-нибудь эдакое отыскать. Враз бы отличиться, перевернуть. Революцию в биологии устроить. Эх!.. Работать надо.

— А я дурака валяю?

— Нет, фокусничаешь.

— А я тебе говорю, — опять повысил голос Лясота, — многие злаки видоизменились, понял?

— Ну и что из этого следует? — спрашивал Макарьев.

— А то, что ваши толки о стойкости наследственного вещества... эти хромосомы, гены — мистика!

— И все-таки виды остаются видами — овес остается овсом, а пшеница пшеницей. Тысячи лет! Как же ты это объяснишь?

— А так. Если принять материалистическое положение о возможности наследования приобретенных признаков, то выйдет: и овес, и пшеница в чистом виде не существуют: они частично изменяются.

— Это не материализм, а ламаркизм.

— Что, что?

— А то самое. Чепуха это. Еще Декандоль не допускал возникновения видов культурных растений от близких к ним видов в историческую эпоху. Стойкость наследственного вещества доказана Морганом.

— Так что ж, по-вашему, пшеница богом дана, что ли? — горячился Лясота, переходя на крик. — Как она появилась на земле? С небес?

— Для великих ученых мира сего это пока тайна.

— А я говорю: никаких тайн быть не должно.

— Что дальше?

— А то, что от этого божеством пахнет. Чистой метафизикой! Диалектики не вижу.

— Ну-ка, покажи мне свою диалектику!

— А диалектика говорит: изменения в природе существуют двух родов: количественные и качественные. Иными словами, за счет количественных накоплений происходят изменения качественные путем скачка. То есть в историческую эпоху и сейчас происходит перерождение одних видов в другие. Одни культурные растения перерождаются в другие.

Услышав эти слова, даже Муся вылезла из палатки и подошла к костру.

— Эй вы, мыслители! Слышали о гениальном открытии Филиппа Лясоты?! — крикнул Макарьев. — Морган отменяется!

— Вы все ползаете на брюхе перед этими заграничными морганами. Вот оно, мое открытие, — сказал Лясота. — А ваш учитель Вольнов молится на гены как на икону. Буржуазное наследство вас заело. А я вам говорю — дело не в генах, а в среде.

— Значит, изменяй среду — и будут изменяться растения? — спросил Василий.

— Да. И не только будут сами изменяться, но и передавать по наследству изменения, вызванные средой! — Лясота выкинул свой длинный худой палец. — Это и есть единственно верное материалистическое истолкование происхождения видов.

— А зачем же мы тогда приехали в Якутию за образцами? — спросила Муся. — Давайте здесь изучать среду, а пшеницу привезем сюда из Москвы. Сворачивай дела!

— Вы верно изволили заметить, — ухмыльнулся Лясота. — Я точно так и решил: пора в обратный путь...

— Пора, Мария Ивановна, — толкал Петя в плечо заснувшую Твердохлебову. — Машина готова. В путь!

— Да! — Мария Ивановна очнулась. — Ой, господи! И долго я проспала?

— Порядочно. — Петя хлопнул дверцей и весело крикнул: — Поехали!

«Газик» снова выкатил на дорогу и помчался по широкой неохватной равнине. Мария Ивановна вяло перебирает телеграммы. Вот она взяла журнал со статьей об отце. Портрет Ивана Николаевича. Те же усы, бородка клином, но без шляпы. Она долго смотрит на портрет, и он словно оживает: вот подмигнул ей, как давешний шофер, будто сдвинулся и поплыл... Бородка куда-то пропала, усы стали короче, и вместо прилизанного языка волос — богатая седеющая шевелюра. Это учитель ее, профессор Никита Иванович Вольнов.

— Никита Иванович! — звучит голос матери, Анны Михайловны. — Вы как посаженый отец садитесь в центре, а жених с невестой подвинутся...

Свадебный стол в квартире Анны Михайловны. В центре за столом сидит Анна Михайловна, по правую руку от нее Никита Иванович Вольнов, а уж потом, чуть сдвинутые на край, жених и невеста.

Среди гостей только один Макарьев знакомый нам. Все они молодые, шумные — студенты.

В этом окружении и Анна Михайловна помолодела и похорошела. На первый взгляд можно подумать, что это она выходит замуж за Вольнова. Он великолепен в черной тройке, со своей горделивой осанкой.

— Горько! — кричат хором. — Горько!

Муся и Василий церемонно целуются.

— Ах, ну кто же так целуется? — Анна Михайловна даже в ладоши прихлопнула (она пьяненькая). — Господа!

Простите, товарищи! Да какие вы мне товарищи? Дети вы неразумные, дети. И целоваться как следует не научились. Как вы жить без нас будете?

— По закону Ньютона! — кричит кто-то. — Тело притягивается к телу.

—Ха-ха-ха! Горько!

— Да погодите вы со своим «горько». Подумаешь, тоже зрелище. Я спрашиваю о смысле жизни!

— Ён в вине!

— Ха-ха-ха!

— Горько!

— Боже мой! Да вы и в самом деле дети. Поцелуев не видели. Никита Иванович, да скажите вы им слово напутствия вместо отца.

Никита Иванович встал. Все тотчас умолкли.

— Что же мне вам сказать? Вы связали свою судьбу с наукой. А служить науке — значит служить истине. Порой это бывает не легко. Проще уступить, пойти на компромисс, на сделку со своей совестью. Но помните — от совести, как от истины, можно отречься, но обрести их вновь нельзя. — Он поднял бокал. — За чистоту вашей совести! Передвигайте камни науки!

Все встают, пьют.

И вдруг раздается откуда-то другой, скрипучий голос:

— Кто передвигает камни, тот может надсадить себя.

Мария Ивановна вздрогнула и очнулась. Она сидит в бегущем «газике», на коленях ее лежат газеты, журналы, телеграммы. Одну телеграмму она держит в руках. Невольно читает ее, звучит чуть насмешливый голос Лясоты:

— Приветствую и поздравляю вас, передвигающую камни науки.

И опять, вперебой, тот бесстрастный предостерегающий голос:

— Время обнимать и время уклоняться от объятий.

Мария Ивановна оглянулась. Слева, за рулем, сидит Петя, опустив голову. Ей послышалось, что он всхрапнул.

— Петя!

— А! — Он тревожно вскинул голову. — Что такое, Мария Ивановна?

— Ничего... Я, кажется, опять заснула?

— Не знаю, Мария Ивановна. Я сам вроде заснул.

— Ты шутишь?

— Ей-богу, правда! Даже сон видел — будто я сижу верхом на свинье, держусь за уши. Она визжит и тянет меня в болото.

— Эдак с тобой не то что в болото, на тот свет попадешь.

— У меня спотыкач — шоферская болезнь. Со мной разговаривать надо.

— Знаю я твою болезнь. С девками прогулял.

— Да шоферская судьба такая: днем держись за баранку, а ночью бери под крендель.

— Кого?

— А это уж какая попадет...

Бескрайняя сибирская степь с редкими березовыми колками на горизонте; и все это безлюдное пространство заполнено зреющими хлебами. Одиноко катится «газик» по дороге. Приоткрыто лобовое стекло, врывается ветер в машину, треплет на Марии Ивановне пеструю кофточку, раскидывает рассыпчатые седые волосы.

— Петя, тебе в жизни когда-нибудь говорили: служить истине?

— Нет, — ответил тот с ходу. — Истина, она не требует доказательств. Все ясно: истина, она и есть истина. Чего же тут стараться служить?

— Но разве так не бывает? Вам говорят — вот истина. А на поверку она оказывается ложью.

— Почему ж не бывает? Вот третьего года возили мы пшеницу в совхоз «Слава целине». Прямо от комбайна возили на ток и ссыпали в кучу. Гору Арарат навалили. Ну, мы шумели поначалу: сгорит, говорили, зерно. А нам — не ваше дело. Это, мол, новый метод хранения. Ладно, насыпали. Не прошло и месяца — почернело зерно и пнем село. И кто же виноват? А никто. Вот такая истина вышла.

— А кто вам приказывал возить?

— Замдиректора. Дак что ты ему сделаешь? В глаза, что ли, плюнешь? Ну, плюнь! Он утрется да пойдет дальше. А тебе по шее за это.

— Ну а если этот замдиректора благодарность вам вынесет, поздравлять начнет? Обнимать за плечи? Тогда что?

— Дак наше дело телячье: дают — бери, а бьют —беги.

— В том-то и беда, Петя, что многие так и поступают.

Они подъезжают к большому придорожному селу. Разбитая дорога зигзагом пересекает два сельских порядка.

«Газик» резко сбавил скорость — ухабы. Здесь, недалеко от дороги, прямо посреди села насыпана большая куча щебня. Возле нее стояли шумной толпой бабы и ребятишки; они окружили три самосвала и что-то кричали шоферу, грозя кулаками.

— А ну-ка, сверни! — приказала Мария Ивановна. — Что там происходит?

«Газик» подъехал к толпе. Мария Ивановна вылезла из машины. Ее тотчас окружили женщины.

— Что за шум? — спросила она.

— Да это же не шоферы — скоты!

— Только коровы посреди села гадят...

— Жеребцы они! Им на русском языке говорят, а они ржут.

— Дикари они! Печенеги!!

— Да в чем дело? — спросила Мария Ивановна крупную женщину в синем переднике, на голову возвышавшуюся среди остальных.

— Вот мудрец! — указала она рукой на седого мужика в пиджачке и в сапогах, стоявшего на крыле самосвала. — Облюбовал нашу улицу под щебеночный склад! Здесь дети играют. Вон какой луг! Вся наша отрада. Полынь повыдергивали по былиночке, клены посадили, а он щебень валит.

Луг и в самом деле был превосходный.

— Ну что ты хлопаешь белками? — крикнула ему сухонькая старушонка и погрозила кулачком. — Иль посреди степи места не нашел? Ослиная твоя голова!

— Давай без оскорблений, — отозвался тот с крыла. — А то придется за личность отвечать.

— Твою личность надо уткнуть в эту кучу да вывозить хорошенько! — крикнула могучая женщина.

— Это что за щебень? — спросила его Мария Ивановна.

— Обыкновенно, придорожный склад.

— И сколько же его будет, щебня?

— Восемьдесят тысяч центнеров.

— Кто же вам разрешил посреди деревни открыть склад?

— Вы сперва спросите — для чего щебень? Мы дорогу делаем, по которой повезут хлеб... Целинный!

— Вам что, в степи места мало? — крикнула опять старушка.

— Я вас спрашиваю: кто разрешил в деревне заложить склад? — повысила голос Мария Ивановна.

В это время подкатил самосвал с тем знакомым нам цыганистым шофером. Он лихо развернулся, обдав пылью собравшихся, и с ходу включил подъемный механизм: кузов вздрогнул и стал подниматься.

— Остановите разгрузку! — закричала на него Мария Ивановна.

— Привет, бабуся! — крикнул ей шофер. — Рано базаришь... До города еще далеко.

— Я спрашиваю, черт вас возьми! — Мария Ивановна направилась к тому седому на крыле. — Кто вам разрешил здесь открыть склад? И кто вы? Откуда?

Тот нехотя слез.

— Я прораб дорожного управления. Разрешил нам председатель сельсовета. С вас довольно?

— Садитесь со мной, и поедем сейчас же к председателю сельсовета.

— А кто вы такая?

— Я депутат Верховного Совета. Вот мой документ. — Мария Ивановна вынула красную книжицу и протянула ее прорабу.

Тот обалдело уставился на нее и пролепетал:

— Хорошо... Сейчас... Хорошо...

Он, как-то пятясь задом, дошел до самосвала, мигом вскочил в кабину, и машина сорвалась с места. За ней понеслись, поднимая пыль, и два других самосвала. Цыганистый шофер сказал: «Вот так базар...» Поскорее опустил кузов, воровато озираясь на Марию Ивановну, и тоже укатил.

— Чуют кошки, чье сало съели, — сказал Петя.

— Дак они ушли-то на время, — сказали в толпе.

— Ничего, бабы, от меня не уйдут, — сказала Мария Ивановна. — Где у вас тут сельсовет?

— А вот поезжайте через село, там спуститесь в ложбинку, а потом колок будет — березовый лес, перевалишь через бугор — тут тебе и Голованово, — отвечала могучая женщина. — А там и сельсовет.

— Поехали, Петя!

— Опоздаем в город, Мария Ивановна.

— Ничего, нагонишь!

Головановский сельский Совет. Пятистенный старый дом с высоким крыльцом. Вывеска. Красный флаг под крышей. Возле крыльца остановился «газик». Мария Ива-

новна вылезла из машины и стала подыматься на крыльцо.

Ее встретила пожилая морщинистая женщина в рябенькой кофточке:

— Вам кого, гражданка?

— Председателя сельсовета.

— Я вас слушаю.

— Меня зовут Мария Ивановна Твердохлебова. Я депутат Верховного Совета. — Мария Ивановна подала свою книжечку.

— Очень приятно. Меня зовут Евдокия Тихоновна. — Она вернула красную книжечку, пожала Марии Ивановне руку и показала на стол: — Садитесь! — Сама села напротив.

— Кто разрешил в Дербеневе заложить щебеночный склад?

— Давыдов звонил... Заместитель председателя райисполкома. Дорожники просят. Я согласилась. Только, говорю, не валите возле памятника. Там у них площадь.

— А вы видели, где они сваливают щебень?

— Нет. Они должны были заехать за мной, чтобы место выбрать, и не заехали.

— Они валят посреди деревни.

— Не может быть!

— Звоните Давыдову!

Председательша сняла трубку:

— Алё! Почта? Дайте мне город... Город? Семена Ивановича Давыдова!.. Алё! Семен Иванович? Здравствуйте! Это Евдокия Тихоновна из Голованова. Ага! Семен Иванович, дорожники щебень валят прямо в Дербеневе, посреди деревни... Как что? Я говорю — посреди деревни! А? Я им не разрешала... До осени? Дак они одной пылью всю деревню задушат. У меня вот тут депутат Верховного Совета Твердохлебова. Она хочет с вами поговорить... Чего? — Евдокия Тихоновна с недоумением поглядела на трубку и положила ее. — Бросил... Говорит, некогда — срочно вызывают. Звоните, говорит, в дорожное управление.

— Понятно, — Мария Ивановна усмехнулась. — Ну, звоните дорожникам.

Председательша стала набирать номер, потом замешкалась:

— Вы бы лучше сами. А то опять бросят.

Мария Ивановна взяла трубку:

— Кого спросить?
— Страшнова Владилена Парфеныча.
— Страшнов? — сказала в трубку Мария Ивановна.
— Он самый, — басом ответила трубка.
— Из Голованова звонят... Кто вам разрешил посреди Дербенева закладывать щебеночный склад?
— Я согласовал с Давыдовым и с председателем сельсовета.
— Это неправда!
— Что?! А кто со мной, собственно, разговаривает? — грозно вопрошала трубка.
— Депутат Верховного Совета Твердохлебова.
Наступила пауза. Потом трубка заговорила мягче:
— Так, товарищ Твердохлебова, я вас слушаю.
— Кто вам разрешил посреди села заложить щебеночный склад?
— Понимаете, у нас срочное задание — к октябрю пустить дербеневский участок дороги. Ну и выбрали место сподручнее.
— А вы спросили тех людей, что в селе живут? Вы подумали: как они жить станут вокруг вашего склада?
— Учтем, товарищ Твердохлебова... Учтем.
— Так вот, щебень заберите оттуда! Пришлите в Дербенево своих людей, а я привезу председателя сельсовета. Выбирайте место, где положено.
Мария Ивановна сходит с крыльца и видит: по широкой деревенской улице, по траве-мураве, катит ее отец на высоком старомодном велосипеде. Он весело смотрит на нее и машет ей рукой. На нем все та же соломенная шляпа, белый пиджак, желтые краги. Мария Ивановна пошла к нему навстречу.
— Мария Ивановна, вы куда? — крикнул Петя. — «Газик»-то вот он.
Она остановилась, чуть шатнувшись, взялась рукой за сердце. Петя в один прыжок очутился возле нее.
— Вам плохо, Мария Ивановна?
— Что-то сердце... Я сейчас, сейчас...
— Может, к доктору заехать?
— Нет, пройдет.
Она несколько раз глубоко вздохнула и пошла к машине.
— Зови председателя сельсовета! — сказала на ходу Пете.

Дербенево. Возле щебеночной кучи останавливается «газик». Из машины вылезают Мария Ивановна и Евдокия Тихоновна. Бабы, знакомые нам, окружают их.

— Ну, что? Как? — спрашивают они.

— Все в порядке, бабы. Вот привезла вам верховную власть. Щебень уберут, перевезут на новое место, — сказала Мария Ивановна.

— Спасибо вам, Мария Ивановна! А мы давеча спохватились было, да поздно. Школьники признали вас. Это, говорят, Твердохлебова. Пшеницу которая выводит, — подошла к ней могучая тетка. — Значит, вы та самая?

— Та самая, — смеется Мария Ивановна.

— Хоть молочка попейте, холодное молочко. Прямо из погреба, — подает Марии Ивановне старушка горшок с молоком. — По нынешней жаре это питье в самый раз.

Мария Ивановна приняла горшок:

— Петя, кружку!

Петя подал ей кружку. Мария Ивановна налила себе, а горшок передала Пете. Тот залпом выпил все, что было в горшке.

— Теперь доедем! — и хлопнул себя по животу.

— На здоровье!

— Счастливый путь! — раздавались голоса.

И бабы долго махали им вслед.

Раздался резкий хриплый гудок. Мария Ивановна подняла голову — они подъезжали к речному берегу. По реке шел буксирный пароход, тянул две баржи и гудел вовсю:

— В пу-уть, в пу-уть!

«Газик» спустился с откоса. Моста нет — у берега торчит бревенчатый припаромок, отдаленно смахивающий на колодезный сруб, с настилом поверху. Паром — плоскодонная развалистая посудина с будкой на корме — стоит на том берегу. Тишина и безлюдье. Река неширокая, метров двести, так что на тот берег кричать — хорошо слышно. Шофер сначала посигналил — никто не отозвался. Тогда он вылез из «газика» и закричал:

— Па-ро-ом!

Тишина.

— Паро-о-ом!

Наконец из паромной будки вышел детина в майке, босой, в засученных по колени штанах, упер руки в бока и зычно спросил:

— Чего орешь?

— Ты что, слепой? Не видишь машину? Перевези на тот берег!

— Обождешь.

— А я те говорю — перевези!.. Не то переплыву и по шее тебе надаю, — сказал Петя.

— Я те надаю... — миролюбиво ответил тот. — У меня инструкция, понял?

— Какая еще инструкция?

— Горючее экономим. Значит, поодиночке перевозить нельзя. Только группами.

— Не дури, слышишь?

— Я те говорю — группами съезжайся! Объединяться надо!

— Да с кем я тут объединюсь!

— Подъедут... Подождешь.

— Мы же торопимся. В райком едем!

— Все торопятся... Вас много, а я один. — Детина подался к будке.

— Стой, обормот! Ты грамотный?

— Чего?! — Паромщик остановился.

— Ты газеты читаешь? — кричал Петя.

— Ну!

— Про Марию Ивановну Твердохлебову читал?

— Это которая хлеб ро́стит?

— Ну! Вот я и везу ее.

— А не врешь?

— Чего мне врать?

— Пусть из машины выйдет... Покажется. У меня инструкция. Понял?

— Тьфу, мать твою! — выругался Петя. — Мария Ивановна!

Но она уже вылезала из «газика», смеясь, кричит:

— Паспорт нужен?

Перевозчик ничего не ответил, ушел в будку и в момент завел мотор. Паром отчалил, развернулся и довольно быстро стал приближаться к этому берегу.

Вот он пришвартовался к припаромку, перевозчик быстро натянул причальные канаты и бросил сходни. Петя стал съезжать на паром. Потом поднялась и Мария Ивановна.

— Что ж это вы нарушили инструкцию? — спросила она паромщика. — Одиночек перевозите.

— Вы, товарищ Твердохлебова, не подумайте, что это

я из подхалимства, — суетился паромщик. — Чистое мое уважение к науке, и больше ничего.

— Шевелись, пустобрех! — сказал Петя. — Отчаливай! И так полчаса потерял из-за тебя.

— Ай-я-яй, какой невоспитанный шофер! Возит ученого, а ругается как сапожник.

Отдали концы, взревел мотор, и паром ходко двинулся поперек реки, давя, рассекая носом взводень на стремнине.

Когда стали причаливать, детина-паромщик зычно крикнул:

— Судейкин! Ты чего там, ай дрыхнешь?

Из прибрежной избушки проворно вынырнул сухонький старичок в засученных по колена штанах, в майке и, выбежав на припаромок, поймал конец, брошенный паромщиком, и накинул петлю на сваю. Мария Ивановна сошла на берег, за ней посеменил старичок, заискивающе поглядывая на нее, сказал:

— Здравствуйте, Мария Ивановна! Аль не узнаете? Я ж Судейкин. Помните якутскую станцию?

— Сидор Иванович! — Мария Ивановна смотрела на него с удивлением и скорбью, но руки не подавала.

А он ждал с подобострастием, подавшись вперед всем корпусом.

— Как вы здесь оказались? — спросила Мария Ивановна.

— Дак ведь нужда заставит сопатого любить. Вот в сторожа нанялся, подрабатываю. Пенсия маленькая.

— Но почему здесь, а не в Якутии?

— Ге-ге... Не сработались мы после вас с Людмилой-то Васильевной. Тяжелый она человек и зловредный. Она ведь меня под монастырь подвела... Попутала меня. Мол, казенное сено продавал. Какое оно казенное? Я сам его и косил. Ни за что, можно сказать, пострадал. И насиделся я, и из партии исключили. Теперь вот один как перст.

— Да, Сидор Иванович... Вот как оно все обернулось.

— Не говорите, Мария Ивановна! Вы уж меня извините... Ежели я вас и обидел чем тогда, так ведь исключительно по дурости. Зеленый был, совсем глупой.

— Бог вас простит. — Она пошла прочь.

А старичок осмелел и посеменил за ней, сладко улыбаясь, опять стараясь заглянуть в лицо:

— Я ведь чего хотел попросить у вас... Взяли бы меня сторожем к себе. У вас место постоянное, тихое и в тепле все же таки.

— Не надо! И не просите. С меня хватит и того, что было...

Суровая якутская земля: каменистые осыпи, гольцы, горные склоны, покрытые изреженной тайгой. Словно под крылом самолета, проплывают широкие плесы таежной реки, редкие поселения, разбросанные по таежным распадкам, да неширокие проплешины полей.

Ранняя весна. Вдоль берегов реки на галечных косах еще истлевают голубые ноздрястые льдины, еще голыми стоят лиственницы и березы, а тальники в заводях уже в желтом пуховом налете. Стаи уток постоянно взлетают с воды и низко, долго мельтешат над волнами широкой реки. По реке идет первый пароход. Василий и Муся стоят на палубе, у них уже дети — Володя и Наташа. Мальчику года три-четыре, а девочка совсем еще маленькая, на руках у отца. Пароход дал долгий хриплый гудок и стал причаливать к пристани. На дебаркадере надпись полукругом: «Вознесенское».

— Вот мы и дома, — говорит Василий.

Длинный рубленый дом барачного типа на отшибе от села. Возле дверей фанерная дощечка с надписью: «Вознесенская опытная сельскохозяйственная станция». Василий с чемоданами, Муся с детишками, сопровождающий их старый якут с огромными узлами подходит к двери.

— Сюда, понимаешь. Чего стали? Стесняй не надо. Якуты так говори: заходи — хозяин будешь! — сказал старик.

Они проходят в коридор. Здесь якут открывает комнату:

— Это вам готовил. Сам печка топил!

Он бросает посреди комнаты узлы. Трогает рукой печку:

— Попробуй! Картошка испечь можно.

Василий, потом Муся притрагиваются к печи, радостно отдергивают руку.

— Как сковородка. Шашлык жарить можно, — сказал Василий.

— А как вас зовут? — спросила Муся старика.

— Аржакон.

— Вася, у тебя же дядю, кажется, зовут Аржаконом?

— А вот он и есть мой дядя, — сказал Василий, улыбаясь. — Правда, Аржакон?

— Конечно. А почему нет? Был дядя — стал дедушка, понимаешь? — Аржакон усмехнулся, покачал головой. — Борода нет — кто бабушкой зовет. Тоже неплохо.

Василий и Муся смеются.

— Вы что же здесь, на работе? — спрашивает Муся.

— Моя работа — такое дело: смотри за всеми — ничего не делай.

— Значит, ты самый главный начальник, — говорит Василий.

— Начальник уехал в Якутск. Моя оставил. Может, рибка хотите? Свежая есть — тала.

— Тала? А что это такое? — удивилась Муся.

— Строганина из сырой рыбы, — ответил Василий.

— Да кто же ест сырую рыбу? — удивилась Муся.

— Все едят, понимаешь, — ответил Аржакон. — Сырая рыба дух бодри.

— Да ты попробуй! — сказал Василий.

— Ну ладно, — соглашается Муся. — А где она, свежая рыба-то?

— Речка плавай, — ответил Аржакон. — Сейчас ходи поймай.

Все смеются. Аржакон уходит.

— Кстати, а где живет твой дядя? — спросила Муся.

— Не знаю.

— Как не знаешь?

— Ну, так. Он пропал в гражданскую. Ушел в Забайкалье... Оказался на территории ДВР. А потом и след простыл.

— Ну что ж мы стоим? Развяжи-ка этот узел! Там у меня вировские образцы пшеницы и овса.

— Да подожди ты с семенами. Надо расположиться сперва.

— Располагайся, хозяйничай! А я сбегаю поля посмотреть.

Муся хлопнула дверью и вышла.

— Папа, пи-пи! — сказал Володя.

— Сейчас. — Василий достал из сумки горшок и стал расстегивать штаны на мальчике.

Опытные поля станции раскинулись на самом берегу Лены. Пожилая женщина, укутанная в шаль, водит Мусю по полям, отвечает равнодушно. Это Марфа — работница станции.

— Сколько дней длится вегетационный период?
— Не знаю. Селекционер уехал, ничего не сказал.
— Но он же вел записи?
— Какие там записи! Пил он целыми днями. Тут, говорит, нетокмо что пашеница — овсюг и то не созреет.
— Но вы же собирали колоски? Образцы-то местные храните?
— Да чего их собирать, колоски-то? Они сроду не вызревали.
— Сеяли ж рожь или овес?
— Сеяли.
— Куда же их девали?
— На сено скашивали. Лошадям.
— А чем занимались рабочие?
— Рыбу ловили, сено заготавливали. А кто и за пушниной ходил.
— Сколько вас было?
— Я да Чапурин. Вон еще якут, Аржакон.
Аржакон шел от реки и нес здоровенного ленка.
— А из начальства которые, постоянно менялись. Тут, говорят, озвереешь или осатанеешь от вина. Дак ить они и пили ведрами. Теперешний, слава богу, в рот не берет. Он комсомолец.
— Он что, в Якутске?
— Рыбу повез продавать... Летом рыбу, зимой сено... Оборот налажен.
— А почему не вызревала пшеница?
— Кто ее знает? Земля холодная.
— Поздние заморозки случаются?
— Бывают. Иной раз в июне иней на траву выпадает.
— Н-да, весело живете, — сказала Муся, подняла горсть земли, помяла в руке, потерла пальцами.
Подошел Аржакон с рыбой. Муся спросила:
— Инвентарь-то хоть есть какой?
— Чего?
— Ну, плуги там, сеялки?
— Сеялок есть — колеса нет, — ответил Аржакон.
— Куда же они делись?
— Растащили на телеги... А может, и пропили, — ответила Марфа.
— Ну что ж, будем сеять по доскам, — сказала Муся.
— Как это «по доскам»?
— Увидите.

Первая весенняя посевная на якутской земле. Чапурин, невысокий колченогий мужик с широкой, как ладонь, лысиной, идет за сохой. Идет сурово насупившись, изредка покрикивая на лошадь:

— Ближе! Ближе!.. Вылезь, ну! Вылезь! Но!

Аржакон боронит — сидит верхом на лошади и мурлычет свои «ырыата».

Муся и уже знакомая нам Марфа сеют «по доскам». Муся одной доской делает бороздку, высевает в нее семена, второй доской присыпает и, чтобы не топтать посев, становится на эту доску. Марфа каждый раз, как Муся прижимает ногой доску, произносит:

— Та-ак! Та-ак! Та-ак!.. — Потом попросила у Муси доски. — Эдак-то и я сумею.

— Ну-ну! — Муся передала ей доски.

Василий приносит новые мешочки с семенами:

— Здесь вировский овес... Тут ячмень. А это вот тобой собрано в экспедиции.

Муся берет на руку зерно из последнего мешочка:

— Да, это олекминская пшеница. Местный сорт.

— Ну, не совсем местный. До ее родины добрых полтыщи километров. А то и всю тыщу намеряешь, — сказал Василий.

— Начальника едет! — крикнул с лошади Аржакон.— Вон его катер немножко трещит.

Небольшой катерок, попукивая, подходит к берегу. На поле невольно приостановились, смотрят на катер.

Из катера легко выпрыгнул щеголевато одетый молодой человек. На нем хромовые сапожки, серый френ с накладными карманами, фуражка. Он из того типа людей, про которых в народе говорили «полувоенный». Это тот самый Судейкин, но молодой и прыткий. Чуть пригнувшись, выбрасывая вперед колени, поднимался он по речному берегу. У него еще и планшетка оказалась через плечо, на тоненьком ремешке. Он даже руку приложил к фуражке, когда поздоровался, подойдя:

— Здравствуйте, товарищи!

Но рука коснулась фуражки неловко, дугой. Василий чуть иронически смерил взглядом его верткую фигуру и крепко тиснул ему руку, так что «полувоенный» поморщился.

— Давно из армии? — спросил Василий.

— В армии не был, — чуть замялся тот. — Военобуч проходил по решению ЦК комсомола Якутии. — И тут же,

спохватившись: — Меня зовут Сидор Иванович, по фамилии Судейкин.

— Силантьев Василий Никанорович, — ответил Василий.

— Я уж в курсе. Опытную станцию мне приказано сдать вам. А я остаюсь при вас заместителем по хозяйственной части.

— Завотделом селекции Мария Ивановна Твердохлебова, — представил жену Василий.

— Сидор Иванович, — протянул руку Судейкин. — Рабочих по отделу селекции разрешено нанимать сезонно — не более пяти человек. Штатное расписание здесь,— указал он на планшетку, и Василию: — Разрешите приступить к передаче?

— Пойдемте.

Василий и Судейкин двинулись к конторе.

— Извиняюсь, вы не комсомольцы? — спросил на ходу Судейкин.

— Я член партии, а жена выбыла механически, — ответил Василий.

— Извиняюсь, это вам минус.

— Почему?

— Не работали с ней по единой линии, вот она и выпала из рядов.

— Она беспартийный большевик.

— Ну, тогда мы и ее должны охватить.

— Чем это ее охватить?

— Программой всеобуча. Изучение противогаза, винтовки образца девяносто первого дробь тридцатого годов, комплексом ГТО, стрельбой по мишени.

— У нее теперь своя стрельба пойдет на опытном поле.

— Какая стрельба? Неорганизованная стрельба строго запрещается.

— Успокойтесь... У нее организованная.

И на поле возобновилась прерванная работа.

— Ближе! Но! Ближе! — покрикивает Чапурин на лошадь и идет за сохой, насупленно смотрит в землю.

— Та-ак, та-ак, — повторяет Марфа, придавливая одну за другой доски, пытаясь не отставать от сноровисто сеющей Муси.

А над их спинами, как песня жаворонка, протяжно льется заунывная «ырыата» Аржакона.

Короткая якутская весна протекает бурно; еще только вчера на голых речных берегах, в глубоких и черных проемах обнаженного леса чуть желтели ивняковые островки, а сегодня зазеленел подлесок, выбросила клейкие, резные листочки береза, окуталась салатным пушком лиственница. Еще только вчера табунились стайками над рекой утки, а сегодня одинокие селезни тоскливо жмутся к камышовым зарослям, где на гнездах сидят их присмиревшие подруги; еще вчера в сизом, вязком небе тянулись частые клинья гусей и журавлей, а сегодня по вечерам с глухих болот на таежных распадках послышались гортанные, высокие клики журавлиных песен, и на ранней светлой зорьке почти незакатного дня с черных укромных проток да заводей ударил раскатистый трубный зов одинокого оленя.

Весна и лето слились в одном ликующем порыве пробуждения — взять от солнца, от земли, от этого теплого ветра, от влаги все для короткой и бурной жизни.

На полях опытной станции, где еще только вчера сеяли, сегодня густо зеленеют всходы, и две одиноких фигурки — Муси и Марфы — склонились в прополке и кажутся совсем точками на этом мягком огромном разливе зеленей.

Маленький Володя подбегает к пропольщицам и кричит:

— Мама, сегодня день давно уж кончился. Папа говорит: ночь началась. Спать пора.

— Ах ты, мой звоночек! — Муся берет его на руки. — Значит, маму пожалел?

— Нет, я тебя не жалел. Это папа меня послал.

— Слышишь, Марфа? Начальство приказывает бросать работу, — говорит Муся.

Марфа встала с колен, с трудом разогнула спину, уперев руки в поясницу.

— О господи боже мой! Спина одеревенела. — Оглядывает прополотую полосу. — Ну, Марья Ивановна, за вами и на четвереньках не угонишься.

— Это не я тороплю, Марфа, — время гонит. Если трава забьет всходы, тогда пиши пропало, не успеют они созреть.

— Так-то оно так. Потянем их. Господь даст — и вызреют.

— Тут, как говорится, на бога надейся, но сам не плошай. А вот с опылением нам вдвоем не справиться. Надо бы еще кого-то пригласить, — говорит Муся.

— Хотите, я племянницу позову?

— Где она? Что делает?

— В школе учится, в восьмом классе.

— Это хорошо. Это у нее вроде практики станет... Пригласи.

Они идут к длинному бревенчатому бараку, к своей конторе и своему жилью. У порога их встречает Василий:

— Привет старательным культурхозяевам! Вы что же нас голодом морите?

— То-то видно, как вы истомились, бедные, — отвечает Муся.

Из-за плеча Василия выглядывает Судейкин, а там глубже стоит Чапурин и Аржакон. Все в сборе.

— Вы что, или женить кого собрались? — спросила Муся. — По какому случаю сбор?

— А вот проходите и узнаете... Мы тоже не бездельничаем, — загадочно улыбается Василий.

Он ведет Мусю по коридору. Остальные идут за ними. Рядом с их комнатой над очередной дверью дощечка с голубой надписью: «Селекционная лаборатория».

— Видишь? — указывает Василий.

— Солидная вывеска, — улыбается Муся. — Неужели сам сотворил? Живописец!

— Минуточку! — Василий торжественно растворил дверь и королевским жестом на порог: — Прошу, товарищ заведующий отделом селекции!

Муся перешагнула порог и ахнула: тут на свежеструганных аккуратных полочках стояли колбочки, пробирки, стеклянные банки, плошки, а на столе красовался новенький, сверкающий никелем микроскоп и пачка журналов и тетрадей.

— Откуда? Когда? — удивленно спрашивала она.

— Оборудование доставил сегодня из Якутска, — сказал Судейкин.

— А полки, полки-то? Какая прелесть!.. — удивлялась Муся.

— Золотых дел мастер, — указал Василий на Чапурина. — Его работа.

— Андрей Егорыч, вы и это умеете?

— Дак дело нехитрое. Было бы из чего, — смущенно отвечал Чапурин.

— И все, почитай, одним топором сработано, — сказал Василий.

— Дак умеем топор держать. Дело нехитрое, — сказал Чапурин.

— У нас еще и почвенная лаборатория оборудована,— сказал Судейкин.

— Сидор Иванович, это уж разглашение военной тайны, — сказал Василий.

— А ну-ка, ну-ка! — подхватила Муся.

Они перешли в соседнюю комнату. И здесь такие же полочки с расставленными приборами, стол, принакрытый газетами.

— А что у вас на столе-то? — спрашивает Муся.

— Почвенные образцы, — отвечает Василий.

— Когда же вы успели? Покажи-ка!

Муся подходит к столу, Василий срывает газеты. Стол накрыт водкой, вином и закусками. В центре стола огромная миска, полная розовой строганины из тайменя с луком.

— Это главное произведение искусства — тала! — указывает на чашку Василий. — Принадлежит оно Аржакону. Что есть это? Рыба. А что есть рыба? Аржакон, ответь!

— Ну, риба есть — и жизня есть! Риба нет — и жизня нет.

— Правильно! — заключил Василий.

— Но по какому случаю? — спрашивает наконец оторопевшая Муся.

— По случаю открытия нашей опытной селекционной станции. Все за стол! — командует Василий.

Люди рассаживаются; Василий разливает водку и вино:

— За тот хлеб, который мы вырастим на этой земле!..

Широкое поле цветущего ячменя. Шелестящие овсы... А сочные короткие стебли пшеницы только еще начали колоситься.

Муся стоит на краю деляны ячменя, трогает руками колосья, словно малого ребенка гладит. К ней подходит Марфа с высокой, худенькой, но крепкой девушкой-подростком и говорит:

— А вот и моя племянница!

Муся протягивает ей руку, как взрослой:

— Меня зовут Марией Ивановной.

— Здравствуйте, — лепечет Люся.

— Ты знаешь, что такое селекция?
— Нет.
— Вот гляди: здесь ячмень, а это пшеница. Тут колос большой, а здесь нет еще. Надо нам вырастить такую пшеницу, чтобы она созревала раньше ячменя.
— А когда мы ее вырастим? — спрашивает Люся.
— Может, через десять, а может быть, и через двадцать лет. Не надоест тебе ждать?
— Я терпеливая. Я с детства пряду... И ткать умею.
— С самого детства! — улыбается Муся. — Да, стаж терпения у тебя большой. Тогда приступим к опылению.
Муся берет пинцет и начинает удалять пыльники.
— Вот, видишь, как это делается?.. Пыльники долой, пестики оставляешь... Потом опыляем, пыльцу берем отсюда... Вот это и есть скрещивание. А теперь — под колпак. — Муся надевает белый колпачок на колос.
— Как в больнице, — усмехается Люся.
— Правильно! Здесь тоже зарождение происходит, только нового зернышка. — Ну, бери инструмент... Прививай.
Люся начинает обработку колоска, от усердия прикусив губу.
— Та-ак! — подбадривает ее Марфа.
Они втроем начинают обработку деляны.

Солнце уже свалилось к закату, а они все еще стоят по грудь в зеленом ячмене, а за ними широкая деляна покрылась белыми колпачками.
Быстрые пальцы ловко снимают изоляторы с колосьев. Муся, обработав деляну ячменя, останавливается опять возле пшеницы. Медленно-медленно ходит вдоль деляны.
— Ну, что, плохо, Мария Ивановна? — спрашивает ее «из овсов» Марфа.
— Растет, но туго, — отвечает Муся. — Кабы похолодания не было. Тогда прощай наши пшеницы...
— Сколько трудов положено! — вздыхает Марфа.
Люся работает рядом с Марфой, на них легкие безрукавные кофточки.
— Что-то холодно под вечер стало, — говорит Муся.— Давайте-ка сегодня пораньше уйдем. А то как бы Люся не простудилась.

— Да мне вовсе не холодно, — отзывается та.

— Нет уж, кончайте... Хватит на сегодня, — Муся срывает несколько зеленых колосков пшеницы.

С этими колосьями она подходит к дому. Увидев ее, с громким криком подбежал Володя:

— Мама, мама! Папа сказал — холодно будет.

— Когда это сказал папа?

— Сегодня...

Муся проходит в почвенную лабораторию. Василий сидит за столом, работает — смотрит в микроскоп.

— Кто сказал Володьке, что холод будет? — спросила она.

— Вон, сводка погоды! С метеостанции передали. Понижение температуры, вплоть до заморозков.

— Боже мой! Заморозки в августе?

Входит Аржакон.

— Топить будем, такое дело?

— Да, — отвечает Василий...

— Пропала моя пшеница... Не вызреет, — говорит Муся.

— Я знаю такое место, где пшеница всегда поспевай,— сказал Аржакон.

— Что за место? — спросила Муся.

— Мой друг есть. Далеко живи. Надо на лодке ехать.

— Кто он такой?

— Его кержак. Пантелей зовем...

— Вы можете со мной съездить? — спросила Муся.

— А почему нет? Можно, такое дело.

— Поедем завтра же, утром.

Легкая долбленая лодка поднимается вверх по лесному ручью. Аржакон стоит на корме и отталкивается шестом. Ручей каменистый, порожистый, лодка идет медленно. Муся сидит впереди.

— Устал, наверно? — спрашивает Муся.

— Есть такое дело, немножко, — отвечает Аржакон.

— Давай я помогу, потолкаю, — говорит Муся.

— Сиди смирно! Женщин имей ноги слабые. Стоять лодка нельзя.

— Ты прямо все знаешь, Аржакон.

— Конечно, — смиренно соглашается тот. — А почему нет?

Укромная лесная протока. Вода тихая, темная, как машинное масло. Лодка идет быстро, бесшумно. Наконец Аржакон выпрыгнул на берег и вытянул лодку.

— Вылезай! Приехали, такое дело.

По еле заметной тропинке Аржакон пошел вперед, в лесную чащобу. Муся за ним. Вскоре они вышли на просторную поляну. Здесь было поле необычно низкорослой, по локоть, желтеющей пшеницы. Муся как увидела эту маленькую пшеницу с большим колосом, так и припала на колени.

— Это ж карликовая пшеница! Карликовая! Загадка веков... Понимаешь, Аржакон?

— Конечно.

— И колос цветет вовсю. Она созреет, непременно созреет.

— А почему нет?

Муся сорвала один колосок, положила на ладонь.

— Ну, пошли к хозяину.

На другом краю этого обширного поля, возле самого облесья, стоял добротный крестовый дом из потемневшей коричневой лиственницы, а за ним двор, амбар, поленницы и, наконец, на отшибе молотильный сарай. Все здесь сделано прочно, экономно.

Когда Муся и Аржакон подходили к дому, залились собаки, и сам хозяин вышел на крыльцо. Это был еще относительно молодой мужик, без шапки, с кудлатой рыжей головой, в оленьей безрукавке, в бахилах из сохатиного камуса, он высился горой на крыльце.

— Цыц! — зычным окриком унял он собак. — Проходите, они не тронут, — прогудел он и, не здороваясь, сам прошел в избу.

В чистой передней комнате, с большой русской печью, с божницей в красном углу, он поздоровался легким поклоном:

— Здравствуйте! Проходите к столу.

На лавке у стола сидела миловидная женщина в длинной поневе и в белой полотняной кофте с красным шитьем на рукавах. Рядом с ней сидели и смирно глядели на вошедших два мальчика.

— Пантелей, я тебе привозил ученый. Его Москва ездил, — указал Аржакон на Мусю. — Теперь у нас на станции работай.

— Меня зовут Мария Ивановна...

— Милости просим, — повторил Пантелей, приглашая гостей к столу. — Авдотья, собери на стол!

Хозяйка встала из-за стола, прошла к печке.

— Может, молочка топленого испробуете? С кашей... Может, мясца? — спросила она Мусю.

— Спасибо, мы не хотим, — сказала Муся.

— Тебе не хочет, моя хочет. Тебе лодка сиди, моя шестом толкай. Не одинаково, понимаешь.

Все засмеялись. Стало как-то проще. Хозяйка накрыла на стол, беседовали, рассевшись по лавкам.

— У вас всегда вызревает пшеница? — спросила Муся.

— Всегда, — ответил хозяин.

— А сколько же лет вы здесь сеете?

— Не знаю. Еще дед мой раскорчевал эту заимку. Мне она досталась при семейном разделе.

— Значит, это заимка? А где же ваш основной дом был?

— В Вознесенском. Там отец проживал.

— А где же он теперь?

— Сослали в Сибирь.

— В Сибирь?! Куда уж еще из Якутии?

— Лес заготовлять. Говорят, кулак.

— Что значит — говорят?

— Значит, так определили. А какой же кулак отец мой? Вон Рындин был кулак! Рыбный завод держал... Работников имел. А отец мой сам всю жизнь хрип гнул, не токмо что работников нанимать. Дак мы сами плотники, сами все и смастерили. Какие же мы кулаки?

— И вас с Авдотьей притесняют?

— Покамест нет. Мы в середняках числимся.

— А вы жалобу писали насчет отца?

— Писал, да что толку? Может, отца бы и не тронули, да нужда случилась. Артель охотничью создали, а конторы не было. Вот и заняли дом моего отца под контору да под пушной склад.

— Кто же так распорядился? Это ж нечестно!

— Судейкин.

— Сидор Иванович?

— Он эту артель создавал. А потом ушел на станцию. Теперь и спрашивать не с кого.

— Нет, это дело нельзя так оставить. Я мужа попрошу — пусть съездит в Якутск.

— Где уж там...

Хозяйка меж тем накрыла на стол и даже поставку медовухи налила.

— Кушайте на здоровье, кушайте!

Хозяин налил медку себе и Аржакону. Муся пить отказалась.

— Я к вам с большой просьбой: нельзя ли у вас выкроить небольшую деляну? Для моих опытов. Мы все это оплатим вам, по договору.

— Какие же вы опыты хотите провесть? — спросил хозяин.

— Я хочу вывести такой сорт пшеницы, чтобы он созревал и здесь, и в Вознесенском... Повсюду в Якутии.

— Хорошее дело! Ну что ж, столкуемся.

— Ваше дело толковать, мое дело выпивать, — сказал Аржакон, поднимая кружку.

— На здоровье! — сказал хозяин.

Контора опытной станции. За столом сидит Василий. Рядом на стульях Муся и Судейкин.

— Как же так случилось, Сидор Иванович, что вы отобрали дом у Филата Одинцова? — спросил Василий.

— Очень просто — экспроприация экспроприаторов,— ответил бойко Судейкин.

— Какой же он экспроприатор, если у него не было батраков? — спросила Муся.

— Все равно — жил на широкую ногу. То есть паразитически-буржуазный образ вел.

— Он плотник... Середняк! Я проверяла! — крикнула Муся.

— За счет кого же он паразитировал? — спросил Василий. — За счет вас?

— Ну, это не обязательно, чтобы лично кто ему прислуживал. Он всех обирал.

— Каким образом? — спросил Василий.

— Больше всех наживался за счет продажи хлеба, — ответил Судейкин.

— Чей же он хлеб продавал? — спросила Муся.

— Свой.

— Ну и вы свой продавали бы, — сказал Василий.

— А у меня его сроду не было, — с гордостью ответил Судейкин.

— Почему? Земля-то у вас по едокам была поделена.

— Потому что у него скота много было, навозу то

есть. Две лошади, две коровы да свинья с поросятами. Опять для наживы...

— И вы бы развели скот. Что в том плохого? —спросил Василий.

— А то, что я артель создавал, а он в сторону глядел.

— Мало ли кто куда глядел. Это еще не основание для репрессии. И я бы вам советовал написать письмо в РИК, чтобы пересмотрели дело Филата Одинцова.

— И не подумаю. И вам не советую связываться с его сыном. Это как же, оказывается, поддержка всяким элементам?

— А вы читали статью товарища Сталина насчет головокружения от успехов? — спросил Василий.

— Читал. Но я теперь не занимаюсь коллективизацией, значит, она меня не касается.

— Правильно! — улыбнулся Василий. — А ты оборотистый!

— Мы приехали сюда новые сорта пшеницы выращивать, а не заниматься глупостями! — вмешалась Муся.

— Вот как! — Судейкин весь залился краской и встал. — Классовая борьба поважнее всех наших пшениц и овсов. Я свое дело сделал — предупредил вас. Поступайте как хотите. — Судейкин вышел.

— Вот блоха-то на теле классовой борьбы, — усмехнулся Василий. — Ну, что будем делать?

— Надо ехать на заимку. У меня на подходе несколько колосков олекминской пшеницы. Проведу опыление там, на месте... Чувствую — тут что-то интересное может завариться.

— Ну, добро! Бери Марфу, Люсю, и Аржакон вас доставит. А я утрясу это дело в районе.

Аржакон, Муся, Марфа и Люся подходят к заимке Пантелея. Хозяин с хозяйкой встречают их еще на дороге.

— Проходите в избу! — приглашает Авдотья.

— Нет, сегодня нам некогда, — говорит Муся. — Пантелей Филатович, для начала нам хватит восьмой части десятины Вы нам отмерьте. А рассчитываться будем так: подсчитаем средний урожай на вашем поле, и сколько придется на осьмушку, заплатим по базарной цене. Согласны?

— Дело, — ответил Пантелей. — Дак вы проходите на поле, а я сейчас принесу сажень и колья.

Пшеничное поле. Четыре женщины, пригнувшись, начали свое нелегкое кропотливое дело. А в летнем северном небе ходят кругами острокрылые стрижи. Они резвятся и над затерянной в тайге заимкой, и над обрывистыми берегами широкой таежной реки.

Василий едет по реке на катере, смотрит на далекие берега, на безоблачное белесоватое небо.

Впереди показался город Якутск. Василий останавливает катер в затоне и говорит мотористу:

— Ждите меня здесь. В случае необходимости справьтесь в райзо. Пока! — Василий уходит.

Райземотдел. Дверь с дощечкой «Заведующий райзо». Василий подходит к двери.

В кабинете встречает его пожилой человек, сдержанно-учтивый, в легком шевиотовом костюмчике.

— Здравствуйте, Василий Никанорович! — протягивает из-за стола руку заведующий.— Прошу присаживаться.

Василий, поздоровавшись, сел.

— Что там у вас за конфликт? — спросил заведующий. — Говорят, что вы начали кампанию за возвращение кулаков?

— А-а... Судейкин натрепал.

— Не знаю, кто натрепал. Но мне из райисполкома звонили и предупредили, чтобы вы занимались своим делом.

— Кто там звонил?

— Ну, фамилии я не спрашивал.

— Даже не спрося фамилии, вы уже решили: кто звонит оттуда, тот и прав?

— Я не хочу заниматься посторонними делами и вам не советую. У нас и своих хватает.

— Если человека незаслуженно, незаконно наказали? Неужели это вас не касается? Вы что, ничего не слыхали о перегибах?

— Есть люди, которых специально уполномочили разбирать эти перегибы. Вы-то чего волнуетесь?

— А я волнуюсь потому, что в наших учреждениях у некоторых своя рубашка ближе к телу. Своя хата у них с краю... А между тем партийный билет носят в нагрудном кармане.

— Это намек?
— Вы догадливы.
— А вы невыдержанный молодой человек. Мне еще сообщили, что вы вступили в сделку с кулацким элементом. И на его заимке чуть ли не опытное поле открыли?!
— Это клевета! На заимке Одинцова скороспелая пшеница, нужная нам позарез.
— Заведите себе такую же.
— Вот этим мы и занимаемся.
— На кулацкой заимке? — усмехнулся заведующий.
— Где угодно. И у самого господа бога смогли бы подзаняться, будь у него опытное поле.
— Ну что же, ваше дело — ваш ответ. А вы, между прочим, читали последнюю статью товарища Лясоты «Революция в ботанике»?
— Читал эту галиматью! — ответил Василий.
— Вон вы как! Товарищ Лясота правильно говорит — старые методы селекции не для нас. Черепашьи методы! А то еще и раковые! Назад пятитесь, к богу.
— Нам некогда играть вперегонки.
— Вот-вот... Товарищ Лясота так и говорит — в застойные болота превратились опытные станции. Надо заниматься передовыми методами земледелия. Продукцию выдавать на-гора! Пример показывать для колхозов. Продукцией! А вы по заимкам шляетесь.
— За свои дела мы умеем держать ответ, — сказал Василий.
— Желаю удачи.
Василий вышел.

— Мария Ивановна, а почему вы на делянах оставили несколько колосков под бумажными колпачками? — спросила Люся.
Они идут по деляне с ячменем, где когда-то проводили опыление. Мария Ивановна срывает эти редкие колоски под белыми колпачками.
— А это чтобы проверить, как чисто мы сработали. Если в колоске зерен нет, значит, мы удалили все пыльники и он не самоопылился. Вот видишь, — Муся подает ей колосок из-под колпачка, — он совсем пустой, мягкий... Потрогай.
Люся взяла колосок, помяла.
— Как интересно!

Снизу, от пристани, поднимался Василий. Муся, заметив его, быстро пошла навстречу.

— Ну, что стряслось? Зачем вызывали? — спросила она.

— Судейкин накляузничал...

— Насчет Пантелея?

— Да.

— Ну и что? Запретили?

— Отстоял...

— Спасибо, милый! — Она целует его. — Значит, можно продолжать на заимке?

— Продолжай, — говорит он весело.

Серп режет пшеницу. Ловкие женские руки крутят свясло, вяжут снопы. Вот уже целый крестец, второй, третий.

Укладывают снопы Муся, Авдотья, Марфа, Люся...

Мы видим, как летят эти снопы на телегу... Воз растет до поднебесья. Его утягивают деревом.

Поскрипывая, телега катится по травянистой дороге. Пантелей идет сбоку.

Цепы мелькают в воздухе... Летит зерно во все стороны. На току лежат снопы...

Лопата подкидывает зерно высоко-высоко, оно опускается на землю медленно, и так же медленно отлетает от него полова. Ворох золотистого зерна все растет и растет...

— Цены ему нет! Оно дороже золота, — говорит Муся.

Они стоят все вшестером возле этого вороха, и каждый берет на ладонь и разглядывает зерно, будто бы оно и впрямь чудо.

— Мы из него вырастим такой сорт, которому никакой холод нипочем. По всей Якутии пойдет, — говорит Муся. — Вы его берегите как зеницу ока, Пантелей Филатыч. Вы его в отдельный сусек ссыпьте.

— Об чем беспокоитесь? Все будет как надо.

— А по морозу, как только первопуток установится, мы приедем за зерном.

— Приезжайте, милости просим.

Василий мастерит детишкам тележку, прилаживает плетеный короб на четыре деревянных колеса.

— Вот сейчас наладим телегу, сядем и поедем.

— А куда мы поедем? — спрашивает Володя.

— Далеко... На Северный полюс.

— Это там, где мама работает? — спрашивает Наташа.

— Ну, мама работает чуть поближе, — отвечает отец.

— А почему же тогда она домой не приходит?

— Она приходит, когда вы спите.

— А когда же она уходит? — спрашивает Володя.

— И уходит, когда вы еще спите.

— Значит, мама наша не спит, — решил Володя.

Чапурин и Аржакон вносят в коридор охапки снопиков из ячменя и овса и проносят их мимо Василия в лабораторию. За ними появляется Муся, в фартуке у нее пшеничные колоски. Она остановилась:

— Вась, погляди! Вот и все, что я смогла собрать на наших делянках, — показывает она колоски Василию.

— Это олекминский сорт?

— Все тут. И вировские, и олекминские. Все питомники забраковала — не созрели. Вот и вся элита.

— Зато у Пантелея много.

— Да, на Пантелееву пшеницу вся надежда.

— Мама, ты больше не уйдешь от нас? — спрашивает Володя.

— Милый мой! — она поцеловала его. — Вот подойдет зима, еще надоем тебе.

— Мария Ивановна, а можно мне и на будущий год прийти? — спрашивает Люся, стоявшая за ее спиной.

— Конечно, дорогая, если тебе интересно.

— Мне очень, очень интересно! Я поступлю обязательно в институт. Вот только школу окончу.

— Спасибо тебе за старание! Зимой учись как следует.

Зима. Сквозь окно селекционной лаборатории видно, как летят белые снежинки. Муся и Марфа сидят, сортируют семена, пересчитывают, ссыпают в бумажные пакетики. Теперь на стенах развешаны апробационные снопики, на полках колоски.

Входит Чапурин.

— Лошадь запряжена... Поедем, что лича?

Чапурин и Муся подъезжает на дровнях к заимке Пантелея. Вот и поля, теперь опустевшие, сарай, овины хлебные. А вот и дом. Но странно — не лают собаки, не видать ни хозяина, ни хозяйки. На крыльцо вышел ветхий мужичонко с ведрами, в нагольном полушубке и валенках.

— Вам кого? — спросил он Мусю.

— А где Пантелей Филатович?

— Хозяин, что ли?

— Да.

— Ён теперь далеко.

— Куда он уехал?

— Туда, куда повезли. А куда повезли, одному богу известно. Да вы иль не слыхали? — удивился он наконец. — Его же выслали. Здесь теперь живет бригада лесорубов.

— А где Авдотья с детьми?

— В амбаре.

— Там же холодно?

— Они «буржуйку» приспособили. Привыкнут!

Муся быстро пошла к амбару. Здесь и в самом деле из крыши торчала труба, из которой густо валил дым. Она постучала. Открыла ей Авдотья и, как увидела ее, закрылась углом платка и заголосила. Муся обняла ее за плечи.

— Как же это случилось-то?

От «буржуйки» поглядывали мальчишки, одетые в пиджаки и валенки. Авдотья откашлялась, утихла, открыла заплаканное лицо.

— Вечером приехали на двух подводах. Скотину увезли и его посадили... А потом уж этих вот, лесорубов привезли, а нас в анбар переселили...

Авдотья прошла к сусеку.

— Зерно-то ваше в сохранности. Пока не добрались до зерна-то. Забирайте...

— Спасибо! И вот что, Авдотья, собирайся! Детей собирай, и поедем с нами.

— Да куда же мне ехать? — заплакала опять Авдотья. — Кому я нужна?

— Мы вас проведем рабочей. И комнату вам дадим.

— Спасибо вам, кормилица! Матушка-заступница... — завопила Авдотья и повалилась перед Мусей на колени. — Всю жизнь за тебя бога молить буду.

Глядя на мать, горько заплакали дети.

— Что вы? Что вы? Встаньте! Разве так можно? — говорила Муся, пытаясь поднять Авдотью.

— Чапурин, собирайте детей! — приказала Муся.

Авдотья мигом встала.

— Да вы уж не обессудьте. Я сама быстренько соберусь. А вы зерно-то, зерно грузите в мешки. Там вон и мешки приготовлены.

Чапурин взял мешок, развернул его, пощупал и сказал:

— Добрый мешок... Травяной! Начнем, что лича!

Муся с Авдотьей стали держать мешок, а Чапурин насыпать зерно.

Подвода с Мусей, Авдотьей с детьми и Чапуриным подъезжает к станции.

— Сгружай пшеницу, — говорит Муся Чапурину и решительно идет в дверь.

Комната Судейкина. По стенам развешаны осовиахимовские плакаты, разрезы винтовки и противогаза, окопы полного профиля, с красноармейцами, ползущие по-пластунски стрелки и прочее. Судейкин сидит за столом, подбрасывает костяшки на счетах.

Входит Муся.

— Сидор Иванович, мы приняли новую рабочую. Квартиры пока у нас нет. Придется размещать в вашем кабинете.

— То есть как в моем кабинете? А мне куда?

— Переселяйтесь к директору. Зимой вам будет веселее.

— А кого мы приняли? Что за рабочая?

— Авдотья Одинцова.

— Ту самую, с заимки?

— Да.

— А вы знаете, что их раскулачили?

— А это меня не интересует. Приказ директора... Прошу выполнять.

— Ну ладно, поглядим! — Судейкин уходит.

Муся начинает снимать со стены плакаты.

В селекционной лаборатории женщины перебирают семена. Перед каждой на столе небольшая кучка, которая постепенно истаивает...

Муся засевает семена в плошки... В иных плошках уже крупные зеленя.

Мерзлое окно оттаивает, оплывает. В окно стучатся первые капли дождя. На поле Чапурин пашет на паре лошадей двухлемешным плугом.

Аржакон погоняет лошадь с сеялкой. Муся стоит на запятках сеялки.

И вот уже комбайн плывет. Комбайнер в очках, незнакомый нам. А подручным сидит Аржакон; он дергает за веревку копнителя. Параллельно с комбайном идет грузовик — принимает зерно.

Грузовик отходит от комбайна и катит по пыльной полевой дороге.

Он подъезжает к пакгаузу возле реки; здесь грузчики насыпают мешки. На каждом мешке крупное табло: «Госсортиспытание» и чуть ниже, крупно «Якутянка-241». Мешки несут на катер. Здесь Муся что-то говорит приемщику и расписывается в накладных. Приемщик тоже подписывается.

На очередной машине подъезжает Василий, подходит к Мусе, спрашивает:

— Нагрузились?

— Да, — отвечает счастливая Муся.

— Ну, поздравляю! С первым рейсом нашей «Якутянки», — Василий жмет ей крепко руку.

— Разрешите и мне присоединиться, — жмет руку Мусе приемщик. — Ваша «Якутянка» далеко пойдет.

— Не знаю, как «Якутянка», а вот автор ее далеко поедет... Это уж точно! — Василий вынимает из папки отпускной билет и подает Мусе.

Муся читает, сначала не понимая:

— Отпускной билет... — И взрывается от радости: — В Москву едем? На восемь месяцев! Вася, милый!

И она, забывшись, целует его при всех.

Опытная станция. Длинный северный день клонится к концу. Еще в кровавом отсвете заходящего солнца полыхает закат, еще в синей дымке хорошо просматриваются восточные дали, а природа уже спит: затихла до зеркального блеска река, не видно птиц в воздухе, бормочут спросонья куры на поветях, тяжко вздыхают жующие сено лошади, спят на подушках дети — Володя и Наташа,

и где-то далеко на лесной опушке монотонно и протяжно кричит полярная совка-сплюшка:

— Сплю-у-у... Сплю-у-... Сплю-у-у...

Василий и Муся сидят в селекционной лаборатории. На столах целые вороха отборного зерна. И они утомились: Василий курит, Муся сидит, устало опустив руки.

— На сегодня хватит, — говорит Василий. — Спать пора. Завтра с рассветом в путь.

— Да, пора, — отзывается Муся.

Вдруг зазвенел в соседнем кабинете телефон, — тревожный и пронзительный звон его легко проникал сквозь тонкую дощатую перегородку. Василий и Муся вопросительно и с некоторым недоумением поглядели друг на друга.

— Что за звон долетел издалека? — спросил Василий с иронической улыбкой. — В такую пору?

— В такую пору? — удивилась Муся. — Странно.

Звон перешел на непрерывный, торопливый ритм, будто за стенкой невидимый милиционер подавал тревожные свистки.

Василий вскочил и опрометью бросился в соседний кабинет.

Вернулся он оттуда через пять минут крайне растерянный.

— Что случилось? — спросила Муся.

— Срочно вызывают в райзо.

— Теперь? Ночью?

— Да, немедленно. Приказано прихватить с собой Судейкина.

— С какой целью?

— Не знаю... Да ты не волнуйся, — успокаивал ее Василий. — Это какое-то недоразумение. Я скоро вернусь.

— Я буду ждать тебя... Там, на берегу, возле пристани...

И она ждет. Сидит одна-одинешенька на пустынном речном берегу. Уже высоко поднялось солнце, стремительно проносятся над речной гладью береговушки, топают на пристани проснувшиеся пассажиры, поскрипывают сходни под тяжелыми сапогами грузчиков, а Муся не шелохнется, будто спит. Смотрит она в туманную речную даль, где скользит еле различимая черная точка, похожая

на такую же шуструю береговушку. Но эта черная точка заметно приближается, вырастает и обретает знакомые очертания станционного катера. Сидит за рулем один Судейкин. Василия нет.

Муся встала, спустилась по берегу к самому урезу воды. Судейкин вырулил на песчаную отмель, лихо выпрыгнул из катера, даже не поздоровавшись с Мусей, словно ее и не было здесь на берегу. На лице его играла злорадная усмешка.

— Где Василий? — сухо спросила Муся.

— Ваш муж отстранен от должности. Его попросили задержаться... до выяснения обстоятельств.

— Это какое-то недоразумение, — машинально повторила Муся давешнюю фразу Василия.

— Недоразумение то, что вы руководили станцией. А я переживал.

— Ну что ж, зато теперь вы довольны, — сказала Муся.

— Пока еще нет. Вот когда я вас отсюда вытряхну, тогда успокоюсь. — Он повернулся уходить и через плечо: — Почвенную лабораторию сегодня же освободить. В ней будет мой кабинет. Вам подготовить дела к сдаче, — и ушел.

Утро. Проснулись дети: Володя, черноголовый подросток, в трусиках и в майке делает зарядку, Наташа все еще лежит в своей кровати, закинув руки за голову, смотрит в потолок. А мать, безучастная ко всему, сидит за столом все в той же одежде, в которой была возле реки, смотрит долгим невидящим взглядом куда-то в окно — по всему видно, что она и в руки ничего не брала.

— Мама, а где папа? — спрашивает Володя.

— Папа заболел. Его увезли в Якутск.

— В больницу? — удивляется Наташа, приподняв голову.

— Да, в больницу.

Володя перестал делать свою гимнастику, спрашивает тревожно:

— Мама, что-нибудь серьезное?

— Пока еще трудно сказать, — отвечает, помедлив, Муся. — А вам придется в Москву ехать, к бабушке.

— Ой, в Москву! — закричала Наташа, вставая с кровати. — Да здравствует Москва! Ура а!

— Значит, бабушка ждет нас? — спрашивает Володя.

— Конечно. Она письмо прислала.

— Мама, а наша бабушка старенькая? — Наташа подходит к матери, обнимает ее за плечи, старается заглянуть в лицо ей, расшевелить ее или насмешить. — Она, поди, чепец носит, как в книжках?

— Она всегда по моде одевалась, — ответила мать, грустно улыбаясь.

— В школе говорят, что пароход пристает прямо к лесному берегу. Можно брусники набрать, пока он стоит, — сказал Володя.

— Ой, мы наберем брусники для бабушки! — обрадовалась Наташа.

— Вот и молодцы, — сказала мать.

— А как же папа? — спросил Володя.

— Я тут погляжу за ним. Поправится он — тогда и мы приедем в Москву. А за вами тетя Ирина прилетит. Ей телеграмму дали.

Муся в лаборатории упаковывает зерно в пакетики, надписывает их, складывает в стопки.

— Марфа, это вот образцы «урожайной». А здесь «магницкий овес».

— Я боюсь перепутать... У меня голова дырявая, — говорит Марфа.

— Я все записала... И в каталогах все есть...

— Вы уж погодили бы до приезда новенькой, — говорит Марфа.

— Это от меня теперь не зависит.

Открывается дверь, входит старшая сестра Марии Ивановны, Ирина. Это строгая располневшая женщина в сером дорожном костюме и в шляпе. Светлый плащ висит на согнутой руке.

— Муся, что случилось? — спросила от порога.

— Ирина, милая! — Мария Ивановна кинулась к ней на шею и разрыдалась, не стыдясь своих слез.

Муся с Ириной собирают детские вещи, упаковывают чемоданы. Детей нет. Ирина, заперев последний чемодан, присела на стул и сказала решительно:

— Ты как хочешь меня ругай, но я тебе прямо скажу — во многом ты сама виновата.

— В чем же? — спрашивает Муся.

— Да хотя бы в этой истории с кулацкой заимкой!

— Какая же она кулацкая?

— Ну не будем придираться к словам. Ладно, я еще понимаю тебя, когда ты проводила там опыление пшеницы. Ну, дело требовало... Но забирать с собой на станцию Авдотью?.. Это уж слишком!

— А бросить людей, которые помогли тебе... На произвол судьбы! Это не слишком?

— Но пойми же наконец, под какой удар ты ставила Василия! Станцию! Все свои опыты! У тебя же не частная лавочка, а государственное заведение! С этим считаться надо.

— С этим я считаюсь, — сухо сказала Муся.

— Нет! Желание быть доброй у тебя сильнее чувства служебного долга. Но мы ученые. Во имя науки мы не имеем права рисковать собой и своим делом ради отвлеченных филантропических идей. Неужели тебя папина судьба ничему не научила?

— Папу ты оставь в покое... И науку тоже. А насчет отвлеченных филантропических идей я тебе вот что скажу. Грош цена той науке, которая слепа и глуха к человеческим страданиям. Если мы работаем не для собственного благополучия, а для блага людей, то как же мы смеем проходить мимо той же Авдотьи, не протянув ей руку помощи?

— Ну, Авдотья еще не весь народ...

— Понятно... Проще служить отвлеченному народу, чем возиться с этими Авдотьями...

— Мы говорим на разных языках.

— Пожалуй...

Вознесенская пристань. Пароход готов отчаливать — раздался гудок. Муся чинно прощается с Ириной.

— Поезжай в Тимирязевку: Вольнова попроси. Может, он поможет. Все-таки у него вес, — говорит Ирина.

— Да, да, — машинально произносит Муся, потом целует детей.

— До свидания, мои милые... До свидания!

— Мама, а у тебя слезка на щеке, — говорит Наташа.

— Да что ты? Это водой с реки брызнула капелька...

— Мам, приезжайте и вы... Забирай папу с собой. Там он скорее поправится, — говорит Володя.

— Приедем, приедем! Целуйте бабушку.

Опять гудок. Пассажиры все ушли на пароход. Под-

нят трап, и Муся долго машет отходящему пароходу.

Потом медленно поднимается в гору, идет по полю. А поле зреющей высокой пшеницы все ширится и ширится до самого горизонта. И нет больше ни тайги, ни реки, ни строений, ни дымков... Бескрайнее поле, желтое поле, бегут по нему размеренные волны, да вьется узкая дорога, да человек идет. Да песня в небе льется, грустная, с хрипотцой, будто усталый женский голос поет:

Средь высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село,
Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело.

Муся выключает радиоприемник, из которого и разливалась эта песня. Стало тихо. Она бесцельно прошлась по опустевшей теперь комнате, оправила одеяла на детских кроватках и вышла в коридор.

Здесь она почти столкнулась с молодой женщиной, которая шла с Судейкиным.

— Мария Ивановна! — окликнула ее эта женщина.

Муся узнала ее, улыбнулась.

— Здравствуйте, Люсенька!

— Здравствуйте! — Люся подошла к ней, уткнулась в плечо и вдруг всхлипнула не то от радости, не то от горя. Но быстро оправилась и сказала Судейкину:

— Сидор Иванович, оставьте нас.

Судейкин ушел.

— Пройдем в лабораторию, — приглашает ее Мария Ивановна. — Значит, вы и есть тот человек, которому я должна сдать дела? Ну что ж, я очень рада.

— Мария Ивановна, я должна вам сказать... — начала в лаборатории Люся. — Я должна извиниться перед вами... Я глубоко виновата...

— В чем?

— Я только здесь узнала обо всем... Я бы никогда не посмела подменять вас... Я ехала сюда с радостью, думала работать с вами...

— К сожалению, не всегда получается так, как мы хотим.

— Нет, я не могу от вас принимать дела...

— Да вы успокойтесь... Почему же?

— Потому что я не хочу работать вместе с этим подлецом. Мне уже здесь рассказали, что этот Судейкин оклеветал Василия Никаноровича. Как же мне работать вместе с таким?.. Я откажусь.

— Я понимаю тебя. — Муся взяла ее за руку. — Милая девочка, в твою пору я бы, наверное, так же поступила. Но мы с тобой для отечества стараемся, а наше отечество не из одних Судейкиных состоит. Работай не с Судейкиным, а с Марфой, с Аржаконом, с Чапуриным... Работай со всеми этими семенами... Мы вместе начинали... Я не могу, ты обязана продолжать. Разве мы для Судейкина выращивали все это? — Она указала на столы, на полки, заваленные снопиками, да семенами, да мешочками, да стопками исписанных тетрадей и журналов. — Так что принимай!

— Хорошо, Мария Ивановна, я приму... Я... — Люся прикусила губу и запнулась, но потом подавила нервический приступ и сказала твердо: — Я постараюсь быть достойной вас...

— Надо доказать, что работали мы не впустую.

Часть вторая

Возле трехэтажного горкома партии остановился знакомый нам «газик». Из него вылезает Мария Ивановна.

— Ничего, Петя... Мы им докажем, почем фунт изюма.

— Если обедать пригласят, не соглашайтесь. У меня здесь все организовано, — он похлопал по термосу. — Мы лучше на вольном воздухе поедим.

— Ты у меня, Петя, просто отец-кормилец. И когда ты все успеваешь?

— Одна нога здесь — другая там.

— Уважаемые товарищи! Дорогая Мария Ивановна! Вся сложность и даже некоторая деликатность поставленного перед нами вопроса самой жизнью требует от нас известного мужества при его решении. Не эмоции должны руководить нами, а трезвый реализм, экономический расчет, реальная необходимость. Надо уметь наступить на горло собственной песни, как сказал поэт. Эта закономерная необходимость, увы, хорошо знакома не только поэтам, но и нам, ученым. Я сам руководил опытным хозяйством при Академии наук и знаю, как мне было больно

закрыть его в силу более высокой целесообразности, продиктованной современной наукой, — горячо, проникновенно ораторствует Лясота; он стоит за невысокой трибуной в конференцзале горкома партии. Он старчески сух, аскетически бледен, но темные беспокойные глаза его полны лихорадочного блеска, внутренней силы и огня. Перед ним за столами сидит городской актив, среди которого и Мария Ивановна; а председательствует секретарь горкома Северин, тот самый бывший областной агроном, который когда-то отказался уничтожать клеверища.

— Мы понимаем, что ваш селекционный участок, Мария Ивановна, находится в самой глубинке, в окружении полей, которые должны быть преображены плодами и трудами вашей научной деятельности. В этом, бесспорно, преимущество вашего участка. Но какова его производственная мощность? Полторы тысячи, ну две тысячи линий... Это, извините, вчерашний день науки, пройденный этап. Современные селекционные станции имеют десятки тысяч, а то и сотни тысяч линий всех разновидностей злаков и овощей. Вот он, предел нашей науки сегодняшнего дня. Тургинская селекционная станция может иметь исключительную перспективу развития и с радостью примет в свои пределы ваш участок. Вы, Мария Ивановна, не чужой человек для Турги. Вас там помнят и ждут, как опытного ученого, как своего учителя. Вот почему я голосую обеими руками за перенесение вашего участка в Тургу.— Лясота в гробовом молчании прошел на свое место.

Встал Северин и объявил:

— Слово имеет председатель райисполкома товарищ Колотов.

За трибуну прошел уже известный нам бывший начальник опытного хозяйства, он также сильно постарел, раздался телом, но потерял ту напористость и самоуверенность, манеры его теперь отличаются какой-то умиротворенностью и даже мягкостью.

— Дорогая Мария Ивановна, чествуя вас сегодня с заслуженным юбилеем, мы надеемся, что эта производственная процедура, совпавшая по чистой случайности с вашим торжеством, не огорчит вас. Вы в достаточной мере доказали высокую принципиальность ученого и многим из нас преподнесли в свое время наглядный урок. Поверьте, мы оценили его по достоинству. Но поймите нас правильно, вернее, оцените нужду нашу, — нам необходима ваша помощь. Вы знаете, что мы срочно создаем откор-

мочное хозяйство. Без него трудно выполнить план по мясу. Это наше узкое место. И не мне говорить вам, как необходимо наращивать темпы развития животноводства. Короче, без откормочного хозяйства нам не обойтись. Где его создавать? Нужны для этого луговые угодья, производственные помещения, хотя бы на первое время. Кроме вашего участка, к сожалению, у нас ничего подходящего нет. У вас и сеяные травы, и клевера, и цеха имеются. Помогите нам. Ведь не лично мне, Колотову, понадобился ваш участок под совхоз. В этом проявляется государственная необходимость. Вы как государственный человек, Мария Ивановна, должны это понять. — Колотов еще что-то хотел сказать, но только вздохнул и развел руками.

— Понять вас не трудно, товарищ Колотов, — сказала Мария Ивановна, поднимаясь из-за стола, и к Северину:— Можно мне с места говорить?

— Пожалуйста! — отозвался тот.

— Приспело на охоту идти, тут и собак кормить. О чем же вы раньше думали, товарищ Колотов? Спору нет, откормочное хозяйство создавать необходимо. И место у нас подходящее — и приволье хорошее, и контору есть где разместить... А вы забыли, чем мы там занимаемся? Мы выращиваем скороспелый сорт пшеницы. Не мне вам говорить, товарищи дорогие, как важно для сибирских полей иметь сорт пшеницы, созревающей недели на две, на три раньше обычного. Это миллионы тонн зерна, сбереженные от осенней слякоти и распутицы. Если мы сейчас свернем свои работы и станем перебазироваться в Тургу, то наверняка потеряем со сменой питомников три-четыре года, а то и больше времени в создании такого необходимого нам сорта пшеницы. Вот и посчитайте, товарищ Лясота, какие миллионы может потерять при этом страна. И ваша экономия за счет концентрации науки окажется призрачной и даже смехотворной. И пора бы вам уяснить наконец — наука не делится на день вчерашний и день сегодняшний. Наука не мода, зависящая от прихотей закройщиков и капризов шаловливой публики. Наука, как вечно зеленое дерево жизни, питается соками человеческого познания беспрерывно — и день вчерашний, как и день сегодняшний, суть побеги и ответвления могучей и единой кроны ее. Случается, что засыхают отдельные побеги. Их отымают. Так вы хотите сказать, что наш селекционный участок и есть такой вот засохший побег, который отымать надо? Так, да?

Молчание.

— А если не так, то кто из вас, скажите мне, хочет резать по живому телу? Вы спросили нас, целый коллектив, проработавший на этом участке двадцать лет?.. — Она вдруг смолкла с мучительной гримасой и тяжело оперлась руками о стол.

— Что с вами, Мария Ивановна? Может, доктора позвать? — спросил Северин.

— Ничего... недомогание. — Она перемогла себя и, вздохнув, сказала: — Собственно, говорить больше не о чем, — и села.

— Я тоже так полагаю, товарищи! — поспешно согласился Северин. — Мария Ивановна очень впечатляюще доказала нам всю преждевременность затеи с перенесением селекционного участка в Тургу. Будем голосовать. Кто за то, чтобы селекционный участок оставить на месте?

Руки поднялись довольно густо.

— Так, все ясно. Большинство за...

Северин проводит Марию Ивановну в свой кабинет и произносит на ходу извинительно:

— Я виноват, Мария Ивановна. Это я настоял на сегодняшнем заседании. Честно говоря, боялся, что после юбилея голосование пройдет не в вашу пользу. А на юбилее, рассчитывал, постесняются обидеть вас. Да и вы были молодцом. Садитесь! — указывает на кресло Северин.

Мария Ивановна села в кресло, Северин на свой стул.

— Приезжайте сегодня вечером к нам, — сказала Мария Ивановна. — Мы будем рады.

— Мне уже Наташа звонила. Спасибо. Приеду непременно. Выпью за ваше здоровье с удовольствием. Мы с вами друзья старинные, как в песне поется.

— Зачем же вы пригласили на сегодняшнее заседание Лясоту? Порадовать меня?

— Извините... Но тут я бессилен. Из области прислали. Они там помешаны на укрупнении научных заведений. А Лясота, как всегда, готовый к услугам. Он хоть и отстранен от большого дела, но все еще консультант, старается...

— Да, все играет в науку. — Мария Ивановна невесело качнула головой.

— В общем-то, доигрался. С авоськой бегает, на автобусе ездит. А бывало, приезжал к нам что твой министр — три машины гонит, цугом! А Макарьев ему: «Разрешите к вам на запятки?» И пойдет потеха.

— Присмирел... Но зато каким изворотливым стал, — сказала Мария Ивановна.

— Да, почерк изменился, — согласился Северин. — А раньше игрок был, крупный. Ва-банк шел: или я, или никто! Макарьев прозвал его стерневым Аракчеевым. Помните?

— Мы с Макарьевым были друзьями.

— Да, ведь они с Василием однокашники. А когда Василий помер?

— Он не помер... Он ушел.

— Куда ушел?

— На войну. Все там остались... И Василий, и Миша Макарьев, и сын...

Гремит на стене репродуктор:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна:
Идет война народная,
Священная война...

Поздний вечер. Квартира Анны Михайловны. Она уже спит, высунув из-под одеяла голову в папильотках. Спят и дети в своих кроватках. Только Муся хлопочет по дому и часто поглядывает на старинные настольные часы. Уже одиннадцать.

Зазвенел звонок. Муся бросилась к дверям, торопливо раскрывая их. На пороге Василий в военной форме, но без петлиц.

— Ну что? — спрашивает она.

— Зачислили в ополчение. — Он вошел в комнату, снял шинель. — Завтра утром выступаем.

— Куда?

— Пока в Серпухов, а там видно будет.

— Боже мой! Да я и собрать тебя не успею до утра-то.

— Не надо собирать.

— Что?

— Я ухожу через полчаса... Все необходимое пришлешь в Серпухов.

Муся молча опустилась на стул и глядит на мужа, с мучительным недоумением сведя брови.

Василий прошел к столу, притронулся к рукописи: «Почвенная структура северных подзолов. В. Силантьев»... Перелистал несколько страниц.

— Не успел я, не успел... — говорит он.

— Я только одного не понимаю: к чему такая спеш-

ка? — отозвалась наконец Муся. — Успел бы еще навоеваться.

— Такие дела надо решать либо самому сразу, либо положиться на волю судьбы. Здесь есть свобода выбора... Свобода, Маша! А если ты человек, то ты воспользуешься таким случаем и выберешь.

— Мне кажется, ты упрощаешь! Нельзя всем бросать дела и скопом идти в солдаты.

— Не в том суть, Маша... Жизнь сдвинулась, и все укрупнилось. Мне уже мало сидеть над почвенной картой. Моя карта теперь там, где пушки стреляют. И тебе, по-моему, не до академии.

Муся опять поглядела на него значительно и с недоумением:

— Поесть собрать?

— Не надо... Мы там ужинали. Да и пора мне.

Она встала.

— Детей будить?

— Не надо. Прощай, Маша!

— Прощай!

Она упала ему на грудь и глухо зарыдала. Он прижался губами к ее волосам и обнял за плечи. Так они стояли неподвижно с минуту.

— И тебе, Маша, надо уезжать в Сибирь... Твоя академия теперь там. Без сибирского хлеба мы и войны не выиграем...

Таежная река Турга. На берегу ее опытная станция: несколько бревенчатых домов, вертлюги на метеоплощадках, поля. Ранняя осень. На станции пустынно, лишь на завалинке одного из домов сидят два мальчугана, болтают босыми ногами и упоительно тоненькими голосами поют:

Накинув плащ, с гитарой под полою,
Я здесь стою в безмолвии ночной.
Не разбужу я песней удалою
Роскошный сон красавицы мо-ёй!

Мария Ивановна тяжелой походкой, с небольшим саквояжем подходит к дому:

— Ребятки, где здесь контора станции?

— А вон там, в крайнем доме.

Мария Ивановна пошла к тому крайнему дому, а ребятишки опять запели:

Не разбужу я песней удалою
Роскошный сон красавицы мо-ей!

Мария Ивановна поднялась на крыльцо, открыла дверь и чуть не вскрикнула от удивления — за столом сидел Макарьев.

— Миша? Ты? Какими судьбами? — Она заплакала.

— Что с тобой?

— Вася погиб.

Макарьев встал, скорбно склонил голову. Помолчали.

— Крепись, Маша.

Она вытерла слезы и сказала:

— Извини... Никак еще не привыкну.

— Где он погиб?

— Под Серпуховом. Ушел с ополчением. И в первом же бою. — Она опять заплакала.

Макарьев подошел к ней, дотронулся до волос, она отвернулась и спросила иным тоном:

— А что ты здесь делаешь?

— Тебя встречаю. Я уже второй месяц как в Верхнетургинске. Главный областной агроном, прошу любить и жаловать.

— А здесь чего сидишь?

— Говорю — тебя встречаю. Директора станции перевели в совхоз. Маркович, как ты знаешь, ушел на фронт. А здесь придется тебе властвовать. И селекционером будешь, и начальником.

— Ты же сидел в ВИРе, в Ленинграде?

— Наш ВИР теперь — Сибирь. Без сибирского хлеба мы и не выиграем войну. Так что принимай дела.

Муся оглядела стеллажи, приборы, каталоги и сказала:

— Внушительно!

— Маркович был работник серьезный... Он начинал еще у твоего отца. Гляди. — Макарьев открыл один шкаф, другой, третий... И все завалено образцами — маленькие пакетики семян с надписями. — Более трех тысяч. Вот каталоги, — Макарьев указал на папки с каталогами. — Это элитные растения. Здесь самоопылители... Это перекрестники. У дядюшки Якова товару всякого — выбирай на вкус.

— Да, скучать не придется, — сказала Муся.

— Еще бы!.. Я тут почти неделю проторчал. Богатый материал. Честно говоря, завидую тебе.

— Садись рядом.

— Да где мне! У меня и пальцы не гнутся. Какой я

селекционер! Между прочим, я тут вычитал,— он указал на каталоги, — один сорт пшеницы, «таежную-девятнадцать», Маркович особо выделял. Обрати внимание! — Он вынул из шкафа небольшой снопик и передал Мусе. — Ведет себя не как самоопылитель, а как перекрестник. Странно?

Муся поглядела на колос, на чуть красноватое зернышко.

— Гибрид... сложный. Пока ничего примечательного незаметно.

— Ну Маркович не станет зря откладывать на видное место.

— Поживем — увидим, — сказала Муся.

— Само собой... Да, а где твои вещи?

— Я пока налегке, — ответила Муся. — Кое-что в Верхнетургинске оставила. Вот обоснуюсь, ребят вызову, тогда и вещи привезу. А ты где живешь? Где семья-то?

— Я, Маша, бобыль. Один как перст.

— Отчего ж не женишься? Или все еще завлекать не научился?

— В экспедиции всю пору. Всю жизнь пеший. — И сказал иным тоном: — Надеюсь, ты мне позволишь помочь тебе...

— Я справлюсь, Миша. Спасибо!

И опять вороха семян на столе, и сортирующие их ловкие женские руки, и пакетики с образцами, и записи в каталогах, и высевание в плошки... И зеленя, зеленя.

Только помогают ей другие люди, и лицо ее теперь другое: скорбное, с резкой складкой меж бровей, как надруб. И Мусей ее уж не назовешь — Мария Ивановна.

От зеленей в плошках сначала через окно, потом с высоты птичьего полета мы видим просторную весеннюю сибирскую землю — всю в зеленеющих березовых колках, в черных пахотных косогорах и в рыжих от прошлогодней стари низинах с блюдцами просыхающих болот.

По полевой дороге катит черная избитая и старая «Эмка». Вот она въезжает на усадьбу опытной станции и останавливается у крыльца конторы. Из автомобиля вышел хотя и пожилой, но прямой человек в суконной гимнастерке и быстро пошел в контору.

В кабинете директора сидела машинистка и стучала на машинке.

— А где Твердохлебова? — спросил вошедший.

— В лабораторном цехе, — ответила машинистка.

Приезжий прошел в лабораторный цех и несколько оторопел — за длинным столом сидели шесть женщин и перебирали целый ворох семян. Среди них была и Мария Ивановна.

— Мне нужна товарищ Твердохлебова!

— Я Твердохлебова.

— Поговорить надо.

— Пожалуйста, говорите, — ответила Мария Ивановна, не вставая.

— Разговор служебный. Я председатель райисполкома. — Он как бы от обиды поглядел в сторону, подчеркивая всем корпусом своим неудовольствие. — Вопрос ответственный. Мы должны оказать вам поддержку.

— Хорошо, пройдемте.

Мария Ивановна встала и провела его в кабинет.

— Я вас слушаю, — сказала она, присаживаясь и приглашая присесть гостя.

— Что же это получается, товарищ Твердохлебова? Вы представитель науки, наша опора — и подводите весь район? — начал весело Титов.

— Чем же я вас подвожу?

— Ну как это! Вся округа сеет, а вы все еще тянете.— Титов как бы приглашал ее на обмен взаимной шуткой или хотя бы любезностью. — Чего ждете? Милости божьей?

— Погоды... Рано еще, — сухо ответила Мария Ивановна.

— Погода для всех одинаковая. Вон в Карагожском районе уже вовсю сеют, а он севернее нас. — Титов все еще улыбался.

— Ну и что? Мало ли бывает в жизни нелепостей!

— Какие нелепости? С нас план посевной спрашивают. План! А вы — нелепости! — Он опять обиженно отвернулся.

. — Подойдет время — и вы посеете, выполните свой план.

Он аж привстал и чуть ли не руками всплеснул:

— Да вы что, с неба свалились? Соцсоревнование идет: кто раньше отсеется — получит Красное знамя. На доску Почета заносятся! В области...

— Кто раньше начнет зерно кидать в землю — это игра в глупость.

— А вы слыхали, что район принял соцобязательст-

во — закончить весеннюю посевную раньше, чем в прошлом году? — Титов все более накалялся, и землистого цвета лицо его покрылось багровыми пятнами.

— Не понимаю, зачем вам нужно отсеяться непременно раньше? Вы отсейтесь в сроки, которые природа устанавливает.

— Не природа нам, а мы ей диктуем условия. Взять от природы все, что можно, — вот наша задача.

— Но поймите же, сроки сева — это не прихоть, а научная закономерность. Здесь ранний сев вреден. Земля холодная, сорняки еще спят. Надо дождаться, пока они пойдут в рост... Спровоцировать их надо, а потом заломать и посеять...

— Не знаю, как насчет провокации сорняков, но от речей ваших отдает провокацией сева.

— Да куда вы гоните? Микрофлора здесь пробуждается только в июне.

— Какая микрофлора? Саботаж — вот что это такое.

— Извините, в таком тоне я не привыкла разговаривать.

— А вы не извиняйтесь! Вы нарушаете сроки сева, утвержденные областью.

— За свою станцию отвечаю я. И за свой сев.

— Вы не на огороде сеете. У вас десятки гектаров нашей районной земли. По вас равняются колхозы и совхозы. Глядя на вас, и они артачатся. Вы подаете дурной пример. Это вы учитываете?

— Очень хорошо! Могу только порадоваться за районы, где есть разумные хозяева.

— Вот как! В таком случае я вас предупредил: если до пятнадцатого мая не отсеетесь, вызовем на бюро райкома.

— Собирайте бюро в июне... Потому что во время посевной я просто никуда не поеду.

— Поглядим!

Председатель, не прощаясь, вышел.

Районный сибирский городок. Зеленый сквер перед белым двухэтажным зданием райкома. Лето. На огромной расцвеченной доске Почета крупные фотокарточки передовиков весенней посевной и крупно, белым по красному, названия колхозов: «Рассвет», «Путь Ильича», «Заветы Ленина», «Красный пахарь». Рядом с доской Почета по-

ниже и поменьше черная доска. На ее поле надпись: «Тургинская опытная станция закончила сев только 3 июня. Позор отстающим!» И еще ниже белым по черному: «Директор станции — М. И. Твердохлебова».

Мария Ивановна стоит возле доски, читает. Подходит Макарьев.

— Ай-я-яй! Чем это вы любуетесь, товарищ Твердохлебова? Чем гордитесь?

Мария Ивановна обернулась:

— Миша! И ты здесь?

Они поздоровались.

— А как же! Представитель области. Явился на пленум к вам — разбирать итоги посевной. Наградить передовиков, наказать отстающих. — Он озорно подмигнул.

— Раньше говорили: цыплят по осени считают, — усмехнулась Мария Ивановна.

— То раньше! А теперь у нас боевая задача на каждый период; вот кончилась посевная — намечай новые рубежи, нацеливай на уборочную. А если вас не нацелишь, вы, пожалуй, и убирать хлеба не станете.

— Значит, вразумлять будете? Но кого же?

— А это военная тайна. Что у тебя за конфликт приключился? — спросил Макарьев. — Мне уж звонили, жаловались на твою заносчивость!

— Приезжал председатель РИКа. Это командир в фуражке. И набросился на меня: «Сей незамедлительно!» Чуть ли не кулаком стучал. Ну, я его и выставила за порог.

— Нехорошо! Он же показатель гонит.

— Я не понимаю, чего они всполошились с этим севом? — спросила Мария Ивановна. — Да, идет война! Иные хозяйства ослабли. Так пусть сеют пораньше. Но есть еще крепкие колхозы. Зачем их подгонять? Зачем стричь всех под одну гребенку?

— Председатель РИКа не виноват, Маша... Это наш Лясота кинул сверху лозунг насчет раннего сева. Вот все и стараются.

— И откуда они только берутся?

— Кто? Филипп, что ли?

— Да я про этих начальников вроде председателя РИКа...

— Эх, Маша, был бы святой, а угодники найдутся.

— Да, пожалуй, ты прав. Ну что ж, пошли на пленум!

— Нет, Маша... Я приехал проститься с тобой.

— Как?
— Еду на фронт.

Макарьев и Твердохлебова идут по скверику. В пустынном уголке возле скамейки они остановились. Макарьев, как-то полуотвернувшись, глядя на свои ботинки, проговорил:

— Я хочу тебе что-то сказать, Маша. Может, присядем?

Она молча села. Макарьев продолжал стоять, глядя все так же косо и вниз.

— Я сегодня же уеду... Завтра буду в военкомате, а там — на фронт. И я больше не могу молчать... Я тебя люблю, Маша...

— Не надо об этом, Миша, не надо...

Он опустился на скамью и положил голову ей на грудь. Она как бы машинально гладила его волосы и смотрела прямо перед собой невидящими глазами.

С таким же отсутствующим взглядом она провожала его на перроне и смотрела куда-то вдаль, поверх его головы.

— Маша! — кричал он с подножки вагона. — Я буду писать тебе — ты мне отвечай, слышишь?

— Да, да... Хорошо! — Она кивала, прощально махала рукой. А взгляд оставался все таким же — невидящим.

Осень. На окнах первый налет морозного рисунка. Входит со двора Володя, вносит несколько кружков мороженого молока, потирает руки, говорит радостно:

— Ну, мама, дорожка промерзла, уф! Как по асфальту покатим.

Мария Ивановна укладывает в рюкзаки продукты на недельный срок Володе и Наташе. Двумя стопками разложено мороженое молоко — шесть кружков Наташе, шесть Володе. Потом картофельные лепешки. Тоже на две стопки.

— Наташа, картофельные лепешки уже посолены — только разогреть надо. А молоко оттаивай на медленном огне. Не то пригорать будет, — наставляет Мария Ивановна.

— Господи, уже уяснила, — как взрослая, отвечает Наташа.

В окно кто-то постучал. Володя взглянул в форточку и крикнул:

— Мам, ребята уже собрались! Только нас ждут.

— Ну, ступайте, ступайте!.. — Она затягивает рюкзаки.

Дети одеваются.

— Володя, уши завяжи! — приказывает Мария Ивановна. — Смотри не обморозь!

— Да ты что? Каких-то десять километров всего... Мы единым духом доедем.

— Наташа, накинь еще вот эту шаль, — подает она дочери клетчатую толстую шаль с кистями.

— Да я что, бабушка? Мне и в платке не холодно.

— А я говорю — повяжи!

— Ой, прямо кулема, — ворчит Наташа, но шаль повязывает.

Кто-то опять стучит в окно.

Володя хватает рюкзак и в дверь.

— Если будет занос, в субботу не приезжайте, я сама съезжу к вам, — наказывает Мария Ивановна.

— Ну да, испугались мы твоего заноса, — говорит Наташа.

Ушли дети, и квартира опустела. Мария Ивановна подходит к столу, машинально оправляет скатерть, берет треугольничком сложенное воинское письмо. Развернула, пробежала глазами, улыбнулась. Потом выдвинула ящик стола, достала чистый лист бумаги, ручку, села писать письмо: «Остались мы тут одни бабы. Работаем да вас вспоминаем. Конец лета был дождливый, бурный. Не только что хлеба — овсы полегли. И только одна «таежная-19» устояла, та, что выделил Маркович. Помнишь, белесые колоски и красноватые зерна? Урожай дала средний, а устойчивость у нее просто поразительная. Так вот в чем ее секрет... Буду тянуть ее, тянуть за уши. Улучшать...»

Скрипнула дверь, на пороге показалась встревоженная машинистка:

— Мария Ивановна, в лабораторном цехе беда...

— Что такое? — оторвалась от письма Мария Ивановна.

— Степанида упала со скамьи.

— Как упала?

— Так... Перебирала семена и вдруг повалилась, повалилась... На полу лежит. Кажись, не дышит.

— Позвоните доктору, чтобы немедленно явился! — Мария Ивановна бросилась из кабинета.

Лабораторный цех. Возле длинного стола, на котором насыпан был ворох семян, суетились бабы. Входит Мария Ивановна.

— Что с ней?

Она отстраняет баб, наклоняется над лежащей Степанидой.

— Омморок... Обнакновенно, — ответила одна женщина.

— Что за обморок? Отчего?

— От голоду...

— Она же вакуированная...

— Хозяйства своего нет... ни коровы, ни молока.

— А что по карточкам получает — детям отдает...

Бабы заговорили все враз, и Степанида слегка приоткрыла глаза.

— Подымите меня. Я сейчас, сейчас... наверстаю...

Ее подняли. Она попыталась было сесть к столу.

— Нет, — сказала Мария Ивановна. — На сегодня ты отработала. Отведите ее в мою комнату. Там теплее. Уложите в постель. А я сейчас принесу молока и лепешек картофельных... Покормить ее надо.

Две женщины уводят Степаниду под руки, остальные сели к вороху зерна.

— Вот она, жизнь, Мария Ивановна, — сказала одна со вздохом. Сидим возле хлеба и с голоду пухнем.

— Это не хлеб, бабы... Это семена. Наш хлеб воюет.

В лабораторном цехе в плошках колосящаяся пшеница. Мария Ивановна занимается перекрестным опылением. Рядом с ней стоит Наташа.

— Вот видишь, дочка, как это делается? Это пыльники. Пыльца должна быть влажной, тогда она хорошо прорастает. Значит, пыльцу переносишь с этого колоска на другой... Вот так.

— Мам, а тебе Володя говорил о своем решении?

— О каком решении?

— Он уходит из десятого класса. В военное училище поступает, в бронетанковое.

Мария Ивановна роняет пинцет.

Она проходит по коридору, выходит на улицу — раскрытая, с развевающимися на зимнем ветру волосами, в одном платье идет к своему дому.

Володя сидел за столом, читал книгу. По тому, с каким возбуждением вошла мать, он понял, что его тайна открыта. И сразу нахохлился.

— Володя, что это за училище? Что ты надумал? И что это значит?

— Просто хочу поступить в военное училище ускоренного типа. На фронт хочу.

— Почему ты мне об этом не сказал?

— Потому что я еще комиссии не прошел.

— Но ты же школьник!

— Мне скоро стукнет восемнадцать.

Он встал, закрыл книгу, положил ее на полку и, сложив руки на груди, сказал твердо:

— Подошло время, мама, когда я должен решить, мужчина я или нет. Настоящие мужчины все там! И отец, будь он жив, понял бы меня. Я уверен.

Она чуть пошатнулась и как бы прикрылась рукой.

— Мама, что с тобой? — Он поддержал ее за локоть.

— Ничего... — Она подняла голову и поцеловала его.

И вот он идет в колонне таких же молоденьких и крепких ребят. Идут как солдаты, грохают сапогами, держат равнение и даже песни боевые поют: «Эх, махорочка, махорка! По-о-ороднились мы с тобой...» Только чубы да челки выбиваются из-под шапок, да за плечами не ранцы, а рюкзаки, да шаг нестройный, да много плачущих среди провожающих женщин. И Мария Ивановна провожает; она стоит в обнимку с Наташей и долго смотрит вслед уходящей колонне новобранцев.

— Ну вот, мам, и остались мы с тобой одни, — говорит Наташа. — Поедем домой!

— Наташа, я забыла тебе сказать: конюх наш заболел

и возить вас в город некому. Придется тебе до конца зимы здесь пожить, в интернате. А я уж одна поеду...

По зимней таежной дороге едет одинокая подвода. Лошадь трусит легкой рысцой, понуро свесив голову. На дровнях сидит в тулупе Мария Ивановна, вожжи отпустила. Они низко провисли и нисколько не тревожат лошадь. Она бежит сама по себе, по какому-то необъяснимому велению.

Такими безучастными друг к другу они и появляются на пристанционной усадьбе. Мария Ивановна вроде очнулась. Вылезла из дровней, повела лошадь к воротам и стала распрягать ее: отпустила чересседельник, потом долго развязывала супонь — узел туго затянулся и руки плохо слушались, она часто отогревала их дыханием. Наконец сняла гужи, отбросила оглобли и повела лошадь в хомуте и седелке в конюшню.

Потом вышла, убрала дугу, связала оглобли чересседельником и только после этого пошла домой. В почтовом ящике на двери что-то белело. Мария Ивановна открыла ящик, там были газеты и письмо треугольником. Она прошла в коридор, подложила дров в топящуюся печку, потрогала ее рукой, вошла в лабораторию. Первым делом осмотрела колосящуюся в плошках пшеницу — не померзла ли? Потом разделась, села за стол и вскрыла письмо, читает:

— Милая Маша! Я часто думаю о тебе, о том, как обезлюдела наша станция и как трудно вам справляться с такой прорвой дел. И радуюсь я тому, что ты разгадала главный секрет Марковича: вытянула из небытия прекрасную пшеницу — устойчивую, неполегаемую. Для нашей суровой землицы лучшего подарка и не придумаешь. Тяни ее, тяни изо всех сил! И придумай ей подходящее название. Назови ее «твердью». В ней будет и сила небесной благодати, и вера Марковича в бессмертие дела нашего, и стойкость, несгибаемость духа Марии Твердохлебовой. Прости мне высокопарность, но чую великое будущее за этой пшеницей на наших сибирских полях. Назови ее «твердью» — прошу тебя...

Сильный ветер треплет пшеницу, гонит по ней волны, кладет ее к земле, но она снова и снова выпрямляется...

Грохочет гром. мощный ветер срывает с деревьев листья, обламывает ветки и гонит все это по земле. И бьет пшеницу, кладет ее наземь, крутит, метет в разные стороны, но она снова и снова распрямляется, встает.

И смотрит на эту пшеницу Мария Ивановна Твердохлебова.

Она идет сквозь пшеничное поле, направляется к лесной опушке, к высокому речному берегу.

В отдалении виднеется оставленный «газик». В руках Марии Ивановны полевые цветы.

Грозовая туча вроде бы сваливает за реку, но ветер все еще силен и порывист.

На речном берегу раскинул свои удочки древний дед. Увидав Марию Ивановну, он засуетился, воткнул покрепче свои удильники и пошел ей навстречу. Это был старый работник отца ее, Федот, бывший конюх и сотрудник станции.

Они поравнялись на прибрежном откосе, на самой опушке соснового бора.

— Здравствуйте, Мария Ивановна! — старичок приподнял кепку, а потом уж подал руку.

— Здравствуйте, Федот Максимович!

— А я уж с утра здесь. Все вас поджидал... Приедет, думаю, сегодня ай нет? Все же таки у вас у самой праздник: правительственная награда. Поздравляю!

— Спасибо. А я вот взяла да приехала. — Она достала часы, посмотрела: — Уже четыре... Но часы стоят. Странно!

— Я чуял, что приедешь... Я уж и рыбки наловил. У меня там, на кукане, судачок плавает. А на веревочке беленькая... За горлышко привязана. Тоже в реке прохлаждается. Так что есть чем помянуть Ивана Николаевича.

— Спасибо за память.

— Так работали ж вместе с Иваном Николаевичем, и с того света он меня выволок. Как же тут не помянуть? Ай мы некрещеные! И тебе, Мария, подфартило с наградой. Опять причина...

Мария Ивановна подошла к сосне и положила возле корней цветы. Старичок снял кепку, перекрестился...

— Тут была могила, — как бы извинительно произнес старик.

— Верю, Федот Максимович, — сказала Мария Ивановна.

— Приехал я после мобилизации, в гражданскую ишо, а тут все разворочено, перекопано... Батарея стояла... Фронт, стало быть. Не то белые, не то красные.

Блеснула молния, ударил гром, и с новой силой зашумели сосны, заметалась пшеница.

— Кабы дождь не пошел, — сказал старичок.

— Это ничего, — отозвалась Мария Ивановна.

Она смотрела на мятущееся пшеничное поле и вся ушла в себя.

— Гляди ты, какая пшеница, — говорит старик. — Ее рвет и мечет, влежку кладет, а она все распрямляется. Говорят — это ваша «твердь». Хорошо вы сработали!

— Я только завершала... А заложил ее он, давным-давно. Все от отца идет...

Она вдруг качнулась и оперлась рукой о сосну.

— Что с вами, Мария Ивановна?

— Наверное, от жары... Напекло. Принесите воды! Голова кружится.

— Воды! Скорее воды! — запричитал старик и трусцой побежал вниз по откосу.

А Мария Ивановна стала медленно сползать вдоль сосны наземь.

Зашаталась земля, дрогнули хвойные ветви и поплыли во все стороны, растворяясь в голубом бездонном пространстве.

Вроде бы и то поле, и место чем-то похоже на то, но перед нами уже не колосья пшеницы, а белая россыпь ромашек, да синие вкрапины ирисов, да желтые пятна купальниц.

Девушки в длинных платьях и мужчина с бородкой в той же старомодной соломенной шляпе с низкой тульей собирают гербарий. Это Твердохлебов Иван Николаевич с дочерьми Ириной и Мусей. Младшая Муся, совсем еще подросток, в беленькой панамке, в плетеных башмачках, бегает по лугу.

— Папа, папа! — кричит Муся. — Смотри, кто к нам едет! Дядя Сережа!

От леса прямо по лугу, выметывая выше груди ноги, шел запряженный в дрожки серый, в крупных яблоках орловский рысак. На дрожках, слегка откинувшись на натянутых ременных вожжах, сидел широколицый, бородатый, медвежьего склада мужчина. Это Смоляков Сергей Иванович, сибирский агроном и предприниматель: он и земледелец, и скотопромышленник, и маслозаводчик, и торговец, и прочая и прочая...

Поравнявшись с Твердохлебовым, он рывком намертво осадил жеребца и молодцевато, пружинисто спрыгнул с дрожек.

— Вот где я разыскал тебя. Здорово, друг народа! Честь Сибири и надежда науки!

— Так уж все сразу! — улыбаясь, Твердохлебов шел к нему.

— Нет, не все! Еще либерал и демократ! — Он сгреб Твердохлебова и облобызал трижды.

— Ты что ж, так на дрожках и прикатил из Сибири? — посмеивался Твердохлебов.

— Милый! Я к тебе не то что на дрожках — на аппарате прилететь готов. А этого зверя напрокат взял у костромского барышника. Не поеду же я к тебе на извозчике. Ну как, хорош, мерзавец? — указывал он на рысака. — Хочешь, подарю!

Меж тем Муся уже держала под узцы этого серого красавца: жеребец ярил ноздрями и косил на нее выпуклым, с красноватым окоемом, блестящим глазом.

— Муська, стрекоза! А ну-ка да он сомнет тебя? — ахнул Смоляков.

— А я на узде повисну, дядь Сережа. Я цепкая.

— Ах ты егоза тюменская! А как выросла, как выросла! — Он потрепал ее за волосы и обернулся к старшей сестре: — Здравствуй, Ириш! Значит, гербарий собираем? Отцу помогаешь?

— Нет, я для себя... Я теперь на Голицынских курсах учусь.

— Ишь ты какая самостоятельная!

— А я для папы собираю! — кричит Муся.

— Большего мне теперь не дано, — кивает Твердохлебов на пучок трав. — Вот, на каникулах хоть душу отвожу... А потом опять всякие комиссии, заседания, выступления...

— Да брось ты к чертовой матери эту Думу!

— Меня же выбрали... Народ послал. Голосовали! Как же бросишь? Перед людьми неудобно.

— Я слыхал — тебя на третий срок выбирают?

— Нет уж, с меня довольно! — резко сказал Твердохлебов. — Откажусь, непременно откажусь.

— И куда же потом?

— Опять в Сибирь, папа? Да? — крикнула Муся.

— Это не так просто, дочь моя, — озабоченно ответил Твердохлебов. — Ну, что ж мы посреди луга встали? О серьезных делах за столом говорят.

Письменный стол в домашнем кабинете Твердохлебова, заваленный газетами, письмами, телеграммами. У стола сидят хозяин и Смоляков. Сквозь растворенную дверь видны другие комнаты; там раздаются голоса, мелькают женские фигуры, кто-то играет на пианино.

Муся сидит тут же в кабинете отца за легким столиком и заполняет листы гербария.

— Ну уж нет... На этот раз я от тебя не отстану. Должен я что-то сказать сибирякам, — говорит Смоляков. — Поставку семян, закладку питомника — все возьмет на себя кооперация... Исходный материал можешь заказывать всюду, в любом месте земного шара — достанем. Любые расходы покроем.

— Но мне понадобится еще и метеорологическая станция.

— Иван Николаевич, лабораторный цех для селекции уже готов. Все остальное построим. Помощников набирай сам сколько хочешь. Оклад тебе положим от кооперации — десять тысяч в год, как начальнику департамента, — смеется Смоляков.

— А вы не боитесь прогореть на моей науке, господа кооператоры?

— Нет, не боимся. У нас все подсчитано... Помнишь, как мы с тобой голландцев побили сибирским маслом? А с чего начинали? С ярославских быков да с вологодской коровы с одиннадцатью тысячами пудов масла? А как только наладили селекцию, по сто тысяч в год давали приросту! А?

— Ну, пшеницу новую не выведешь за год.

— Да мы и старыми сортами иностранцам нос утрем. Наши мужики наладили караваны зерна в Афганистан. И по морю, и на верблюдах. И поезда фрахтуют. Всю торговлишку англичан там порушили. До Персии добира-

емся, Индии!.. В Китай идем. А если нашим мужикам дать новые сорта, засухоустойчивые, скороспелые, урожайные... Они весь мир завалят... Дело говорю?

— Дело!

— Ну так едем?

— Трудно мне сейчас сказать тебе что-либо определенное. Видишь, я занят, даже здесь, в отпуске, — сказал Твердохлебов. Он взял со стола письмо. — Это вот жалоба от ссыльного Крючкова... Угодил в ссылку за сбор подписей в защиту иваново-вознесенских забастовщиков. Я говорил с министром внутренних дел... Обещал освободить. А это письмо от тюменского попа. Архиерей притесняет — поп на проповеди обличил местные власти в растратах пособий переселенцам. Надо в синод писать.

— И хочется тебе с этой политикой возиться? Ты же ученый, друг мой. Учти, наука ждать не может, — сказал Смоляков.

— Это верно, наука не ждет. И мириться с простоем нельзя. А с такой мерзостью мириться можно? Вот, полюбуйтесь. — Твердохлебов достал из папки телеграмму и подал Смолякову. — Телеграмма из Верного. Мать телеграфирует... Сына ее, студента Филимонова, предают во Владимире военно-окружному суду. Будто покушался на урядника. Но это ложь!.. Я проверил. Его просто оговорили провокаторы. А сам Филимонов находился в то время в Москве. И тем не менее...

— Не понимаю, какой смысл в этом?

— Простой... У Филимонова голова на плечах и горячее сердце. Молчать не хочет. Проповедует. Вот это и опасно. В подлые времена мы живем: честных людей увольняют, порядочных обыскивают... Так что же мы должны? Сидеть и ждать — когда до нас дойдет очередь? Нет! — Твердохлебов встал и нервно прошелся по кабинету. — Нет и нет! Я завтра же еду во Владимир и сам буду слушать это дело.

Муся, отложив гербарий, следит за отцом.

— Папа, возьми меня с собой!

Твердохлебов остановился, поглядел на нее:

— Ну что ж, поедем. Тебе это полезно будет.

Военно-окружной суд. Небольшое помещение забито военными, полицией. Штатской публики мало; в гуще самой мы видим Твердохлебова с дочерью.

За судейским столом сидят пять офицеров, в центре — председатель суда, полковник. Чуть сбоку в загородке стоит бритый смуглый молодой человек. Это подсудимый Филимонов. Возле него два солдата с саблями наголо. Молодой человек говорит, обращаясь к судьям:

— Вам хорошо известно, что ни в каком покушении я не участвовал, так как находился в то время в Москве, а не в Шуе. Вы не смогли найти ни одного свидетеля, кроме полицейского осведомителя. Вы боитесь даже присяжных — вам нужно единогласие в расправе. Даже публику впускали по пропускам, свою, доверенную. И вот вы сидите одни и разыгрываете комедию суда. Вы боитесь даже признаться, за что меня судите. А судите вы меня за покушение, но только не на урядника, а на присвоенное вами право — одним говорить открыто, а остальным молчать. Вы судите меня за то, что я осмелился сказать рабочим людям, что они имеют право свободно выражать свое мнение, право на собрания, демонстрации, право самим решать свою судьбу. Я говорил и буду говорить, что люди должны быть свободны и никакими высокими словами о государственной необходимости нельзя оправдать произвола и насилия. Вы меня судите за идеи. Вам нечего выставить против наших идей, кроме дубинки, тюремной решетки и виселицы. Но помните — идеи нельзя посадить за тюремную решетку. Насилие, брошенное против идей, что ветер для огня; оно может только раздуть это негасимое пламя в огромный пожар. Берегитесь! Вы сами сгорите в этом огне.

Подсудимый сел.

Председатель суда, вставая:

— Суд удаляется для вынесения решения.

Все встают и выходят в фойе.

Твердохлебов очень возбужден. К нему подходит молодой вертлявый репортер.

— Господин депутат, что вы думаете об этом процессе?

— Это издевательство над правосудием. Процесс должен быть гражданским, с присяжными, с защитой, — ответил Твердохлебов.

— Что вы предлагаете предпринять?

— Подождем решения суда.

— Папа, а почему он такой спокойный? Ведь его могут засудить? — спрашивает Муся.

— Он прав, поэтому и спокоен.

В другой группе слышны голоса, но трудно уловить, кто что говорит.

— Скажите на милость — у них еще молоко на губах не обсохло, а им уж подай равноправие! А хрена тертого не хочешь?

— Это они голос пробуют. Не замай!.. Откукарекают свое и за дело возьмутся.

— А если бы он урядника смазал из револьвера? Это как, тоже кукареканье?

— Им, видите ли, дай свободу выражаться! Испорченная молодежь.

— А все Запад мутит. Весь соблазн оттуда.

— Известное дело — Европа.

— Нет, скажите на милость! Дайте им мнение свое высказать! А ты заслужил такое право? Где? В каком заведении? У нас государство... Порядок то есть...

— Шебуршат ребятки... Потому как выпить не на что.

— Человек за идею пошел... Социалист! А ты выпивку! Тьфу!

— А ты мне поднеси... Я те такое наговорю, что про весь сицилизм забудешь.

— Разболтанность...

— Глупость наша, и больше ничего.

— И откуда такие личности взялись? Суд закрытый, публика отборная.

— Подставные, не видишь, что ли?

Раздается звонок

Публика входит в зал, занимает места.

Вдруг зычный окрик:

— Встать! Суд идет.

Все встают.

Входят судьи, стоя зачитывают приговор:

— «Именем его Императорского Величества Самодержца Великой и Малой Руси и прочая и прочая выездная сессия Московского губернского военно-окружного суда, рассмотрев дело бывшего студента Михаила Васильевича Филимонова, обвиняющегося по приказу генерал-губернатора в покушении на жизнь шуйского урядника Репина Федора Ивановича, признала подсудимого Филимонова Михаила Васильевича виновным и на основании положения о чрезвычайных мерах по пресечению беспорядков и смуты,

подписанного его Императорским Величеством, постановил: приговорить Филимонова Михаила Васильевича к смертной казни через повешение.

Председатель военно-полевого суда
Полковник от инфантерии — Васильев».

— Ну что ж, посмотрим! — сказал Твердохлебов и быстро пошел к проходу. Муся еле поспевает за ним.

Почтовая контора. Твердохлебов, облокотясь на полок, пишет телеграмму на фирменном бланке депутата Думы В левом верхнем углу типографским шрифтом отпечатано «Таврический дворец». Он быстрым размашистым почерком пишет: «Срочно. Москва. Генерал-губернатору Гершельману. Владимирским судом приговорен к смерти бывший студент Михаил Филимонов. По прошению матери его обращаюсь к вам и умоляю смягчить приговор ради несчастной матери его. Помогите. Член Г. Думы Твердохлебов».

Газета «Биржевые ведомости» на столе у премьер-министра Столыпина. Красивый, гладко зачесанный, в прекрасном костюме, в очках в тонкой золотой оправе, Столыпин читает заметку:

«В кулуарах. Как мы уже передавали, от члена Г. Думы Твердохлебова получена телеграмма, в которой сообщается об ужасной судебной ошибке, допущенной владимирским военным судом».

В дверь входит в новеньком мундире молодой адъютант:

— Петр Аркадьевич, к вам председатель Думы Хомяков.

— Зови!

Адъютант скрывается за дверью с надписью «Премьер-министр П. А. Столыпин».

Хомяков входит озабоченный, чуть горбясь, пожимает протянутую руку Столыпина и, узнав «Биржевые ведомости» с судебной заметкой, начинает без обиняков:

— Неприятный скандал... Левые депутаты волнуются. Требуют провести расследование.

— А что с этим подсудимым? Покушался он или нет?

— По-видимому, наговор... Показывал некий Быков, а потом отрекся. Шума испугался, — усмехнулся Хомяков. — Так что следователи не могли найти даже подходящего свидетеля.

— Ослы! А кто этот Филимонов?

— Социал-демократ... Опасный пропагандист.

— Ослы в квадрате.

— Пресса шумит. Что будем делать?

— А что ж тут делать? Прессу надо успокоить. Приготовьте телеграмму об отмене приговора.... На имя московского генерал-губернатора... А я подпишу.

— Телеграмма уже готова. — Хомяков вынимает из портфеля телеграмму и кладет на стол Столыпину.

Тот слегка повел бровями:

— Твердохлебов подсунул?

— Его работа.

— Оборотистый этот либерал... — Подписывает телеграмму. — Кстати, в новых списках кандидатов в Думу есть его фамилия?

— Нет. Он наотрез отказался баллотироваться.

— Наконец-то он понял, что его время давно прошло... Впрочем, в Думе он сделал кое-что и полезное.

— Очень энергичен, очень.

— Если бы не его комиссия, нам бы ни за что не утвердили в бюджете двести тысяч рублей на сельскохозяйственную науку... Подумать только — с одиннадцати тысяч поднять до двухсот! Клянусь тебе, Хомяков, без вашей Думы мне бы не утвердили эту сумму.

— Бюджет-то он пробил, да куда сам пойдет после думы?

— Восстановится в прежних правах губернского агронома.

— Не думаю... Министр не простит ему этого шестилетнего либерализма.

— Да, эти его либеральные заскоки... Хороший ученый и большую пользу мог бы принести отечеству и науке.

Петербургская квартира Твердохлебова. Иван Николаевич собирает вещи, укладывает чемодан. Входит квартирная хозяйка, аккуратно одетая, уютная старушка, подает пачку писем и газет:

— Почта вам, Иван Николаевич.

— Спасибо, Надежда Яковлевна.

Старушка уходит. Твердохлебов быстро перебирает конверты, останавливается на одном — обратный адрес не заполнен, только помечено: «г. Шуя». Он вскрывает конверт, читает письмо:

«Народному представителю от рабочего г. Шуи.

Иван Николаевич!

Не нахожу слов для выражения Вам безграничной благодарности за ходатайство за Михаила Васильевича Филимонова.

Мы, рабочие г. Шуи, были ошеломлены ужасным приговором над нашим дорогим учителем, но и не могли ничего сделать, так как лишены возможности говорить. Сердце обливается кровью, смотря на наше правосудие. И это делается в XX веке, при наличности Государственной Думы. Нас удивляет молчание владимирских депутатов в таких вопиющих несправедливостях...»

В дверь постучали.

— Войдите.

Входит Надежда Яковлевна.

— Я совсем забыла передать: заходил к вам высокий бородатый господин, говорит — из Сибири. Сказал, что будет к вечеру...

— Спасибо, Надежда Яковлевна. Я сейчас ухожу... Если он придет, пусть непременно подождет меня.

— А вдруг ему ждать придется долго? Что сказать?

— Не придется... Скажите, что у министра земледелия. Тот не задержит.

Министр земледелия — внушительных размеров мужчина с холеной окладистой бородой. Твердохлебов сидит перед ним такой неприметный, обыденный, и только глаза настойчиво, требовательно смотрят на министра. Хозяин кабинета говорит басом, добродушно посмеиваясь, а глаза отводит, прячет.

— Мы ценим ваш талант, богатый опыт, но сфера общественно-государственного служения, к сожалению, небезгранична. И что-либо обещать вам в данный момент, к сожалению, не могу.

— А что же тут обещать? Вы меня восстановите в правах губернского агронома. Я имею на то право — шесть лет отработал в Думе.

— Да, но вы были уволены раньше вашего избрания. Если не ошибаюсь — в девятьсот шестом году? За революционную деятельность?

— Я никогда не был революционером. Или съезд сибирских крестьян, который провел я, вы считаете революционным актом?

— Если съезд проходит по указанию властей, то нет. И потом, политическая окраска вашей деятельности в думе имела определенное направление.

— Я не принадлежал ни к одной партии.

— И тем не менее.

— Вы не хотите восстанавливать меня в правах?

— Ну зачем же так категорично? Просто у нас нет подходящей губернии, где бы вы смогли развернуть во всю силу ваши организаторские дарования.

— Но одну из тех опытных станций, которые будут заложены на деньги, что я выхлопотал, — вы сможете доверить мне?

— О тех станциях говорить еще рано.

— Хорошо! Тогда назначьте меня на Саратовскую опытную станцию помощником директора по селекции.

— Ну что вы, Иван Николаевич, — широко улыбнулся министр. — Такого крупного ученого и помощником директора? Я сам бы рад был работать у вас в помощниках. Если вы читали мои статьи, то, может, изволили заметить — я пользуюсь вашими выводами. Весьма признателен...

— Не стоит благодарности. — Твердохлебов встал. — Честь имею!

На людной петербургской улице торопливо идущего Твердохлебова нагоняет лихач. Из коляски выпрыгивает Смоляков и кричит во все горло:

— Что, Иванушка, не весел? Что головушку повесил? — Обнимает Твердохлебова за плечи. — А я за тобой в министерство катал. Выручать... Го-го!

— Мерзавцы они! Мерзавцы! Я им двести тысяч на науку выхлопотал, а они же мне места не дают. Даже на станцию... помощником директора.

— Да плюнь ты на них! И на их двести тысяч. Мы тебе миллион дадим! И такую станцию отгрохаем, что на весь мир загудим. А земли сколько хочешь. Рожалая, сибирская... Э-эх, косоплетки за спиной! — Он обернулся к лихачу: — Эй ты, козолуп! Дорогу в кабак знаешь?

— В какой?

— Где цыгане.

— Известно.

— Ну, по рукам, что лича? — тискает он руку Твердохлебова.

— Обговорить надо.

— А вот там и обговорим, и отметим... — Они садятся в пролетку. — Пошел!

И лихач срывается с места.

— Эй, чавеллы!

— Хоп! Хоп! Хоп! Хоп!

— Что ты?.. Что ты?

Поют цыгане, трясут плечами, звенят бубны.

А за столиком, в укромном кабинете, сидят Смоляков и Твердохлебов и не столько пьют, сколько заняты разговором.

— Так и отказал тебе министр? — спрашивает Смоляков.

— Если бы просто так... А то еще с издевкой, — отвечает Твердохлебов. — Сидит, бороду поглаживает, говорит басом, добродушно посмеиваясь, а глаза отводит в сторону. Я не выдержал и сказал: честь имею!.. А за порогом выругался от бессилия.

— И прекрасно! — сказал Смоляков.

— Чего же прекрасного-то?

— А то, что послал их к чертям собачьим. И едешь в Сибирь. Я уж учуял, депешу дал, чтоб встречали. И цех для твоих образцов приготовил.

— Образцы у меня собраны... Только по Тобольской губернии около семисот...

— Я читал твои статьи о тобольских пшеницах. О чем говорить!

— Дело не только в пшеницах. Я хочу заложить линии и по кукурузе, по картофелю, по конским бобам, гороху, могару, сорго, свекле...

— Отлично!

— Я хочу провести агротехнические опыты! Влияние томасшлака и селитры на урожай картофеля, влияние способов посева овса, сравнение урожаев смесей двух рас яровой пшеницы с урожаем чистой расы...

— Превосходно!

Кострома. Тот же самый дом Твердохлебовых на Нижней Дебре. Но теперь мы видим просторную гостиную с растворенными дверями на террасу. Обстановка довольно скромная. В гостиной сидят тетя Феня, Ирина, Муся. Сес-

тры тихонько наигрывают в четыре руки на пианино. Тетя Феня слушает плохо, все поглядывает на террасу. Хозяйка Анна Михайловна с палитрой и кистями стоит у мольберта, набрасывает портрет худого длиннолицего молодого человека, сидящего в шезлонге. Тот курит и говорит, лениво покачивая ногой:

— Черт-те что! Не глаза получаются, а провалы, колодцы! Я пока еще живой.

— А я виновата. У тебя взгляда нет, Филипп, мысли!.. Или ты спишь?

Да, это тот же Филипп Лясота, но еще совсем молодой, без бороды.

— Я забываю мир — и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображеньем... — бормочет он.

Тетя Феня заметно нервничает, наконец встает, подходит к Анне Михайловне.

— Аня! Ты можешь оторваться наконец! Я сегодня уезжаю.

— Попробуем теперь краплак... — говорит свое Анна Михайловна и кладет кистью мазок. — Вот так! — Не отрываясь от работы: — Феня, голубчик. Ведь ты знаешь мою привычку: когда я пишу, чувства мои трезвеют, я могу принять самое нужное решение. Говори! Здесь все свои.

— Но боже мой! Есть же у человека какие-то интимные вопросы.

— И просыпается поэзия во мне... — бормочет Филипп, но, услышав последнюю фразу, словно очнулся: — А? — Смотрит на тетю Феню, та на него. — Это вы мне? Пардон мадам, пардон.

Он встает, перешагивает через поручень балюстрады и уходит в сад.

— Ну вот, всегда у тебя так! — с досадой говорит Анна Михайловна. — Что тебе понадобится — сейчас же вынь да положь.

— Не столько мне понадобилось, сколько Ивану Николаевичу, детям и тебе, наконец.

Сестры прекращают игру, прислушиваются.

— Пойми же, Иван Николаевич ушел из Думы, сейчас он вроде безработного... Рвется в Сибирь, и под любым предлогом. Все решится на днях. Надо готовиться к переезду, — говорит тетя Феня.

— Но я теперь не могу ехать в Сибирь... Теперь...

— Почему?

— Ну, нельзя же бросить дом... Ивану Николаевичу легко — он шестой год как студент, по квартирам живет. И в Сибирь налегке поедет.

— Зачем же налегке? Езжайте все вместе. Я помогу вам.

— А куда девать Иришу? Здесь ей полдня езды — и дома... А Филиппа? Он же больной! Его в Карлсбад везти надо!

— В Карлсбад? Но это больших денег стоит!

— Деньги Карташов даст. Филипп — талант, пойми ты. Ему нельзя без ухода, без надзора — он погибнет!

— Но Иван Николаевич?

— Что Иван Николаевич? Ивану Николаевичу за пятьдесят перевалило... Он человек выносливый, прекрасно приспосабливается к среде... И если хочешь знать — мы для него обуза. По крайней мере, на первый период.

— Тетя Феня, я еду с тобой, — говорит Муся.

— Ну и пожалуйста! — вспыхнула мать. — И ты тоже собирайся. Ну, чего смотришь? — накинулась она на старшую дочь. — Уезжайте все! Все!

— Мама, не шуми, — холодно произносит Ирина. — Ты же знаешь — я поеду. Но только на практику. Подождем отца, а там рассудим.

Широкая сибирская равнина, по степной высокой траве на лошади скачет девушка. Она сидит без седла, по-мальчишечьи цепко обхватив голяшками бока лошади. Вот она подъезжает к небольшой, но глубокой, прозрачной речке и с ходу — в воду. Поначалу лошадь лениво цедит воду сквозь зубы, потом идет дальше и все дальше на быстрину. И вот уже плывет, вытянув голову и прядая ушами.

Муся стоит на спине, держась одной рукой за повод.

Когда лошадь, уже по колена в воде, выходила на другой берег, откуда-то из-за кустов рванулись к ней с лаем две рослые лохматые собаки. Лошадь шарахнулась в сторону, а Муся, все еще стоявшая на ее спине, упала в воду.

— Долой, долой, говорю! Фьють-тю! — кричал на собак, подбегая к девушке, парень лет восемнадцати.

Собаки, замахав хвостами, смущенно отошли, лошадь остановилась на берегу и стала щипать траву, а

девушка, сердитая и мокрая, чуть не плача, кричала на парня:

— Распустили тут целую псарню!.. Бросаются как бешеные! Если не умеете воспитывать собак, так держите их на цепи.

— Это не мои собаки. Пастушьи.

— А вы кто такой?

— Здрасьте! Я же к отцу вашему приехал с группой практикантов из Курганской лесной школы.

— А почему же вы здесь, а не в питомнике? — строго спросила Муся.

— Ого! Да ты прямо как управляющий допрашиваешь.

— Во-первых, не ты, а вы...

— Ишь ты как строго! А вы сами почему не в питомнике, товарищ управляющий?

— А я пригнала лошадь попоить да выкупать... Мне дядя Федот доверяет.

— А нам Иван Николаевич доверил земли изучать в пойме... И грунтовые воды.

— Тогда другое дело...

— И вы разрешаете? — усмехнулся парень.

— Не смейтесь, пожалуйста. Из-за ваших паршивых собак я все платье намочила. Как я теперь домой покажусь?

— А мы его высушим. Я для вас вот здесь костер разложу. И пока вы будете обсыхать, мы уху сварим. Так что пообедаете с нами.

— Вы рыбы наловили?

— Нет, я только еще собираюсь.

— А откуда вы знаете, что она сразу так и полезет к вам в сеть?

— Нет у меня сети.

— И вы хотите удочкой так вот с ходу поймать на уху?

— И удочки нет у меня.

— Чем же вы будете ловить, рубашкой?

— Острогой... — Он подошел к тальниковому кусту и достал оттуда трезубец, насаженный на длинный тонкий шест.

— Этой штукой ночью бьют, с подсветом, — сказала Муся.

— А я и днем умею.

— Как это?

— А вот так, смотри...

Он скрылся за кустом. Через минуту, стоя в маленькой долбленой лодке, отталкиваясь прямо острогой, он вышел на стремнину и замер в напряженном внимании. Лодка тихо скользит по воде, парень стоит, замерев, глаза устремлены в воду, в согнутой руке острога, как гарпун. Вдруг бросок, промелькнувшая в воздухе острога — и вот уже бьется на поверхности реки, поблескивая белым брюхом, пронзенная острогой нельма. Парень берет со дна лодки весло, подгребает и снимает нельму.

— Видала? — показывает он Мусе.

— Здорово! — восхищенно произносит она. — Как вас зовут?

— Меня? Василий, Силантьев...

— А меня Муся.

— Слыхал.

Костер на берегу реки. Двое молодых парней и Муся едят уху. Муся уже успела обсушиться.

— Кто же вас выучил так бросать острогу? — спрашивает Муся.

— Дядя Аржакон, — отвечает Василий.

— Кто, кто? В жизни не слыхала такого имени.

— А между прочим, про него сам Пушкин написал, — сказал Василий.

— Где это? Не помню.

— Ну как же! «И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус...» Так вот тот самый дикий тунгус и есть мой дядя. Правда, он теперь уже не дикий, а совсем прирученный. Домашним стал.

— А почему вы не похожи на тунгуса?

— Почему нет? Немножко есть такое дело. — Он приставил пальцы к вискам и растянул глаза.

— Ой, и в самом деле! — засмеялась Муся. — Как интересно!

— Чего? Тунгусом быть?

— Нет, иметь такого дядю. А вы учитесь или уже окончили?

— Оканчиваю лесную школу... Потом поступлю в Петровскую академию...

— А я поступлю на высшие Голицынские курсы при этой академии. Там сейчас моя сестра учится.

— Слыхал. Серьезная барышня....

— Ей официально засчитывают практику у папы. А мне нет.

— Где же ты учишься?

— В коммерческом, в Тюмени. Мне уже немного осталось.

— Сколько?

— Пять лет.

— Пустяки... — говорит Василий.

Верхом на лошади подъезжает Муся к селекционной станции. Вдали виден двухэтажный, обшитый тесом лабораторный корпус, жилые дома, конюшни... А здесь, на переднем плане, огромные, на много десятин, питомники; и пшеницы, и ржи, и овса, и кукурузы, и картофеля, и чего только нет здесь; все забито аккуратными рядками, всюду таблички с надписями, и все по делянкам. И люди, кропотливо обрабатывающие эти делянки, — все больше молодежь.

Ирина обрабатывает колосья, увидев подъезжающую Мусю, распрямляется.

— Ты где это носишься?

— Меня дядя Федот посылал лошадь искупать.

— За это время и слона можно было вымыть. А кто деляну за тебя станет обрабатывать? Дядя Федот? Или колоски ждать тебя станут?

— Не беспокойся, от тебя не отстану...

Муся шевельнула коня, и он перешел на рысь.

Возле конюшни неподалеку стоял и ждал ее конюх Федот, чернобородый, в длинной синей рубахе, перехваченной тоненьким ремешком.

— Иль случилось что? — с тревогой спросил он подъезжавшую Мусю.

— Да ничего особенного, — отвечала Муся. — Просто я упала в воду, ну и обсыхала.

— Не ушиблась? — суетился Федот, привязывая коня.

— Пустяки...

— Сестрица на вас гневается. Самая, говорит, кастрация колосков подошла, а она прохлаждается.

— Ее просто завидки берут, что я быстрее работаю.

— А что же это за кастрация такая? Ну, к примеру,

жеребца облегчить или там боровка — это я понимаю... Промежности, значит, вычистить. Лишние штуки, извиняюсь, удалить. А здесь колоски. И что у них могут быть за штуки? Я, конечно, извиняюсь... Мудрено...

— Все очень просто — надо пыльники удалить, ну, тычинки, а пестики оставить...

— Гм... значит, и у пашеницы есть тычинки, да ишо и пестик? Скажи на милость, всю жизнь прожил, а вот ни тычинок, ни этого самого... у пашеницы не видал.

— Да поглядите, я вам покажу. И научу, как делать кастрацию.

Муся и Федот подходят к пшеничной делянке. Муся берет колосок и пинцетом начинает отводить ость.

— Вот видите?.. С еле заметной пыльцой — это тычинки. Их удалять надо... Вот так. А этот стволик с рыльцем — пестик. Его оставляют. Понятно?

— Ну-к, дайте я попробую.

Федот робко взял пинцет и неуклюже зажал его толстенными пальцами.

— Да вы не так... Надо чтобы он ходил... Вот так...

Федот опять сжал пинцет, на этот раз с каким-то остервенением стал пырять в колосок, аж вспотел...

— Да вы же не захватываете пыльники, — говорит Муся.

— Нет, милая, знать, мне не дано, — сказал Федот. — Вот жеребца я могу завалить или борова. А здесь не дано.

— Вот смотрите, как я...

— Нет, нет... Да мне и некогда. К Ивану Николаевичу надо. Лошадь просил запречь.

Федот уходит.

Он входит в лабораторный корпус, подходит к дверям кабинета Твердохлебова и казанком указательного пальца осторожно стучит.

— Войдите, — раздался голос Твердохлебова.

Иван Николаевич сидит за столом. Перед ним в пакетиках и вроссыпь образцы семян... На стенах засушенные снопы пшеницы, овса, кукурузы. Стоит микроскоп. Иван Николаевич что-то пишет.

— Я извиняюсь, конечно... Но вы просили лошадь заложить. Дак запрягать?

Федот хочет уйти.

— Федот Ермолаевич, — останавливает его Твердохлебов. — Присядьте на минуту, — указывает он на жесткое кресло.

Федот сел на самый краешек с такой предосторожностью, словно это было не кресло, а горячая сковородка.

— Я все хотел спросить у вас, Федот Ермолаевич: случалось в вашей практике, что пшеница не успевала вызревать?

— Всякое было, Иван Николаевич... Мотаешь, мотаешь соплей на кулак, а она возьмет и захолонеет. Я более двадцати лет пашу и сею.

— А не обратил внимания, какие сорта не вызревали?

— Больше всего «полтавка»... и «саратовскую» осень прихватывала. Ломаешь-ломаешь, да так и остаешься с пустым кошелем.

— А ваша «курганская» как себя ведет?

— Красноколоска, что ли? Эта убористая.

— Как вы сказали?

— Приспосабливается то есть... Погоду чует.

— Прекрасно! Вот именно чует.

В дверь с грохотом влетел Смоляков. За ним незаметно проскальзывает Муся, прошла к дальнему шкафу, затаилась там.

— Извини за вторжение... Но собираюсь в Иркутск, завернул попутно. Авось нужен, — сказал Смоляков.

— Нужен, голубчик, нужен. Я как раз к тебе собирался. Вот у него и лошади готовы, — кивает он на Федота.

— Дак я тады отпущу лошадей-то, — говорит Федот, вставая.

Федот уходит.

— Где ты такого лешака выкопал?

— Здешний хлебороб. Светлая голова, и какой глаз! Любые сорта запоминает с ходу и потом из тысячи зерен выбирает нужные.

— Не перехватил?

— Нисколько! Я постоянно говорю: знания у народа

от векового общения с природой. А наука только дисциплинирует ум. Да!

— Ну, сел на своего конька!.. Друг народа... Ты лучше похвастайся своими делами.

— Похвастаться пока нечем... Но дела идут. Одной пшеницы яровой заложено тысяча триста пятьдесят восемь линий, да пять коллекционных питомников, десять питомников по селекции кормовой свеклы да картофеля. Да питомники элитных растений по овсу, по озимой пшенице... И двадцать три сорта кукурузы.

— А говоришь, нечем хвастаться?

— Пока могу только сказать, что линии «мильтурум-триста двадцать один» и «цезиум-три» очень перспективны... Да, я зачем к тебе хотел заехать? Ты, кажется, в Иркутск собираешься?

— Еду, — сказал Смоляков.

— У меня к тебе просьба. — Твердохлебов взял со стола конверт и протянул его Смолякову. — Передай от меня генерал-губернатору Князеву.

— Что это?

— Просьба... Ну, ходатайство. Считай как угодно.

— Поди, опять насчет политических?

— Опять.

— Ну, горбатого только могила исправит.

— Мне Фатьянов написал из Германии. В Иркутском централе сидит его брат с товарищами. Приговорены к смертной казни. Увидишь Князева — и от моего имени, и сам попроси смягчить приговор. Я его знаю по Тобольску. Он человек порядочный, добрый...

— Эх, Иван Николаевич, Иван Николаевич! Мы деловые люди, страну обстраиваем. А эта шантропа мокрогубая растащить ее хочет.

— Дорогой мой! У отечества не должно быть сынков и пасынков. Право на полное участие в жизни, право на свободу мысли, дела, творчества, наконец, должны иметь все! И равноправно! И если такого равноправия не дают наши законы, то следует их пересмотреть. И не кому-либо другому, а нам с вами лично... В том, что страдают эти молодые люди в Иркутском централе, есть и доля нашей вины. И прискорбно слышать, что вам на это, в сущности, наплевать. Очень сожалею...

— Ну, хорошо... Я передам твою просьбу. — Смоляков кладет письмо в карман.

— Премного благодарен. — Твердохлебов слегка наклоняет голову, потом сопровождает до двери гостя. Обернувшись, увидел Мусю: — Ты что здесь делаешь?

— А я слушала?

— Гм...

Муся подошла к нему и порывисто поцеловала в щеку.

— Ты такой молодец, папочка!.. И я клянусь тебе, что все буду делать как ты...

— Вон как! — усмехнулся Иван Николаевич и с притворной строгостью: — Тогда марш на деляну!

По пыльному сибирскому большаку катит пароконная бричка, груженная узлами и саквояжами. Федот сидит в передке, лениво помахивая кнутом, тянет песню: «Ой да ты кал-и-и-инушка! Разма-али-инушка!» Тетя Феня и Муся сидят на задке на сене. Лошади бегут дружно, весело, потряхивая головами. Над степью кружит одинокий коршун.

— Дядя Федот, за сколько же дней мы доедем до Тюмени?

— Дён за десять, за пятнадцать, бог даст, доберемся, — отвечает Федот.

— За десять или за пятнадцать? — переспрашивает Муся.

— А не все ли равно? Ты моли бога, чтобы колесо не отлетело.

— Да мне же через две недели в школу идти.

— Школа не медведь, в лес не уйдет.

— Но и опаздывать нам негоже, — сказала тетя Феня.

— Нагоним, Фекла Ивановна. Лошади, они дорогу знают.

— А сколько нам еще осталось верст? — спрашивает опять Муся.

— Кто его знает! Наши версты мерил черт да Тарас, но у них цепь оборвалась... Но-о, залетные! Шевелись, что лича!

Он дернул вожжами, и кони прибавили ходу.

— Я так себе кумекаю, — рассуждает Федот, — ежели ты в дороге, то выбирай день по силам. Об конце не думай. Потому как думы об конце зарасть вызывают.

— Это какая такая зарасть? — спрашивает Муся.

— Чаво?

— Ну, азарт, — отвечает за Федота тетя Феня.

— Вроде, — соглашается Федот. — А зарасть в любом деле помеха, потому как ты думаешь не о том, как бы лучше сделать да силы сохранить, а о том, как скорее.

— Так ведь дорога для того и дана, чтобы ее скорее проехать, — сказала тетя Феня.

— Для тебя да. Но каково лошадям? А мне? Бричке? А?!

— Верно, дядя Федот! — Муся даже в ладоши хлопнула.

— Пожалуй, да, — усмехнулась тетя Феня.

— Ай да дядя Федот! — сказала Муся. — Мудрец!

— Ты не в ладоши хлопай, а на ус мотай, — снисходительно заметил Федот. — Кончишь свои важные учения, начнешь работу гнать — помни не только о деле, но и о тех, кто тянет твою работу... Н-но, милые! Н-но, помаленьку!.. Ой да ты не сто-о-ой, не сто-ой на гаа-аре кру-утой.

Навстречу им по дороге идет странная колонна: арестанты не арестанты и не солдаты, одеты пестро — кто в пиджаках, кто в поддевках, а кто и просто в полотняных и холщовых рубашках. Впереди идут подводы, груженные заплечными мешками. Идут нестройно, не то колонна, не то толпа — не поймешь. Поравнявшись с ними, Федот спрашивает головного:

— Куда путь держите?

Головной, насупленный военный в погонах, молча прошел мимо.

— На работу? Али, может, по пожару собрались? — спрашивает Федот.

Ему ответили из колонны нехотя:

— Мобилизация.

— Какая ишшо мобилизация? — спросил Федот.

— Тетеря! Ай не слыхали, что война началась?

— Германец поднялся.

— Вот те раз... Приехали? — сказал Федот.

Муся в сером платье с кружевным воротником и такой же вязки кружевными обшлагами читает письмо:

«Дорогая казачка!

Пишет Вам тот самый дикий тунгус, который вилкой рыбу из реки доставал. Вы, наверное, уже приступили к своему пятилетнему курсу обучения. Не сомневаюсь, что Вы его одолеете в пять прыжков. А вот моя академия скрылась в синем тумане. Я ухожу на войну — мобилизован. И вообще все помощники Ивана Николаевича, которые брюки носят, за исключением Федота, идут на войну бить германца. И даже сестрица Ваша, чего мы не ожидали, добровольно пошла на курсы сестер милосердия...»

— Тетя Феня! — кричит Муся. — Со скольких лет принимают на курсы сестер милосердия?

Тетя Феня появляется в дверях Мусиной комнаты в строгом костюме.

— Должно быть, с восемнадцати. А в чем дело?

— Ирина в добровольцы записалась...

— Правильно сделала.

— Литовцев в классе сказал, что воевать будут за интересы капиталистов.

— Оно конечно... Хотя отечество состоит не из одних капиталистов.

— Как подойдет срок, я тоже запишусь в сестры милосердия.

— Прекрасно! А сейчас иди на собрание.

В актовом зале коммерческого училища собрались все учащиеся, педагоги — на сцене за столом. Из-за стола встает строгая тетя Феня и произносит:

— Господа! Отечество наше переживает трудное испытание войной... От того, как будут вести себя ее сыны и дочери, зависит победа над коварным врагом. Это касается всех, в том числе и учащихся. Больше собранности, больше старания и ответственности. Помните, мы начали учебный год в военное время...

Веселыми стайками сбегают ученики с лестницы парадного крыльца. Здесь, неподалеку от училища, пристроился со своим огромным деревянным аппаратом и натянутым холстом с намалеванным озером и горами фотограф. Он зазывает пробегающих учеников:

— Аспада юноши и девицы! Античный горный пейзаж! Один момент, и вы перенесетесь навечно в голубые горы Кавказа. Подходите сниматься!

Мимо фотографа пробегают два парня и две девушки. Один из парней приостанавливается:

— А что, ребята? Сняться в такой момент. Война — и начало года!

— Фантастика!.. — кричит второй парень.

— Вы будете иметь удовольствие на всю жизнь, — говорит фотограф и, не давая им опамятоваться, тащит всех четырех к холсту.

— Вы потом себе просто не простите, если не снимитесь, — суетится вокруг аппарата фотограф, накидывая на голову черную тряпку. — Я вам сделаю вещь, вы сами удивитесь...

Ученики стояли возле холста... И только теперь мы замечаем среди них Мусю. Она все в том же сером платьице с кружевным воротником. Один из парней, почуяв на себе объектив, с улыбкой придвинулся к Мусе. Она тотчас же нахмурилась, надула губы и отодвинулась к подруге.

Так она и вышла на фотокарточке — с надутыми губами, наклоненная к подруге.

Фотокарточка стоит на ее письменном столе в знакомой нам комнате. Горит настольная лампа. Муся читает учебник, а рядом фотокарточка Ирины — она в белом чепце с красным крестиком на лбу. За окном метусятся снежинки, и белая мгла постепенно заволакивает весь мир. И видим мы бесконечные снежные просторы и холмы, холмы — не то борозды, покрытые снегом, не то могилы...

А за столом у окна все так же сидит Муся, читает учебник. Но теперь на ней накинута шубейка. Переворачивается страница — и вот к знакомым нам фотокарточкам добавилась еще одна — Василий в папахе, с медалью на груди.

Стук в дверь. Муся, словно очнувшись, встает, кутаясь в шубу, подходит к двери.

— Телеграмма! — Почтальон подает телеграмму.

— Откуда?

— Из Кургана. — Почтальон уходит.

Муся читает телеграмму: «На станции тиф». И больше ни слова.

— Тетя Феня! — кричит Муся.

— Что случилось? — спрашивает тетя Феня, вырастая на пороге.

— У папы беда! Вот... — она протягивает телеграмму.

— Странная телеграмма, — сказала тетя Феня, прочтя ее. — Впрочем, Иван Николаевич ни слова не скажет. Это кто-то из рабочих.

— А почему Смоляков молчит? — спросила Муся.

— Он в Петрограде.

— Тетя Феня, я туда еду. Немедленно...

— В Кургане сейчас весна, распутица...

— Но я должна... Обязана!

— Хорошо, поезжай! Если застрянешь, попытаюсь туда вырваться.

Опытная станция. Весна. По грязной, оплывшей конским навозом дороге тащатся дровни. Лошадь идет еле-еле... Правит вожжами баба в нагольном полушубке. В дровнях сидит закутанная в тяжелую клетчатую шаль Муся. Вот и пристанционная усадьба, конюшня, дом... Но никто не вышел навстречу подводе. Даже Федот не вышел.

Муся встает с дровней и, оставив чемодан, бежит на крыльцо.

В просторной комнате на железных койках двое больных: молодая женщина — рабочая-селекционер — и конюх Федот. Возле койки Федота сидит на табуретке в ватнике Иван Николаевич и пытается кормить с ложки больного.

— Иван Николаевич, не идет... В горле заслонка.

— А ты проглоти ее... Глотни, глотни. Она и откроется.

Скрипнула дверь.

Иван Николаевич обернулся, да так и застыл с ложкой бульона — на пороге стояла Муся.

— Папа!

— Тебе нельзя сюда!

— Папа! — крикнула она, с плачем кинулась ему на шею.

— Успокойся, дочка! Успокойся!.. Напрасно ты приехала сюда... Это ж опасно.

— Нет, нет! Я не уеду от тебя, — плакала Муся.

— Успокойся, успокойся... Кто тебя вызвал?

— Телеграмма была от вас.

— Кто давал? Федот, не твой грех?

Федот с минуту тяжело дышал.

— Виноват, Иван Николаевич. Внучку посылал. Жалко мне вас... Вы уж три недели на ногах.

— А это тебя не касается! — сердито сказал Твердохлебов. — Твое дело принимать лекарство и еду...

— Муся, — слабо сказал Федот, — заберите вы его отсюда, христа ради. Помрем мы все... Двое уж преставились... Ох-хо-хо... — Федот закрыл глаза.

— Не говори глупостей! А ты иди отсюда, иди... Расположишься в кабинете, — говорит Иван Николаевич.

Кабинет Ивана Николаевича. Но теперь в нем стоят две койки: на одной лежит сам хозяин, на другой Муся. Чуть брезжит утро. Иван Николаевич, откинув одеяло, вынимает градусник, смотрит на него — температура тридцать девять с половиной. Он натягивает халат, надевает валенки и садится к столу, что-то пишет.

Муся, проснувшись:

— Папа, ты почему не спишь?

— Я уж отдохнул... Спи, спи...

Муся вглядывается в его лицо и вдруг с тревогой:

— Пап, да ты весь красный!

— Это я так... Простудился малость.

— Папа, да у тебя сыпь! — Муся кинулась к нему с постели.

— Не подходи ко мне, слышишь?

— Я сейчас за доктором, — засуетилась она.

— Нет здесь доктора... А до Кургана тебе не добраться...

— Но надо же что-то делать!..

— Я уже послал за фельдшером. И лекарство нужное принял. На вот, выпей! Может, предохранит! — Иван Николаевич дал ей таблетку.

Муся выпила.

— Не давай телеграммы ни матери, ни Ирине. Слышишь? Все обойдется.

Иван Николаевич кутается, заметно, как бьет его озноб, дрожит рука.

— Нет, не могу писать!

— Да ты ложись, ложись... Папа!

Он и в самом деле идет покорно в постель... Ложится. И, приподняв голову на подушке, говорит:

— Присядь поодаль. Я тебе хочу что-то сказать.

Муся присаживается на стул.

— Я уже написал там, — кивнул он на стол, — Смолякову... И ты передай ему... Если со мной что случится...: Весь селекционный материал станции перевези в Омск в сельскохозяйственное училище... И там продолжать начатые работы. Ирина пусть туда переезжает... Если живой останется. А я поехал... Вон видишь, как понеслись? Кони-то, кони. И столбы... Все дым клубится. Земля горит...

— Папа, папа, — плачет Муся.

Слезы текут по ее щекам, и мы сначала видим, словно сквозь бегущую водяную пленку, как начинает дрожать и смещаться мир реального видения. И вот уже рыжие кони несутся прямо на нас и через мгновение, кажется, стопчут, сровняют нас с землей. Но что это? И земля сдвинулась, поднялась клубами, словно пар. И тени повсюду мелькают, огромные тени перечеркивают дымный небосвод. А потом все затихает, опадает какими-то черными хлопьями. И мы видим бескрайнюю, унылую пустыню, всю в рытвинах да в воронках, как изрытое оспой лицо.

Полную тишину подчеркивает мерный ход часов да тихое потрескивание дров в горящей печке. Мусина комната в Тюмени. Тетя Феня сидит у изголовья кровати, вяжет кружева. На подушке покоится исхудалое Мусино лицо. Мы ее почти не узнаем — она острижена наголо и так похудела, что похожа на мальчика. Она открывает глаза и долго с недоумением смотрит на тетю Феню.

— Где я, тетя Феня? — спрашивает она тихо.

— У нас, в Тюмени.

— А где папа?

— Ты спи, спи...

— Нет, тетя Феня... Я хочу знать все, — сказала Муся.

Тетя Феня молча глядит на нее, и глаза ее наполняются слезами...

— Где он умер? — спрашивает Муся.

— В Кургане, в крестьянской больнице... Я поехала вслед за тобой... И нашла вас обоих в тифу. Ивана Николаевича взял к себе в палату доктор Успенский, его знакомый... Сам ходил за ним... Но все было напрасно.

Муся смотрит в потолок невидящими глазами. Помолчали.

— Когда вы с ним познакомились, тетя Феня?

— Двадцать пять лет назад... Мы с твоей матушкой работали в Красноуфимской женской прогимназии. Я вела немецкий язык, она рисование... И обе были влюблены в земского статистика Ивана Николаевича. Он и смолоду был неброской красоты, зато уж начнет говорить — божий огонь! На его лекции как в театр ходили...

— Тетя Феня, извини за нескромный вопрос: а ты влюблялась?

— Да... Однажды в жизни...

— А почему же замуж не вышла? — с наивной простотой спрашивает Муся.

— Потому что не хотела изменять... ему... — Тетя Феня уткнулась в свою вязку и быстро вышла.

— Вот оно что! — Муся встала с постели, пошатываясь, подошла к столу. — Вот оно что! И мне больше никого не надо... С тобой останусь... — Она взяла со стола карточку Василия, выдвинула боковой ящик, достала оттуда тоненькую пачку писем, подошла к печке и бросила все это в огонь...

Карточка и письма вспыхнули и на какое-то мгновение добавили в комнате яркость к печному отсвету.

Муся глядела, как они догорали, и прошептала:

— Клянусь тебе, папа, я сделаю все, что ты не успел!

И опять перед нами те же сосны, где похоронен Иван Николаевич. Но рядом уже не поле, а тот самый луг, на котором они когда-то собирали гербарий.

И снова та же картина: Твердохлебов в неизменной соломенной шляпе, молодые Ирина и Муся в легких пестрых платьях, в белых панамах.

— Ну, вот мы и собрались все вместе, — говорит отец.

— Папа, — кричит Муся. — А где же колоски? Ты обещал колоски!..

— Поле вон там, за темным лесом, — отвечает отец.

И в самом деле: за высоким сосновым кряжем открывается беспредельное поле. И тихо в поле — ни ветерка, ни дуновения. День клонится к закату.

Иван Николаевич и юные дочери его входят в пшеницу по грудь, как в воду, и, оглаживая рукой колоски, уходят все дальше и дальше.

И смотрит на них от сосны Мария Ивановна, старый человек с таким усталым и таким светлым лицом.

Вот она сдвинулась и пошла за ними туда, к горизонту.

Так они и растворяются среди высоких созревающих хлебов.

1972

Содержание

Можаев Б. А.

М74 Тонкомер: Повести /Худож. В. Лапин. — М.: Современник, 1984. — 461 с.; ил. — (Новинки «Современника»).

В пер.: 1 р. 90 к.

В книгу талантливого русского писателя вошли картины жизни — многосложной, полной драматизма, где люди борются с несправедливостью не жалея ни сил, ни нервов, ни самой судьбы своей.

М $\frac{4702010200 - 226}{М106(03) - 84}$ 54 — 84 ББК84Р7 Р2

Борис Андреевич Можаев

ТОНКОМЕР
Повести

Редактор **М. Вострышев**
Художественный редактор **А. Дианов**
Технические редакторы **Г. Бойцова, Л. Анашкина**
Корректоры **В. Дробышева, Т. Люборец**

ИБ № 3440
Сдано в набор 06.01.84. Подписано к печати 28.05.84. А10814. Формат 84x108$^{1}/_{32}$. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага кн. журн. № 2. Усл. печ. л. 24,36. Усл. краск.-отт. 24,36. Уч.-изд. л. 26,43. Тираж 100000 экз. Заказ 95. Цена 1 р. 90 к.

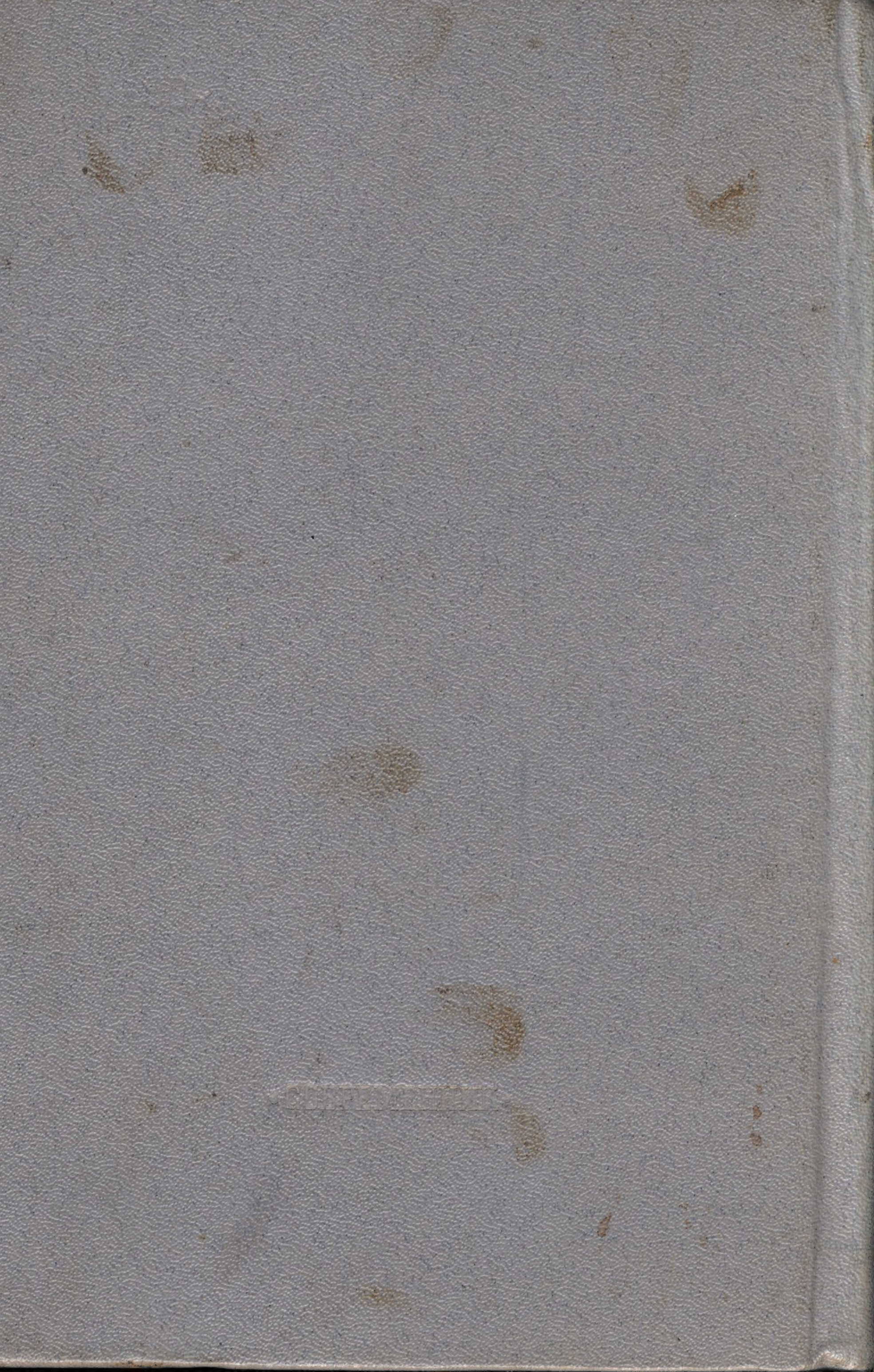
Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

390012, Рязань, Новая, 69/12 Рязанская областная типография

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении, направлять по адресу:

123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 62
Издательство «Современник»




БОРИС МОЖАЕВ · ТОНКОМЕР